

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы им. А.М.Горького

1 $\frac{02 - 13}{288 - 0}$

Зинаида Николаевна
Гиппиус

Новые материалы
Исследования

Москва
ИМЛИ РАН
2002

Редактор-составитель Н.В.Королева

Редакционная коллегия:
Н.В.Королева, Т.А.Пахмусс

Рецензенты:
О.А.Клинг, М.В.Козьменко

Зинаида Гиппиус. Новые материалы. Исследования.— М., ИМЛИ РАН, 2002. 384 с.

«З.Н.Гиппиус. Новые материалы. Исследования» — первая коллективная монография, издающаяся на родине писателя.

В ней анализируются биография и творческий путь З.Н.Гиппиус, особенности ее прозы, поэзии, публицистики и литературной критики.

Вниманию читателей, интересующихся творчеством З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковского, предлагается новый, не известный ранее вариант коллективного произведения — киносценарий «Борис Годунов», а также обширная переписка З.Н.Гиппиус с П.Н.Милюковым, А.С.Элиасбергом, М.С.Шагинян. Ряд статей освещают малоизвестные факты взаимоотношений З.Гиппиус и А.М.Горького, Г.И.Чулкова, А.А.Ахматовой. Две статьи сборника по-разному освещают непростую тему «мужского» и «женского» начал в жизни и творчестве Гиппиус.

Книга адресована филологам и всем читателям, интересующимся историей русского символизма и судьбами русской литературы в эмиграции (1920–1940-е гг.).



2002019763

ISBN 5-9208-0114-X

© ИМЛИ РАН, 2002

Мариетта — 3



От составителя

В 2000 году исполнилось пятьдесят пять лет со дня смерти Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869—1945), замечательного русского писателя — прозаика, поэта, литературного критика, мемуариста, организатора и вдохновителя религиозно-философского и нескольких литературных обществ и журналов. В 1995 году в Институте мировой литературы Российской Академии Наук прошла международная научная конференция, посвященная творчеству З.Н. Гиппиус — первая за все время после революции 1917 года, ставшая возможной только после вступления России на путь демократизации. Были прочитаны шестнадцать докладов, в конференции приняли участие Темира Андреевна Пахмусс (США), Ричард Девис Томсон (Канада), Джованна Спендель де Варда (Италия), российские ученые из Москвы, С.-Петербурга, Владимира, Вятки, Коломны. Доклады были посвящены как общим проблемам творчества Гиппиус, так и отдельным вопросам, жанрам, произведениям. Некоторые доклады, переработанные авторами в статьи, включены в настоящий сборник.

В последнее десятилетие XX в. в России началось интенсивное изучение творчества Зинаиды Гиппиус. До этого ее рассматривали только как воинствующую антикоммунистку, врага советской власти. Даже серьезные исследования, например, работа З.Г. Минц о Блоке и Мережковских, которая ценна широтой охвата проблемы и использованием новых архивных материалов, могла строиться только как полемика с Мережковским и Гиппиус, должна была содержать отрицательную оценку позиции этих писателей и разоблачение их ошибок¹.

В последние годы в нашей стране вышли издания главных произведений Зинаиды Николаевны Гиппиус: собрания ее стихотворений, рассказы и повести, мемуарные очерки, дневники². Во вступительных статьях и комментариях к этим изданиям, как правило, содержатся серьезные наблюдения и выводы о сущности творческого метода и своеобразии дарования писателя, неза-

служенно исключенного в течение многих десятилетий из контекста русской культуры.

Вместе с тем неопубликованная часть творческого наследия Зинаиды Гиппиус чрезвычайно велика. Дореволюционные материалы хранятся главным образом в архивах С.-Петербурга и Москвы, а также в частных собраниях России, послевоенные — в основном находятся в настоящее время в США — в университете г. Урбана, штат Иллинойс, в частной коллекции Темиры Пахмусс, в отделе рукописей Центра русской культуры г. Амхерст, созданного переводчиком и журналистом Томасом Уитни, передавшим Центру большую часть своего ценнейшего собрания русских рукописей и книг. Именно в собрании Томаса Уитни были найдены нами неизвестные письма к Мережковскому и Гиппиус Александра Блока³, здесь хранятся письма к Гиппиус Мариэтты Шагинян, которые публиковались на страницах “Нового журнала” (США), а также многие другие материалы из истории русской культуры “серебряного века”. Отдельные документы и материалы творческого наследия Зинаиды Гиппиус хранятся также в Бахметевском архиве Колумбийского университета Нью-Йорка и в некоторых других собраниях США и Парижа.

Публикация в настоящем сборнике не известных ранее материалов творческого архива писателя позволяет по-новому понять некоторые важные моменты сложного творческого пути Зинаиды Гиппиус, замечательного, но во многом не разгаданного до сих пор писателя и человека.

¹ Минц З.Г. А.Блок в полемике с Мережковскими // Наследие А.Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник № 4 (Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 535) Тарту, 1981. С. 116–222.

² Гиппиус З.Н. Живые лица. Стихи. Дневники. Воспоминания. Кн. 1–2. Сост., предисл. и коммент. Е.Я.Курганова. Тбилиси. Мерани. 1991.

Гиппиус З.Н. Стихотворения. Живые лица. Вст. ст., сост., подгот. текста, коммент. Н.А.Богомолова М., Худож. лит., 1991. Серия “Забывтая книга”.

Гиппиус З.Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Вст. ст., сост., подгот. текста, коммент. К.М.Азадовского и А.В.Лаврова. Л., Худож. лит. 1991.

Гиппиус З.Н. “Чертова кукла”. Проза. Стихотворения. Статьи. Вст. ст., сост., примеч. В.В.Ученовой. М., Современник, 1991.

Гиппиус З. Стихи. Воспоминания. Документальная проза. Сост. Е.М.Беня, вст. ст. Е.В.Барабанова, публикации и сопровод. материалы Е.В.Барабанова, Е.М.Беня, В.И.Миллера, М.М.Павловой. М., ИИЦ Наше наследие, 1991.

Гиппиус З. Последние стихи 1914–1918. Сост., вст. ст. С.С.Лесневского. М., Б-ка Огонек, № 32. 1991.

Гиппиус З.Н. Стихи и проза. Сост., послеслов., коммент. Н.И.Осьмаковой. Тула, Приокское книжн. изд-во, 1992.

Гиппиус З.Н. "Люди и нелюди". Из публицистики З.Н.Гиппиус первых послеоктябрьских месяцев. Предисл., публикац. и примеч. А.В.Лаврова // "Литературное обозрение", 1992, № 1. С. 52–62.

Гиппиус З.Н. "Черные тетради" Подг. текста М.М.Павловой. Предисл. и примеч. М.М.Павловой и Д.И.Зубарева // Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М., СПб. Феникс — Ateneum, 1992. С. 11–173.

Гиппиус З.Н. "Воображаемое". Публикац., вступит. ст., примеч. М.М.Павловой. — "Звезда", 1994, № 12. С. 116–123.

Гиппиус З.Н. "Опыт свободы". Подг. текста, составл., предисл. и примеч. Н.В.Королевой. М., Панорама, 1996.

Гиппиус З.Н. "Серое с красным". Дневник Зинаиды Гиппиус 1940–41 гг. Публикац. Н.В.Снытко // Встречи с прошлым, вып. 8. М., Русская книга, 1996. С.376–389.

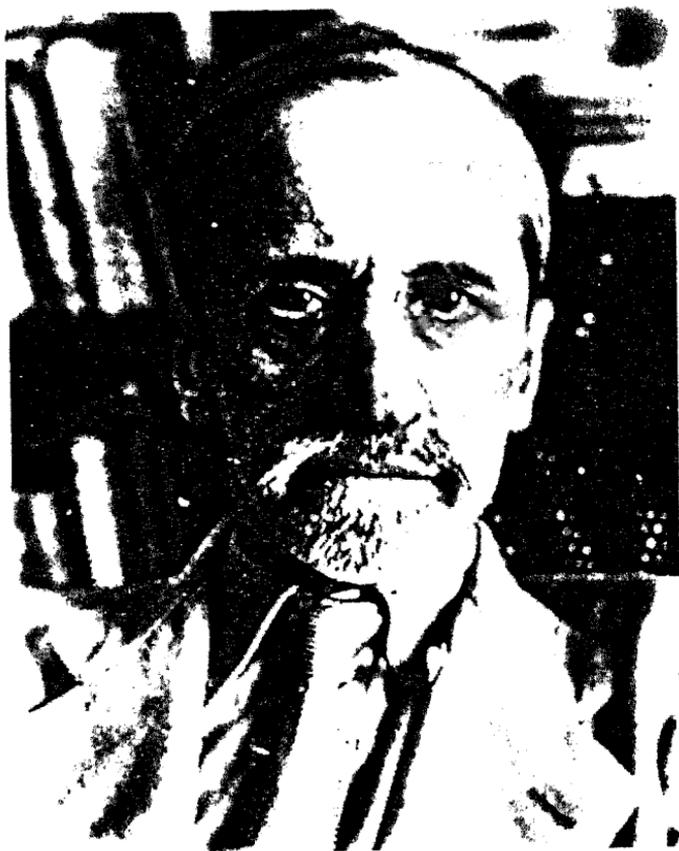
Гиппиус З.Н. Дневники. Тт. 1–2. Сост., вст. ст. А.Н.Николюкина, коммент. Т.В.Воронцовой (т. 1), подгот. текстов и коммент. М.М.Павловой, Д.И.Зубарева, Т.В.Воронцовой, О.В.Сергеева, А.И.Серкова, А.А.Морозова, Н.В.Снытко (т.2). М., НПК Интелвак, 1999.

Гиппиус З.Н. Стихотворения. Вст. ст., сост., подгот. текста и примеч. А.В.Лаврова. СПб., Новая библиотека поэта, 1999.

Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция. Под ред. М.А.Колерова, вст. ст. М.М.Павловой, перев. с франц. О.В.Эдельман, подг. текста Н.В.Самовер. М., О.Г.И. 1999. Серия "Исследования по истории русской мысли", т. 4.

³ Неизвестные письма А.А.Блока к Д.С.Мережковскому и З.Н.Гиппиус в американском архиве. Публикац. Н.В.Королевой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1994. М., Наука, 1996. С. 27–43.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус

БОРИС ГОДУНОВ

Неизвестный вариант киносценария

*(Из собрания Томаса Уитни, — Центр русской культуры,
Амхерст, США)*

Публикация Н. В. Королевой

Киносценарии занимают в творчестве Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус особое место. По мнению Т. А. Пахмусс, писатели-соавторы обратились к этому жанру в середине 1920-х годов прежде всего из-за серьезных материальных затруднений, с целью поправить свои финансовые дела. Ими были написаны сценарии “Невидимый луч” (автор З. Н. Гиппиус), “Борис Годунов” (раннее название “Дмитрий Самозванец. Сцены из драмы”) и “Данте”.

Казалось бы, подтверждением мнения Т. А. Пахмусс могут служить отдельные фразы из писем З. Н. Гиппиус о своей работе киносценариста, — например, Георгию Адамовичу от 2 августа 1930 г.: “Очень уж надоело с этой новой фильмой, пишу ее исключительно для помощи Дмитрию Сергеевичу, без всякой, уж кажется, надежды на славу и добро! Дмитрий Сергеевич черезчур добросовестен, а я пеку эти дела скоро”¹.

Однако и серьезность и длительность творческой работы над каждым сценарием, и глубокое обдумывание композиции, характеров, мотивации поступков и языка героев, и решительное высказывание в этом необычном для писателей жанре своих сокровенных нравственных, этических и политических идей, — все это говорит о том, что Мережковский и Гиппиус в 1920-е годы серьезно заинтересовались новым для себя явлением — кинематографом.

В ряде своих статей и писем З. Н. Гиппиус размышляла о возможностях кино, об отличиях киноискусства от искусства театрального, об особом воздействии “синематографа” на зрителей.

В статье “Золотые сны”, написанной Зинаидой Гиппиус от имени Мережковского, она говорила о вопросе, который задают им регулярно: “Меня спрашивают, и не без удивления, как могло случиться, что я интересуюсь синематографом” — и отвечает: это техническое новшество таит в себе могучую силу. Синематограф открывает — потенциально — “новые двери, ведущие куда-то на простор, к образам жизни не данной, а желанной и, быть может, не невозможной. Таковы потенции”².

В настоящее время, полагает Гиппиус, состояние синематографа соответствует духовному потенциалу средней массы человечества. Зрители хотят изображения жизни, близкой к реальности, — но чуть менее серой, менее скучной, менее несчастной и с “хорошим концом”. То-есть они хотят “сказок”, воплощения своих мечтаний, “золотых снов”. Но — именно благодаря воплощениям мечтаний и “сказок” осуществлялся прогресс человечества. “Синематограф в потенции — великое орудие для расширения всех наших жизненных горизонтов. То, что еще слабо преподносится внутреннему взору, может быть показано, может стать видимо реальному глазу, и насколько поэтому ярче воспринято сознанием! Не забудем и широту круга, захваченного синематографом: широта его, действительно, мировая”³.

Чтобы осуществить свою великую миссию, — утверждает Гиппиус, — синематограф должен “стать идейным”, но при этом не проповедовать, не просвещать, не пророчествовать, а “лишь просветлять для человечества правду его желаний и надежд”. “В настоящее же время все мы, кто хочет и может помочь, должны с радостью идти навстречу хотя бы первым шагам синематографа в этом направлении”⁴.

В конце 1920-х гг. Мережковский был приглашен одним из директоров парижской студии “Экран д’Арт” Владимиром Ивановым для участия в подготовке сценария “грандиозного фильма” “Конец мира”. Фильм этот вышел на экраны в январе 1931 года, режиссер Абель Ганс. Сведениями о реальном участии Мережковского и Гиппиус в работе над сценарием этого фильма мы не располагаем. Однако З.Н. Гиппиус о нем думала и писала. Смысл замысла этого фильма, по словам Гиппиус, — “золотой сон” сердца, сбывающийся после преодоления человеком внешней опасности.

Следующим шагом синематографа, по мнению Гиппиус, будет изображение преодоления человеком *внутренних* опасностей с помощью пробудившейся воли, — то-есть, говоря нашими словами, психологический фильм.

Примерно в это же время, в конце 1920-х годов, один из директоров студии “Aubèg-France Film” в Париже, известный ки-

норежиссер Иосиф Николаевич Ермолев, предложил Мережковскому написать сценарий для фильма, в котором мог бы звучать замечательный голос Ф.И.Шаляпина. За основу предлагалось взять русский исторический сюжет — “Бориса Годунова”. Предполагалось, что в сценарий войдут тексты арий царя Бориса в их оперном варианте, сцены из пушкинского “Бориса Годунова” и из “Царя Бориса” А.К.Толстого. В качестве соавтора или консультанта Мережковскому предлагался сын великого певца, актер Ф.Ф.Шаляпин. Художником фильма должен был стать К.А.Коровин, заведовать постановкой вместе с Ф.Ф.Шаляпиным — многолетний секретарь Мережковских, В.А.Злобин.

Этот фильм поставлен не был. В.А.Злобин в письме от 11 июля 1962 г. к исследователю Emmanuel Salgaller объясняет неудачу тем, что Мережковский “не знал, как писать сценарий. В результате у него получилась пьеса, или, вернее, серия из сцен”⁵. Именно такой вариант сценария — из восьми сцен — находился в архиве Злобина и был им опубликован в 1957 г.⁶

Однако сценарий имел и другие варианты, — адресованные именно к кинематографу: со скрупулезным подсчетом метража, с указаниями-ремарками о направлении снимающей камеры, с подробной разработкой мизансцен. Таких вариантов несколько. Сравнивая их, можно проследить, как менялся в процессе работы замысел писателей, как декоративно-оперная сторона все более отступала на второй план, а Мережковского и активно помогавшую ему З.Н.Гиппиус занимали теперь характеры и мотивировка поступков исторических и придуманных Пушкиным и Толстым героев. Соавторы стремились передать “тончайшие психологические детали во внутренней жизни персонажей, сложности их личности и проблемы трансформации, происходящей в судьбе человека в связи с существенными историческими событиями”⁷.

В 1936 г. Мережковские надолго уезжают в Италию, где начинается работа над книгой, а затем и над киносценарием о Данте. Еще один замысел киносценария — о Леонардо да Винчи. Для реализации этих “итальянских” замыслов Мережковскому нужна была личная аудиенция у Муссолини, который мог бы “утвердить” сценарий, выделить субсидии на постановку фильмов и дать “убежище” в Италии их автору. Сценарий “Данте” написан на французском языке, Мережковский готов ставить его и в Италии, и в Париже, и в Голливуде. Русская тема в творчестве Мережковских-сценаристов для кинематографа конца 1930-х годов не актуальна и не имеет финансовой поддержки. В 1938 г. умер Ф.И.Шаляпин, в 1939 — К.А.Коровин.

Готовился поход фашистских армий на Россию, что поставило перед эмиграцией новые проблемы. Мережковские, издавна проповедовавшие идею крестового похода внешних сил против большевиков, надеялись, что нападение на СССР поможет сокрушить ненавистную систему “Совдепии”. Знаменательно, что в нескольких вариантах сценария “Борис Годунов” завершающей и “ударной” была сцена “Бой” — сражение польского войска с российским, победа поляков и радостный призыв:

“Димитрий (обнажая саблю и указывая в даль): “На Москву!”

Все: “На Москву! На Москву!”⁸

Сценарий “Борис Годунов” в его разных вариантах публиковался несколько раз после смерти Мережковского и Гиппиус. В 1957 г. самый краткий, хотя, повидимому, не самый ранний вариант был опубликован В.А.Злобиным под названием “Дмитрий Самозванец. Сцены из драмы”. Здесь восемь сцен, имеющих заглавия и разделенных на картины, как в театральной пьесе:

I. Сцена на мельнице. Гадание.

II. Кабак.

III. В бане у Шуйского.

IV. Григорий и Шуйский.

V. Бегство из монастыря.

VI. Бал у Мнишек.

VII. Ставка Самозванца. Дмитрий и Марина.

VIII. Бой.

В этом варианте сценария царь Борис почти не присутствует, кроме сцены гадания на мельнице. Создается впечатление, что текст писался не для Федора Шаляпина, которому в таком сюжете петь просто негде. Произведение написано в прозе, с обширными ремарками, стихи представлены скупо: это заговоры колдуна-мельника, начало (три строки) песни Нанеты “Наш святой Себастьян...” и шесть строк припевки Косолапа “Уж ты, пьяница-пропойца, скажи...”

Второй известный нам вариант сценария, хранящийся в собрании Т.А.Пахмусс, состоит из шестнадцати сцен под заглавием “Борис Годунов”. Он впервые был опубликован Т.А.Пахмусс в кн.: Д.С.Мережковский. З.Н.Гиппиус. “Данте”. “Борис Годунов”. Киносценарии. Gnosis Press, New-York, 1991. Сцены имеют следующие названия:

I. Пролог.

II. Сцена на мельнице. Гадание.

III. Пимен.

IV. Венчание Бориса на царство.

V. Кабак.

VI. Прием послов.

- VII. В бане у Шуйского.
- VIII. Допрос.
- IX. Бегство из монастыря.
- X. Корчма.
- XI. Письмо нунция.
- XII. Бал у Мнишек.
- XIII. У фонтана.
- XIV. Казни.
- XV. Ставка Самозванца. Дмитрий и Марина.
- XVI. Бой.

По мнению Т.А.Пахмусс, именно этот вариант сценария является авторским, в то время как опубликованный Злобиным сокращенный текст мог возникнуть как результат редактуры Злобина, осуществленной после смерти обоих авторов.⁹ В целом сценарий “Борис Годунов” Т.А.Пахмусс оценивает достаточно высоко, как “интересный художественный документ с занимательной интригой, быстро меняющимися сюжетными положениями и психологически убедительным рисунком внутреннего состояния персонажей”¹⁰

Как и пушкинский “Борис Годунов”, произведение Мережковского и Гиппиус представляется “художественным гибридом исторического повествования, драмы, поэзии и прозы”¹¹

И текст сценария, переписанный рукой Злобина и содержащий правку Гиппиус, и, по-видимому, другие материалы собственного собрания, позволили Т.А.Пахмусс точно определить степень участия З.Н. в коллективной работе: “В некоторых местах сценария Мережковских сохранен “пушкинский стих”, но с большими сокращениями и в новых комбинациях. “Описательные сцены” (например, “Кабак”) переделаны Зинаидой Гиппиус в форму “сценического” диалога. Ее перу принадлежат главы “Кабак”, “Бегство из монастыря”, “Корчма” и “У фонтана”. Все исправления в тексте других сцен, переписанных для машинистки рукою Злобина, также сделаны Гиппиус. В написанных ею главах большая ритмическая организация материала, чем в других, по всей вероятности исполненных Мережковским. Она же написала и рассыпанные по всему сценарию стихотворения”¹².

Вариант сценария “Борис Годунов”, который мы предлагаем вниманию читателей настоящего сборника, отличается от обоих описанных выше. Текст его хранился среди других материалов парижской части архива Мережковского и Гиппиус, купленного американским журналистом и переводчиком, коллекционером Томасом Уитни у французского филателиста. В 1991 г. господин

Уитни любезно разрешил ознакомиться с этим собранием российским ученым И.С.Чистовой и Н.В.Королевой. С его разрешения мной была сделана копия текста. В 1994 г., когда большая часть русских рукописей была передана Томасом Уитни в дар колледжу города Амхерст, в котором он учился и где им был создан Центр русской культуры во главе с профессором Стэнли Рабиновичем, копия была мной вновь выверена. Настоящая публикация осуществляется с разрешения Центра русской культуры, г. Амхерст, США.

Сценарий “Борис Годунов” в собрании Т.Уитни представлен тремя вариантами. Во-первых, это машинопись, 95 страниц, в двух переплетах. 19 сцен, некоторые разбиты на картины. Для первой части (сцены 1 — X) сделан подсчет метража — 1515 метров. Белая бумага, дата отсутствует. Во-вторых, машинопись, 16 страниц, черная и синяя ленты, бумага тонкая, зеленая. Прозаическое изложение содержания девятнадцати сцен. В-третьих, рукопись, 31 страница, на серой бумаге. Автограф, с которого печатался предыдущий вариант, имеются некоторые разночтения в пунктуации.

¹ Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н. Данте. Борис Годунов. Киносценарии. Под ред. и со вст. ст. Темиры Пахмусс. Gnosis Press, New York, 1991. С.96.

² Цит. по: Пахмусс Т.А. Д.С.Мережковский и З.Н.Гиппиус как авторы сценариев // Новый журнал, 1987. Т. 167. С. 219.

³ Там же. С. 220.

⁴ Там же. С. 221.

⁵ Цит. по: Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н. Данте. Борис Годунов... С. 97.

⁶ “Возрождение”, Париж, 1957. Т. 66. С. 77–86; Т. 67. С. 87–97; Т. 68. С. 67–77.

⁷ Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н. Данте. Борис Годунов... С. 98.

⁸ Там же. С. 195; ср. наст. сб. С. 65, 86.

⁹ Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н. Данте. Борис Годунов... С. 98.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 99.

¹² Там же. С.101.

БОРИС ГОДУНОВ

Сцены I—X

I. Пролог	150 метров
II. Мельница	230 “
III. Пимен	90 “
IV. Венчание Бориса на царство	225 “
V. Кабак	120 “
VI. Прием послов	210 “
VII. Григорий и Шуйский	150 “
VIII. Бегство из монастыря	100 “
IX. Письмо нунция	90 “
X. Корчма	150 “

1515 метров

1. ПРОЛОГ

Экран светлеет. Руки Пимена, развивающие свиток, на котором написано:

“В 1598 году, со смертью царя Феодора, сына Иоанна Грозного, древняя династия русских царей пресеклась. Феодор был бездетен, а его младший брат, царевич Димитрий, который должен был ему наследовать, загадочно погиб еще при жизни Феодора, от руки убийцы.

Россия осталась без царя.

По обычаю страны, народ должен был избрать нового. Было решено предложить власть любимцу Иоанна Грозного, шурина царя Феодора — боярину Борису Годунову.”

Экран медленно темнеет.

Яркий летний день. Но будет гроза.

На холме, с которого открывается вид на всю Москву, — всадник на черном коне, князь Василий Шуйский. С ним несколько приставов, тоже на черных конях. Конская сбруя звенит и сверкает на солнце.

На небе появляются первые грозовые тучи. Тени от них пробегают по городу, пятнами ложатся на Москву-реку.

Шуйский подымает голову, смотрит на небо.

Шуйский: Будет гроза!

Подъезжает князь Воротынский, статный боярин, с черной густой бородой и с умными, живыми глазами. Он и сопровождающие его пристава — на белых конях.

Воротынский: Наряжены мы вместе город ведать.
 Шуйский: Но, кажется, нам не за кем смотреть.
 Воротынский: Москва пуста, вослед за патриархом
 К монастырю пошел и весь народ.
 Как думаешь, чем кончится тревога?
 Шуйский: Чей кончится? Узнать немудрено.
 Народ еще повоюет да поплачет,
 Борис еще поморщится немного,
 Что пьяница пред чаркою вина,
 И наконец по милости своей
 Принять венец смиренно согласится.
 (Обращаясь к одному из приставов):
 Проведай-ка, что слышно — согласился ль
 Принять венец боярин Годунов?
 (Пристав, в сопровождении еще двух других, усакивает)
 Воротынский: Но месяц уж протек,
 Как, затворясь в монастыре с сестрою,
 Он, кажется, покинул все мирское.
 Что, ежели правитель в самом деле
 Державными заботами наскучил
 И на престол безвластный не взойдет?
 Что скажешь ты?
 Шуйский: Скажу, что понапрасну
 Лилася кровь царевича-младенца,
 Что, если так, Димитрий мог бы жить.
 Воротынский: Ужасное злодейство! Полно, точно ль
 Царевича сгубил Борис?
 Шуйский: А кто же?
 Я в Углич послан был
 Исследовать на месте это дело:
 Наехал я на свежие следы,
 Весь город был свидетель злодеянья,
 Все граждане согласно показали,
 И, возвратясь, я мог единым словом
 Изобличить сокрытого злодея.
 Воротынский: Зачем же ты его не уничтожил?
 Шуйский: Он, признаюсь, тогда меня смутил
 Спокойствием, бесстыдностью нежданной.
 Он мне в глаза смотрел как будто правый.
 Воротынский: Ужасное злодейство! Слушай, верно,
 Губителя раскаянье тревожит:
 Конечно, кровь несчастного младенца
 Ему ступить мешает на престол.
 Шуйский: Перешагнет: Борис не так-то робок!

Воротынский: А слушай, князь, ведь мы б имели право
Наследовать Феодору.
Шуйский: Да боле,
Чем Годунов.
Воротынский: Ведь в самом деле!
Шуйский: Что ж!
Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать.
Пускай они оставят Годунова,
Своих князей у них довольно, пусть
Себе в цари любого изберут.
Воротынский: Нет, трудно нам тягаться с Годуновым.
Народ отвык в нас видеть древню отрасль.
А вот когда бы чудом, из могилы,
Царевич наш Димитрий вдруг воскрес...
Шуйский (махает рукой): Эх, полно, князь!
Что попусту болтать.
Во гробе спит Димитрий и не встанет.
Не нам с тобою мертвых воскрешать.

Пристава возвращаются с двух концов.

Воротынский: Ну, что? Узнал?
Пристав: Он царь! Он согласился.
Шуйский: Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха!

Сильный удар грома. Шуйский и Воротынский снимают шапки и крестятся.

II. ГАДАНИЕ

(Сцена на мельнице)

1.

Ночь. Небо. Быстро летящие грозовые тучи. Сквозь них бледный лунный свет. Ветер. Молнии. Гром.

Аппарат опускается. Бушующее море леса.

Глухая лесная тропа. Огромный медведь вылезает из чащи и перебегает тропу.

Яснеющее небо. Гроза пронеслась. Гром все дальше, глуше. и наконец затихает совсем. Луна пробивается сквозь прозрачные после грозы облака.

Та же лесная дорога. Яркий лунный свет. Два всадника, Борис и Семен Годуновы, едут на аппарат, проскакивают по бокам экрана. Видна уходящая дорога. Показывается мельница, старый мшистый сруб с шумящим в запруде колесом.

Всадники подъезжают к мельнице.

Семен спешивается, стучит в окно долго, сперва кулаком, потом кнутовищем.

Семен: Мельник, мельник, а мельник! Оглох, старый пес, что ли?

Мельник (приотворяя оконце): Нет на вас погибели, чортовы дети. Кто такие? Откудова? Коли вор, берегись, свистну по башке кистенем, с места не сойдешь.

Семен: Что ты, пьяная твоя харя, протри глаза, аль не видишь, бояре.

Мельник: Что за бояре? Знаем мы вас, шатунов.

(Вглядываясь): Что за диво? А я то, старый дурак, сослепа...Ох, не взышите, кормильцы, сейчас, сейчас. (Скрываясь в окне).

Семен помогает Борису спешиться.

Борис: Это он и есть, колдун?

Семен: Он самый.

Мельник отворяет дверь и выходит на крыльцо, старый-старый, весь как лунь, огромный, косматый, как тот медведь, что перебежал тропу.

Мельник (кланяясь низко): Ах, гости дорогие. Сбились, чай, с дороги, заплутались? Место наше глухое, долго ли до греха?

Переночуйте, родные.

Семен: Бери коней. Конюшня-то есть?

Мельник: Нет, батюшка. Да мы тут, сейчас, за тыном привяжем.

(Привязав коней): В избу, кормильцы, в избу пожалуйте.

Большая курная изба, закоптелая, тускло освещенная воткнутой в светец лучиной. Гости входят, ищут глазами иконы в углу.

Семен: Боги-то где ж у тебя?

Мельник (ухмыляясь): Боги тю-тю, воры наемни украли.

(Усаживая гостей на лавку): Чем потчевать, батюшки?

Семен: Ничего не надо. Мы к тебе за делом, старик. Будем гадать.

Мельник: Кому же, тебе, ему, аль обоим?

Семен: Нет, не нам, — царю Борису Феодоровичу.

Мельник: Да разве он царь?

Семен: Днесь наречен, а невдолге будет и венчанье.

Мельник: Ахти, а я и не знал, вот в какой берлоге живу.

(Подумав): Да как же царю-то без царя гадать?

Семен: Этот боярин — ближайший друг царев. Все, что скажешь ему, царю скажешь.

Мельник (Пристально вглядываясь в Бориса и падая вдруг на колени): Батюшки, родимые, не погубите, помилуйте. Мне ли, смерду, о царе гадать? Коли что ему не по нраву скажу, — ведь прямо под топор, на плаху...

Семен: Полно, не бойся, старик, никто тебя не тронет. Вот тебе царев гостинец.

Кидает ему мошну. Тот прижимает ее к груди, жадно шупает.

Мельник: Ух, сколько.

Семен: Ну, живей.

Мельник: Здесь, бояре, нельзя — надо вниз, к колесу. Да и вдвоем негоже. Ты здесь оставайся, а он пойдет со мной.

Семен: Ладно, живей.

Мельник: Мигом, только огонек запалю, да петушка зарежу черного...

Борис (Тихо, как будто про себя): Резать не надо.

Мельник (Вглядываясь в него еще пристальнее): Как же, батюшка? Без крови нельзя.

Борис (Так же тихо): Ну, ладно, режь, только подальше, чтобы я не слышал.

Мельник: Небось не услышишь, чик по горлу и не пикнет.

Мельник уходит. Молчание. Ветер опять поднялся. Слышно, как лес шумит. Борис, упершись локтями в колени, опустил голову и сжал ее ладонями.

Во время разговора Бориса с Семеном черный кот, спрыгнув с печи, ластится к ногам Семена, тот отталкивает его ногою: “Брысь”. Кот, выгнув спину горбом и ошетилившись, жалобно мяучит.

Выйдя из-под лавки, вороненок ковыляет по полу, волоча большое крыло. Семен хлопает на него ладонями. Вороненок хочет взлететь на одном крыле и не может, падает, опять ковыляет, косит на гостей одним глазом, разевает кроваво-красный клюв и каркает.

Семен: Государь, а государь.

Борис (не подымая головы): Ну?

Семен: Старый плут, кажись, что-то пронюхал. Ох, берегись, государь... Что как не мельник тут главный колдун, а князь Шуйский? Он тебе наколдует... Я бы этого мельника на первый сук вздернул да всю его чортову мельницу огнем спалил.

Борис: Может, и спалю, но раньше судьбу узнаю.

Семен: Эх, государь, что узанавать? От судьбы не уйдешь, человек в судьбе не волен.

Борис (подымая голову): Нет, волен, только бы знать, только бы знать. (Прислушивается): Что это? Слышишь? Режет?

Семен: Что ты, батюшка, полно. Ветер воев в трубе, аль ржавая петля в дверях визжит. Ох, государь, лучше уйдем от греха. Сколько молились, постились, да прямо из святой обители в гнездо бесовское. Грех.

Борис (глядя ему в глаза с усмешкой): Вон чего испугался. Нет, брат, нам с тобой греха бояться, что старой шлюхе краснеть. Входит мельник.

Мельник: Готово, боярин, пожалуй.

Борис выходит с ним через низкую дверцу на лестницу, ведущую вниз, где слышен шум воды, гул жерновов и стук колеса.

2.

Два чернеца, Мисаил и Григорий, с посохами в руках, с тяжелыми за плечами котомками, в облепленных грязью лаптях, насквозь промокшие, пробираются берегом реки к мельнице с той стороны, куда ушли гадать Борис и мельник. Мисаил лет пятидесяти, низенький, жирный, красный, с веселым, добрым и хитрым лицом. Григорий лет двадцати, высокий, стройный, ловкий, с некрасивым, но умным лицом, рыжий, голубоглазый.

Мисаил чуть ноги волочит, кричит и охает. Григорий идет бодро.

Ясное небо, яркий месяц, сильный ветер. Лес шумит, как море.

Григорий: Вот она, мельница.

Мисаил: Ох, Гришенька, боязно. Мельник-то, слышь, колдун, с чертями водится. Лучше в лесу переночуем.

Слышно, как у плотины стучит колесо. Слабый свет костра мерцает сквозь ветки деревьев.

Григорий: Видишь, огонь?

Мисаил (крестясь): Матерь Пресвятая Богородица. Да ведь это они — с рогами, с хвостами, черные, у — у. Скачут, пляшут, свадьбу справляют бесовскую...

Григорий: Дурак. Чего испугался. Видишь, люди. Двое. Что они делают? Колдуют, что ли? Пойдем-ка, посмотрим.

Мисаил: Что ты, братик миленький. Прямо им в когти...

Григорий: Ладно, спрячься в кусты, коли трусишь, а я пойду.

Мисаил: Ой, не ходи, Гришенька, они тебя задерут.

Григорий: Ладно, кто кого задерет, еще посмотрим.

Мисаил прячется в кусты. Григорий, цепляясь за ползучие корни и травы, слезает по круче к реке, раздвигает камыши и жадно смотрит.

3.

Мельник под навесом, усаживая Бориса лицом к вертящемуся колесу на сваленные кули с мукой и хлебом. Льет на огонь кровь из чашки, капля за каплей. Вдруг, обернувшись к Борису и низко наклонившись, уставив на него неподвижный взор, медленно идет на него.

Мельник: В очи мне, в очи смотри, прямо в очи — вот так.

Взор у Бориса становится таким же неподвижным, как у мельника. Тот машет руками, однообразно проводит по воздуху, как будто ласкает, гладит — не его самого, а кого-то над ним.

Мельник: Что видишь?

Борис: Церковь, набат, люди сбегаются... мертвый младенец лежит, горло перерезано...

Мельник: Спи, мой батюшка, усни,
Спи, родимый, отдохни.
Что видишь?

Борис: Царский престол, я на нем... Нет, младенец зарезанный...

Мельник: Что слышишь?

Борис: Слаб, но могуч, убит, но жив, сам и не сам.

(С тихим стоном): Что это, что это?

Мельник (взяв его за плечи, тряся и дуя в лицо): Чур, чур, чур.
Встань, проснись.

Борис (открывая глаза): Что это, что это, Господи? Что это было, колдун?

Мельник: А ты забыл?

Борис: Забыл.

Мельник: Я за тебя помню. Скажи царю Борису Феодоровичу: будешь во славе царствовать, осчастливишь Русь, как никто из царей. Но светел восход, темен закат. Мертвого бойся. Убит, но жив, слаб, но могуч, сам и не сам. Бойся мертвого. Мертвого бойся.

Борис: Что это значит?

Мельник: Не знаю. Может, царь знает.

Борис встает, шатаясь. Мельник ведет его к лестнице.

Борис (тихо, про себя): Слаб, но могуч, убит, но жив, сам и не сам. Мертвого бойся. Что это значит? Что это значит?

Григорий возвращается к Мисаилу и вместе с ним уходит в лес.

Та же лесная тропа. Борис и Семен едут обратно. Чуть светает. Птицы еще не проснулись. Ветер затих, и такая же тишина в лесу, как будто все умерло. Кони ступают неслышно по мшистым колеям тропы. Борис едет впереди, понурился и опустил поводья. Лицо его задумчиво, он все еще как во сне.

Вдруг на перекрестке двух тропинок выходят из кустов, точно из земли вырастают в серой тени рассвета, две черные тени, Мисаил и Григорий. Конь Бориса шарахается в сторону, встает на дыбы. Всадник едва удерживается на седле.

Семен (обнажив саблю и замахиваясь): Чтоб вас, окаянные. Прямо к коням под ноги лезете.

Мисаил шмыгнул в кусты, как заяц. Григорий стоит и, не двигаясь, смотрит в лицо Бориса так же пристально и жадно, как давеча во время гаданья, когда смотрел из камышей.

Борис (справившись с конем): Полно, Семен, видишь, и сами перепугались. Кто вы такие?

Мисаил сначала робко выглядывает, потом выходит из кустов.

Григорий: Чудовской обители братья.

Борис: Как звать?

Григорий: Это брат Мисаил, а я Григорий.

Борис: Откуда идете, куда?

Григорий: В Москву, в наш монастырь. О<тец> Игумен благословал нас старых книг да хартий добывать старцу нашему, отцу Пимену.

Борис: А ему на что?

Григорий: Летопись пишет.

Борис (вглядываясь в лицо Григория): Где я тебя видел?

Григорий: Меня? Нет, боярин, ты меня нигде не видел.

Борис (вглядываясь пристальней): Чудно, все кажется, будто где-то видел. Ну, ступайте с Богом. (Вынув из мошны и кинув им два золотых): Свечку поставьте Владычице и помолитесь за меня грешного.

Григорий и Мисаил, низко поклонившись, уходят.

Борис остается сидеть в задумчивости на коне. Лицо Бориса. Издали доносится колокольный звон.

III. ПИМЕН

Ночь. Келья в Чудовом монастыре. Отец Пимен пишет перед лампадой. Григорий спит.

Григорий (пробуждаясь):

- Все тот же сон. Возможно ль? В третий раз
А все старик перед лампадой пишет.
- Пимен: Проснулся, брат.
- Григорий: Благослови меня,
Честной отец.
- Пимен: Благослови Господь
Тебя и днесь, и присно, и вовеки.
- Григорий: Ты все писал и сном не позабылся.
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил...
- Пимен: Господь с тобой, младая кровь играет.
Смирйя себя молитвой и постом...
(Продолжая писать):
Еще одно последнее сказанье,
И летопись окончена моя.
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному.
- Григорий: Давно, честной отец,
Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитрия царевича, в то время
Ты, говорят, был в Угличе.
- Пимен: Ох, помню.
Пришел я в ночь. Наутро, в час обедни,
Вдруг слышу звон, ударили в набат,
На улицу бегут, кричат, и я
Спешу туда ж, — а там уже весь город.
Гляжу: лежит зарезанный младенец...
Укрывшихся злодеев захватили,
“Покайтесь”, — народ им загремел.
И в ужасе, под топором, убийцы
Покаялись — и назвали Бориса.
- Григорий: Каких был лет царевич убиенный?
- Пимен: Да лет семи, он был бы твой ровесник
И ныне царствовал.
(Задумывается)
- Григорий (после молчания): Скажи, отец,
Московские злодеи, может статья,
Димитрия в лицо не знали ране:
Царевич ли зарезанный младенец?
- Пимен: Я и слышал народную молву:
Убили в Угличе попова сына,
Царевич же Господним чудом спасся...
Да мало ли что люди говорят?
- (Оба погружаются в глубокую задумчивость)

Пимен: Сей повестью плачевной заключу
Я летопись свою... Но уж звонят
К заутрени... Благослови Господь
Своих рабов. Подай костыль, Григорий.
(Уходят. Через минуту Григорий возвращается.)
Григорий (один): Борис, Борис. Все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца.
Но не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда.

IV. ВЕНЧАНИЕ БОРИСА НА ЦАРСТВО

Соборная площадь в Кремле, залитая ярким утренним солнцем. Прямо перед зрителем Успенский собор, справа Грановитая палата, слева Архангельский собор.

Сверкают на солнце золотые купола, ослепительно белеют стены.

Вся площадь запружена праздничной толпой. Звон колоколов, переливный гул голосов.

Григорий и Мисаил пробираются через тролпу на площадь. Толстому Мисаилу трудно протиснуться за Григорием. Отстал, с кем-то переругивается, и затерялся в толпе. Но и Григорию не удастся пробраться на площадь, он влезает на Кремлевскую стену, откуда ему будет видно все.

Внутри Успенского собора. Торжественная служба — венчание Бориса на царство. Когда толпа, под пенье молитв, опускается на колени, виден стоящий лицом к алтарю Борис, которому патриарх передает скипетр и державу.

Шуйский выходит на крыльцо Успенского собора и, обращаясь к толпе, говорит:

Да здравствует царь Борис Феодорович!

Народ восторженно отвечает:

Да здравствует.

Раздаются звуки «Славы».

По обитому красным сукном помосту — от Успенского собора до Архангельского и от Архангельского до Красного Крыльца — движется коронационная процессия. Впереди идет духовенство в полном облачении. Несут иконы, хоругви. За духовенством бояре, стрельцы, затем иностранные послы и гости, наконец показываются рынды. Рынды проходят. Появляется Борис со скипетром и державой.

При появлении царя народ продолжает петь, опускается на колени. Царь медленно и торжественно шествует, кланяясь на четыре стороны. Дойдя до середины помоста, он останавливается. Народ сразу замолкает.

Борис (про себя):

Скорбит душа. Какой-то страх невольный
Зловещим предчувствием сковал мне сердце.
О, праведник, о мой отец державный,
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли ты мне священное
На власть благословенье.
Да буду благ и праведен, как ты,
Да в славе правлю свой народ.
(Обращается к боярам):
Поклонимся почившим властителям Руси.
И там сзывать народ на пир,
Всех — от бояр до нищего слепца,
Всем вольный вход, все гости дорогие.

Шествие, под пение “Славы”, снова трогается по направлению к Архангельскому собору.

Григорий со стены жадно и пристально смотрит на царя.

Борис, под взглядом Григория, тоже обращает на него глаза. Взгляды встречаются. На лице Бориса — мгновенная и непонятная тревога: опять этот монах. Кто он?

Григорий выдерживает взгляд Бориса и вдруг узнает в нем всадника, которого видел на мельнице.

V. КАБАК

Улица перед слободским кабаком. Растоптанная, развезженная грязь, лошади, телеги — пустые (едущие с базара), у крыльца всякий народ. Толпятся, галдят, ругаются. Из кабака гам, дуденье, пьяные песни.

Появляются два чернеца с котомками за плечами, Григорий и Мисаил. Осторожно обходя большую лужу, где на боку лежит, блаженно хрюкая, большой черный боров, держат путь к крыльцу. Неподалеку стоит небольшая толпа нищих, не то юродивых. Гнусят какую-то песню.

Из кабака вываливается густая толпа, горланя песни. Кое-кто приплясывает. Тут и бубны, и дуды, у одного скрипка.

Шибалды — шибалда,
Задуди, што ли, дуда,
Грянтье, бубны-бубенцы,
Разгулялись молодцы...

На погосте воз увяз,
А дьячок пустился в пляс.
Хлюп, хлюп, хлюп.
А как поп с погоста шел,
Забодал его козел
В пуп, в пуп, в пуп.

Мисаил: Эко веселье. Доброе, видно, пиво у хозяина. Идем, штоль, Григорий.

Пробираются в кабак.

Внутренность шинкарни. Низкая, черная, просторная изба. По стенам лавки, в углу — стойка. Народу — труба непротолченная. Песни и музыка здесь еще громче. За стойкой — хозяин, толстый и красный мужик. Хозяйка тоже толстая, чернобровая, медлительная. В одном из углов сидят Григорий и Мисаил и пьют. Мисаил совсем пьян, да и Григорий, видно, навеселе.

Народу всякого звания. Поют песни.

Хозяин выходит из-за стойки. Мисаил ловит его за полу.

Мисаил: Хозяин, а хозяин. Будь ласков, выставь еще косушечку. Что при нас было, все тебе выложили. А ты выстави косушечку, мы тебе отслужим.

Хозяин: Потчевать вас! Не надобна твоя служба.

Мисаил: Как это не надобна? Ну, хочешь, я спляшу? А то расскажу, чего мы перевидали. Такое перевидали, что и во сне никому не приснится...

Григорий: Тебе, может, коза рогатая снится, а вот я так сон видел трижды кряду, сон этот на духу рассказать — и то страшно.

Один соседний гость неизвестного звания (подсаживаясь ближе): А ты расскажи.

Мисаил (все еще не отпуская хозяина, заплетаясь): Право, хозяин, хоть чарочку еще налей одну.

Григорий: Пойдем прочь, отец Мисаил. Что нам тут с ними рас-табарывать. (Хочет уйти).

Человек неизвестного звания (удерживая монахов): Стойте, отцы. Так и быть, я угощаю. Ставь, хозяин, в мою голову.

Хозяин удаляется за стойку. Приносят вино.

Мисаил в восторге: Вот люблю. Вот добрый человек. Благослови тебя Господь.

Человек неизвестного звания: К странникам Божьим сердце у меня лежит. А и монахи вы непростые. И во сне-то вам видится чего неведомо. (К Григорию): Скажи, отец, какой такой страшный сон тебе был?

Григорий (помолчав, как бы про себя): Мне виделась лестница, великая, крутая. Все круче шли высокие ступени, и я все

выше шел. Внизу народ на площади кипел. Мне виделась Москва, что муравейник... На самой высоте — престол царей московских, и я на нем. Вокруг — стрельцы, бояре... А патриарх мне крест для целования подносит...

Человек неизвестного звания (прерывая): Вот как.

Григорий: ...и я тот крест целую с великой клятвой, что на моем на царстве невинной крови капли не прольется, холопей, нищих не будет вовсе. Отцом я буду моему народу...

Ближний народ сгрудился вокруг, жадно прислушиваясь. В дальнем углу другие наяривают плясовую:

Эй, жги, говори, подговаривай.

Ходи, изба, ходи, печь,

Хозяину негде лечь.

Человек неизвестного звания (громко): Ай да ловко. Стой. Значит, на Моске царем ты себя видел?

Григорий: Великим и державным. И трижды кряду, три ночи, все тот же сон.

Человек неизвестного звания (вскакивая): Эй, люди (хлопает в ладоши), сюда, ко мне. Хватайте чернеца этого. Негожие речи его, хула на государя Бориса Феодоровича. Измена. Крутите его крепче.

Подбежавшие стрельцы скручивают Григория. Общее смятение, отдельные возгласы, песни умолкают. Слышится:

“Ярыжка”.

“Ах, он дьявол, подсоседелся, и ништо ему.”

“Покою от них ныне нету.”

Ярыжка (указывая на Мисаила): И этого прихватите, толстопузого.

Мисаил: Батюшка. Отец милостивый. А меня-то за что? Я ни сном, ни духом. Я три ночи подряд не спал, а не то что сонные видения какие.

Мисаила вяжут и тащат обоих к дверям под глухой гул толпы. Какая-то баба причитывает: “Мучители окаянные. И старца-то Божьего не оставят. Пришли, знать, последние времена.”

Другая: “Зачем, слышь, три ночи вряд проспали. Приказ новый, мол, вышел. Пропала наша головушка” — и т.д.

Связанных уводят среди движения и гула толпы.

VI. ПРИЕМ ПОСЛОВ

Престольная палата. Трубы и дворцовые колокола. Рынды входят и становятся у престола, потом бояре, потом стряпчие, потом ближние бояре, потом сам царь Борис в полном облаче-

нии с державой и скипетром. За ним царевич Феодор. Борис садится на престол. Феодор садится по его правую руку.

Подходит Воейков. Опускается на колени.

Воейков: Великий царь. Враги твои разбиты.
Сибирь, покорная твоей державе,
Тебе навек всецело бьет челом.

Борис: Благая весть. Встань, воевода Тарский,
И цепь сию, в знак милости, прими.

Снимает с себя цепь и надевает на Воейкова. Подходит Салтыков.

Салтыков: Царь государь. Послы и нунций папы
Ждут позволенья милости твоей
На царствие здоровать.

Борис: Пусть войдут.

Трубный шум и литавры.

Входят послы с папским нунцием Рангони во главе, предшествуемые стольниками. Подходят к престолу, стольники раздаются направо и налево.

Салтыков: Рангони, нунций папы.

Рангони: Великий царь всея земли Московской.
Святой отец Климент тебе свое
Апостольское шлет благословенье
И здравствует на царство. Если ж ты,
Как он, о царь, скорбишь о разделении
Родных церквей, — он через нас готов
Войти с твоим священством в соглашение,
Да прекратится распря прежних лет
И будет вновь единый пастырь стаду
Единому.

Борис: Святейшего Климента
Благодарю. Мы чтим венчанных римских
Епископов и воздаем усердно
Им долг и честь. Но Господу Христу
Мы на земле наместника не знаем.
Когда святой отец ревнует к вере,
Да согласит владык он христианских
Идти собща на турецкого султана,
О вере братьев наших свободить,
То сблизит нас усердием единым
К единому кресту. О съединеньи
Родных церквей мы молимся все дни,
Когда святыю слышим литургию.

Рангони отходит.

Салтыков: Посол литовский, канцлер Лев Сапега.

Аппарат следует за Рангони, который пробирается сквозь пышную толпу. В дальнем конце палаты Шуйский и Воротынский тихо беседуют. Рангони становится так, что они его не замечают, но он все слышит.

Воротынский: Грамоты литовские читал? В Кракове все уж говорят, что сын попов убит, а не царевич. Жив де он и объявится.

Шуйский: Брешут ляхи, кто им поверит? Да и нам до Литвы дале. Вот кабы здесь, на Москве...

Воротынский: Ну, а кабы здесь, можно бы за дельце взяться, можно бы, а?

Шуйский: Что гадать впустую.

Воротынский: Не впустую. Сказывал наемни крестовый дьяк Ефимьев: двух чернецов забрали в шинке. Один говорит: он де спасенный царевич Димитрий, и скоро объявится, будет царем на Москве.

Шуйский: Мало ли что люди с пьяных глаз по кабакам болтают. Лицо Рангони. Он слушает сперва рассеянно, потом все с большим вниманием. При последних словах Воротынского он весь слух.

Шуйский: Где они сидят?

Воротынский: В яме на патриаршем дворе.

Шуйский: Знает царь?

Воротынский: Нет... Слушай, Иваныч, хочешь, велю их при-слать? Чем чорт не шутит.

Шуйский: Погоди, дай подумать. Так сразу нельзя. Да и не время сейчас об этом. Пойдем.

Хотят идти. К ним подходит Рангони.

Рангони: Простите, бояре. На два слова (отводит их немного в сторону). Пишут мне из Литвы, да и здесь говорят, будто жив царевич Димитрий. Станный слух, не правда ли?

Шуйский: Мы ничего не слышали.

Рангони: А верно обрадовался бы царь, узнав, что царевич жив. (Пристально смотрит на Шуйского): Так знайте же, бояре, если слух тот верен, и его высочеству грозила бы опасность, — мало ли что может случиться, — святейший отец примет под свою защиту московских царей законного наследника. В этом вам моя порука. В Литве немало у нас монастырей, где он найдет приют и безопасность,

Шуйский и Воротынский стоят, не зная, что ответить. Но, не дожидаясь их ответа, Рангони уходит.

Шуйский: Все подделушал, иезуит проклятый. Пойдем скорее.

Воротынский: Как знать, может, и к счастью.

Пробираются сквозь толпу, ближе к престолу. Аппарат следует за ними. Видно, как Борис отпускает послов. Около престола царица и царевна.

Борис (сходя с престола): Царица и царевна, ты, Феодор,
Моих гостей идите угощать.
Вино и мед чтобы лились реками.
Идите все — я следую за вами.

(Замечая Шуйского):

С объезда ты заехал, князь Василий?
Что молвят? Все ль довольны?

Шуйский: Кому ж не быть довольным, государь?
На перекрестках мед и брага льются,
Все войско ты осыпал серебром.
Кому ж не быть довольным. Только, царь,
Не знаю, как тебе и доложить.
На Балчуге двух смердов захватили,
Во кружечном дворе. Они тебя
Перед толпой негодными словами
Осмелились поносить.

Борис: Что сделала толпа?

Шуйский: Накинулась на них: чуть-чуть на ключья
Не разнесла, стрельцы едва отбили.

Борис: Где ж эти люди?

Шуйский: Вкинута пока
Обои в яму.

Борис: Выпустить обоих.

Шуйский: Помилуй, царь.

Борис: Не трогать никого.

Не страхом я — любовью хочу
Держать людей. Прослыть боится слабым
Лишь тот, кто слаб, а я силен довольно,
Чтоб не бояться милостивым быть.
Вернитесь к народу, повестите
Прощенье всем, — не только кто словами
Меня язвил, но кто виновен делом
Передо мной, хотя б он умышлял
На жизнь мою или мое здоровье.

Шуйский, кланяясь, уходит. Воротынский за ним. Борис остается один.

Борис: Надеждой сердце полнится мое,
Спокойное доверие и бодрость
Вошли в него. Разорвана отныне
С прошедшим связь. Пережита пора
Кромешной тьмы, — сияет солнце снова, —

И держит скиптр для славы и добра
Лишь царь Борис, — нет боле Годунова.

Шуйский и Воротынский спускаются по лестнице из Грановитой палаты. Садятся на коней.

Воротынский: Ну, так как же, отец? прислать чернецов?

Шуйский: Пришли пожалуй. Ин быть по-твоему: чем чорт не шутит.

Воротынский: Ну, хорошо. Поезжай к себе. Сейчас пришло.

Разъезжаются в разные стороны.

VII. ГРИГОРИЙ И ШУЙСКИЙ

Вечерний луч солнца сквозь круглые, в свинцовом переплете, грани оконной слюды падает на обитую золотою голландскою кожей стену, захватывая лысину Шуйского. Сидя за столом, он пишет.

Входит дьяк Ефимьев и кланяется в пояс.

Шуйский (продолжая писать): Что скажешь, Ефимьев?

Ефимьев: По твоему приказу, боярин, двух с патриаршего двора колодников привел.

Шуйский: Ладно. Веди сюда.

Ефимьев: Обоих?

Шуйский: Нет, одного, молодого.

Два стрельца с обнаженными саблями вводят Григория со связанными за спиной руками и кандалами на ногах.

Шуйский: Развяжите. (Развязывают). Кандалы снимите. (Снимают). Ступайте.

Ефимьев со стрельцами уходит.

Шуйский идет к двери, притворяет ее плотнее, возвращается на прежнее место и с минуту молча смотрит на Григория.

Шуйский: Подойди.

Сделав два-три шага, Григорий останавливается.

Шуйский: Ближе, ближе. Кто ты таков?

Григорий: Чудовской обители инок, Григорий.

Шуйский: Роду какого?

Григорий: Галицких детей боярских Смольных — Отрепьевых.

Шуйский: Жив отец, мать?

Григорий: Померли.

Шуйский: Значит, сирота?

Григорий: Кроме Бога никого.

Шуйский: Зачем в монахи шел?

Григорий: Душу спасти.

Шуйский (помолчав): Слушай, Григорий, мне тебя жаль. Что это тебе попритчилось? Как тебе в ум вступило, будто ты царь на Москве?

Григорий: Сам не знаю. Морок бесовский, чай, и от вина. Как первую чарку выпил, ума изступил, что говорил, не помню.

Шуйский: Было тебе какое видение? Ну-ка, вспомни...

Эх, дурачок, аль не видишь, что я тебе добра желаю? Может, и вызволю. Только все говори, запрешься — прямо отсюда в застенки. Так лучше добром. Ну-ка, сказывай, было видение?

Григорий: Было.

Шуйский: Какое?

Григорий: Лестница, будто, крутая, и я по ней всхожу. Все выше да выше, а внизу Москва, народ на площади... Я как сорвался, да полетел — и проснулся.

Шуйский: И все?

Григорий: Все.

Шуйский: А лестница куда?

Григорий: На башню.

Шуйский: Ой ли? Не на престол ли царский?

Григорий: Да, будто и на престол.

Шуйский: А на нем ты?

Григорий: Я.

Шуйский (помолчав): А что царевич Димитрий, может, жив, — другого де младенца зарезали, — слышал о том?

Григорий: Слышал.

Шуйский: И верил?

Григорий: Коли верил, коли нет.

Шуйский: А теперь?

Григорий: Теперь, как скажешь, так и поверю.

Шуйский: Вишь, какой пряткий. Хочешь на меня взвалить? А может, и я...

Смотрит на него долго молча. В комнате такая тишина, что слышно, как муха жужжит на оконной слюде.

Шуйский вдруг встает, подходит к Григорию, берет его за руку, ведет к окну, поворачивает лицом к свету, вглядывается и проводит по волосам его рукою.

Шуйский (тихо, как будто про себя): Жесткие, курчавые, рыжие с подрусинной, очи голубые с празеленью, да чуть-чуть с косиной, и на щеке бородавка, точка в точку, Что за диво. Ну-ка, ворот раскрой маленько.

Григорий, быстро подняв руку, прижимает ворот к шее. Шуйский отводит руку его, откидывает ворот и тихо ахает.

Шуйский: Родинка, родинка на том самом месте, как раз. Что ты, что ты на меня так смотришь? Что дрожишь? (Отступая): Кто ты такой, кто ты такой? Откуда взялся? Аль и впрямь... (Опять подходит и, положив ему руки на плечи, приблизив лицо к лицу его, — чуть слышным шопотом):

Дмитрий Иваныч, — ты?

Григорий пятится к столу, откинув руки назад, хватается за стол, вдруг опускает голову, закрывает глаза и падает на пол.

Шуйский (глядя на него с брезгливой усмешкой): Эх, баба. Ну, где такому в цари?

Идет к поставцу, берет кувшин с квасом, наливает ковш, возвращается к Григорию, наклоняется над ним. Григорий, очнувшись, открывает глаза.

Шуйский (приподняв голову и поднося ковш ко рту): Да чтой-то опять с тобой содеялось? Часто ли так? Уж не падучая ли, оборони Боже, как у того?

Григорий (сев на пол и закрыв лицо руками): Ох, не могу... Не мучай меня ради Христа, отпусти... Лучше в застенке плетью да каленым железом, чем так!

Шуйский: Что ты, что ты, сынок. Все ладно, отпущу сейчас. Ну-ка, встань, дай помогу, вот так! Отдохни.

Хочет его усадить, но Григорий вдруг, совсем очнувшись, вскакивает и проводит рукой по лицу.

Григорий: Ох, прости, боярин. Я, кажись...

Шуйский: Ништо, ништо, родной. Все ладно, отпущу сейчас. Небось, никто тебя не тронет. Три денька поживи в обители, а я погадаю, подумаю. (Вдруг изменившимся голосом, грозя ему пальцем): Только смотри у меня, смирно сиди, три дня. Понял?

Григорий: Понял.

Шуйский (подойдя к двери и открыв ее): Ефимьев!

Входит Ефимьев.

Шуйский: Инока честного Григория в Чудов отвези и сдай о<тцу> игумену с рук на руки. Инок сей честной неповинен ни в чем. Смотри же, чтоб никто ему обиды не чинил. (Идет к столу и дописывает грамоту).

Ефимьев: Слушаю. А с другим как же?

Шуйский: И того отпусти. Грамоту отдай о<тцу> игумену. Ну, ступайте с Богом.

Григорий, поклонившись в землю, идет с Ефимьевым к двери.

Шуйский: Стой, погоди. (Отводит Григория в сторону, обнимает его, целует в голову и крестит): Храни тебя Господь. (На ухо шопотом): Верись, что Богу все возможно?

Григорий: Верю.

Шуйский: То-то, верь. Как знать, сон-то, может, и в руку. Чем чорт не шутит. Ну, с Богом, с Богом, ступай, Гришенька — Митенька.

VIII. БЕГСТВО ИЗ МОНАСТЫРЯ

Келья в Чудовом монастыре. Спят: Григорий на подмощенных досках, Мисаил на постелюшке на полу, Мисаил громко храпит. В окошечке чуть брезжит первый рассвет.

Григорий вдруг вскидывается, садится на постель, прислушивается. Тишина, только иногда далекие сторожевые крики. Григорий ложится опять, но тотчас совсем вскакивает, откидывает изголовье.

Вся сцена идет громким и чрезвычайно быстрым шопотом.

Григорий: Отец Мисаил, отец Мисаил.

Так как Мисаил не просыпается, он толкает его в бок.

Мисаил: Чего? Чего? Святители, угодники. Ни в чем я не повинен.

Григорий: Да прочнись, отец, я это. Кто в келью входил, ты видел?

Мисаил (протирая глаза): Свят, свят, свят. Никого не было. Кому в обители быть?

Григорий: А узел-то у меня под головой откуда взялся? Ты што ли положил?

Мисаил: Какой узел? Царица небесная, и то узел. А в узле-то что?

Григорий: А я почему знаю. Подкинута что-то.

Мисаил: Ты погляди. Мне чего страшиться, не мне подкинута.

Григорий (с опаской развязывает узел): Платье мирское... Кафтан... Отец Мисаил, мешок, а в мешке-то казна. Золотые.

Мисаил (машет обеими руками): Зачурай, зачурай. Искушение великое. Нечистая сила это, строит под тебя. Да воскреснет Бог и расточатся врази его.

Григорий: Да постой, тут еще грамота.

Подходит к окошечку, где уже стало чуть светлее, и читает, наклонясь, про себя, пока Мисаил, торопливо шепча молитвы и крестясь, осматривает и трясет мешок.

Григорий (читает тихо): “Наказ... царевичу Димитрию... уходить тайно в Литву... А там будут ему в помощь верные люди... А с уходом сим чтобы не медлить...” (Останавливается). Вот оно что...

Мисаил: Да говори, сказано то как в грамоте?

Григорий: Наказ это... уходить мне. А то плохо будет.

Мисаил: Мать Пресвятая Богородица. Утекли мы единожды от злодеев, так опять они на нас яко львы. Уходить так уходить, я готов.

Григорий (быстро собираясь, пряча мешок): А ты то куда? Про тебя ничего не сказано.

Мисаил (тоже что-то собирая): Как куда? А я и не думаю, — куда ты, туда и я. А то, как ты с казной утечешь, мне что, одному оставаться ответ держать? Нет, вон из блата сего смрадного, от ищущих поглотить ны.

Григорий (уж совсем готов): Ну ин тащись, отче, да поторапливайся.

Мисаил: Мы тишком, молчком, по стеночке. Как мухи пролетим. Ну, Господи благослови. Заступница Казанская, Пресвятая Матерь Божия и все святые угодники...

Тихо выходят. В светлеющих зоревых сумерках крадутся по монастырским переходам. Вот они в ограде. Кое-где уже ударили колокола. Когда чернецы подходят к воротам, ударяет густо и Чудовский колокол к заутрени.

Привратник отлучился на одну минуту: надо спешить. Оглядываясь, путники пробираются к воротам и благополучно выскальзывают за калитку. Москва гудит колокольным звоном.

IX. ПИСЬМО НУНЦИЯ

Палата с низкими сводами, с византийскою росписью по стенам. Но на этой росписи, на главной стене — большое католическое распятие черного дерева с Христом из слоновой кости. Стол под ним покрыт темно-фиолетовым бархатом, на нем высокие католические светильники, священные сосуды, чаши, дароносицы, остензории и т.д. Вокруг служки в белых кружевных накидках с серебряными колокольчиками в руках.

Отец Игнатий, секретарь Рангони, читает молитвенник.

Входит Рангони, преклоняется перед распятием, творит молитвы. Слышна органная музыка и тихое пение.

Окончив молитвы, Рангони подымается. Жестом отсылает служек.

Рангони (о<тцу> Игнатию): Я должен продиктовать вам важное письмо кардиналу Боргезе.

О<тец> Игнатий садится и приготавливается писать.

Рангони (диктует): Прошу Ваше Преподобие доложить Святейшему отцу о свидании моем с царем Борисом. Я передал поздравление Его Святейшества, а также пожелания его о соединении церквей. Но на сие последнее царь Борис, подобно всем упорным и невежественным схизматикам московским,

ответствовал мне лукаво и уклончиво. Я имею, однако, другие, лучшие вести. Сын царя Иоанна, прямой наследник московского престола царевич Димитрий, почитавшийся убитым, Божьим чудом спасен. Ныне, при нашем содействии, он имеет быть отправлен, до времени, в Литву. Мы уповаем, что Святейший отец примет его под свое высокое покровительство, о чем известит и короля Сигизмунда польского, верного сына святой нашей церкви. Сей воскресший Димитрий, возсев на престол своих предков, будет нам великой помощью во святом деле возвращения Московских схизматиков в лоно единой апостольской Римской церкви. Аминь.

Берет письмо у о<тца> Игнатия, прочитывает его, подписывает и запечатывает своей печатью. Затем снова склоняется перед распятием. Слышны те же звуки органа, медленно затихающие.

Х. КОРЧМА

Корчма на Литовской границе. Григорий мирянином. Мисаил в виде бродяги чернеца.

Хозяйка подает на стол.

Григорий (хозяйке): Это куда дорога?

Хозяйка: В Литву, кормилец, к Луевым горам.

Григорий: А далече до Луевых гор?

Хозяйка: Недалече, к вечеру бы можно туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые пристава.

Григорий: Какие заставы?

Хозяйка: Да бежал кто-то из Москвы, Господь его ведает, вор ли, разбойник, только всех велено задерживать да осматривать. А что им из того будет? Будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога. Вот хоть отсюда свороти влево, да бором до часовни, в там уж тебе и Луевы горы. (Смотрит в окно): Вон, кажись, скачут. Ах, проклятые.

Григорий: Хозяйка, нет ли в избе другого угла?

Хозяйка: Нету, родимый, рада бы сама спрятаться...

Мисаил вдруг беспокойно и спешно схватился, запахивает подрясник, стягивает пояс на животе, озирается по сторонам и лезет тщетно на полати, но срывается, замечает вдруг большую кадку за дверьми, переваливается животом и скрывается в ней.

Григорий молча сидит у окна.

Входят пристава.

Пристав: Здорово, хозяйка.

Хозяйка: Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим.

Пристав: Э, да тут угощение идет. (Григорию): Ты что за человек?

Григорий: Из пригорода, в ближнем селе был, теперь иду восвояси.

Пристав: Хозяйка, выставь-ка еще вина. Мы здесь попьем да побеседуем.

Садятся за стол. Хозяйка приносит вино. Пьют. Один из приставов важно осматривает Григория.

1 Пристав (другому): Алеха, при тебе ли царский указ?

2 Пристав: При мне.

1 Пристав: Подай сюда.

Григорий: Какой указ?

1 Пристав: А такой: из Москвы бежал некоторый злой еретик. Слыхал ты это?

Григорий: Не слыхал.

Пристав: Не слыхал? Ладно. Приказал царь всех прохожих осматривать, чтоб того беглого еретика изловить и повесить. Знаешь ли ты это?

Григорий: Не знаю.

Пристав: Умеешь читать?

Григорий: Умею.

Пристав: Ну так вот тебе царский указ.

Григорий: На что мне его?

Пристав: А читай, коли умеешь. Вслух читай.

Григорий (читает): “Чудова монастыря недостойный чернец Григорий впал в ересь и дерзнул наученный диаволом возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось: отбежал он, окаянный Гришка, к Литовской границе...”

Пристав: Ну вот.

Григорий (продолжает): А лет ему, вору Гришке, от роду... (останавливается): за пятьдесят, а росту он средняго, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое.”

Пристав: Стой, стой. Что-то нам не так было сказано.

2 Пристав: Да помнится, сказано было: лет ему двадцать. А волосы рыжие, глаза голубые...

1 Пристав: А ты что же это читаешь нам? Забава тебе, что ли? Лоб плешивый, борода седая. (Шепчет про себя): Волос рыжий, глаза голубые...(Всматривается в Григория): Да это, друг, уж не ты ли?

Григорий вдруг выхватывает из-за пазухи кинжал. Пристава отступают, он бросается в окно.

Пристава: Держи. Держи.



Оба бегут к двери. Распахнув дверь, опрокидывают кадку. Оттуда вываливается белая громадная туша.

Туша (истошным голосом): Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Да бегут от лица Его все ненавидящие Его...

Пристава (Сначала остолбеневшие, беспорядочно кричат, набросившись на Мисаила, который все валяется на полу): “Да вот он, еретик-то! Гришка!” — “Да какой Гришка? — Борода, брюхо — какой Гришка?” — “Да кто ты, прах тебя возьми?” — “Да тот-то где, Гришка-то?”

Один пристав выбежал за дверь, кричит оттуда: “Алеха, Алеха. Сюды иди. Лови энтого. Брось ты чорта седого.”

Оставленный Мисаил подымается с полу. Кидается сразмаху в окно. Не может пролезть, причитает, ругается. Хозяйка сзади помогает. Наконец его просовывает. Слышно, как он шлепнулся за окном, оханье, потом бегущие шаги. Некоторое время в избе только плачущая и крестящаяся хозяйка. Потом опять вбегают пристава. Накидываются на хозяйку. Кричат наперерыв:

“Как провалился. Да и коней, коней нет. Коней увел. А этот-то где? Гришка-то?” — “Да какой он Гришка?” — “А чего он в муку залез, коль не Гришка? Ты куда монаха-то дела?” — и т.д., и т.д.

Хозяйка на все отвечает, плача, что знать ничего не знает и ведать не ведает. Пристава набрасываются друг на друга в полной растерянности.

В это время по лесной дороге скачет Григорий. Он далеко впереди. На втором коне — Мисаил, распластавшись, держась за гриву, весь еще в муке. Григорий скачет. Мелькнула часовня на Чеканском ручье. Дальше. Все на некотором расстоянии несутся кони. Наконец они почти вместе. А вот и Луевы горы. Литва.

БОРИС ГОДУНОВ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сцены XI—XIX

- XI. <Пимен> *
- XII. Бал у Мнишек
- XIII. У фонтана
- XIV. Борис и Марфа

* Заглавие части XI зачеркнуто чернилами.

- XV. Ставка Самозванца — Димитрий и Марина
XVI. Бой
XVII. Сцена с грамотой
XVIII. Сцена с призраком.
XIX. Смерть Бориса

XI.

Экран медленно светлеет. Виден аналой и руки Пимена, раз-
вивающего лежащий на аналое свиток. Рука пишет:

“... И царствовал так во славе Борис пять лет. Мудр был и
милостив и возвеличил Русь, как никто из царей. На шестой же
год сего славного царства некий недостойный чернец, по имени
Григорий, скрывавшийся на Литве от царского суда, объявил
себя сыном Иоанна Грозного, от руки убийц чудесно спасшимся
царевичем Дмитрием — единственным законным наследником
царей Московских.”

Экран темнеет. И снова проясняется. Другие руки — чертящие
карту. Возникает склоненная над столом фигура Феодора. Цар-
ский терем. Феодор за картой, его сестра Ксения за пяльцами.
Входит Борис.

Борис (к Ксении): Что, Ксения? Что, милая моя?

В невестах уж печальная вдовица,
Все плачешь ты о мертвом женихе.
(Ксения целует портрет)
Рассей печаль свою от дум тяжелых,
Душа моя, пойди в свою светлицу.
Прости, мой друг. Утешь тебя Господь.
(Подходит к Феодору).

А ты, мой сын, чем занят? Это что?

Феодор: Чертеж земли Московской. Наше царство
Из края в край.

Борис: Вот сладкий плод ученья...
Как с облаков, ты можешь обозреть
Все царство вдруг — границы, грады, реки.
Когда-нибудь, и скоро, может быть,
Достанется тебе все это царство.
Учись, мой сын.

Целует Феодора и остается в задумчивости над картой, кото-
рую держит в руке. Феодор, видя, что отец занят какой-то мыс-
лью и не желая ему мешать, тихо уходит.

Борис один в той же задумчивости, с картой в руке, начинает
петь.

Борис: Достиг я высшей власти...
Шестой уж год я царствую спокойно.

Но счастья нет моей измученной душе.
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной,
Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщенья,
Ни клики толп меня не веселят.
В семье своей я мнил найти отраду,
Готовил дочери веселый брачный пир,
Моей царевне, голубке чистой.
Как буря, смерть уносит жениха...
Тяжка десница грозного Судьи,
Ужасен приговор душе преступной.
Окрест лишь тьма и мрак непроглядный.
Хотя мелькнул бы луч отрады.
И скорбью сердце полно.
Тоскует, томится дух усталый,
Какой-то трепет тайный, все ждешь чего-то.
Молитвой теплой к угодникам Божиим
Я мнил заглушить души страданья.
В величьи и блеске власти безграничной,
Руси владыка, у них я слез просил мне в утешенье.
А там донос, бояр крамола,
Козни Литвы и тайные подкопы,
Глад и мор, и трус, и разоренье.
Словно дикий зверь, рыщет люд зачумленный.
Голодная, бедная стонет Русь,
И в лютом горе, ниспосланном Богом
За тяжкий грех во испытанье
Виною всех зол меня нарекают,
Клянут на площадях имя Бориса.
И даже сон бежит, и в сумраке ночи
Дитя окровавленное встает...
Очи пылают, стиснув ручонки,
Просит пощады... И не было пощады.
Страшная рана зияет,
(Речитативом)
Слышится крик его предсмертный.
О Господи Боже мой...

Входит Семен Годунов.

Семен Г.: Челом тебе, великий Государь,
Князь Шуйский бьет.

Борис: Позвать его сюда.

Семен (шопотом): Вечор от Пушкина холоп с доносом
Пришел на Шуйского с Мстиславским: ночью
Потайная беседа шла у них.

Борис: Гонец из Кракова к ним в дом приехал.
 Гонца схватить. Ага. Вот Шуйский князь.
 (Входит Шуйский).

Шуйский: Великий Государь, мой долг тебе поведать
 Весть важную для царства...
 (Приближается к Борису)

Борис: Не ту ли,
 Что Пушкину привез вечер гонец?

Шуйский: Все знает он... Мне ведомо лишь то,
 Что в Кракове явился самозванец.
 Король, паны и папа за него.

Борис: Что ж говорят? Кто этот самозванец?

Шуйский: Не ведаю.

Борис: Но... чем опасен он?

Шуйский: Конечно, царь, сильна твоя держава.
 Ты милостью, раденьем и щедротой
 Усыновил сердца твоих рабов.
 Но знаешь сам: бессмысленная чернь
 Изменчива, мятежна, суеверна...
 И если сей неведомый бродяга
 Литовскую границу перейдет,
 К нему толпу безумцев привлечет
 Димитрия воскреснувшее имя.

Борис: Димитрия? Как? Этого младенца?

Шуйский: Димитрия. (Про себя): Он ничего не знал.

Борис: Послушай, князь: взять меры сей же час,
 Чтоб от Литвы Россия оградилась
 Заставами, чтоб ни одна душа
 Не перешла за эту грань. Ступай.
 (Делает знак рукой):

Нет, погоди. Не правда ль, эта новость
 Затейлива? Слыхал ли ты когда,
 Чтоб мертвые из гроба выходили
 Допрашивать царей, царей законных,
 Назначенных, избранных всенародно,
 Увенчанных великим патриархом?
 Смешно? Ну, что ж ты не смеешься? А?
 Я, Государь?

Шуйский: Послушай, князь Василий,
 Когда младенец сей лишился жизни,
 Ты послан был на следствии; теперь
 Тебя крестом и Богом заклинаю,
 По совести мне правду объяви.
 Узнал ли ты убитого младенца?

Шуйский: Подмены не было ль? Царевич?
Он.

Борис: Подумай, князь. Я милостив, ты знаешь,
Но если ты теперь со мной хитришь,
Клянусь, тебя постигнет злая казнь,
Такая казнь, что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется.

Шуйский: Не казнь страшна, страшна твоя немилость,
Перед тобой дерзну ли я лукавить?
В соборе, в Угличе, три дня подряд,
Я труп убитого младенца посещал.
Глубокая не запекалась язва,
Но детский лик царевича был светел.
Нет, Государь, сомнений нет, Димитрий
Во гробе спит.

Борис: Довольно, удались.
(Шуйский уходит).

Борис: Ох. Тяжело. Дай дух переведу...
Я чувствовал, вся кровь моя в лицо
Мне кинулась и тяжело опускалась...
“Убит, но жив”. Свершилось предсказанье.
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
Все снилось убитое дитя.
Да, да, вот что. Теперь я понимаю.
Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? Пустое имя, тень...
Ужели тень сорвет с меня порфиру?
Безумец я... Чего я испугался?
На призрак сей подуй — и нет его...
Так, решено: не окажу я страха...
Но презирать не должен ничего...
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха.

ХII. БАЛ У МНИШЕК

Замок Сендомирского воеводы, Юрия Мнишек, в Самборе. Ряд освещенных зал. Бальная музыка. Полонез. Пары танцующих кавалеров и дам. В первой паре Димитрий с Мариной.

Полонез кончается. Музыка играет мазурку. Среди танцующих на первом плане Димитрий и Марина. Трое панов, глядя на танцующих, беседуют.

Пан Станислав (указывая на Марину с Димитрием): Нашей-то панночке вон как не терпится: крунку алмазную да горностаеву мантийку вздела, поскорее бы в царицы московские.

Пан Иордан: А молодец-то пляшет недурно. Где научился так скоро?

Ян Замойский: Пять лет не скоро, а где — то у наших же святых отцов: доки на все, Богу молиться и чорту плясать.

Пан Станислав: Воля ваша, паны, а я все гляжу на него, да в толк не возьму, кто он такой. Шутка сказать, сам папа признал. Может, и вправду царевич. Вон все говорят, вместо него другого младенца зарезали...

Ян Замойский: Кто говорит? Москали набрехали, а мы и уши развесили. Что за Плавтова комедия, помилуйте, велено было царевича убить, а убили куренка.

Пан Станислав: Да этот-то, этот-то кто же? Оборотень, что ли?

Ян Замойский: А чорт его знает. Беглый монах, хлоп Вишневецких, аль сам бес во плоти. Лучше знают про то отцы иезуиты, — их стряпня, их и спрашивай.

Пан Иордан: А я, панове, так полагаю, не в обиду будь сказано вашей милости. Кто он такой, нам горя мало. Сколько было примеров, что Бог возвышал из подлого звания людей: царь Саул и царь Давид тоже не белая кость. Так и этот, кто бы ни был, есть Божье орудье. Будет нам польза и слава немалая, как посадим его на московский престол: тут-то и запляшут москали под нашу дудку.

Ян Замойский: Кто под чью дудку запляшет, пану Богу известно, а войну затевать из-за вора, лить за плута польскую кровь, чорта делать орудием Божиим — всему честному шляхетству позор.

Появляется о<тец> Мисаил.

Пан Станислав (указывая на него): А вон и Силен краснорожий, Дон Кихота московского Санчо Панса верный.

О<тец> Мисаил, с подстриженными волосами и бородой, в слишком для него узком опарантового бархата польском жупане, в желто-шафрановых атласных штанах в обтяжку, с необыкновенно важным видом проходит мимо, останавливается в стороне и смотрит, как Димитрий, после мазурки, усаживает Марину.

Марина (обмахиваясь веером): Уф, закружили, с вами беда. А кто пана мазурке учил?

Димитрий: О<тец> Алоизий.

Марина: А фехтовать?

Димитрий: Он же.

Марина: А вирши писать?

Димитрий: О<тец> Игнатий.

Марина: Видно, святые отцы не забыли шляхетского звания. Ну да и пан, должно быть, ученик прилежный.

Димитрий: Панни Марина, я давно хотел вам сказать...

Марина (перебивая): Завтра в поход?

Димитрий: Да, завтра... Но я не могу расстаться с вами, быть может, навеки, не сказав вам всего, что...

К Марине подходит кавалер и приглашает ее на танец.

Марина (тихо Димитрию): Хорошо, сегодня, после бала, в липовой аллее у фонтана.

Быстро встает и уходит с кавалером. Димитрий остается сидеть.

О<тец> Игнатий (подойдя к нему сзади на цыпочках и наклоняясь к уху его): Как наши дела, мой сын? (Присаживаясь): Ждем короля с минуты на минуту. Помнишь ли все, что я тебе говорил: вольный пропуск ксендзов на Москву, строение костелов, права Иисусова братства, и корень, корень всего, не забудь, воссоединение церквей под верховным главенством Рима... А вот и монсиньор.

Папский нунций Рангони, в кардинальской фиолетовой шапке и мантии, появляется в дверях.

О<тец> Игнатий: Ну, помоги тебе Господь. Ступай, сын мой, ступай с Богом.

Димитрий подходит к нунцию и преклоняет колени. Тот благословляет его. Слышатся трубы, сначала далеко, потом все ближе и ближе. Бальная музыка стихает. Пары перестают кружиться. Движение в зале.

Все: Король, король.

Двери на парадную лестницу открываются настежь. Хозяин дома, князь Мнишек, с ближними панями и шляхтою, идет навстречу королю. Слуги стелют к дверям дорожку алого бархата, дамы усыпают ее зелеными лаврами и белыми розами.

Польские гусары, гайдуки, алебардчики строятся в два ряда по лестнице. Трубы трубят, музыка играет триумфальный марш.

Входит король Сигизмунд. Нунций, взяв Димитрия за руку, подводит его к королю. Димитрий преклоняет колено.

Нунций: Ваше Величество, я счастлив представить вам, с благословения Святейшего отца, законного Московских государей наследника, чудом от руки злодеев спасенного, царевича Димитрия, сына Иоаннова.

Сигизмунд (подняв Димитрия, обнимая его и целуя): Счастливы и мы, брат наш возлюбленный, принять тебя под сень державы нашей. Бог да поможет тебе вступить на прародительский престол.

Марина (подавая королю на золотом подносе кубок): Меду нашего Самборского отведай, пан круль.

Сигизмунд (поцеловав Марину в голову, взяв кубок и поднимая его): Здравие великого государя Московского Димитрия, сына Иоаннова.

(Выпив кубок до половины, передает его Димитрию): Пей и ты, брат наш. Вместе да будут наши сердца, как вместе мы пьем этот кубок.

Димитрий (подымая кубок): Здравье короля Сигизмунда. Братских народов, Литвы и Руси, вечный союз.

Все (махая платками): Виват. Виват. Виват.

Мисаил (пробиваясь ближе к Димитрию, громче всех, таким оглушительным ревом, каким в Московских церквях режут протодиаконы): Благоверному великому государю нашему Димитрию Ивановичу — многия лета. (Ян Замойский обрывает его, закрывая ему рот ладонью).

Все (подымая руки): Виват, виват, виват.

ХІІІ. У ФОНТАНА

Ночь. Круглая большая луна над садом в осеннем уборе. Тихо, без шелеста падают иногда листья с верховых деревьев на площадку, где белеет фонтан. Очень светло, как всегда в лунную ночь осенью. Фонтан журчит, брызги разноцветно переливаются в лунных лучах.

Входит Димитрий. Оглядывается. Потом садится на широкую каменную скамью, против фонтана. Опять прислушивается. Но все тихо, только журчит фонтан. Димитрий замечает на скамье забытую лютню. Берет ее, задумчиво перебирает струны. Начинает напевать:

Наш святой Себастьян,
Сколько стрел, сколько ран,
Как земля под ним кровава...
Но и в муках Себастьян
Горним светом осиян.
Слава.
Палачи ему грозят,
Стрелы лютые разят.
Искушают палачи:
“Себастьян, не молчи,
Себастьян, открой уста,
Отрекись от Христа”.
Но в очах небесный свет,
И на все один ответ:
“Отрекаешься ли?” — “Нет!”
Слава.

Марина в это время выходит из-за деревьев. Димитрий ее не видит. Неслышно она подходит к нему ближе. На плечах у нее накинута соболья шубка. Димитрий вскакивает.

Димитрий: Марина, ты. Наконец-то. Уж думал, не придешь...

Марина: А хорошая песенка, царевич. Моя любимая. Только ты не кончил. Аль забыл?

Берет у него из рук лютню, садится на скамью и доканчивает песню:

Панни, панночка моя,
Себастьян — это я.
От твоих нежных рук
Жажду ран, жажду мук.
Быть живой мишенью стрел,
Так и мне Господь велел,
И моя стезя кровава...

Сколько ран, сколько бед,
И на все один ответ:
“Отрекаешься ли?” — “Нет”.
Мучься, плоть, лейся, кровь,
Умираю за любовь, —
Слава.

Димитрий (берет ее за руку): Да, да, так. Умираю за любовь.

Только это одно и помню.

Марина: Царевич...

Димитрий: Ждал тебя... И вот ты пришла, ты одна со мною...

Дай же высказать все, все...

Марина: Постой, царевич. Не для речей любовных назначила я тебе здесь свиданье. Верю, любишь... Но слушай: с твоей судьбой, неверной и бурной, я решилась соединить свою: открой же мне твои тайные надежды, намерения и опасенья. Я не хочу быть безмолвной рабой, покорной наложницей. Я хочу быть достойной супругой, помощницей Московского царя.

Димитрий: О дай мне забыть хоть на единый час мои тревоги.

Забудь и сама, что я царевич, помни только любовь мою...

Марина: Нет, Димитрий. Я почла бы стыдом для себя забыть в обольщении любви твое высокое назначение. И тебе оно должно быть дороже всего. Ты медлишь здесь у ног моих, а Годунов уж принимает меры.

Димитрий: Что Годунов? Что трон, что царственная власть? Жизнь с тобой в бедной землянке я не променяю на царскую корону.

Марина: Слыхала я не раз такие речи безумные. Но от тебя их слушать не хочу. Знай: отдаю торжественно я руку не юноше, кипящему любовью, а наследнику Московского престола, спасенному царевичу Димитрию...

Димитрий (встает): Как? Постой, скажи... когда б я был не царской крови, не Иоаннов сын... любила б ты меня?

Марина: Ты — Димитрий, и любить другого мне нельзя.

Димитрий: А если я — другой? Меня, меня бы ты не любила? Отвечай.

(Марина молчит). Молчишь? Так знай же, твой Димитрий давно погиб, зарыт и не воскреснет.

Марина (тоже встает): А кто же ты?

Димитрий: Кто б ни был — я не он.

(Марина закрывает лицо руками) Но кто бы ни был я, я тот, кого ты избрала и для кого была единой святыней... Решай теперь... Я жду.

Марина открывает лицо и делает шаг назад.

Марина: Нет, я видела немало панов ясновельможных и рыцарей коленапоклоненных, и отвергала их мольбы не для того, чтобы неведомый...

Димитрий (вскакивает): Довольно. Вижу, вижу. Стыдишься ты не царственной любви. Ты шла сюда к царевичу, к наследнику престола, любила мертвеца. Я с ним делиться не хочу. А любви живого ты не достойна. Прощай.

Марина: Все выболтал, признался... для чего? Кто требовал твоих признаний, глупый. Уж если предо мною так легко ты обличаешь свой позор, не диво, коль пойдешь болтать и каяться пред всеми.

Димитрий: В чем каяться, кому? Тебе одной моя любовь открыла тайну.

Марина: А если я сама ее открою всем?

Димитрий: Открой пожалуй. Кто тебе поверит? Я не боюсь тебя. Что нужды королю, шляхетству, папе, — царевич я иль нет? Я им предлог раздоров и войны — им большего не нужно от меня... Но тайная судьба меня ведет. Я — не Димитрий? Что знаешь ты. Вокруг меня волнуются народы, дрожит Борис, мне обречен на жертву. И что бы ни сулила мне судьба, гибель иль венец...

Марина: Венец, тебе?

Димитрий: Да, мне. И может быть, ты пожалеешь когда-нибудь любви отвергнутой моей...

Марина: Но я любви твоей не отвергала, царевич. Вступи лишь на престол...

Димитрий: Нет, панни: купленной любви не надо мне. Вот женщины. Недаром учат их бежать отцы святые. Змея, змея. Гляди: и пугает, и вьется, и ползет, шипит и жалит... Нет, легче мне сражаться с Годуновым или хитрить с придворным иезуитом, чем с женщиной. Чорт с ними, мочи нет... Но решено, заутро двину рать.

Марина: Постой, Димитрий, не понял ты...

Димитрий: Все понял, все. Узнал тебя. А ты... ты не узнаешь век, царевич ли тебя любил, или другой, бродяга безымянный... Как хочешь, так и думай. Теперь, хотя бы ты сама любви моей молила, я не вернусь.

Уходит.

Марина (кидаясь к нему): Погоди, постой.

Садится на край фонтана, задумывается: видно, что она приняла какое-то решение.

XIV. БОРИС И МАРФА

1.

Царский покой. Борис за столом, покрытым бумагами. Бояре, сановники, приближенные (кроме Шуйского). Около стола Семен Годунов.

Семен Годунов: Государь, мать Димитрия, царица инокиня Марфа, что по твоему указу во дворец привезена, ждет тебя в своем молитвенном покое.

Борис: Хорошо. (Молчание). Ты слышал вести. Что ты скажешь?

Семен: Неладно, царь.

Борис: Безумные, бессмысленные вести. Но это так. Неведомый обманщик, дерзкий вор, под именем Димитрия идет на нас войною с шляхтою литовской. Кто он, сей чудный самозванец? Нам презирать его нельзя. Он именем ужасным ополчен. Пока мы перед всеми его не обличим, — он будет Димитрием спасенным в глазах толпы. Не должно медлить. (Встает). Ему достойную мы встречу приготовим. Сегодня же отправить Салтыкова Туренину на помощь и сказать, чтобы живым или мертвым на Москву доставлен был тот дерзкий вор. А вдовая царица Марфа даст крестное перед народом целованье, что сын ее, царевич, во гробе спит. (Идет к двери). Останься, бояре, с царицею не долгая беседа. (Уходит).

Воротынский (затворяя за царем дверь, про себя): Дай Бог, чтоб миром кончилась она.

Из других дверей появляется Шуйский, кланяется боярам и отходит в сторону с Воротынским.

Шуйский (Воротынскому): Где государь?

Воротынский: Пошел к царице Марфе. Заставить хочет он ее дать клятву пред народом, что мертв царевич.

Шуйский: Умен. Да только тщетно все. Димитрий жив: воскрес в народе он. Сам и не сам. Неуловим, как тень. И ни убийц к нему не подослать, ни пушками его не уничтожить.

2.

Дальний покой во дворце. Инокиня Марфа перед образницей, у аналая, читает псалом. Входит Борис, останавливается. Марфа продолжает чтение некоторое время, кончив — закрывает книгу, оборачивается.

Борис (с поклоном): Царица Мария Феодоровна, бью челом.

Марфа: Царица по указу твоему пострижена. Здесь инокиня Марфа.

Борис: Обет не умаляет званья твоего. Я пред тобой благоговею как и ране.

Марфа: Благодарю.

Борис: Царица, до тебя уж весть дошла...

Марфа: Что сын мой отыскался? Дошла, дошла. Когда Димитрия увижу я?

Борис: Царица, что ты? Сама ты знаешь, что сын твой...

Марфа (живо): Зарезан в Угличе? Зарезан, ты сказал? Но я тогда лишилась чувств. Царевича я мертвым не видала.

Борис: Его весь Углич видел мертвым.

Мапфа: Я — не видала. На панихиде слезы мне глаза мрачили... И был ли то мой сын, или другой...

Борис (сдерживаясь): Другой?

Марфа: Пути Господни неисповедимы. Убитый отрок — был ли он мой сын? А ежели царевич (пристально смотрит на Бориса) от руки твоей чудесно спасся?

Борис: Ужель ты вправду веришь, что жив твой сын? Скажи тогда, как спасся он? Кем был из Углича похищен? И где доселе скрывался?

Мапфа: Я боле не промолвлю слова. Да совершится праведный Господний суд. В народе говорят: Димитрий идет с войсками ныне на Москву. Мне сказаны его приметы. И ведай, царь Борис: когда его увижу, — за сына моего я перед всей землей его торжественно признаю и клятву дам...

Борис: Безумная. Волчица. Берегися.

Марфа: Не пыткой ли грозишь. Все пытки злейшие я от тебя перенесла давно, и новых не боюсь. (Стоит перед ним во весь рост, вытянув руку вперед, как бы в забытии). Пытай,

казни. Он, мститель, близко, близко. Вот открываются пред ним Кремлевские ворота... Победные блистают стяги... Я слышу плеск народный. Димитрий, сын мой — царь. А ты... отяготела над тобой десница Божья...

Стоит, не сводя с него глаз. Взор Бориса тоже как бы прикован к ней. Он медленно отступает к двери, пока дверь не открывается.

Марфа (одна): Ушел... и в сердце жало жгучее уносит...

Прости, мой сын, что именем твоим

Я буду звать безвестного бродягу.

Чтоб отомстить злодею твоему,

На твой престол он должен сесть...

Ты ж, для венца рожденный,

Лежишь во тьме и холоде.

Не время твои пресекло дни...

Ты мог бы жить, но ты убит,

Убит мой сын, убит, убит мой Димитрий. (Плачет).

3.

Тот же покой Бориса. Бояре в ожидании царя, переговариваются вполголоса. Шуйский и Воротынский продолжают в стороне беседу.

Шуйский: Царь все нейдет. Я чаю, нелегко заставить мать служить убийце сына.

Воротынский: Нет, не умен. Сам гибели своей спешит навстречу: что бы ни сказала царица Марфа, все ее слова — ему как яд смертельный...

Семен Годунов: Царь идет.

Входит Борис. Он бледен, со странным, то пустым, то вдруг загорающимся взором. Тяжело садится в кресло. Несколько мгновений молчит. Потом медленно, как будто про себя, начинает.

Борис: Прошла пора медленья. Сдержать народ лишь строгостью можно неусыпной. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец. Да, милости не чувствует народ. Твори добро — не скажет он спасибо. Грабь и казни — тебе не будет хуже. (Задумывается. К Шуйскому): Что, боярин, не утихают толки? Прямо говори.

Шуйский: Нет, государь. Уж и не знаешь, кого хватать. Повсюду та же песня: хотел, де, царь Борис царевича извести, но Божьим чудом спасся он и скоро будет.

Борис (порывисто поднимается): Рвать им языки. Не тем ли устращивать меня хотят, что много их? Хотя бы сотни тысяч, всех

молчать заставлю, всех перед собой смирю. Зовут меня царем Иваном? Так я ж не в шутку им его напому. Меня винят упорно, так я ж упорно буду их казнить. Увидим, кто устанет прежде.

Поворачивается и уходит, среди гробового молчания. Все неподвижно замерли. После мгновения тишины:

Шуйский: Так я и знал. Пощады никому. Казнь кличет казнь...

И чтоб кровь первых не лилася даром,
Топор все вновь подьмелется к ударам.

XV. СТАВКА САМОЗВАНЦА. ДИМИТРИЙ И МАРИНА

1.

Богатая усадьба близ реки Десны, под Новгородом Северским, где стоят войска Димитрия, готовясь к бою. Ранняя зима. Лежит снег еще не глубокий. Шатер Димитрия (главная ставка) находится ближе к войскам, на другом берегу, но он проводит с приближенными ночь в усадьбе.

Внизу с крыльца — громадные сени, в глубине которых широкая мраморная лестница. Посередине большой стол. На нем карта. Димитрий стоит, склонившись над нею. Около него его приближенные: русские бояре, к нему перешедшие, поляки, все одеты по военному. У дверей стража, солдаты, Мисаил в военном кафтане, с кожаным поясом на пузе, с пистоллями и кинжалом.

Димитрий: Так решено: завтра на заре бой. Чтобы все были вовремя на своих местах... Сказывали, взят пленный. Вести его ко мне.

Вводят русского пленника.

Димитрий: Ты кто?

Пленник: Московский дворянин Рожнов.

Димитрий: Не совестно тебе, Рожнов, против меня, законного государя, руку подымать?

Рожнов: Да не слишком нынче смеют о тебе говорить. Кому язык отрежут, а кому и голову. Что ни день, казни. тюрьмы битком набиты.

Картина переходит в картину без слов. Видна Москва. Большая торговая площадь внутри Китай-города. Множество виселиц. Среди них несколько срубов с плахами. Немного подале, на перекладине между столбов, висит огромный железный котел. С другой стороны срубов торчит одинокий столб с приделанными к нему цепями. Вокруг столба работники наваливают костер. Между виселицами — всякие другие орудия неизвестного назначения.

Улицы опустели, лавки закрылись, народ попрятался. Мертвая тишина. Ни звука, лишь говор распоряжающихся работами, да немолчный стук плотничьих топоров. Ночь, затихли и эти звуки. Месяц, поднявшись из-за зубчатых стен Кремля, освещает безлюдную площадь, всю взъерошенную кольями и виселицами. Ни огонька в домах, ставни закрыты. Лишь кое-где теплятся лампы у наружных образов церквей.

Спят люди. Нет, молятся, ожидая рассвета. Рассвет. Карканье ворон и галок, стаями слетаются они на кровь, кружатся над площадью, черными рядами унижают церковные кресты, князьки, гребни домов и виселицы. Отдаленный звон бубен и тулумбанов. Это начало, с рассветом, казней (но их не видно)...

Все это снова переходит в прежнюю картину.

Пленник: Лазутчики так и вьются повсюду, чуть что — донос. Лучше уж молчать.

Димитрий: Завидна жизнь Борисовых людей. У меня того не будет. Свобода будет в моих владениях. (К Рожнову). А войско что? Много ли его?

Пленник: Да наберется тысяч пятьдесят.

(Димитрий делает знак, чтоб увели пленника. Его уводят.)

Пан Вишневецкий (Димитрию и боярину Шеину): А нашего-то будет всего пятнадцать тысяч.

Димитрий не отвечает.

Боярин Шеин (Вишневецкому): Ошибся ты, нашего и пятнадцати нету.

Вишневецкий: Плохо дело.

Димитрий: Что? Уж не мните ли вы, что в том моя забота?

Шеин: Нет, государь. Что до меня, — я знаю, мы сильны, и знаю, чем сильны: не войском, не польскою помощью, а мнением, — да, мнением народным. В имени твоём сила твоя.

Димитрий (встает): Ты хорошо сказал, боярин. Ну, друзья, чуть свет на завтра бой. Будьте готовы.

Мисаил в углу охает: Ишь, расхрабрился. На эдакую-то силищу прет, и горя ему мало. Ну, да ладно, побьемся, посмотрим, чья возьмет.

В эту минуту входит один из стражников, быстро идет прямо к Димитрию.

Стражник: Государь, от литовской стороны гонец к тебе.

Димитрий: Гонец, а от кого?

Стражник: Да не признается. К самому, мол, царевичу, и дело неотложное.

Димитрий: Проводить ко мне наверх. Я сейчас туда буду.

Большая богато убранная комната. У стены большой диван с наброшенным меховым одеялом. На полу несколько медвежьих шкур. Одна у небольшого мраморного камина, где трещат наваленные толстые поленья. На столе, что близ узкого подъемного окна, горит золотой трехсвечник. Стражник вводит стройного маленького гусара и оставляет его одного. Гусар подходит к камину, протягивает руки к огню.

Входит Димитрий, запирает дверь и останавливается у порога. Гусар оборачивается. Несколько минут они молча смотрят друг на друга.

Гусар: Димитрий, это я. (Снимает шубу и остается в темном мужском платье).

Димитрий бросается вперед, но внезапно останавливается на середине комнаты.

Димитрий: Безумная. Что ты затеяла? Что хочешь от меня?

Марина: Только быть с тобой. Опасности с тобой разделять. И если ты погибнешь — умереть с тобою.

Димитрий: Скажи, пожалуй. Как заговорила. Да ладно, я речам полячки хитрой веры не даю. Явилась как сюда?

Марина: Я — здесь, довольно было б этого для веры. Прознав, где ты, я отчий дом покинула тайком.

Димитрий: Смела, хоть женщина. Да в толк я не возьму, почто старалась? Отряжу сейчас людей надежных, они домой тебя доставят.

Марина: Тому не быть. (Делает шаг к нему). Димитрий, не для того летела я к тебе...

Димитрий: Ко мне? К царевичу престола? Опять ты за свое — аль память коротка? Нет, панночка, мне нынче недосуг. И песенки твои не время слушать.

Марина (подбегает к нему и хватает его за руки): Не правду говоришь, лукавишь. Я по веленью сердца шла, опасности презрев. Взгляни мне в очи... я тебя люблю. Тебя, а кто ты — что мне нужды.

Димитрий: Марина... Нет, я обольщениям обмана боле не поддамся. Над сердцем взял я силу не напрасно...

Марина (смотрит ему в лицо, все ближе): Да, ты силен, ты горд. А сильным Бог владеет. Ты победил надменную Марину.

Димитрий: Нет, оставь меня, уйди.

Марина: В твоей навеки власти. Я от любви не отрекусь...

Склоняется к нему и начинает петь песню, которую пела у фонтана. В конце концов Димитрий ее обнимает. Объятия сжимаются теснее.

Экран медленно темнеет.

XVI. Б О Й

1.

Ночь перед боем в стане Московцев. На высоком кургане, откуда днем открывается вид на всю окрестность, а сейчас, сквозь сырой туман, видно только бледное зарево костров в стане Дмитрия, — воеводы Салтыков и Туренин отдают собравшимся около них вестовым и сотникам последние распоряжения перед боем.

Чуть светает. Туренин берет подзорную трубу и наводит ее на стан неприятеля.

Салтыков: Ну, что?

Туренин: Все тихо. Спят еще ляхи.

Салтыков (с усмешкой): Небось разбудим. (К сотникам): Отдать приказ по всем частям, чтоб готовились к бою. Живо. (Подзывая вестового): Атамана казачьего — сюда ко мне.

Вестовой и сотники садятся на коней и пропадают в тумане. Туренин продолжает, через подзорную трубу, внимательно обозревать окрестность.

Туренин: А рать-то у врага не велика. И половины нашей не будет.

Салтыков: Дай-то Бог обрадовать сегодня царя Бориса Феодоровича.

2.

Комната в доме, где проводит ночь Дмитрий. Узкий четырехугольник окна чуть голубеет снежным рассветом. Марина на диване спит, откинув меховое одеяло. У ног ее, положив растрепанную голову на диван, спит Дмитрий.

Лицо его спокойно-серьезно, точно такое же, какое было у спящего, в келье Пимена, инока Григория.

3.

Тем временем в стане Московцев продолжают готовиться к бою. Посланный за атаманом вестовой вернулся, исполнив поручение. Небольшого роста, толстый, с длинными седыми усами и таким же чубом казак — атаман запорожских войск — еле переводя дух от слишком быстрой езды, соскакивает с коня и с низким поклоном подходит к Салтыкову.

Салтыков (глядя на него пристально): Готовы что ли казаки?

Атаман: Да уж давно.

Салтыков: Так помните же: как двинется рать, так прямо, с левого фланга, в атаку, неприятелю в тыл, чтобы отступление ему отрезать. Понял?

Атаман: Уж будь покоен, боярин. Послужим царю Борису Феодоровичу.

Салтыков: Ну, с Богом. (Вестовому): Всем трубить атаку.

Вестовой с атаманом садятся на коней и быстро ускакивают. Раздаются звуки рогов — сначала вблизи, потом все более издалека. К ним присоединяется бой барабанов, ржанье коней, стук копыт. Рать двинулась на бой.

4.

От слышных издалека звука рогов и барабанного боя Дмитрий, наконец, просыпается. Он быстро вскакивает, не понимая в первую минуту, что случилось. Но заметив спящую Марину, приходит в себя, бросается к окну и смотрит. Потом накидывает доломан и хочет идти к двери. Но увидав, что Марина непокрыта, возвращается, покрывает ее, целует и осторожно выходит из комнаты. Марина продолжает спокойно спать. На лице ее тихая улыбка.

Зимние, оттепельно-темные предутренние сумерки на лесной, мелким и частым ельником окруженной поляне, с болотными под снегом кочками, на крутом берегу Десны, у Новгорода-Северского. Близкие, черные на сером небе, крестики еловых верхушек и золотые, далекие кресты церковных маковок.

Белка, сидя на елке и прямо подняв над головой пушистый хвост, грызет еловую шишку. Тетерев, прыгая с кочки на кочку, клюет кораллово-красные ягоды подснежной, во мху, брусники. Заяц, выйдя из норы под елкой, становится на задние лапы, умывается снегом, нюхает воздух и прядет ушами.

Издали все время слышно, как трубы трубят, бьют барабаны. Вдруг тяжелым, глухим, точно подземным гулом раскатывается пушечный выстрел. Заяц, поджав уши, кидается через поляну в лес и перебегает дорогу двум всадникам, Дмитрию и князю Льву Сапеге, воеводе Мазурских гусар.

Сапега: Тьфу. Заяц, чорт. Свернем...

Дмитрий: Полно, пан, зайца испугался?

Сапега: Что делать, царевич? Злых примет на ратном поле боюсь.

Об одном только прошу, не искушай сульбы, не кидайся в огонь очертя голову...

Дмитрий: Ладно, ладно, вперед, и так опоздали.

Сапега улыбается: знает, почему опоздал царевич.

Димитрий, пришпорив коня, скачет так быстро, что Сапега едва поспевает за ним. Трубный звук, бой барабанов и пушечный гул приближаются.

Всадники, спустившись к реке и переправившись через нее по талому снегу с водой, въезжают на тот берег. Здесь, на открытом поле, лагерь: котлы кашеваров, коновязи и шатер под двуглавым орлом, ставка царевича, около которой ждет его эскадрон гусар. Димитрий входит в шатер, Сапега остается у входа.

5.

На снежной равнине, освещенной первыми лучами зимнего солнца, медленно восходящего из-за чернеющего вдаль леса, начинается бой, который решит судьбу русского государства.

В косых красных лучах, отбрасывая на снег прозрачно-длинные тени, проходят войска Димитрия.

Польские конные гусары в леопардовых шкурах вместо плащей, с длинными, воткнутыми у седельной луки, по земле волочащимися пиками и с прикрепленными к седлам огромными белыми, точно лебедиными, крыльями: когда скачут гусары в пороховом дыму, то кажется, огромные белые птицы летят.

Им навстречу движется рать Бориса. Пешие московские ратники, в простых кафтанах однорядках, в серых с красной и желтой выпушкой, в острых стальных шишаках, с кольчатой, от сабельных ударов затылок и шею закрывающей сеткой — бармицей, с ружьями, пищалями, такими тяжелыми, что для стрельбы кладут их на четырехногие рогатки — подсошники.

Казачья в широких, красного сукна, шароварах, в черных киреях и смушковых шапках с копытами и самопалами.

Дикие на диких конях калмыки и башкиры, с луками и стрелами, налитыми ядом, более, чем пули, смертельным. Слишком для коней тяжелые, в мокром снегу увязающие пушки медленно тащат волы.

Войска встречаются, свирепая схватка. Падают первые раненые. И как подстреленная птица, летит на землю польский гусар, пронзенный отравленной калмыцкой стрелой.

6.

Димитрий в своем шатре, спеша, одевается к бою.

Старый боярин Шеин, окружничий, с низким поклоном подает ему стальную кольчугу с двумя золотыми двуглавыми орлами, одним — на груди, другим — на спине, и шлем с яхонтовым на острие крестиком и двумя финифтяными образками спереди, св. Георгия Победоносца и Ченстоховской Богоматери. Шеин

помогает Димитрию надевать доспехи. Тут же суетится о<тец> Мисаил.

Шейн: Что суешься, отче, без толку? Не твоего ума дело.

О<тец> Мисаил (обнимая и благословляя Димитрия): Ну, с Богом, Гришенька, тьфу. Митенька... Димитрий Иванович, государь наш батюшка, храни тебя Господь и Матерь Пречистая.

Димитрий выходит из шатра, садится на лошадь и, вместе со своим эскадроном, скачет в бой под развевающейся, зеленого шелка хоруговью, которую держит Сапега, с таким же, как на шатре, двуглавым орлом и Деисусом.

Войска при виде Димитрия восторженно его приветствуют. Начавшие было под напором Московцев отступать, они бросаются вперед, следуя за своим вождем. Сверкая на солнце стальной кольчугой, он, во главе своего эскадрона, бесстрашно ведет их в атаку, ударяя противника по левому флангу.

7.

В стане Московцев, крепостная засека на холме над Десною. Земляные насыпи с плетнями, обломами, валами и раскатами. Пушки разных калибров: фальконеты, длинные, тонкие; толстые короткие мортиры; средние шведки-змеевки и единороги цесарские. Горки чугунных ядер, гранат и картечи.

Туренин (Салтыкову): Гляди, никак наше левое крыло отступает.

Уж эти мне казаки. (Сматривает в подзорную трубу): Да их и нет.

Что за притча?

Салтыков (вырывая из рук Туренина трубу): Быть не может.

(Сматривает): И вправду нет. У-у, проклятое отродье. (Вестовому): Приказ атаману подкрепить казаками левый фланг. Да живо, чтоб не медлил ни минуты.

Вестовой вскакивает на коня и мчится во весь опор.

8.

На реке, в месте укромном, заслоненном от боя береговым выступом, казаки-запорожцы — есаул Поддубный, хорунжий Косолап, рядовые Дятел, Матерой, Хлопко и другие, всего человек двадцать — сидя кругом, пьют пенник из бочонка с выбитым дном, отнятого у своей же обозной бабы торговки. Тут же опрокинутые вверх оглоблями санки и подстреленная, с четырьмя окоченевшими, прямо как палки торчащими ногами лошаденка. В санках под овчинным тулупом лежит, точно спит, старая баба. Только седая голова ее, с черным на простреленном виске пятнышком, видна из-под тулупа. А немного поодаль, под лисьей

шубкой, молодая девка, должно быть, старухина дочь, тела и лица ее не видать, видна только нога в высоком смазном сапоге и в шерстяном красном чулке под синюю, в клочьях, юбкой, да голая по плечо, белая на оттепельном сером снегу протянутая рука, да часть такой же белой девичьей груди с алой струйкой запекшейся крови, точно монистом из яхонтов.

Косолап (с благообразным иконописным смуглым лицом, с висячими седыми усами и длинным седым чубом, подсвистывая и позвякивая вместо бубенцов двумя пустыми чарками, донышко о донышко):

Уж ты пьяница-пропойца, скажи,
Что несешь ты под полою, покажи,
Из корчмы иду я, братцы, удалой,
А несу себе я гусли под полой.

Ой, жги, жги, жги.

Пошла баба в три ноги.

Поддубный (молодой, с красивым и наглым лицом, совсем пьяный, заплетающимся языком): Пей, гуляй, православный народ. Охота нам воевать за Бориса. Буди здрав государь наш Димитрий Иванович. “Я, — говорит, — не царем вам буду, а батькою”. Не хотим против него идти. “В царстве моем, — говорит, — ни богатых не будет, ни бедных, — все равны, по Евангелию”.

Хлопко: Воля, значит, вольная, проси, душа, чего хочешь. Эх, любо, и помирать не надо. Не пойдем воевать.

Матерой: Боже, сохрани царя нашего Димитрия Ивановича и подай ему на враги одоление.

Дятел (придурковатый, с бегающими и любопытными глазками):
А что, братцы, правда, говорят, будто не прямой он царевич, а вор?

Поддубный: А тебе какое дело? Вор так вор, про то знает панство, а нам была бы только нажива.

Хлопко: Пенник да девки, и вся недолга.

Вестовой подъезжает на полном карьере и останавливается на берегу.

Вестовой: Атаман где?

Косолап: А мы почему знаем. Раки съели.

Вестовой: Приказ вам от воеводы, чтоб немедля в бой.

Косолап: Ну ладно, нам и здесь хорошо. Ступай-ка и ты к нам, пей.

Вестовой (подойдя и взглядевшись в бабу и девку): А это что? Батюшки-светы, бабка никак наша обозная, да и девка с ней... Ах, грех какой, что вы наделали, разбойники.

Поддубный: А тебе что? Ты нам не поп, чтоб грехи считать. В руки не давалась девка, больно ершилась, — вот мы ее и уладили, да и бабу, чтобы не хныкала, утешили.

Вестовой: Нехристи вы, анафемы окаянные.

Поддубный: Чего лаешься, пес? (Вынув из-за пояса пистоль и прицелившись): Глотку свинцом заткну, — и не пикнешь.

Вестовой ускакивает, пробирается вдоль реки, где отряд мазурских гусар сцепился в горячей схватке с калмыками, и, не без труда добравшись до крепостной засеки Московцев, докладывает Салтыкову:

Вестовой: Беда, боярин. Нейдут в бой казаки. Перепились все.

Сидят на реке, за мостом, и здоровье вора пьют.

Салтыков: Ах, сукины дети. Ну, погодите же. (Пушкарям): Трескотуху, ребята, выкатывай.

Два десятка младших пушкарей, под начальством старшего Кузькина, выкатывают на вал мортиру Трескотуху.

Кузькин (возится долго, щурясь подслеповатым глазом, берет прицел, кончив, гладит мортиру ладонью, похлопывает ласково, как всадник доброго коня): Ну-ка, царю послужи, бухни-ухни, тресни, Трескотуха матушка. (Подносит фитиль к затравке и ждет приказа).

Салтыков: Пли.

Кузькин сует фитиль, но Трескотуха не палит.

Салтыков: Что же она, отчего не палит?

Кузькин (почесывая затылок): А Бог ее знает. Порох, что ли, подмок, аль так маленько заартачилась. Ин с первого-то раза и не выпалит. С норовом матушка. Ну, а зато уж как пойдет палить, как пойдет, страсть.

Салтыков: Ну-ка, другую выкатывай, Барса или Поповну.

Кузькин: Воля твоя, государь, а только тем против Трескотухи куда же. Добрая пушка, заветная, при царе еще Иване Васильевиче Казань брала да Астрахань. Ну-ка, боярин, свеже-ногого подсыпать дозволю, да с пошептом, я словцо такое знаю, — выпалит, небось.

Салтыков: Сыпь, да поживей.

Кузькин отходит. Но не успел он отвернуться, как Трескотуха со страшным грохотом выпалила. Пушечное ядро шлепается в реку и ломает лед с оглушительным треском, гулом и грохотом, не очень близко от казаков, но с такою силою, что обдаёт их водяными брызгами, мокрым снегом и осколками льда.

Более трезвые, вскочив, хотят бежать, более пьяные продолжают лежать и сидеть.

Косолап: Чего, дураки, испугались? Вишь, далече, не хватит до нас...

Новое ядро, просвистав над их головами, падает почти рядом с ним и пробивает огромную во льду полынью. Вся ледяная поверхность под ними вдруг оседает, шатается, кренится и залива-ется водой, как в бурю корабельная палуба.

Крики: Тонем, тонем, тонем, помогите.

Одни бегут к берегу и проваливаются, тонут, другие совсем пьяные, чуть-чуть побарахтавшись, идут как ключ ко дну, — только смушковые шапки их на воде плавают.

Мертвая баба, поднятая водой, зашевелилась под тулупом, точно ожив, повернула к казакам седую голову и уставилась на них открытыми глазами пристально; девка, как будто застыдившись, спрятала под шубку голую грудь.

Вестовой (проезжая и глядя сверху): Так вам и надо, сукины дети, покарал вас Господь.

Ядра за ядрами падают в реку. Лед все больше ломается, полыньи ширятся, и всю ледяную поверхность заливают вода. Льдины плавают, кружатся, сталкиваются с треском, громоздятся и щетинятся стеклянно-прозрачными иглами. Грозно темнеет, взбухает, вздувается, и кипит, и бурлит как котел на огне готовая вскрыться река.

Бои на уцелевших местах продолжают, а на залитых стихают.

Кое-где река уже тронулась, как в весенний ледоход. Пловучие льдины-островки, там, где их много стеснилось, проходят медленно, а на открытых местах несутся быстро. На одной из них раненая лошадь издыхает; ворон сел ей на голову и, каркая, ждет, чтобы выклевать очи; на другой тощая, с видными под кожей ребрами сука рвет зубами что-то кровавое, и еще на другой, плывущей медленно, два ратника, лях и русский, бьются на смерть, не замечая, что льдина под ними оседает все ниже и ниже, яростно сцепились, душат друг друга и режутся. Льдина вдруг покачнулась, ушла в воду совсем, и крепко обнявшись, как братья, оба тонут.

9.

В стане Московцев тревога из-за измены казаков. Войска Бориса начали отступать и могут быть разбиты. Необходимо во что бы то ни стало оттянуть часть сил противника, чтобы поправить дело. На помощь Туренину и Салтыкову, вернувшимся для наблюдения на курган, приходит со своим планом воевода Хрущов. Хрущов (показывая рукой вдаль, Салтыкову): Видишь усадьбу? Салтыков: Вижу.

Хрущов: Донес намеренный пленный: там сейчас Марина, любовница Димитрия. Я двинусь туда с отрядом. Вор, чай, не выдержит, кинется любу свою спасать, войско оттянет, а вы тем временем ударьте ему слева и окружите.

Салтыков: Ладно придумал. Быть по-твоему. Поезжай, Бог в помощь.

Хрущов садится на коня и мчится во весь опор. Сапега, заметив маневр Хрущова, спешит к Димитрию, который во главе отборной дружины конных уланов преследует отступающих Московцев.

Сапега (подъехав к Димитрию на взмыленной лошади): Ваше Высочество, беда. Усадьбу Московцы берут, казаки разбежались, а наших мало, не выдержат...

Димитрий: Где Марина?

Сапега: В доме.

Димитрий: Эй, уланы, за мной.

Поворачиваются и скачут во весь опор. Подъезжают к реке и переправляются через лед, не обращая внимания на улана-разведчика, махающего рукой и кричащего: “Нельзя, нельзя. Лед тонок, провалитесь”. Видно, как под копытами коней лед трескается. Последний всадник с трудом выбрался — у самого берега лед проломился, и задние ноги лошади провалились в воду.

Туренин следит за всем с кургана через подзорную трубу. Вот подъехал к усадьбе со своим отрядом Хрущов, вот он ее окружает. А вот Димитрий с уланами переправляется через реку. Выдержит или нет лед? Выдержал. С досадой Туренин поворачивается и смотрит в другую сторону, где между остановившимися войсками Димитрия и Московцами начинается решительный бой.

10.

Горсть польских гайдуков, стоя на крыльце и в сенях осажденного дома, отбивается от множества нападающих Московцев и уже слабеет, отступает.

Вдруг, выскочив из лесу и вихрем налетев на Московцев, ударяют им в тыл уланы. Рубятся саблями, режутся ножами, схватываются в рукопашную.

Хрущов (занося над головой Димитрия саблю): Дай-ка, благословлю я тебя, сукин сын, свистун литовский.

Сапега стреляет из пистолы в Хрущова в упор. Тот падает с лошади. Московцы бегут. Крики (в доме): “Огонь. Огонь. Горим. Спасите.”

Клубы дыма валят из разбитых окон замка. Димитрий кидается в сени.

Сапега (сверху, уже взбежав по лестнице): Скорей, скорей. Дверь заперта.

Димитрий, тоже взбежав, вышибает ударом ноги дверь в спальню, где красные, в сером дыму, языки пламени лижут затлевшие балки потолка. Марина лежит на полу без чувств. Димитрий, схватив ее на руки, сбегает по лестнице.

В это время, пока Димитрий спасает Марину, там в бою как бы два противоположные течения столкнулись в водовороте: одни наступают, другие бегут.

Крики: “Беда, беда. Царевич убит, утонул, сгорел. Пропали наши головушки. Беги, ребята, беги.” — “Куда вы, черти? Назад. Царевич жив.” — “Да нет же, убит. Беги, беги. Пропали наши головушки.”

Войска Димитрия начинают в беспорядке отступать.

Димитрий выносит Марину на крыльцо, бережно кладет ее на вытащенную кем-то из огня медвежью шкуру и покрывает гусарской шубкой. Здесь, на свежем воздухе Марина постепенно приходит в себя.

Подлетает гонец и докладывает.

Гонец: Ваше Высочество, наши отступают и будут разбиты, если Ваше Высочество тотчас же не вернется в бой.

Димитрий бросается к лошади и вскакивает в седло. Марина, уже совсем пришедшая в себя, подбегает к нему.

Марина (пытаясь сесть к Димитрию на лошадь): С тобой, с тобой.

Димитрий ее отталкивает и скрывается в тумане со своими уланами.

Влетает второй гонец и, не найдя Димитрия, соскакивает с лошади и подбегает к Марине.

2 гонец: Где царевич? Скорей царевича...

Марина, не давая гонцу опомниться, вскакивает на его лошадь и мчится вслед за Димитрием.

Димитрий с эскадроном скачет к реке. Улан разведчик снова их останавливает, раскинув руки, загораживает им путь.

Улан: Нельзя, паны, нельзя. Провалитесь. Переправа у Козьего брода. Здесь нельзя.

Димитрий с уланами поворачивает, чтобы ехать к Козьему Броду. Но в эту минуту мимо них пролетает на коне Марина, крича Димитрию: “Марина умеет платить за любовь!” Она бросается на лед и благополучно переезжает на ту сторону. Тогда Димитрий, со своим эскадроном, бросается за ней.

Всадники едут по льду. Хрупкое стекло его под копытами коней трещит и ломается иглисто-колючими звездами. Дух за-

хватывает у смортящих с берега: кинулись было на помощь — нельзя: чем больше людей, тем опаснее...

И вот на середине реки лед ломается и весь эскадрон, с Дмитрием во главе, уходит под воду.

Между тем войска Дмитрия в беспорядке бегут.

11.

Ранние зимние сумерки, желтый туман, мокрый, как будто теплый снег. Глуше в тумане стук барабанов, ярче огонь ружей и пушечных выстрелов.

В стане Московцев на высоком кургане, откуда видно все поле сражения, Салтыков и Туренин смотрят на него в подзорную трубу.

Туренин: Что за диво. Наши как будто бегут.

Салтыков: Что ты, боярин, типун тебе на язык, только что ляхи бежали.

Туренин: Да, а теперь наши. Глянь-ка сам.

Салтыков (смотрит, протирает стекла): Что такое, и впрямь как будто бегут... А вот и от сам. Он... а может и не он. Ну-ка, ты посмотри, не узнаешь ли?

Туренин (смотрит): Чорт его знает, туман, не видать... (Быстро отняв трубку от глаз): Тьфу.

Салтыков: Что ты?

Туренин: Бабой обернулся.

Салтыков: Как бабой?

Туренин: Да разве ты не видишь? Вон впереди скачет, волосы по ветру развеваются. (Смотрит в трубку).

Видно, как Марина впереди мазурских гусар отражает нападение последнего отряда Московцев, прикрывающего отступление. Туренин отрывает трубку от глаза и передает Салтыкову.

Салтыков (смотрит): Бабы не вижу... Всадник скачет, без шлема, в обледенелой кольчуге... уланы за ним... Он и есть.

Видно, как Дмитрий со своим эскадром врывается в бой. Московцы бегут. Крики: "Беда, беда. Царевич. Ляхи. Вот они. Беги, ребята, беги."

Влетает на коне старый сотник стрелецкой дружины.

Туренин: С поля?

Сотник: С поля, батюшка.

Салтыков: Что там такое, скажи на милость?

Сотник (махнув рукой): Шабаш. Вор одолел. Давеча, как слух прошел, что убит, ну, ляхи бежать, а как узнали, что жив, повернули назад и точно бес в них вошел, — так наших и лупят, так и крошат.

Туренин: А баба откуда?

Сотник: Полюбовница его... Как побежали ляхи, — неведомо откуда взялась, войска остановила, чортова девка. И продержалась, пока сам не подоспел.

Салтыков: Ну, ступай.

Сотник ускакивает. Туренин молча крестится.

Салтыков: Да что такое?

Туренин: Плохо дело, Васильич. Думали мы, что с человеком ратуем, а это...

Салтыков: Кто же это?

Туренин (шепотом на ухо): Стень.

Салтыков: Что ты, боярин, какая стень?

Туренин: А какую морочит людей нечистая. (Салтыков тоже крестится). Коли из такой беды он выскочит, да нас же побьет, видно, сам чорт за него. Что с ним поделаешь? Бей, руби, коли — не сгинет, в огне не горит, в воде не тонет. До Москвы дойдет, — и Борисову царству, а может и всей Руси конец.

12.

В стане Дмитрия. Он сидит на коне, под царскою, зеленого шелка, хоруговью, с черным двуглавым орлом и Деисусом. О<тец> Мисаил держит ее над ним. Тут же Марина и Митька.

Шум битвы вдаль затихает. Быстро темнеет. Зажигаются огни. В красном отблеске их на зелено-золотистом шелку хоругви, лицо Дмитрия кажется святым ликом на иконе.

Димитрий: Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Мы победили. Ударить отбой. Довольно, ребята, щадите русскую кровь. Отбой.

Все: Слава царевичу Дмитрию. Да живет царь московский. Виват. Виват.

О<тец> Мисаил (громче всех): Благоверному великому государю нашему Дмитрию Ивановичу многия лета.

Димитрий (обнажив саблю и указывая вдаль): На Москву.

Все: На Москву. На Москву.

XVII. СЦЕНА С ГРАМОТОЙ

Опочивальня Бориса. Ночь. Лунный свет сквозь окна. Борис в кресле, перед столом, сидит в глубокой задумчивости. Стук в дверь. Борис вздрагивает. Входит Семен Годунов со свитком в руках.

Семен: Великий царь.

Борис: Еще беду какую

- Семен: Ты мне принес?
Разбита наша рать.
Войска бегут, не принимая боя,
И на Москву победный держит путь
Проклятый вор. Без выстрела ему
Послушные сдаются города.
И ежели Туренин с Салтыковым,
Стянув к Москве нам верные полки,
Его не разобьют...
- (Борис закрывает лицо руками)
Как быть тогда,
Великий царь?
- Борис: Созвать на завтра Думу
Вели чуть свет. С боярами решу,
Как поступить нам в этот грозный час.
- (Замечая в руке Семена свиток)
А это что?
- Семен: Осмелился писать
К тебе тот вор.
- Борис: Писать ко мне? Прочти.
- Семен (читает): Великий князь и царь Всея Руси,
Димитрий Иоаннович — тебе,
Борису Годунову. От ножа
Быв твоего избавлены чудесно,
Идем воссесть на царский наш престол
И суд держать великий над тобою,
И казни злой тебе не миновать.
Но если ты, до нашего прихода,
Венец, похищенный тобою, сложишь
И в схиму облечешься, мы тогда
Тебя на казнь не обречем, но милость
Тебе, Борису, царскую мы явим.
- Борис: Подай сюда.
Берет у Семена свиток. Рассматривает его. Задумывается
Молчание.
- Борис (с горечью): Так, после всех трудов
И напряженья целой жизни, тяжко
О, не венца лишиться. Нет. Всегда
Я был готов судьбы удары встретить.
Но если он мне милость предлагает,
Рассчитывать он должен, что вся Русь
Отпасть готова от меня. И он
Быть может прав. Те самые, кто слезно
Меня взойти молили на престол,

Теперь предать меня ему спешат.
А что я сделал для земли, что я
Для государства сделал — то забыто?

(Снова погружается в задумчивость. Потом тихо, как будто про себя):

Обманщик, вор — таким его считал я,
Таким считать его велит рассудок.
Но после всех невзгод моих невольно
Сомнения рождаются во мне.
Свидетеля мне надо, кто бы видел
Димитрия умершим.

Семен: Но царица
Созналася...

Борис: Я правду не узнал.
Все надвое: убит и не убит,
Он и не он — как хочешь, так и думай.

Семен: Его князь Шуйский мертвым видел.

Борис: Шуйский.
Я Шуйскому не верю.

Семен: Государь,
Не мучь себя сомнением напрасным:
Во гробе спит Димитрий.

Борис (с яростью): Кто же тот,
Кто называет Дмитрием себя?
Кто он, скажи? Я знать хочу, кто он?
(Подходит к Семену и с силой трясет его за плечи).
Все говори. Молчишь? Ага. И ты,
Ты за него.

Семен: О, милостивый Боже.
(Усаживает Бориса в кресло. Борис постепенно опоминается).

Борис: Ступай теперь. Прости — недужен я...
Бояр созвать на завтра не забудь.

Семен тихо выходит. Борис остается сидеть в кресле. Потом приподнимается, смотря в угол, и, пятась, направляется к двери, точно от кого-то бежит.

ХVIII. СЦЕНА С ПРИЗРАКОМ

Престольная палата. Ночь. Луна играет на стенах и на полу.
Двое часовых.

Первый: Далеко ли до смены? Жутко здесь.
Все будто ходит кто-то. Поглядишь —
Нет никого.

Второй: Заметил ты сегодня,
Как пасмурен был царь? А лик-то
Как страшен стал.

Первый: Глядит и не глядит...

Второй: Дверь скрипнула...

Первый: Сюда идут... все ближе...

Второй: Молчи, молчи... Он сам.

Борис в рубахе, поверх которой накинута опашен. Входит, тяжело ступая. Часовых не замечает.

Борис: "Убит, но жив".

Меня с одра все тот же призрак гонит...

Когда он жив — зачем же я, как Каин,

Брожу теперь, без отдыха кружась?..

(Осматривается).

Куда зашел я? Это тот престол,

Где восседал я в славный день венчанья...

Он мой еще. С помазанной главы

Тень на сорвет венца...

(Подходит — и вдруг отступает в ужасе):

Престол мой занят.

(Хочет опомниться):

Иль это лунный луч играет? Нет.

Я вижу — вон — колеблется, как дым,

Сгущается — и образом стать хочет.

Ты, — ты. Я знаю, чем ты хочешь стать —

Сгинь. Пропади.

Часовой: Святая сила с нами.

Борис: Кто здесь? Кто говорит?

(Увидев часовых) Смотри туда...

Что на престоле там? Ты видишь? нет?

Так ближе подойди и бердышом ударь,

Ударь в престол.

(Часовой, дрожа, делает шаг к престолу, Борис приходит в себя).

Стой, — воротись, не надо.

Я над тобой смеялся. Из окна

То месяц светит... Прочь ступайте оба.

Что слышали — молчать под смертной казнью.

(Часовые уходят).

Борис (один): Да, жалок тот, в ком совесть нечиста,

Неизлечим его недуг душевный,

Беда, беда: как язвой моровой

Душа сгорит, нальется сердце ядом,

Как молоток, стучит в ушах упреком,

И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
(Озирается)
Вон, вон опять... Что это там в углу
Колышется, растет, близится,
Дрожит и стонет... Чур, чур,
Не я, не я твой лиходей... Чур,
Чур, дитя... Народ... не я... Воля
Народа. Чур, дитя.
(Опускается ниц)
Господи, ты не хочешь смерти грешника.
Помилуй душу преступного царя Бориса.

XIX. СМЕРТЬ БОРИСА

Грановитая палата. Она пуста. Постепенно собираются бояре, входят, переговариваясь между собой вполголоса.

Воротынский (Семену Годунову):

Скажи, родимый, правда ль нынче ночью

Недужил царь? Мне спальник говорил.

Семен: Нет, миловал Господь... Одна усталость.

Воротынский: И то сказать. Ни день, ни ночь покоя

Нет милости его.

(Семен отходит)

Голицын (Воротынскому): Ты слышал весть?

Разбиты мы, и на Москву Димитрий

Ведет войска?

Воротынский: Я слышал, под Москвой

Он наших бьет. Терпеть уже недолго

Осталось нам.

(Подходит Репнин, разговаривая с Мстиславским):

Репнин: Несчастливого Бориса

Я не сужу. То был великий царь.

Одной Руси всегда величье видя,

Он шел вперед и не страшился все

Преграды опрокинуть.

Мстиславский: Только раз

В сомнении остановился он.

Репнин: Но мысль о царстве одержала верх...

Воротынский: И под ножом невинный пал младенец.

Репнин: Великий грех. И все-таки Борис

Был праведен в неправости своей.

Себе тот грех он не простил, не лгал

Перед собой. — Пусть жизнь его была

Запятнана, но дух бессмертный чист.
(Палата уже почти полна).

Воротынский: Жаль, Шуйского нет князя. Без него,
Хоть и крамольник он...

(Входит Шуйский) Вот легок на помине.
(Все окружают Шуйского)

Шуйский (продолжая рассказывать):

Намедни, уходя от государя,
Я в щелочку случайно заглянул.
О, что увидел я, бояре: бледный,
Холодным потом обливаясь, царь
Бессвязно бормотал какие-то слова;
Вдруг посинел, глаза устал в угол...

Бояре:

Лжешь, князь. Неправда. Лжешь.

Шуйский:

И стал боссильно призраком отгонять
Погибшего царевича, шепча:
“Чур, чур меня”.

Дверь распахивается, появляется Борис.

Бояре: С нами крестная сила (крестятся).

Борис (никого не замечая, про себя):

Кто говорит — убийца? Убийцы нет.
Жив, жив малютка.
А Шуйского за ложную присягу
Четвертовать.

Шуйский (подходя к Борису): Благодать

Господня над тобой.

Борис (приходит в себя): А? Я созвал вас, бояре,

На вашу мудрость полагаясь.

(Идет к престолу)

В годину бед и тяжких испытаний

Вы верные помощники мои.

Бояре кланяются. Борис садится на престол и делает знак,
чтобы все сели.

Борис:

Семь лет прошло, что я земли российской
Приял венец. Господня благодать
Была над ней, — доколь, подобно язве
Египетской, тот не явился враг.
Слыхали вы, он ныне угрожает
Занять Москву, и дерзостное мне
Посланье шлет. Но мы еще сильны,
Еще не все Борису изменили.
(Молчание).

Я созвал вас сюда, чтоб объявить
Мое решение. Недужен я.

Мы в животе и в смерти не вольны.
Я Федора хочу еще при жизни
Моей венчать. Его царенье будет
На радость вам, на славу всей земли.
Клянись мне, что будете служить
Феодору по вере и по правде.

Все: Клянемся, царь.

Борис: Что будете его
Оберегать до смерти и до крови...

Все: Во всем тебе клянемся, все клянемся,
Царь батюшка.

Борис: В соборе вашу клятву
Вы крестным целованьем утвердите...
(Встает). Вводят гонца.

Гонец: Великий царь, Туренин с Салтыковым
Передались на сторону врага
И на Москву ведут его полки.

Борис (про себя): Убит, но жив, бессилен, но могуч.

(Внезапно шатается и падает на руки бояр. Смятенье. Царя усаживают в кресло.)

Борис: Мне дурно... Царевича скорее. Схиму.

(Общее смятение. Одни бросаются за царевичем, другие в Чудов. Вбегает Феодор.)

Борис: Оставьте нас. Уйдите все...
(Все уходят).

Прощай, мой сын, умираю...

Сейчас ты царствовать начнешь

Не спрашивай, каким путем

Я царство приобрел —

Тебе не нужно знать.

Ты царствовать по праву будешь,

Как мой наследник,

Как сын мой первородный.

Сын мой, дитя мое родное.

Не вверяйся наветам бояр крамольных.

Зорко следи за их сношениями тайными с Литвою.

Измену карай без пощады, без милости карай.

Строго вникай в суд народный, суд нелицемерный.

Стой на страже борцом за веру правую,

Свято чти святых угодников Божьих.

Сестру свою, царевну, береги, мой сын.

Ты ей один хранитель остаешься,

Нашей Ксении, голубки чистой...

Господи... Господи... Воззри, молю,

На слезы грешного отца...
Не за себя молю, не за себя, мой Боже, , ,
С горней, неприступной высоты
Пролей ты благодатный свет
На чад моих, невинных, кротких, чистых.
Силы небесные. Стражи трона предвечного.
Крылами светлыми вы охраните
Мое дитя родное от бед и зол, от искушений.
(Слышен погребальный звон).
Звон, погребальный звон...

(Певчие монахи за сценой — схима).

Надгробный вопль...
Схима... Святая схима.
В монахи царь идет...

Феодор (сквозь слезы): Государь, успокойся. Господь поможет.

Борис: Нет, нет, сын мой,
Час мой пробил...

(Пение монахов все громче)

Боже... Боже...

Тяжко мне.

Ужель греха не замолю...

О, злая смерть, как мучишь ты жестоко.

(Монахи-певчие появляются в дверях со свечами)

Борис (встает): Повремените, я царь еще.

(Хватается за сердце и падает).

Я царь еще...

Боже, смерть... Прости меня.

Вот, вот царь ваш...

Простите... Простите.

(Умирает).

Монахи, бояре и все вошедшие: Успне.



<БОРИС ГОДУНОВ>

I. ПРОЛОГ

50 метров

На холме, на конях — князя Шуйский и Воротынский, с ними несколько приставов. Рассуждают о том, согласится ли Борис на царство. Посылают пристава узнать, что же, наконец, решено.

Одновременно у них возникает мысль о незаконности притязаний Бориса на трон, о их неприглядном положении, несмотря на то, что они родовитые князья и больше имеют прав на престол, чем Борис. Этот разговор и есть завязка заговора в будущем.

Приезжает пристав и сообщает, что Борис дал свое согласие на царство.

Возмущение князей. Разъезд.

II. ГАДАНИЕ.

Сцена на мельнице.

1.

Семен и Борис Годуновы приехали на мельницу гадать к колдуну мельнику. Борис хочет знать свою судьбу, чтобы потом, узнав ее, исправить. Он твердо верит в это, Семен сомневается. Мельник выходит, чтобы приготовить все для гадания. Возвращается и приглашает Бориса идти с ним к мельничному колесу, к воде. Уходят.

2.

В это время по дороге к мельнице идут два чернеца — Григорий и Мисаил. Мисаил лет пятидесяти, низенький, жирный, красный, с веселым добрым и хитрым лицом; Григорий — лет двадцати, высокий, стройный, ловкий, с некрасивым, но умным лицом, рыжий, голубоглазый. Михаил чуть волочит ноги, кричит, охает; Григорий идет бодро.

Они хотят переночевать на мельнице. Мисаил боится. Григорий заставляет его остаться в кустах, а сам идет на разведку.

3.

Вновь мельник и Борис у вертящегося колеса мельницы. Мельник усаживает поудобнее Бориса, гипнотизирует его и за-

ставляет рассказать, что он видит. Пробуждает Бориса и повторяет ему его же слова, затуманивая их прибаутками.

Провожает Бориса.

Григорий, видевший сцену и все слышавший, уходит и присоединяется к Мисаилу.

4.

Та же тропа от мельницы. Едут Борис — впереди с полуопущенной головой, сзади Семен.

Вдруг из-под кустов, прямо под ноги коням, выходят Мисаил и Григорий. (Мелочи. Разработать).

Кони шарахаются, становятся на дыбы. Семен выхватывает саблю и ругаясь замахивается на иноков. Мисаил бросается обратно в кусты. Григорий стоит не двигаясь — смотрит пристально и жадно в лицо Борису.

Борис расспрашивает иноков, куда они идут и зачем. Григорий объясняет. Борис начинает пристально присматриваться к лицу Григория (здесь сделать сцену: маленький как бы в тумане Димитрий — Борис) и спрашивает его, где он мог его видеть. Григорий успокаивает Бориса, и Борис бросает несколько золотых монет инокам и, задумавшись, продолжает свой путь.

III. ПИМЕН

90 метров

Келья в Чудовом монастыре. Горит лампада, перед которой Пимен пишет. Григорий спит.

Григорий просыпается под впечатлением сна, он видит его уже в третий раз (сделать сцену воспоминаний <...>).

Беседа Григория с Пименом. Григорий подробно расспрашивает об убийстве Димитрия в Угличе. Здесь Григорий задает вопрос о возможности подмены личности Димитрия, с тайной надеждой получить положительный ответ. Пимен подтверждает тайные мысли Григория; говорит, что действительно молва ходила и ходит, что не Димитрий убит, а кто-то другой.

(Здесь можно сделать великолепные вводные сцены)

IV. ВЕНЧАНИЕ БОРИСА НА ЦАРСТВО

225 метров

Соборная площадь в Кремле. Успенский собор; справа Грановитая палата, слева Архангельский собор. Праздничная толпа. Звон колоколов, людской гул.

Через толпу пробираются Григорий и Мисаил. Толстому Мисаилу трудно пробираться, и он теряет своего товарища. Не до-

ходит до собора и Григорий. Только сидя на Кремлевской стене, он видит все происходящее.

Внутренность Успенского собора. Венчание на царство Бориса.

Шуйский выходит на паперть Успенского собора и объявляет Бориса царем.

Из собора выходит коронационная процессия. Духовенство, иконы, хоругви. Следом идут бояре, стрельцы, иностранные послы и гости. Наконец проходят рынды и показывается Борис.

Григорий жадно смотрит со стены на царя; Борис — на него. Взгляды их встречаются. На лице Бориса мгновенная непонятная тревога. Григорий выдерживает взгляд Бориса и вдруг узнает в нем всадника, виденного им на мельнице.

V. КАБАК

120 метров

Улица. Слободской кабак. Грязь, лошади, телеги — пустые. У крыльца всякий народ. Толпятся, галдят, ругаются. Из кабака слышна музыка, пьяные песни.

Появляются Мисаил и Григорий, осторожно пробираются в кабак.

Внутренность шинкарни. В углу сидят Мисаил и Григорий. Пьют. Мисаил уже пьян, Григорий навеселе.

Мисаил пристает к хозяину “поставить” им еще чарочку (соур — по фр.), но хозяин отказывается. Мисаил настаивает и, как плату, предлагает рассказать что-либо из ими виденного. [Григорий повторяет слово, сказанное в келье, о трижды виденном сне.] Григорий рассказывает трижды виденный им сон.

Ими заинтересовывается соглядатай. Ставит им вина и понуждает Григория рассказать свой сон в подробностях. Григорий рассказывает. Ерыжка (соглядатай) приказывает страже схватить Григория, а заодно и Мисаила, связать их и увести в тюрьму как смутьянов.

Возмущение толпы.

VI. ПРИЕМ ПОСЛОВ

210 метров

Престольная палата. Торжественный выход придворных, за ними Бориса, сначала прием вельмож, потом иностранных послов, пришедших поздравить Бориса с восшествием на престол.

Среди послов папский нунций Рангони, стоящий вблизи Воротынского и Шуйского. Эти последние, обмениваясь новостями, стали говорить о появившемся в Литве слухе о том, что убит

не царевич Димитрий. Рассказывает Шуйский и об арестованных чернецах (Григории и Мисаиле), и о том, что один из них называет себя царевичем Димитрием (сон). Рангони, слушавший до этого рассеянно, стал слушать внимательно каждое слово.

Воротынский предлагает привести арестованных иноков к Шуйскому на дом. Тот колеблется.

В это время подходит к ним Рангони и говорит о слухе и о том, что папа всегда поддержит законного царя, что в Литве у них (католиков) немало монастырей, где царевич может найти приют. Не дожидаясь ответа, Рангони уходит.

Шуйский обеспокоен тем, что их подслушал Рангони. Но Воротынский его успокаивает. Они пробираются к выходу. Прием кончается. Разъезд.

Выходят Шуйский и Воротынский. Воротынский еще раз спрашивает Шуйского: прислать ли ему чернецов, и получает положительный ответ.

Разъезжаются они в разные стороны.

VII. ГРИГОРИЙ И ШУЙСКИЙ

150 метров

В палатах у Шуйского.

Сидит Шуйский и пишет. Дьяк докладывает о приходе двух иноков.

Шуйский приказывает привести Григория. Григорий в кандалах, и руки связаны. Шуйский приказывает снять с него путы [кандалы и развязать руки]. Начинается допрос, который, ловко ведомый Шуйским, кончается признанием Григория о виденном им таинственном сне. Шуйский подходит, внимательно рассматривает лицо Григория и находит много общего с Димитрием. Приказывает Григорию открыть ворот. Тот сначала, испугавшись, отказывается, но потом открывает воротник, и Шуйский с ужасом и одновременно с радостью замечает на шее ту же родинку, что и у Димитрия.

Григорий падает на пол и теряет сознание.

Полный стговор Григория и Шуйского. Шуйский пишет указ об освобождении обоих иноков и приказывает их отправить в Чудов монастырь.

VIII. БЕГСТВО ИЗ МОНАСТЫРЯ

100 метров

Келья в Чудовом монастыре. Спят: Григорий на подмощенных досках, Мисаил на полу. Григорий будит Мисаила. Спрашивает: не он ли подбросил ему узел. [(Сцена у Шуйского, который

отправляет с узлом в монастырь] Мисаил отказывается. Развязывают узел. Находят платье, деньги и грамоту, [в которой Григорий именуется Димитрием и] в которой предлагается ему (Григорию) бежать немедленно в Литву. После колебаний, пререканий с Мисаилом (комические сцены) они [вместе бегут] все же решают бежать.

IX. ПИСЬМО НУНЦИЯ

90 метров

Палата с византийской росписью.

На главной стене, прямо на росписи — распятие из черного дерева с Христом из слоновой кости. Все убранство подчеркнуто католическое. Служки в белых кружевных накидках, с серебряными колокольчиками.

Отец Игнатий — секретарь Рангони — читает молитвенник. Входит Рангони, склоняется перед распятием, творит молитвы. Слышны органная музыка и тихое [одноголосое] унисонное пение.

По окончании Рангони поднимается. Отсылает служек, говорит о<тцу> Игнатию, что должен продиктовать ему очень важное письмо кардиналу Боргезе. Диктует.

В письме он рассказывает о поздравлении им Бориса. О беседе с ним. Потом переходит к теме о Димитрии. Объявляет его спасенным. Далее пишет, что он его отправил в Литву и что написал всем письма, в том числе и польскому королю, и заканчивает письмо уверенностью в том, что Лже-Димитрий поможет перевести схизматиков в лоно единой апостольской церкви.

X. КОРЧМА

150 метров

Корчма на Литовской границе.

Григорий в мирском платье. Мисаил в виде бродяги-чернца. Хозяйка подает на стол.

Григорий расспрашивает о дороге и о количестве километров, отделяющих русскую границу от литовской. Хозяйка говорит о поставленных царских заставах и о трудностях пути из-за этого.

Вдруг входят пристава. Все всполошилось.

Начинается допрос Мисаила и Григория. Пристава дают прочитать Мисаилу указ об аресте Григория. Сцена чтения указа Мисаилом, потом приставом. Бегство Григория и ошибочный арест Мисаила. Его освобождение.

Комическая сцена бегства Мисаила. Благополучное спасение [обоих] и соединение приятелей.

Григорий скачет по лесной дороге, далеко впереди. На втором коне — Мисаил, распластавшись, держась за гриву, еще весь в муке, причитает.

[Они все скачут] Наконец около самой границы Мисаил нагоняет Григория. Литва.

XI. ПИМЕН

На экране вначале появляются только руки Пимена, развивающие лежащий на аналое свиток. Рука пишет: "... и царствовал так во славе Бориса пять лет..."

Экран темнеет и снова проясняется. Другие руки — чертящие карту. Появляется, склоненная над столом, фигура Феодора. Царский терем. Феодор за картой; Ксения — его сестра — за пяльцами. Входит Борис. Его беседа с Феодором о полезности знаний.

Входит Семен Годунов. Докладывает о приезде к нему одного из слуг Пушкина с доносом на Шуйского и Мстиславского, что у них было тайное совещание, что к ним приехал гонец из Кракова.

Борис приказывает гонца схватить. В это время входит Шуйский, решивший, видимо, играть на два лагеря.

Объяснение Бориса с Шуйским, который предает Пушкина, чтобы самому остаться чистым.

Борис расспрашивает о том, что говорят в Кракове и кто таков самозванец, но Шуйский хитро увильивает.

Шуйский подтверждает, что самозванец выдает себя за Дмитрия. Борис приказывает закрыть литовские границы. И требует от Шуйского правдивого рассказа об убийстве Дмитрия, т.к. именно он был послан на следствие. Шуйский подтверждает официальную версию, т.е. что убитый был, действительно, царевич Дмитрий. С этим Борис его отпускает.

Борис остается один. Вспоминает предсказания мельника: "убит, но жив". Но он решает бороться до конца.

XII. БАЛ У МНИШЕК

Замок Сендомирского воеводы, Юрия Мнишек, в Самборе. Бал. Оркестр. Гости танцуют полонез. В первой паре Дмитрий с Мариной.

В стороне польские паны рассуждают о будущей судьбе Марины, смотря на нее и Дмитрия.

Появляется о<тец> Мисаил. Он одет в польский жупан. Все сидит на нем прескверно. Насмешки панов. Он очень важен, отчего делается еще комичнее.

Беседа Марины с Лже-Дмитрием. Он просит о свидании. Марина, с некоторым колебанием, ему его назначает. Уходит танцевать с другим кавалером. К Димитрию сзади тихо и незаметно подходит о<тец> Игнатий — иезуит — его наставник. Он напоминает своему ученику об их беседе, о скором прибытии короля, с которым Лже-Дмитрий должен будет говорить о будущем Руси.

Приезд короля. Двери на парадную лестницу открываются настежь. Князь Мнишек с ближайшими панами и шляхтою идет навстречу.

Приготовления для прохода короля. Торжественное его шествие. Димитрий склоняет колено перед ним.

Нунций представляет Димитрия королю, который поднимает его с колен и целует. Марина подносит кубок на золотом подносе. Сигизмунд целует ее в голову.

Празднество.

XIII. У ФОНТАНА.

Появляется Димитрий. Замечает забытую на скамье лютню. Берет ее и, задумчиво перебирая, поет песню о св<ятом> Себастьяне. Появляется Марина. Неслышно подходит к Димитрию. Он вздрагивает, обрывает пение, вскакивает. Марина берет из его рук лютню и заканчивает за Димитрия недопетую им песню.

Димитрий объясняется ей в любви, но расчетливая Марина требует не слов любви, а сведений о Руси, о Борисе, о нем самом. Она не желает быть его рабой, а женой царя, его помощницей.

Тогда Димитрий, обиженный ее невниманием, открывается ей <и спрашивает>, будет ли она его любить и теперь. Марина возмущена. В свою очередь возмущается и Димитрий, уязвленный тем, что она любит в нем царевича, а не его как человека. Димитрий уходит. Марина пытается его остановить, но тщетно. Она садится на край фонтана, задумывается. Встает, приняв какое-то решение.

XIV. БОРИС И МАРФА

1.

Царский покой. Борис, бояре, сановники, приближенные (кроме Шуйского). Около стола Семен Годунов докладывает о приезде Марфы (мать Димитрия) во дворец.

Борис расспрашивает Семена о положении. “Не ладно, царь”. Борис возмущается, что Лже-Дмитрий идет войною на Русь со шляхтою литовской. Он понимает опасное положение и хочет как можно скорее обличить Лже-Дмитрия, для чего и вызвал Марфу. Он хочет, чтобы Марфа крестным целованием перед народом удостоверила смерть царевича Димитрия. Борис уходит к Марфе и просит бояр обождать.

Из других дверей появляется Шуйский, кланяется боярам и отходит в сторону с Воротынским, который сообщает ему, куда пошел Борис.

2.

Дальний покой во дворце. Инокня Марфа перед аналоем. Входит Борис. Марфа, окончив чтение, оборачивается. Борис к ней обращается с вопросом, знает ли она о появлении Лже-Дмитрия. Просит ее помощи. Марфа категорически отказывается. Она считает, что Лже-Дмитрий — ее сын и что, как только она его увидит, то признает перед всем народом. [(Ее тайная беседа с Шуйским. Сделать.)] Борис отходит к двери, не поворачиваясь, и все время пристально смотрит на Марфу. Уходит.

3.

Вновь царский покой. Шуйский и Воротынский строят догадки о том, что может происходить между Марфой и Борисом.

Семен Годунов объявляет о возвращении Бориса. Входит Борис. Он расстроен, молчит. Потом, как бы про себя говорит о том, что медлить больше нельзя, что нужно действовать быстро и круто.

Вспышка гнева. Короткий, сильный монолог и уход его.

Общее молчание. Шуйский нарушает тишину, резюмируя положение короткой фразой.

XV. СТАВКА САМОЗВАНЦА. ДИМИТРИЙ И МАРИНА

1.

Богатая усадьба под Новгородом Северским. Стан Димитрия. Сам Димитрий не в лагере, а в усадьбе. Стоит над картой. Около него приближенные русские бояре, к нему перешедшие, поляки. Все одеты по-военному. Мисаил также в военном кафтане. На завтра назначен бой. Димитрий отдает распоряжения.

В это время вводят пленного дворянина Рожнова, который рассказывает о том, что происходит в стане Бориса: казни, доносы, пытки [(Его рассказ показывается особо на экране)].

Димитрий выражает свое сожаление, при этом прибавляет, что у него уж наверное этого не будет.

Рожнова уводят. Начинается обсуждение подробностей предстоящего боя. Положение Димитрия признается менее сильным, т.к. количественно у него войск меньше, но его успокаивает боярин Шеин, говоря, [что] сила его не в войске, а в народе, который за него.

Входит стражник и докладывает Димитрию о прибытии гонца к нему из Литвы. Димитрий приказывает проводить его к нему наверх.

2.

Богато убранная комната.

Стражник вводит стройного маленького гусара и оставляет его одного. Гусар подходит к камину. В это время появляется Димитрий. Гусар оборачивается. Молчание...

Димитрий бросается к Марине — это она — но останавливается. Он ее спрашивает, зачем она сюда приехала. И требует ее немедленного отъезда. Но она говорит, что тайно ушла из дома, т.к. [любит его] не могла оставаться без него. Признание в любви к Димитрию. Димитрий не верит, но Марина его убеждает, [наконец] победа остается за ней. Димитрий ее обнимает. Экран темнеет.

XVI. БОЙ

1.

Стан Московцев перед боем. Приготовления к бою. Беседы вождей о состоянии и количестве войск в обоих лагерях.

2.

Стан Димитрия. Комната в доме, где он проводит ночь. Марина спит на диване, откинув меховое одеяло. У ее ног Димитрий, положив голову на диван.

3.

Вновь стан Московцев. Появляется седой длинноусый атаман казаков. Салтыков отдает ему распоряжение и приказывает рубить атаку.

Атаман с вестовым уезжают. Раздаются звуки рогов — сначала вблизи, потом все более издалека. Присоединяется бой барабанов, ржание коней, стук копыт, крики. Рать двинулась в бой.

4.

Стан Дмитрия. От слышного издалека боевого шума Дмитрий просыпается. Вскрикивает, <не понимает>, что случилось. Видит спящую Марину и приходит в себя. Надевает даламан и хочет уходить, но останавливается, видит, что Марина открыта [не прикрыта], подходит, целует ее, накрывает и уходит.

Далее [идет описание, как Дмитрий по лесу подъезжает] сцена приезда Дмитрия к месту боя, в сопровождении поляков, которые [хитро] острят по поводу его опоздания, т.к. причина им известна.

Дмитрий подъезжает к шатру, около которого его ждет эскадрон гусар, входит в него. Сапега, его сопровождающий, остается у входа.

5.

Наконец на снежной равнине завязывается бой, долженствующий решить судьбу Русского государства.

Сначала показывается движение войск Дмитрия, потом [рати] Бориса. Описание того и другого. И так до первой свирепой схватки. Падают первые раненые.

6.

Дмитрий в своем шатре. Спеша одевается к бою. Старый боярин Шеин, с низким поклоном, подает ему стальную кольчугу с двумя золотыми двуглавыми орлами, одним на груди, другим — на спине, и шлем с яхонтовым, на острие, крестиком и двумя финифтяными образками спереди, св. Георгия Победоносца и Ченстоховской Богоматери. Тут же суетится о<тец> Мисаил. Комическая сцена — Шеин — Мисаил.

Дмитрий выходит. Садится на коня и с эскадроном гусар скачет в бой. [Войска встречают его восторженно. Дмитрий сам ведет войска в атаку левого фланга противника].

7.

В стане Московцев. За насыпью стоят всевозможные пушки, горки ядер, гранат. Туренин говорит Салтыкову, что левое крыло Московцев отступает. Замечает отсутствие казаков. Удивление обоих. Салтыков отдает вестовому приказ атаману подкрепить казачьими частями левый фланг.

На реке в укромном уголке спрятались казаки, не желающие воевать за Бориса.

Пьянство в полном разгаре. [Они] пьют из бочонка, который отняли у своей же обозной бабы торговки. Тут же санки, с торчащими кверху оглоблями; около лошаденка кверху брюхом, с торчащими кверху же ногами. В санках лежит под тулупом, точно спит, мертвая баба с простреленным виском. Тут же под лисьей шубкой молодая девка — тоже мертвая, старухина дочь. Платье растерзано, видна часть обнаженной груди [на которой кровь], да рука. Это казаки ее убили, хотели изнасиловать, старуху же прикончили за то, что защищала дочь. Раздаются песни, крики, брань по адресу Бориса. Слышны разговоры о Димитрии. Им наплевать, кто он, лишь бы была пожива. [Попойка казаков]. Песни. Крик. Они не хотят воевать за Бориса. [Казаки говорят между собой о Димитрии].

Подъезжает вестовой, которого послал Салтыков. Останавливается, спрашивает атамана. Казаки посылают его ко всем чертям. Вестовой замечает трупы женщин и приходит в ужас.

Казаки цинично смеются. Вестовой их клянет. Поддубный (один из казаков, здоровенный) грозит заткнуть ему глотку свинцом. Вестовой скачет прочь. С трудом пробивается к Салтыкову. Докладывает, что видел у казаков. Салтыков приказывает палить по ним из пушек. После пристрелки одно из ядер пробивает лед около казаков. Там начинают тонуть. Крики о помощи, ругань, матерщина.

Далее идет [подробное] описание боя и местности, где он происходит. Отдельные картины боя.

В стане Московцев. Тревога из-за измены казаков. Войска Бориса отступают. Чтобы спасти положение, воевода Хрушов предлагает свой план: атаковать дом, где находится Марина. План приводится в исполнение. Поляки заметили. У них паника. Димитрий во главе своего эскадрона летит на выручку.

Переправляются через реку. Не замечают сигналов разведчика, [предупреждающего], что лед здесь тонок — не выдержит. Лед трескается под копытами лошадей. Отдельные сцены. Лед выдержал. Переправа состоялась. Завязался бой за дом, где Марина.

Горсть польских гайдуков защищает дом. Силы их слабеют, и они отступают перед натиском казаков.

Вдруг из леса несутся гусары [улань] с Димитрием, врубаются с тыла в самую гущу. Крики, стоны, мелькают сабли, режутся ножами. Отдельные сцены. [Можно] Лица в целый экран.

Стычка Хрушов — Димитрий, которого спасает Сапег, убив выстрелом Хрушова.

В доме начался пожар. Слышны крики о помощи, о спасении. Дверь заперта. Димитрий, вбежав вслед за Сапегой, вышибает ударом ноги дверь в спальню Марины. Она лежит без чувств на полу. Димитрий ее хватает и сбегает по лестнице с драгоценной ношей.

В это время положение на фронте меняется. С польской стороны слышны крики: “Царевич убит, утонул”... Бегут... Спорят... Войска Димитрия отступают в беспорядке. Марина приходит в себя.

[Подъезжает] Гонец докладывает Димитрию, что его присутствие необходимо в бою, иначе все погибло. Димитрий бросается к лошади. Садится. Марина тоже хочет сесть на его лошадь, чтобы быть вместе с ним, но он ее отталкивает и скачет с [улань] гусарами.

Второй гонец. Спрашивает, где Димитрий. Марина, воспользовавшись его минутным невниманием, вскакивает на его лошадь и несется за Димитрием.

Около переправы улань снова останавливает скачущих: “Переправа немного дальше!..” Поворачивают, скачут к настоящему броду. В это время Марина с криком пролетает мимо. Бросается на лед и благополучно переезжает на ту сторону. Димитрий поворачивает и следует за ней. Лед начинает сдвигаться, трещит. Сцены... На середине лед не выдерживает тяжести и проваливается. Весь эскадрон с Димитрием идет под лед.

Между тем войска Димитрия бегут в беспорядке.

Стан Московцев. Ранние зимние сумерки. Видно, как к стану летит Марина. Все удивлены. Кто это?.. Затем замечают бегство своих. Прилетает гонец и сообщает, что Марина остановила бегство поляков и повела вновь в бой, и теперь наши бегут. “Димитрий одолел!..” (Сцены бесед). Споры, ссоры, крики между боярами, воинами. Отдельные сцены.

В стане Дмитрия. Он на коне. Тут же Марина, Мисаил. Дмитрий отдает приказ после победы бить отбой. Все кричат: “Виват!..” Поздравления.

Дмитрий, обнажив саблю и указывая в даль: “На Москву!..”

XVII. СЦЕНА С ГРАМОТОЙ

Опочивальня Бориса. Ночь.

Борис в глубокой задумчивости, сидит в кресле перед столом. Входит Семен и докладывает о поражении войск Бориса. Дмитрий идет на Москву.

Борис приказывает собрать на завтра Думу. Замечает в руке Семена бумагу и требует ее ему прочесть. Это письмо Дмитрия, в котором он объявляет себя царем Руси и требует отречения Бориса и ухода его в монастырь. Только тогда Дмитрий его простит. Сомнения, рассуждения, беспокойство Бориса.

XVIII. СЦЕНА С ПРИЗРАКОМ.

Престольная палата. Ночь. Двое часовых. Разговор между ними.

Появляется Борис в рубахе, поверх которой накинута опашен. Не замечает часовых. Говорит сам с собой. Видит престол. Подходит. Шарахается от него. Ему кажется, что престол занят. Борис замечает часовых и требует, чтобы они подошли и ударили в престол. Часовые в ужасе. Но Борис быстро приходит в себя и жестом удаляет часовых. Часовые уходят. Вновь ему кажется призрак. Чур... чур... Народ... не... я...

XIX. СМЕРТЬ БОРИСА

Грановитая палата. Она пуста. Постепенно сходятся бояре. Воротынский спрашивает Семена, серьезно ли болен Борис. Семен скрывает.

Беседы бояр между собой о положении в стране, о том, что войска разбиты.

Входит Шуйский. Рассказывает сцену с призраком. [(Нужно в сцене с призраком показать, как Шуйский подсматривает)]. Бояре его перебивают. Не верят. Вдруг за дверью голос Бориса: “Чур, чур меня...” Дверь открывается — Борис. Движение в толпе бояр, многие [в испуге] крестятся. Борис, никого не замечая, продолжает говорить, как бы про себя.

Подходит Шуйский. Его слова приводят в себя Бориса. Он садится на трон и беседует с боярами. Требуется от них клятвы в верности своему сыну. Бояре клянутся.

Вводят гонца. Тот докладывает, что Салтыков и Туренин передалась врагу и ведут его полки на Москву.

Борису становится хуже. Требуется царевича... Схиму. Паника. Прощание с сыном и смерть.



ПИСЬМА ЗИНАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ ГИППИУС
К МАРИЭТТЕ СЕРГЕЕВНЕ ШАГИНЯН
1908—1910 годов

Из частных собраний Е.В.Шагинян и М.В.Гехтмана

Публикация Н.В.Королевой

Зинаида Николаевна Гиппиус и Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888—1982) познакомились в декабре 1908 года в Москве, в гостинице “Националь”, где остановились ненадолго приехавшие из С.Петербурга в Москву супруги Мережковские. Первое знакомство было кратким — юная восторженная поклонница прославленной поэтессы убежала из гостиницы, не выдержав нервного напряжения. Незадолго до этого, в ноябре 1908 года, Мариэтта отправила Зинаиде Николаевне свое первое письмо, содержавшее признание в любви к стихам Зинаиды Гиппиус, которые Мариэтта читала в журналах, и к ней самой — женщине-мыслителю, критику, человеку и литератору необыкновенному. Текст этого письма в настоящее время не найден, но его можно воссоздать по ответному письму Зинаиды Гиппиус, с которого мы начинаем настоящую публикацию.

Мариэтте Шагинян было в это время 19 лет. Она была “домашней” девочкой, страдавшей из-за своей глухоты, восторженной и романтической. М.С.Шагинян писала о своей семье в воспоминаниях “Человек и время. История человеческого становления”: “Наша семья была частью московской армянской колонии, но практически жила интересами и жизнью московско-русской интеллигенции”. Ее отец, Сергей Давыдович Шагинян, доктор медицины, был приват-доцентом Московского университета по кафедре диагностики внутренних болезней, научную работу он проводил в клинике профессора Александра Богдановича Фохта, практикующим врачом работал в Старо-Екатерининской больнице. Мать, Пепронэ Яковлевна, урожденная Хлытчиева, была одаренной музыкантшей, воспитывала детей в духе христианской гуманности и “дуализма “вины и обвинения””, свойственных российской интеллигенции рубежа веков. После ранней смерти отца сестры Шагинян — Магдалина (Лина) и Мариэтта

оказались в Москве на попечении богатых теток, воспитывались в пансионе, затем (с 1897 г.) в гимназии Л.Ф.Ржевской, где получили глубокое и разностороннее по тем временам гуманитарное образование, — знание нескольких иностранных языков, русской классической и современной литературы, которую преподавал в гимназии Иван Никанорович Розанов. Рано пробудился у Мариэтты и интерес к религиозно-философским вопросам, и стремление постичь высший смысл своего предназначения в мире. Она с детства писала стихи, с пятнадцати лет начала печататься, в девятнадцать лет собрала свою первую книгу стихов. К двум юным сестрам Шагинян, ставшим курсистками истрико-философского факультета Высших женских курсов Герье и жившим в крохотной снимаемой ими комнатке на Малой Дмитровке, приходили Владислав Ходасевич и Муни, Андрей Белый, Михаил Новоселов, Николай Бердяев, Сергей Булгаков и Владимир Кожевников, Сергей Рахманинов и братья Метнеры. Им писали Андрей Белый и Н.Бердяев, Д.Мережковский и Зинаида Гиппиус — последняя в ответ на восторженные признания ей в любви Мариэтты Шагинян. Всего, по подсчету М.С., она получила от Гиппиус за три с небольшим года — в Москве и после переезда в конце 1909 года в Петербург — восемьдесят пять писем, не считая коротких деловых записочек. Некоторые из этих, заботливо сохраненных М.С., писем она опубликовала (в отрывках) в книге “Человек и время” (от 24 ноября 1908, 16 октября 1909, конца 1909 г., января 1910, 6 января 1911, 26 октября 1912 г.). Включенные в текст воспоминаний 1970-х гг., письма сопровождалось поздним комментарием, подчеркивающим давние обиды адресата, разочарование в своем романтическом идеале, раздражение от стремления Гиппиус учить, назидать, воспитывать свою юную поклонницу — и в то же время — использовать ее для различных мелких и крупных поручений. В письмах Гиппиус отчетливо сказался ее “волевой темперамент” (так определила его М.Шагинян в статье “О блаженстве имущего. Поэзия З.Н.Гиппиус” (Книгоиздательство “Альциона”, 1912). О значении этих писем можно сказать словами Д.С. Мережковского из его книги статей “Было и будет”: “В наше время, а может быть, и всегда, частные письма живее книг. Книга — сухой хлеб, а письма — живые зерна, которые мы едим, растирая колосья руками.” (Д.С.Мережковский. Было и будет. Дневник 1910–14. Издание товарищества И.Д.Сытина. 1915.С.360). Публикуем полный текст писем Гиппиус к М.С.Шагинян 1908 — начала 1910 гг. Приводим и краткие “резюме” или оценки М.Шагинян, написанные ею на конвертах, — очевидно, при позднем перечитывании писем.

К моменту начала переписки М.Шагинян печаталась уже несколько лет — выступала как поэт и как газетный журналист: на страницах газет “Приазовский край”, “Кавказское слово”, “Баку” появлялись написанные ею “хроники” литературной и культурной жизни.

В 1909 году Мариэтта Шагинян издала свою первую книгу стихов — “Первые встречи”. В 1913 году вышла вторая книга стихов — “Orientalia”.

Эстетические взгляды Мариэтты Шагинян и ее поэтический стиль формировались под воздействием поэзии и философии символизма. Стихи Зинаиды Гиппиус и ее необычайная личность казались ей идеалом. Восторженная любовь к необыкновенной женщине-поэту выливалась на страницы писем, вызывая удивленное, но благожелательное внимание адресата.

Может показаться странным, что маститая, привыкшая к вниманию сорокалетняя Зинаида Гиппиус, выдающийся поэт-символист и строгий и беспощадный литературный критик, законодательница литературной моды и вкуса, автор пяти книг рассказов и книги стихов, единственной, но собравшей стихи, написанные за многие годы, — тем не менее ответила и на первое письмо юной “барышни”, и в дальнейшей регулярно ей отвечала. И дело не в том, что ей была приятна восторженная любовь и поклонение, — напротив, именно эта сторона их переписки очень скоро стала раздражать Зинаиду Николаевну, она все настойчивей переводила разговор на другие темы, требовала простоты и равноправия в их эпистолярных беседах. Следует признать, что несомненный ум и литературная одаренность Мариэтты Шагинян заставили З.Гиппиус выделить ее из ряда начинающих, приходящих в дом Мережковского и Гиппиус за “благословением”. Чаще всего супруги были к “молодым” строги и даже беспощадны, — вспомним хотя бы широко известный эпизод с приходом к Мережковским Николая Гумилева или отношении Д.С.Мережковского к “начинающему” О.Мандельштаму. Зинаида Гиппиус в 1909 году решительно ввела Мариэтту Шагинян в круг близких ей литераторов, — в салон Вячеслава Иванова, в журнал Поликсены Сергеевны Соловьевой (*Allegro*) “Тропинка”, познакомила ее Борей Бугаевым (Андреем Белым), который в это время не только был постоянным гостем дома Мережковских, но и посвятил Зинаиде Гиппиус свою книгу “Кубок метелей” (1908). Она поощряла дружбу Шагинян со своими сестрами, пыталась “наставлять” ее в ее духовных исканиях, в вопросах веры и церковности. Самым серьезным образом рассуждала (соглашалась или спорила) о Бердяеве, его теориях и противоречивом духовном пути-поиске.

Все это, — и многие другие темы — содержатся в письмах З.Гиппиус к Мариэтте Шагинян, публикуемых нами впервые. Они чрезвычайно важны для раскрытия и характера З.Н.Гиппиус, и — истинной и объективной картины истоков формирования творческой личности одного из больших советских писателей, — истоков, уводящих в культуру символизма, культуру “себряного века”.

Следует отметить, что Мариэтта Шагинян, поначалу принимающая все советы и пожелания старшей “наставницы” — и как поэт, и как верующая христианка, и как студентка (Шагинян училась на историко-философском факультете Высших женских курсов, который закончила в 1912 году), — через некоторое время стала сопротивляться могучему чужому влиянию. В 1909 году по совету Гиппиус она переехала из Москвы в Петербург, — расставшись с сестрой и обеспеченным существованием, была вынуждена снимать комнату в дешевой квартире и терпеть материальные лишения. Все это искупалось радостью личного общения со своим кумиром. Итогом творческого и личного общения Шагинян с З.Гиппиус можно считать ее стихи, сказки и рассказы этих лет, а также книгу “О блаженстве имущего. Поэзия З.Н.Гиппиус” (СПб., 1912).

Но когда Гиппиус попыталась “вмешаться” в выбор ее дальнейшего жизненного пути, насмешливо отнеслась к идее Мариэтты — “странствия” по Руси для познания народной жизни, — Мариэтта дала отпор. Романы М.Шагинян об интеллигенции и духовных поисках героини “из общества” — “Своя судьба” и “Приключения дамы из общества” (1923) во многом явились результатом раздумий писательницы о круге Мережковских, о бывшем кумире своей юности.

На одном из писем Гиппиус к Шагинян, которые мы публикуем, есть две любопытные надписи рукой Мариэтты, сделанные в разное время: первая — “Люблю Зину на всю жизнь, клянусь в этом своею кровью, которою пишу.

Мариэтта Шагинян.
СПб., 9-е февраля 1910 г.”

Вторая — сделана значительно позже, без даты:

«Какая же я была дура, что не понимала эту старую зазнавшуюся декадентку, выдающую себя за “самую простоту”!»

Имя Мариэтты Шагинян часто упоминается в дневниках Гиппиус, — там говорится о том, что она вносила известную тяжесть в жизнь Гиппиус своим желанием быть постоянно возле нее, своим обожанием ее. 14-го марта 1911 г., вспоминая события 1909–1910 гг. в С.-Петербурге, Гиппиус пишет: “Мариэтта — умная, религиозная и... легкомысленная девушка, привя-

занная ко мне”. И далее: “Мариэтта опять... Между нами — нехорошо как-то <...>. Тут еще рядом: пылкая и безумная Мариэтта, принявшаяся писать нам самые неосторожные письма о революции, шпионаже и т.д.” В 1912 г. Гиппиус продолжает: “Несчастливая, легкомысленная Мариэтта опять явилась из Москвы. В ней много тяжести <...>. Встречали вместе Рождество <...>. Было как-то не для себя”. Подобными краткими, но выразительными деталями Гиппиус раскрывает образ Шагинян и дальше в тексте дневника.

После Октябрьской революции пути М.Шагинян и З.Гиппиус разошлись. Шагинян в первые послереволюционные годы оказалась в кругу писателей “Дома Литераторов” на Мойке, жила рядом и дружила с В.Ходасевичем и Н.Гумилевым, общалась с Н.Берберовой, К.Вагиновым, Н.Чуковским и др. Она переписывалась с В.Ходасевичем после отъезда того за границу, он еще долго будет считать ее своей “подругой”. Кое-что из этого периода нашло отражение в воспоминаниях М.Шагинян, написанных в поздние годы ее жизни — “Человек и время. Воспоминания” (“Новый мир”, 1971, №№ 1, 2, 4. 1972, №№ 1–2. 1973, №№ 4–6. Отд. изд.). Однако период ранних духовных исканий, период общения с З.Гиппиус и ее кругом в этих воспоминаниях не нашел объективного отражения.

Публикуемые нами письма З.Н.Гиппиус хранились в архиве семьи Шагинян; в настоящее время большая их часть — собственность коллекционера М.Гехтмана, любезно предоставившего их для публикации. Ответных писем М.Шагинян в нашем распоряжении немного. Они хранились в собрании Томаса Уитни (г. Вашингтон, штат Коннектикут, США). В настоящее время они находятся в отделе рукописей центра русской культуры, созданного Томасом Уитни в Амхерст-колледже. В 1988 году часть из них была опубликована А.Тюриным в “Новом журнале” (тт. 170, 171, 172).

Это не обычные письма, а особый жанр, который З.Гиппиус и М.Шагинян называли “регламентациями”. Это как бы отчет о жизни, встречах, событиях культурной жизни и собственных размышлениях за определенный период времени. Первые такие “регламентации” были написаны из Москвы Линой Шагинян и высоко оценены Мариэттой и З. Гиппиус; Мариэтта начала писать “регламентации” весной 1910 года, когда Мережковские уехали за границу — во Францию — для лечения; следующие — осенью того же, 1910 года, во время следующей заграничной поездки Мережковских. Подобные письма — “регламентации”, которые, кроме Шагинян, писали Зинаиде и ее сестры, и некоторые из ее ближайших друзей — Д.В.Философов, например, —

позволяли З.Гиппиус быть в курсе происходящего на родине, ощущать нерв времени и движение истории, без которых немислимо было ее творческое существование.

И еще одну особенность переписки З.Н.Гиппиус и М.С.Шагинян следует отметить. “Закрытая” для собеседников, избегающая “исповедальности” в лирике и в своих дневниках, Зинаида Гиппиус в письмах к Мариэтте, пожалуй, более “открыта”, чем в общении с кем бы то ни было другим. Поэтому ее письма 1908–1910 годов к Мариэтте Шагинян дают ценнейший материал для познания жизни души самой Гиппиус этих лет, могут раскрыть некоторые контексты ее собственного творчества. Напомним, что в это время Гиппиус была постоянным критиком журналов “Русская мысль”, “Образование”, “Новое слово”, “Новая жизнь”, “Голос жизни”, “Вершины”, газет “Слово”, “Речь”, “День”, “Утро России” и др. Она готовила очередные издания своих рассказов и новые книги, писала роман “Чортова кукла” — о русской революции 1905 года, ее героях и антигероях. В 1909 году написаны такие стихи З.Гиппиус, как “14 декабря” (“Ужель прошло — и нет возврата?...”), “Петербург” (“Твой остов прям, твой облик жесток...”), а в 1910–1911 гг. в Каннах написаны терцины “Не будем как солнце”, стихотворение “А потом?...” (“Ангелы со мной не говорят...”). В это время она осмысляет острые социальные и нравственные проблемы, предлагает М.Шагинян оценить творчество и страшный жизненный путь своего друга и “ученика” в литературе, террориста-убийцы Бориса Савинкова, определить свое отношение к проблемам государства, церкви, революции, демократии.

Таким образом, публикуемые нами неизвестные ранее письма З.Гиппиус к М.Шагинян позволяют восполнить пробел в осмыслении чрезвычайно важного этапа жизни и творчества не только начинающей Мариэтты Шагинян, но и Зинаиды Гиппиус, сложившегося мастера трезвого анализа и социального исследования современного ей мира в его историческом развитии.

№ 1.

24 ноября 1908. СПб.

Литейный, 24 (или Пантелеймонская, 27,
это одно и то же)

Милая Мариэтта, ваше письмо было мне очень радостно. Оно такое хорошее, ваше письмо; такое умное и *трезвое*. Знаете, очень важно, что трезвое. Так это редко теперь. Мне казалось, когда я читала ваше письмо, что вы поняли все, что я...не писала, а думала и чувствовала, когда писала. Иного, ведь, написать не смеешь, да и нельзя, а хочешь, чтобы угадывалось. Вы подслушали мою душу. И как верно то, что вы пишете о простом, “обыкновенном”...

Прежде я все-таки говорила больше, а теперь чувствую, что надо быть еще скрытнее, надо уметь выявлять тайное... почти молчанием.

Я думаю, — чувствую сознанием, — что вам близок “Бог”, который близок мне и к которому я хочу все больше, еще больше, приблизиться. Я все слова и мысли вашего письма принимаю, говорю им “да” с величайшей радостью. Да, у вас хорошая молитва, да, не фетиш, но надо “сквозь” земные явления... И “символ” вы понимаете не как все, а шире, более реально; как я понимаю и еще некоторые, мне близкие.

Я три года не жила в СПб., — в Париже. Три года не была и в Москве, ровно. Теперь я буду туда на днях. Если хотите увидеть меня существующую — напишите (в редакцию “Русской мысли”, я дам тогда свой адрес, день и час). Но, может быть, рано, может быть, для данного момента довольно реализации в письмах. Подумайте об этом и решите сами. Я хочу, чтобы вы мне писали обо всем, и обо всей вашей жизни (да, это очень важно), — и, может быть, вам лучше сначала долго писать мне, а уж потом увидеться?

Все ли книги мои есть у вас? Книга стихов у меня старая¹, с тех пор я много их написала, печатала в “Весех”, но не люблю я печатать стихов... знаю, почему, но с этим надо бороться, потому что ведь вот, если б я их хранила “для себя”, не было бы у меня вас. Правда, не было бы и той моей “известности”, которую я так ненавижу, но за вас я прощаю судьбе и ее.

Книг рассказов у меня пять, и одна — статей². Ее вы, кажется, знаете.

Много бы еще написала вам, мешает чисто внешняя, телесная моя утомленность, я в последнее время очень много работала и сейчас мне просто трудно перо держать в руке. Вы это мне простите, потом не будет так, и сами пишите мне о многом, много. Я всегда буду отвечать.

Целую вас, если можно... И спасибо еще раз.

Ваша Зин. Ник. Гиппиус.

На конверте адрес:

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Мал. Дмитровка, Успенский пер., д.Феррари, кв. 5. Москва.

Дата на почтовом штемпеле: 26. 11. 08.

Пометы на конверте рукой М.Шагинян:

1908 г. № 1.

№ 2.

Москва, 7 декабря 1908

Я сегодня уезжаю, милая Мариэтта. Я думала, что напишу вам из СПб., где, во всяком случае, у меня будет скорее свободная минутка. Конечно, я не сержусь на вас и ваше отношение ко мне не считаю смешным... я только считаю его опасным для вас. Вы так хорошо писали о фетишизме, а теперь вдруг у меня является чувство, что вы можете сделать меня фетишем. Я вам говорю это резко, потому что мне кажется — вы достойны моей откровенности. Любите *мое* больше меня, любите мое так, чтобы оно было для вас, или стало *ваше* — вот в этом правда, и на это я всегда отвечу радостью. Любить одно и то же — только это и есть настоящее сближение. Я не люблю быть “любимой”, тут сейчас же встает призрак власти человеческой, а я слишком знаю ее, чтобы не научиться ее ненавидеть. Я хочу равенства, никогда не отказываюсь помочь, но хочу, чтобы и мне хотели помочь, если случится. Я хочу равенства. И боюсь за других там, где для меня уже нет соблазна.

Пишите мне все, как обещали. Не сердитесь на меня за мою прямоту, а поймите ее. Правда, вы пишете стихи? И в 20 лет, и теперь, уже издаете книжку? Может быть, вы пишете очень хорошо, а все-таки, может быть, торопитесь. Какие люди разные! Я печаталась 15 лет прежде, чем меня уговорили издать мою единственную книгу стихов. И как теперь, так и в 17 лет я писала 2—3 стихотворения в год — не больше. Не было в мое время и того моря поэтов, в котором утонет ваша книжка, как бы она хороша ни была. Впрочем, разны люди.

Буду ждать вашего письма в СПб. (Литейный 24). Я стану отвечать вам иногда длинно, иногда кратко, — как сможется. Но

всегда прямо, не потому, чтобы не умела иначе, а потому что с вами иначе не хочу.

Ваша З.Гиппиус.

Письмо в фирменном конверте Национальной Гостиницы, Москва, на почтовом штемпеле дата: 9.12.08.

Адрес: В городе. Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Мал. Дмитровка, Успенский, д. Феррари, кв. 5.

На фирменной почтовой бумаге гостиницы "Национальной".

Помета М.Шагинян: № 2.

№ 3.

22 декабря 1908

СПб. Литейный 24.

Милая Мариэтта.

Пишу вам два слова, только чтобы вы не чувствовали, что пишете куда-то в "черную пустоту", пока я не соберусь ответить вам подлиннее. Ваше первое письмо вполне меня удовлетворило (насчет "фетишизма"), и до поры до времени, я думаю, этот вопрос исчерпан. Из начала вашего повествования о "чорте" (до кот<орого> вы еще не добрались) вы могли бы сделать прелестный рассказ. Жаль, что вы увлечены стихами и пренебрегаете "презренной" прозой!

Жду продолжения. С большим и серьезным вниманием слушаю вас.

Ваша З.Гиппиус.

На конверте адрес:

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Мал. Дмитровка, Успенский,

д. Феррари, кв. 5. Москва.

Дата на штемпеле: 23.12.08.

На конверте пометы М.Шагинян:

Вторая половина 1908 г. 22/XII 1908. Профессионально о прозе.

На обороте конверта: № 3.

№ 4.

13 января 1909

СПб. Литейный 24

Милая Мариэтта!

Ну что же мне делать, — да, я продолжаю *слушать* вас с величайшим интересом и вниманием, находить, что вы умная (с удивлением, ибо редко вижу ум у женщины) и... пока больше ничего. Вам кажется, что это мало? А мне кажется, что много. Умные письма от "барышни"! И которая не присылает своих стихов для напечатания! И не спрашивает, что ей "переводить"! И которой я отвечаю — не на карточке и не из вежливости! И с

которой я могу не быть безнадежно “любезна” и не спешу проститься с упованием больше не встретиться! Как хотите, это не мало.

Конечно, ваша “философия” дуализма, ваше манихейство, — все это давно известные вещи, но дело, ведь, не в том: дело в вашем собственном (хотя и тоже известном) пути преодоления, в факте собственного, личного понимания, внутреннего. Оно необходимо; можно все знать и ничего не понимать. Такое понимание я называю “подкожным”; в сущности, только оно и имеет значение. Я, кажется, всегда знала, как все знают, и о монизме, и о дуализме, и о триадности. Однако процесс подкожного понимания едино-троичности должен был произойти своим чередом, и лишь после него могла установиться известная незыблемая концепция мира во всех его явлениях.

Но я не буду, конечно, писать вам “философских” писем.

Чистая философия “Одного, Двух и Трех” (1,2,3) слишком известна, и, чтобы уметь раскрывать ее по-новому, нужно еще кое-что сверх слова. Знаки (вроде моего стих<отворения> “Электричество”) тоже полезны лишь для знающих, т.е. имеющих это свое, уже подкожное, знание.

Пришлите мне вашу книгу. Я вам верю, что вы ею не увлечены. С кем дружите вы теперь? С сестрой? С кем знакомы из москвичей? С бывшим Грифом — Соколовым?³ Гм... Знаете ли близкого друга моего — Бугаева? Что думаете думать и делать дальше?

Ваша Зин. Гиппиус.

На конверте адрес:

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Мал. Дмитровка, Успенский,

д. Феррари, кв. 5. Москва.

На штемпеле дата: 15.1.1909.

На конверте пометы М.Шагинян:

Первая половина 1909.

Четвертое письмо о пифагорейских 1,2,3 — триаде.

На обороте конверта: № 4 и дата: 1909.

№ 5.

26 января — 3 февраля 1909

26 января 1909

Следовало бы сделать вам удовольствие, милая Мариэтта, и написать, что вы вовсе уж не так “умны”. Если судить исключительно по последнему письму — право, можно придти к этому заключению. Почему вы вдруг так обеспокоились и столь длинно мне начали доказывать, что *один ум* — несчастье и пошлость? Помнится, в моем письме я никаких таких вопросов не затраги-

вала. Сказала только, что по письмам судя — вы человек умный, а есть или нет у вас что-нибудь *сверх*, я об этом вовсе ничего не говорила. Я считаю ум не абсолют, но однако чем-то очень важным, и право не знаю, как бы я с вами “сообщалась”, начала сообщаться, будь у вас только одно “сверх”.

1 февраля 1909. СПб.

Вот на этом блок-ноте я начала вам письмо, Мариэтта, но что-то помешало мне его сразу кончить, а в это время я получила ваше другое. Об “уме” не стоит дальше распространяться, кажется — довольно сказала. А на последнее ваше письмо я не знаю, как отвечать “черным по белому”. Вы говорите, что слова — разрушители. Так как же их...даже не говорить, а писать? Если я все-таки пишу, то лишь потому, что в этой правде (“разрушители”) есть и свой обман. И так — и все же не так. И разрушители — и созидатели. Вы бы совсем не узнали, что я есть и что я думаю — не будь у меня “слов”. Понимаю, о чем вы говорите. Но где граница несказанного? Она всегда есть, ибо всегда есть несказанное, и оно не уменьшится, если мы границу дальше, все дальше будем продвигать. “Нет между людьми сообщения!” — сказал у меня...как его? в рассказе “Все к худу”⁴, — но ведь он и повесился.

Есть между людьми сообщение, есть в Главном, — говорю я, говорю *по опыту*, и думаю: если дано мне такое счастье, то, значит, дано всем, кто поймет и захочет. “Приходящего ко мне не изгоню вон”. Как же вы смеете думать, что *мы*, маленькие и жалкие, решимся кого-нибудь гнать от какого-нибудь костра? Не нами костер зажжен, мы только прибрели и сели к нему, и часто отходим от него, но уже знаем, где он, встречаемся около него, и грустно нам, что так мало встречающихся. Идите, не только гнать от него не будем мы, но руки вам протянем, когда будете близко. Но идти нужно — *самоу*. Тащить, нести, даже звать усиленно, обещать костер — нельзя, не помогает...

3 февраля.

Никак не могу окончить письма этого. Жизнь оттягивает, вечно что-то требует, и все же не могу сказать, что

В заботы суетного света
Я малодушно погружен⁵.

Однако не продолжаю начатого, а скажу несколько слов о вашей книге⁶. Она меня ничем не удивила. Такая именно, как я и думала. Это значит, что я вас уже немного знаю; по письмам только могу знать — и вот, знаю. Она, конечно, хорошая, а не

дурная, но издавать ее все же не следовало. Вам легко далась отличная форма, — ну, и это вас соблазнило. Впрочем, — зачем я буду вам писать “рецензию” о вашей книге? Вы сама знаете, что там есть подражательность, есть и в форме (которая, повторяю, хороша) неудачности. Молодое, нежное, слабое, с невыявленной глубиной, подчас красивое, никогда не пошлое, с большими “возможностями” и с такой же большой опасностью, что эти возможности возможностями и останутся. Вы понимаете, я не обидное что-нибудь говорю, а только точное. От вашей свободной воли (с сознанием) зависит, двинуть ли данное по пути к должному, или к недолжному, или никуда не двинуть.

Я не понимаю о вашем “женихе”. Как будто тут что-то “не то”. Зачем вам такой жених? Если жених может быть, а может и не быть, то это не настоящий жених. Это, в лучшем случае, просто добрачный муж; тут разница. И у моего “Ивана Ивановича” есть такая добрачная жена. Но у него есть и невеста — тоненькая девочка...⁷

Отсылаю письмо, пока еще что-нибудь не помешало. Прочтите во 2-ой книжке “Русск<ой> м<ысли>” мою “Обратную религию” (псевд<оним> Лев Пушин)⁸. Впрочем, это очень с умничаниями. А нравится ли вам “Конь бледный”, повесть моего парижского друга одного, и отчасти моего ученика?⁹ Это замечательный человек со страшной, темной душой, громадной волей и тоже страшной, яркой жизнью.

Нет, Мариэтта, не надо, нельзя винить людей, когда они не слышат твоего голоса. Даже если и *то* говоришь, что нужно — виноват все же тот, *кого* не слышат. Значит, не *так* говоришь, не тем голосом. Ведь если других винить — это решать, кто “мариво”, “плевелы”, а решать этого нельзя, нельзя сметь...

До свиданья... когда-нибудь. Нет, не умирайте, да и я хочу долго жить. Если не все — то многое еще успеете мне сказать.

Ваша З.Гиппиус.

P.S. Я вас “принимаю на лестнице”, потому что вы еще не приходили к нам “на просеку”. А если...

На конверте адрес: Москва, Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Мал. Дмитровка, Успенский, д. Феррари, кв. 5.

На штемпеле дата: 5.2.1909.

Пометы М.Шагинян: Первая 1/2 1909. О Коня Блед. “моего ученика” Савинкова-Ропшина, критика на мою книгу. Интересно.

На обороте конверта: № 5 и дата: 1909.

№ 6.

5 февраля 1909. СПб.

Милая Мариэтта,

А я вам только что отослала какое-то сборное и не особенно ласковое, кажется, письмо. Мне теперь жаль. Выздоровливайте скорее, верно вы не береглись, вот и воспаление в легких. У меня с 12-ти лет была “чахотка”, т.е. как бы перманентное воспаление легких. Я его однако презрела, ибо — *желала* быть здоровой.

Совершенно же я здорова (в легких) с тех пор, как сплю с настежь открытым окном даже в очень сильные морозы, даже когда меня осыпает метель. В Москве я страдала, что приходилось открывать лишь форточку, а у меня одно окно не замазывается.

Это ужасно приятно, живительно, весело во сне, — но нужно долго и осторожно к этому привыкать. Я так сплю уже десять лет.

Простите, что пишу вам такие пустяки, я хотела просто послать вам два слова с пожеланием быть бодрой и скорее выздороветь. Не утомляйтесь, но все же черкните мне строчку как-нибудь.

Ваша З.Г.

На конверте адрес:

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Мал. Дмитровка, Успенский, д. Феррари, кв. 5. Москва.

На штемпеле дата: 8.2.1909.

Пометы М.Шагинян:

5/II 1909. 1/2 1909. Мое воспаление в легких, у нее с 12 лет “чахотка”. № 6.

№ 7.

С.Петербург

Литейный 24.

27 февраля 1909

Так давно не писала вам, милая Мариэтта, что не знаю, на что отвечать. Меня ужаснуло ваше письмо о нарочной болезни: я это поняла, понимала, но это неверно, это стыдно, это безбожно. Хорошо, что вы сами поняли... крепко ли? Надо понять крепко. Я все забываю, что вы еще маленькая, глупая девочка, и пишу вам как равной; а потом в ужас прихожу, как, например, от вашей идиотской форточки *во время болезни!* Доктору вас следовало за уши выдрать, больше ничего. Нашли время приучаться — зимой, в Москве, с воспалением легких! Ну, да все, слава Богу, прошло, бросим это. Забываю же я, что вы девочка, пото-

му, вероятно, что во мне самой, как уверяет Тата (моя младшая сестра), сидит еще “теплая девочка”. Стыдно признаться, а, впрочем, и не стыдно. Может, так и надо, и хорошо. То, что вы пишете о “скверных анекдотах”, — очень глубоко. Ну да, так и должно быть, через это нельзя не пройти, когда религия реализуется, входит в жизнь. Это, может быть, даже страшнее, чем вы думаете, можно совсем пропасть слабому, когда врежется в жизнь луч разделяющий. Не думайте, *надо* или *не надо* “говорить о Боге”. Иногда надо, иногда не надо. Это изнутри чувствуется. Иногда *для себя* не надо, иногда *для другого* не надо. Т.е. *ради себя*, *ради* другого.

Что значит ваша фраза “разве Христос — последнее?” Я бы на это ответила: непременно последнее. И конечно не последнее. Он и первое, и последнее (Альфа и Омега), но Он же и Второй, хотя и Первый, и Третий тоже.

Вот как я отвечу, а как вы поймете — не знаю.

Скоро я уеду, Мариэтта. Верно, уеду из России. Но вернусь. Впрочем, раньше я, должно быть, буду в Москве. Мне хотелось бы поговорить с вами в моей комнате, у моего камина, а не в холодном “Национале”; однако думаю, что теперь вы не убежите от меня? Или боитесь “разочароваться”? Не бойтесь. Я хочу быть для вас “я”, а вовсе не отвлеченной поэтессой с сомнительно серыми глазами, не столько серыми, сколько зелеными. Я сейчас улыбаюсь и, право, немножко люблю вас, Мариэтта. Что вы глуховатая, это тоже меня как-то приближает к вам.

...Часы стучат невнятные...¹⁰

Это я писала, когда была, целый месяц, совершенно глухая. С тех пор я чуть хуже слышу на правое ухо. Это сносно для телефона, но не для шепчущего соседа с правой стороны.

Ну, до свидания, не забывайте меня. И не бойтесь меня. Так должно быть. Да, я еще надеюсь, что вы мне во многом поможете, и я вам.

Ваша З. Гиппиус.

Слева на полях:

А разве вы читали мой “Алый меч”, что говорите о плевелах?

На конверте адрес:

Москва, Мал. Дмитровка,

Успенский, дом Феррари.

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

На штемпеле дата: 1.111. 1909. 12 ч.

Пометы М.Шагинян:

“Очень хорошее. Надо частично опубликовать”.

“2/111 1909”. “Первая половина. Еще не встретились”.

№ 7.

С.Петербург
Литейный 24.
25 марта 1909
Благовещение

Вы не сердитесь на долгое молчание, милая Мариэтта. Получать письма одно, а писать другое. Я вами избалована и, хоть не отвечу иной раз, — все-таки жду от вас письма, и получаю, глядишь. На многое мне хотелось тотчас же ответить, со многим спорить, кое в чем даже побраниться с вами — но если не ответить сейчас — потом трудно. А тут такие обстоятельства подошли. П.Соловьева-Allegro (я ее люблю прямо по человечеству) издает со своей приятельницей детский журнал — “Тропинку”¹¹. И обе они заболели. Надо было им помочь (вообще я для детей не пишу, очень трудно). Ну, написала им о Гоголе и пасхальный рассказ. Да два рассказа в газеты. Пишу я скоро, но думаю очень долго, в этом вся беда.

Итак — уж примиритесь с тем, что кое на что я вам не успею ответить. Вашим рассуждениям о теократии и государстве, также как вашему увлечению Бердяевым¹² — не могу вполне сочувствовать. Хотя должна признаться, что о Бердяеве вы кое-что верно говорите, подметили то, что нам стало ясно лишь после нескольких лет. С Бердяевым мы сблизились года четыре тому назад, говорила с ним больше всего я, мы оба — полуношники. Было это перед нашим отъездом в Париж и перед его “обращением”. Еще когда нынче весною он приезжал к нам в Париж — замечалось, что линии наши, пересекаясь, начинают расходиться. Недавнее свидание это подтвердило. Но Бог с ним пока. А главное вот что, Мариэтта: очень предупреждаю вас от хотя бы “пассажерного” увлечения кружком этих милых... правда, очень милых — мертвецов, из коих разве один Новоселов¹³ не милый, потому что он обыкновенная дрянь. (Кожевникова не знаю). Новоселов памятен мне еще с <1>901 года, по нескольк лет знаю, и близко, других. О, как возмущают душу мою эти “смирненные”, которые “и сами не входят”, и телами своими покорными и сладкими “заграждают путь другим!” Пусть в некоторых из них есть подлинная пещерная лампадка, налитая подлинным деревянным маслом, — но я-то не хочу ее, я не верю, что в ней сейчас истина. Не истина это, а своего рода “обывательщина”, ставшая столь милой сердцу и Бердяева. Меня огорчило бы, если бы во имя ее вы, Мариэтта, отказались от “костра”¹⁴. Правда, она уже есть, вот тут, ее легко взять, а для костра нужно еще хворост таскать, еще разжигать его, еще мучиться, но... но что ж такое?

Я вам все это говорю, а сама верю, что вы, в конце концов, сами сумеете разобраться, понять “милость” этих мертвеньких, — и от костра вы не откажетесь, какой бы путь, длинный, одиночества и странничества, “безумства”, к нему ни вел.

Пишите мне подлиннее и почаще обо всем, помните, что я все читаю, на все имею кучу ответов, и если не все их вы физически слышите, то этому чисто физические причины, — моя ненависть к перу, например, — когда уж очень оно мне надоедает, держать его в руках надоедает.

Говорю вам, кончая, самое великое слово, какое только знаю: Христос воскрес!

Зинаида Гиппиус.

На конверте адрес: Москва, Маризette Сергеевне Шагинян,
М.Дмитровка, Успенский, д. Феррари, кв. 5.

Помета М.Шагинян:

Удивит<ельное> письмо, отповедь новоселовщине,
о Бердяеве, предостережение. № 8.

На штемпеле: Москва, 27.111.1909.

№ 9.

1.4. <19>09

СПб., Литейный, 24.

Маризетта, да, я вполне обдуманно, — хоть и вполне естественно, — не касалась в письмах моих этого вопроса: вашей ко мне любви. Отнюдь не следует отсюда, что я ей не верю, или что я на нее “сержусь”, или даже что я ее не вполне, не так, не во всю ее глубину понимаю. Прекрасно я это постигаю, нахожу, что вы ее “рассказываете” очень хорошо, т.е. точно, тонко и верно. Сами противоречия и “бессмыслицы” рассказа — верны. Если бы любовь не хотела “бессмыслиц”, “ответов”, которых не может быть, не спрашивала того, чего нет, — это была бы не любовь. Любовь всегда хочет “того, чего нет на свете” — это ее главный признак. И скажу я вам вот что, — не шутя и не “сердясь”, а совершенно просто: любовь бывает счастливая и несчастная, причем счастье ее или несчастье зависит вовсе не от “обстоятельств”, а от душевного свойства любящего. Если он, любящий, к этим вот словам “хочу того, чего нет на свете” — *может* (умеет) прибавить — хотя бы тихонько, про себя, — одно маленькое слово — любовь его счастливая. Если же он таков, что у него словечко это не прибавляется, — его любовь непременно несчастная. Непременно и всегда! А словечко это — “еще”. Просто “хочу того, чего (*еще*) нет на свете”. Мне чуется, что вы именно такая, с “еще”, не могли бы быть без “еще”, даже если

б и захотели, а потому непременно ваша любовь (настоящая) — любовь *счастливая*, все равно какими бы “обстоятельствами” она ни сопровождалась. Сблизимся мы с вами — или никогда не увидимся, то ли будет или другое, да и что бы там ни было — а все-таки любовь ваша счастливая. И совсем я не в “воспитательном” смысле говорю, а беру широко, в иных перспективах. Тут, в маленьком словечке этом, вкрапленном в душу человеческую (“еще нет на свете”... но будет! Должно быть) — тут и оправдание любви как некой “бесмыслицы”. Потому что, ведь действительно — она безнадежная бесмыслица иначе, абсурд, на ногах не стоящий. Вы подумайте: если б я попробовала ответить на ваше письмо, не входя внутрь, а со стороны, как всякий, — что это был бы за ответ? Вы легко его можете вообразить сами. Ведь начать с того, что я вас почти не видела, а если учесть мою крайнюю близорукость, то, можно сказать, что и совсем не видела. А вы меня — едва-едва. Да и не с этого можно начать, а с какого угодно конца, — все будет одна и та же “бесмыслица” — ежели со стороны, ежели не входить внутрь, в сущность любви, которая оттого и любовь, что требует небывалого, сверх-смысленного (оно же, для стороннего взора, бес-смысленно).

Это все не просто, Мариэтта, но ведь наша настоящая простота начинается *за* сложностью, а не *до* нее. Уж тут ничего не поделаешь. До-сложная женщина, конечно, испытывает волнение без всякой любви, читая любовное письмо. Но я не хочу лгать вам, этого волнения я не испытываю. Помнится, даже и прежде испытывала не такое. Я вам писала как-то в самом начале, что несравнимо больше люблю любить, чем быть любимой, и к любящему я всегда, бывало, чувствую зависть. Он *имеет* (или она, это мне всегда было безразлично), а я — нет! Теперь... не знаю, зависти меньше. Ведь все зависит от своей души. А у меня тоже такая душа, которая непременно подставляет “еще”. Еще никогда не бывает... но ведь должно же быть!

Одно только в вашем письме мне кажется... ну, опасным, что ли. Я вам скажу это прямо. Есть один неверный путь, — и дай Бог, чтобы вы на него никогда не вступали. А на него вступить ужасно легко, так легко, что почти и уберечься нельзя. И предостеречь от него почти нельзя, ведь это делается бессознательно. Путь к истине — *через* любовь к человеку, вот этот неверный путь. Так, что как бы любовь к человеку освящает любовь к истине, даже открывает, указывает эту истину. А ведь надо наоборот. Надо, чтобы то, Первое, освящало любовь к человеку, открывало нам человека...

Но говорю вам, я знаю, как трудно уберечься от этого. Ведь и мне нужно было сначала “Сумерки духа” написать (и пережить!), чтобы понять это. Но забыть раз понятое я уже не могу.

Мариэтта, неужели вы не понимаете, что если б я вам “запрещала” меня любить, или “позволяла” любить (ваши выражения), или... не знаю, что, — это была бы не я? Кого бы вы тогда любили?

А я только и могу сказать, что ваша душа — для “счастливой” любви. И непременно ваша любовь — счастливая, потому что знает: нет на свете... но должно быть на свете.

Если вы не поняли меня — скажите. Но только мне кажется, что поняли. Я не все сказала, но ведь не всегда все надо говорить словами. И не надо уныния, одиночества, ничего несветлого, больного. Будьте здоровы и бодры.

Ваша Зина Г.

На конверте адрес:
Москва, Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Мал. Дмитровка, Успенский,
д. Феррари.

Пометы М.Шагинян: Первая 1/2 1909.1 апреля 1909 (девятое письмо).

О Любви. На обороте конверта: № 9.

На штемпеле: Москва, 2.4.09

№ 10.

Литейный 24.
25.4. <19>09
СПб.

Вот видите, какая вы, в сущности, негодная и ядовитая девочка: хотя, мол, “бодрюсь”, но эта бодрость фиктивная, а я, главным образом, думаю о смерти. Что ж, это самое легкое и приятное дело: мечтать о смерти. Гораздо труднее — думать о жизни. И, признаться, мне жаль и досадно, что вы поддаетесь соблазну легкого. Мне хотелось бы, чтобы вы всегда избирали труднейшее. Думаю, справились бы. И вот что я еще хочу сказать. Сейчас вижу я в вас уклон... нет, лишь *опасность* уклона *опасного*, перегиб в прекрасность романтических туманностей и... как бы сказать поглубже? перепроизводство некоторых товаров души в ущерб другим. Знаете что? Вот вы мне все говорите, что отдали бы мне жизнь, что готовы на все самое крайнее... Хорошо. Допустим, это так. Ну, а если бы я сказала вам, что вовсе мне вашей жизни не нужно (если бы все-таки стали отдавать ее, то уж, значит, не для меня, а для самой себя), вовсе я не охотница до умопомрачительных жертв, — знаю, что они легки и прельстительны для приносящего их и тяжки для получающе-

го, — а вот, если вы так любите мое и меня — не проще ли вам с осени, вместо того, чтобы учиться в Москве, — перейти в Петербург? Могу поверить, что это трудно, труднее, чем “жизнь отдать”, но, право, если это “невозможно”, то вы сама должны будете согласиться на некоторый трезвый корректив в ваших, относительно моего и меня, готовностях.

Заметьте, я совсем не убеждаю вас это сделать и не требую — Боже сохрани! Я только даю вам простой и маленький пример, насколько труднее маленькое и в высшей степени естественное, только не необыкновенное и не героическое, дело — всех гигантских слов и даже “величественных” поступков. Это вечно-женская черта — сейчас же жизнь за что-нибудь отдать, но только бы сразу и всю целиком... а вот обычное дело, которое не вы одна только способны сделать, да целую цепь таких дел, да еще весело, с усилием радостным, да и не только пассивно “отдать себя”, а еще с праведной надеждой и “себе взять” что-то нужное — вот это, пожалуй, не так-то просто, как сразу кажется. Нет, милая Мариэтта... Впрочем, не слишком ли вы молоды, чтобы понять меня теперь? Может быть, *вам* нужно сейчас именно то, что вы переживаете, “мое” — как отвлеченный, неясный образ, “я” — как далекая, едва мелькнувшая и ушедшая “поэтесса” Гиппиус? Нужны как раз и длинные ваши письма к полуживому существу, и мои редкие ответы, и все ваши туманные и острые мечты, в которых нет места для иначе прекрасной и страшной действительности. “Костер” прекрасен в вашем воображении, а нужно ли вам знать, как он реализуется? Нет. Потому что в реальности около него, кроме того, что описано, есть грязная дорога, у мальчишки-подпaska, может быть, нос сопливый... Простите ли вы это за костер? Нет. Вам он милее пока на бумаге, на страницах книги, где его нежгущая красота ничем не омрачается. И я могу быть легко любимой издали, — вы издали вольны делать из меня что угодно. Ну да, это все для вас, я верю, что это вам нужно, и я такая вам нужна... а мне вы нужны ли с этим — только с этим? Тут вопрос. И еще вопрос — не следовало ли бы стремиться вам и желать не только радоваться своей нужде во мне, но и сделаться самой нужной *мне*? Как мне кажется, — такая обоюдность одна и была бы желанной.

И опять — я ничего не хочу от вас и ничего не указываю вам, — я только показываю.

Не огорчайтесь этим письмом и не сетуйте, если я слишком перегибаю лук. Иногда от этого дело яснее. А теперь я кончу, а то совсем наговорю чего-нибудь лишнего. Нет, взгляните просто, со стороны: благодаря “внешним обстоятельствам”, которые обыкновенно “непреоборимы” и которые побеждаются нами

лишь на то крошечное мгновение, когда мы успеваем “отдать всю жизнь” другому, “умереть”, “кинуться в бездну” и т.д. — благодаря этим внешним “обстоятельствам” вы живете в Москве, а потому очень реально можете ходить с Булгаковым¹⁵ ко всенощной, рассуждать с Новоселовым и т.д. А костер... он прекрасен, но он далек “по внешним обстоятельствам”. Конечно, если бы не они... Только они? Не позволительно ли усомниться, если так, в самой силе желаний?

Через 10 дней мы уезжаем за границу — пока в Германию. Право, мне это кажется совсем недалеко. Напишите мне поскорее, еще сюда. Да и я еще отсюда успею ответить, скажу точный адрес. И еще раз — не сердитесь. Если я резка — значит, не равнодушна.

Ваша Зин. Гиппиус.

На полях слева:

Напишите, что же “друзья” ваши? процветают ли?

Вверху слева на первой странице:

Не забывайте писать ваш адрес.

На конверте адрес:

Москва. Мариэтте Сергеевне Шагинян.

М.Дмитровка, Успенский, д. Феррари.

На штемпелях даты: Петербург 25.4.09 и

Москва. 27.4. 09.

Пометы М.Шагинян:

Первая 1/2 1909. Апрель.

Весной (апрель) 1909 г.

Письмо Зины о моем переезде в Петербург.

На обороте конверта: № 10 и дата: 1909.

№ 11.

2.5. <19>09.

СПб., Литейный 24.

Я совершенно не знаю, что вы хотите, чтобы я вам ответила, Мариэтта. Мне кажется, мы говорим о разном. Да и о чем? Ясно ли вы себе представляете? Как формулируете? Я никогда ничего более отвлеченного не видела, как эти наши разговоры о “реализации”. Не смешно ли? Нет, уж хоть говоря о земле, — да позволено будет спускаться на землю, а то лучше откровенно оставить ее в покое. Это тоже не плохо. Единственно, что плохо — обманывать себя, не сознавать, играть словами, подменивать понятия. Не особенно важно, *что* вы такое: важно лишь то, чем *хочешь* быть. Потому не важно, что вы “теоретик”, — гораздо важнее, что вы так это говорите, как будто прибавляете: и хочу быть такой, это — благо. Я, для себя, иногда констатирую в себе то

или другое, склонность к теоретизированию, между прочим, мало ли! Но я знаю, чего я *хочу* или даже *хотела бы*, — на этом одном и надо строить. Я стараюсь выражаться точно; а вы стараетесь всегда взять вверх или вниз от моих слов. Я писала ясно, что, говоря о вашем переезде в СПб., — я привожу *пример* естественного маленького дела, естественного, конечно, при условии схожести *воль*. На этом примере я и хотела вам показать, что до самого важного, до схождения *воль*, у нас с вами еще очень далеко. Это вы и сама вашим письмом подтверждаете, я очень рада, что вы это более или менее сознаете. Кстати: вы говорите, что вам ваша “мысль” дороже всего и “за нее вы отдадите все дела”... Я, во-первых, сомневаюсь в возможности такой сделки: что за мысль, которую надо *продавать* за дела, что за дела, которые можно купить этой ценой! То и другое негодно. А во-вторых... (скажу в скобках) давно ли вы сердились на меня, когда я вас, чуть ли не в первом письме, назвала “умной”. Как, говорили вы, и больше ничего? Мне тогда хотелось защищать мысли. Или... вы мыслям противопоставляете чувства? Ну, я привыкла думать по иному. Настоящая мысль — уже и чувство, — чувство со знанием. И — этой вещи *мало*. Отдавать ее не собираюсь ни за что — мне просто *мало*. И я *хочу*, чтобы у меня не было мало.

А что касается моей, нашей *реализации* — то я вам просто напросто о ней ничего не скажу. И не хочу, и не должна, и не могу. Из вашего письма я вижу особенно ясно, что вы не знаете, о чем говорите, и что, действительно, долгий вам путь предстоит, простой путь мыслей и чувств до пробуждения воли к каким бы то ни было реализациям. Просто вы еще совсем не разобрались. У вас нет самых первых теорий, нет остова треугольника или какого-нибудь другого остова, — но другой, конечно, приведет к другому уклону воли, чем у нас, а, следовательно, и к другим реализациям. Есть, впрочем, такие теоретические остовы, которые приводят к отрицанию реализации. Разное есть...

Зачем и как буду я говорить с вами о “реализациях”, отвечать, имею ли я “сомнения” — в чем? О чем вы спрашиваете? О том, нужно ли в лесу под Петербургом разводить костры? И разводила ли я? Разводила, и картофель в золе пекла. Раскаиваюсь ли? Ничуть. Считаю ли это единственно верным путем “реализаций”? Нет, конечно. Можно развести, а можно и не разводить, это уж, право, не так важно. Вы сомневаетесь, “нужна ли тактика”. Если вы верите, что к завтрашнему вечеру мир и вы впрыгнете в совершенство, которого вы и он сегодня так далеки, — не сомневайтесь, не нужна “тактика”. Да и *время* жизни вообще не нужно и бессмысленно. Но верите ли?

Я уезжаю за границу 9-го, в субботу. Думаю, еще успеете написать сюда. А я пришлю вам адрес из Баденвейлера. Вы очень

милая девушка, Мариэтта, а излишний трагизм ваш излечит мудрость жизни. Вернее — она покажет вам другой, более трагичный облик мира, — но другой.

Ваша З.Г.

На конверте адрес:
Москва. Мариэтте Сергеевне Шагинян.
М.Дмитровка, Успенский,
д. Феррари, № 5.
На штемпелях даты: С.Петербург. 2.5. 09 и
Москва. 4.5.1909.
Пометы М.Шагинян:
2 мая 909 года.
1-ая 1/2 1909 г. Ответ на мой протест насчет перезда в СПб.
На обороте конверта: № 11 и дата: 1909.

№ 12.

8 июля <19>09

Мариэтта, сейчас я уезжаю из Парижа, в Нормандию, ненадолго. Я писала вам из Франкфурта и из Фрейбурга, — напрасно. Удивлялась. Напишу, как только успокоимся на месте. Завтра — послезавтра. Ваше письмо переслали мне. Отвечайте мне Paris, poste restante, M-me Mereskovsky. Мне перешлют быстро.

Я вас никогда не забывала.

Зин.

Записка на бланке Hôtel D'Iéna, Paris (16-me)
Адрес: Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Федоровская ул.д.10—14. Нахичевань-на-Дону.
Russie Via Kiew.
Пометы М.Шагинян:
1 1/2 1909. 8/VII 1909. № 12.

№ 13.

Villerville
Calvados.
8 августа <19>09

Ваше предыдущее письмо, Мариэтта, которое я получила в Париже, было такое важное и требующее столь обширного ответа, что у меня не оказалось физических сил. Только физических. Кое-как отвечать не стоило. Сегодняшнее еще затрудняет мое положение, т.к. мне нужно в немногих словах коснуться многого. В парижском вашем дневнике столько правды, верности определений, догадок и нащупываний, что я глубоко радовалась, и казалось мне порой — что вам и помощи ни от кого никакой не нужно, что вы лучше сама выберетесь и разберетесь. Вы, напри-

мер, так глубоко добрались до правды о том, что мы *не* сектанты, что мы чувствуем себя *в церкви* (хотя не для Новоселова, конечно), — что, право, я не знаю, можно ли тут еще что-нибудь прибавить, особенно в письмах. Вопросы эти так глубоки и так обширны... их нужно всю жизнь решать, на двух страничках я вам их не буду объяснять. Если мы зимой станем жить в одном городе — постепенно вы поймете ближе и яснее, что мы думаем и чего хотим. Ваше отношение к “записке” Флоренского¹⁶ тоже очень мне понравилось: *все* другое — было бы “не то”.

Но в сегодняшнем письме, милая Мариэтта, вы немножко провалились. О, конечно, тут нет никакой трагедии, я вовсе не думаю “порвать отношения”, не оплакиваю ваших “потенций”, которые остались, как были; нет, я только увидела, что вы все-таки молодое женское существо, подвластное встречным влияниям. Мне бы хотелось увидеть вашу религиозную душу прежде всего очищенной от *всяких* мыслей о православии, о русской идее, о революции, даже о церкви вообще. Вы о православии ничего не знаете жизненно, шкурно, милая Мариэтта, ничего *помимо* трудов Новоселова или Булгакова, оттого и выходит такая нелепость, что вы то о Новоселове говорите, то о православии, вперемешку, и вся ваша религия и вся ваша душа наполнена, главным образом, *ненавистью* то к Новоселову. то к себе, — не знаете, на кого с нею кинуться. А если любите — то, оказывается, меня, “еретичку”, “сектантку” и революционерку (последнее уже без кавычек), считающую “Вехи”¹⁷ — книгой дряблой, бездарной, скучной и кошунственной, — между тем как вы “пробуете свое перо”, ее восхваляя. Да, что-то тут не то. Я верю вашей любви ко мне, верю в нее, а потому думаю, что недаром же она вам дана? Воспользуйтесь ею, *вашим* даром, чтобы разобраться в чужих влияниях.

Да, вы ничего не знаете, Мариэтта, не в укол вашему самолюбию будь сказано. Некоторые легкомысленности ваши, да еще и навязанные вам, меня сердечно огорчили. Вы молоды, в ваши годы и позже у меня было еще больше легкомысленностей своего рода, но... молодостью все оправдывать нельзя, нынче “время пришло во умаление”, а если вы девочка, то лучше танцовать с гимназистами, а не рассуждать о церкви и о революции, греха меньше.

Когда я обратилась к этим вопросам, я уже знала, что я ничего не знаю и требовала от себя учения. С тех пор много времени прошло. Я *говорю* о них все меньше и меньше. Я считаю, что поведение Новоселова относительно вас — недостойно и противно. Mais vous vous prêtez à ça¹⁸, и тут я вас осуждаю. Помимо всего — ведь это комично, этот отживший иезуитизм и пасение

пугливой овечки. Скажите вашей сестре, что я ее целую за ее здравость, за ее трезвость и простоту. Трезвость и детская примитивная, прямая простота обязательны, Мариэтта, и будьте уверены, что в Петербурге (я вижу, вам *надо* оставить Москву) вы не найдете во мне ни пророчицы, ни коварной еретицы, уловляющей вас в какие-нибудь, религиозные или любовные, сети. Будьте прежде всего сама по себе.

Я слишком близко видела *жизнь и смерть*, Мариэтта, слишком много пережила и переживаю, и мне нелегко говорить о некоторых вещах, не могу касаться их и судить с тою обильностью, с которой говорят Новоселовы, Трубецкие¹⁹ и Бердяевы. Есть незабвенное в жизни, как меч, проходящий душу. Вы заняты мыслями о православии Новоселова, пишете фельетоны о “Вехах”, сидите на кумысе... а я путешествую за границей, какая разница? Да, но почему вы знаете, как я путешествую? Я только о “Вехах” не пишу, поэмы не сочиняю, о Новоселове не думаю, вот это верно. Но только я “учусь”, а вы... “учимы”. Отдохните от этой учимости. Оставьте их. И ненависть к себе оставьте. Посмотрите на себя со снисходительной добротой, трезвой надеждой. Слишком много чести себе оказываешь ненавистью. Не стоит. Всегда есть лучше тебя и хуже тебя. *Свою меру надо только исполнить.*

Мы прожили 3 недели на берегу океана. Люблю его. Теперь уезжаем — в Париж, в Германию, а затем домой, в СПб. Пишите мне: Allemagne, Nomburg, v.d.N. poste restante (ибо я еще не знаю, будем ли мы в вилле Royale или Ernst). Поправляйтесь, а главное, если любите меня хоть немножко, сбросьте этот кошмар поучений, кастрированных мыслей о православии и русских идеях etc. Ведь над нами простое небо, ведь сначала жизнь, а уж после — смысл ее.

Ваша Зина.

На конверте адрес:

Енакиевو Екатеринославской губ. Имение Булавин.

Е.Я. Когбетлиевой. Почтовый ящик № 34 для Мар. Серг. Шагинян.

Russie. Via Kiew.

На штемпелях даты: Villerville 10.8.09; Енакиево 3.8.09

На конверте пометы М.Шагинян: № 12. Важное письмо. 8 авг. 1909. 2-ая 1/2 1909. Против Новоселовщины. На обороте: № 13.

№ 14.

14 VIII. 1909
Bad Homburg v.d. Höhe.
Villa Royale C.F.Gremich
Keiser Friedrich-Promenade 109.

Получили ли вы мое длинное письмо в Енакиеве? Спасибо за поэму и за кору родной березки. О поэме я вам напишу или не напишу, еще не знаю, а о конце тетради наверно напишу, и напрасно вы думаете, что мне это все непонятно. Только выводы я бы слелала другие. Пишите мне сюда, почаще, не ждите моих ответов. В сент<ябре> я вернусь в Пб.

Зин. Гиппиус.

Приписка под изображением виллы
на открытке:

Мой балкон самый верхний, круглый.

Адрес на открытке:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Нахичевань н/Д, Федоровская ул., д. 10-14.
Russland
Пометы М.Шагинян:
2-ая 1/2 1910 (? - Н.К.). 14 авг. 1909. № 14.

№ 15.

15.IX. <19>09.
Гейдельберг

Милая Мариэтта,

Ну куда вам писать, вы, верно, в Москве? Все ваше я получаю (кроме последнего в Гамбург!!). А вам не знаю куда писать, хотя столько надо бы сказать вам. Недели через две я буду в СПб. (теперь в Гейдельберге, где оч<ень> хорошо), а перед этим в Берлине, Carlton Hotel. Сколько недель идут письма в Нахичевань!!!

Ваша Зин. Г.

Открытка с видом Гейдельбергского замка.
Адрес: Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Федоровская 10-14.
г. Нахичевань на Дону.
Russland. via Kiew
На штемпелях даты:
Heidelberg 23.9.09. Нахичевань Донск.15.8.09.
Пометы М.Шагинян: 2-ая 1/2 1909. 15/IX. 09. № 15.

№ 16.

21 сент<ября 19>09
СПб.

Милая Мариэтта, я поражена Вашим благоразумием и Вашим здравым смыслом. Мне редко приходилось встречать такую положительную молодую девушку. Вы смело можете ехать куда угодно, потому что всюду будете вести себя безукоризненно.

Пишу Вам всего два слова, т.к. только сегодня вернулась из-за границы. Надеюсь скоро иметь о Вас вести.

Искренне и дружески Ваша

З.Гиппиус-Мережковская.

На конверте адрес: Москва,
Лесная ул., у Тверской Заставы,
д. Маслова, кв. 2. Мариэтте Сергеевне
Шагинян.

На штемпеле дата: Москва. 25.9.09.

Пометы М.Шагинян:

21 сент. 1909 Зина вернулась в Питер из-за границы. По моей просьбе официальное письмо для тетки²⁰ перед моим отъездом в Питер. № 16.

№ 17.

27 сентября 1909
С.Петербург

Что же вы хотели, Мариэтта, чтобы я вам написала ... “для тети”? Вообще мне ваши “цензоры” надоели. Прежде всего — они не имеют никаких оснований. А затем — вы сами в них кругом виноваты. Вы до такой степени, безмерно даже, посвящали всех в “вашу любовь” ко мне, что — кончили общим за вас беспокойством. И совершенно естественно, что люди, меня не знающие или только “что-то, где-то” обо мне слышавшие и вас притом любящие, стали ко мне относиться, за вас, враждебно и подозрительно. Иначе и не могло быть. Мне от этого вреда не произошло, но вам — большой. Цензуры, недоверия, несвободы, увещания, догадки... и атмосфера какой-то, в сущности не важной, борьбы, трата сил совершенно бесполезная. То, что вам следовало бы выяснить перед собой и передо мной, — выясняется перед вашими родителями и Новоселовым. Ваша “влюбленность” сама по себе требует некоторого договорения, а выходит, что, хотя вы не знаете всех моих мыслей о ней, — вы отлично знаете тут все мысли посторонних людей.

Боюсь, что и меня вы мало знаете. Вы больше думаете о своей любви, чем обо мне. Я это слишком хорошо понимаю, я всю жизнь свою любила Любовь больше всего на свете, но это меня не исчерпывает. Между прочим — есть во мне беспощад-

ная трезвость, жестокость, грубость, — лом, который полезнее, нежели букет цветов, и вы, ради Бога, тут не обманывайтесь. Некоторое право ставить точки над самыми обольстительными “i” я приобрела своей жизнью, и уже ставлю их беспощадно, делю, как умею, “да” от “нет”, буду делить. Флоренский и Новоселов могут быть спокойны за вас, — если они боятся только меня. А вы — не боитесь ли вы потерять свою любовь, если увидите кое в чем мое сходство с ними?

Я пишу загадками и намеками, и не хочу, чтобы вы эти загадки отгадали. Когда-нибудь напишу или скажу вам все прямо. Это я обещаю. Тогда и отвечу на вопросы вашего последнего письма.

Зин. Гиппиус.

Адрес на конверте:
Москва, Каретная Садовая, д. 241.
Гимназия Л.Ф.Ржевской.
Екатерине Павловне Вельяшевой для
Мар. Серг. Шагинян.
Даты на штемпелях: С.Петербург 28.9. 09, Москва 29.9. 09.

№ 18.

2.10.<19>09.

СПб

Дорогая Мариэтта, приходится мне сказать вам, что вы... попили пальцем в небо. Вот что значит заниматься так исключительно *своей* любовью, а ничего не видеть за чертой круга. Прежде всего — в вашем письме я не нашла ничего исключительно собственного. Тем более согласна я с каждым его словом, что и сама тысячу раз то же вам говорила. Все ваши возмущения — впустую, а уж ко мне-то никак это не относится. “Учить” я вас ничему не собиралась, кроме знания моей души и моих мыслей о вас и вашем, о которых, казалось мне порою, вы имеете смутное понятие, и самостоятельно тоже не прогрессируете. И это даже, и такое “учение”, касалось в данном деле только частности, о том речь впереди... Вы могли вот что мне ответить: или — “я не желаю вашего учения (или помощи) для понимания вашей души и ваших относительно меня и любви моей мыслей, ибо хочу сама их понять”; или же — “я не желаю оттого, что мне ло них дела нет”. Тогда бы, по крайней мере, не было пальца в небесах. Вообразить же, что я посягаю на личность человеческую с тем, чтобы ее по своему перемалывать — это только лишнее доказательство вашего невнимания, или недоверия (или непонимания) к моим словам, мыслям и стремлениям. Все это донельзя просто, и напрасно вы сели туда “на большой лошади”. Что

касается разности в “высших убеждениях”, — то, очевидно, я радуюсь всякому схождению в них, но при расхождении абсолютно неспособна уподобиться Новоселову, как по внутренней причине, так и по внешней. И не могу, и не хочу мочь. В бескорыстном миссионерстве Новоселова есть своя святость, а я ею, такой, и не обладаю, и, что тоже очень важно, не желаю обладать. Почему-то вы упомянули о статье Мережк<овского> в “Речи”. Это было не к делу, но могу взять ее как пример расхождений. Для меня статья эта представляет сводку вместе передуманного и пережитого, окончательные выводы выводов, к которым я пришла впервые в Париже и честно их выразила в двух моих статьях нашего парижского сборника²¹; говорю “честно” потому, что ранее я столь же честно стояла на приблизительно вашей точке зрения (см. “Полярную звезду” 11, № 7 “Тоска по смерти”). Все это, впрочем, не так просто, но поверьте, я никому мыслей моих и не навязываю, я о них только рассказываю, да и то недостаточно. Слишком хорошо понимаю, как трудно дойти до внутреннего вникновения в эту мою загадочную формулу “нельзя и надо”, слишком понимаю, что дойти до такого вникновения можно *только* самому, но тем более радуюсь, когда встречаюсь с дошедшими, и эту радость вы никак у меня не можете отнять.

“Научить” этому, как многому другому, повторяю, нельзя; а если б и можно было — я учить бы не стала, и такой “наученный” человек нам был бы не помощник, а противник.

Но пока это в сторону, а возвратимся к частностям, к “загадкам” моего предыдущего письма. Вы не исполнили моего совета их не разгадывать, а потому и попали “пальцем в небо”. Мое намерение было, когда я бралась за перо, загадки эти раскрыть. Но сию минуту глубина недоразумения меня останавливает. Нужно бы сначала, чтобы вы уяснили себе, что значило мое “учить”, о чем и о ком я тут говорила; и ведь еще тогда вы можете мне ответить двойным способом (см. выше: “не желаю ваших объяснений о себе, хочу узнать *сама*”, или “вовсе не хочу узнавать”). Тогда мне не для чего эти загадки разгадывать, по крайней мере до первого нашего столкновения в будущем, которое, думаю, все-таки наступит, если мы станем видеться. Возможно, впрочем, и то, что вы, действительно, самое меня хотя бы в этих частностях разгадаете, — тогда все великолепно. Но должна сознаться, что невнимание ваше к моим словам, мыслям, суждениям, ко всей моей индивидуальности как она есть и как именно отражается и должно в ней отразиться ваше отношение, — не много дает мне надежды на такой исход. Ваша любовь до такой степени для вас все, что вы к ней не даете, ревниво,

притронуться тому, кого она трогает. Вы легко можете *меня* возненавидеть за *нее*. Какой душевный поворот! Если я “не смею тут мнения иметь” и мое отношение не интересно и *не считается*, то зачем вы мне пишете? Или, пожалуй, вернее, — зачем вам, чтобы я вам писала? Полнота в вас, а я, как я, уже излишек.

Самая низкая истина (хоть это, *если* истина, то не низкая в сущности) всегда ценнее самой возвышающей иллюзии, — обмана, лжи. От этой банальности, пусть она груба, я не откажусь. Что делать?

Ну, однако, довольно. Я знаю лошадей и верховую езду, но вас сравнивать с лошадьми, а себя с укротительницей — не желаю. И нахожу, что тут гораздо больше внутренней грубости, чем во всех моих прямых словах, при условии к ним внимания, конечно.

Ваша Зин. Г.

На конверте адрес:

Москва, Каретная Садовая, д. 241,
гимназия Л.Ф.Ржевской. Екатерине Павловне Вельяшевой
для Мар. Серг. Шагинян.

На штемпелях даты: Петербург. 3.10. 09 и Москва, 4.X. 09.

Пометы М.Шагинян:

2-ая половина 1909. 4 окт. 1909. Ответ на мой протест, чтоб меня не “учили”.
Новоселов. № 18.

№ 19.

16.X.<19>09

СПб., Лит<ейный> 24.

Тел. 114-06

Милая Мариэтта,

Если вы приехали не для “дурачества” только, а ради целей более достойных и независимых, — хотелось бы верить, — то вы, конечно, поймете то, что я сейчас скажу.

Я желала бы, чтобы вы “*познакомились*” со мною и с нами, начали бы “*знакомиться*” *совершенно просто*, совершенно обычно и спокойно.

Об исключительности личного вашего ко мне отношения я в данный момент и знать не хочу; вижу в вас человека, и сама хочу быть человеком, а не “предметом”.

Вы можете не считаться с моими тут желаниями; но тогда вам нет нужды и видеть меня.

Потому что я устала от бесцельных сложностей, от “экстазов”, я хочу простоты, ясности и свободы.

Говорю вам очень просто: если хотите на данных основаниях “знакомиться” — пожалуйста. Приходите сегодня или завтра часа в 4; я редко выхожу днем.

У вас достаточно ума и понимания, чтобы не “рассердиться” на меня. Но вы можете не согласиться на мои “условия”. Это дело ваше; мое дело будет об этом пожалеть.

З.Гиппиус.

Адрес:

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Пантелеймонская д. 4, кв. 20.

Здесь.

Пометы М.Шагинян: Первое в СПб. 2-ая 1/2 1909. 16.X. 1909.

Приезд в Питер.

№ 20.

<До 5 декабря 1909>.

Милая Мариэтта, по-моему, пишите то, к чему у вас больше сердце лежит. Пожалуй, о христианстве и государственности вам рано писать, слишком легкие могут быть возражения и, наверное, совсем не с нашей точки зрения, так что и защищать ту неоспоримую правду, которая *есть* в вашем взгляде (письмо ваше), будет трудно. Подумайте хорошенько — но реферат для христ<ианской> секции²² все же постарайтесь написать. Это верно, что не надо слишком широкую тему. Но все они широки!

Тату я не видела. Она нездорова. Отчего *вы* к ней никогда не зайдете? Ведь ни разу не были.

Как устроились с уроками? Беда, что я по вечерам еще плохо себя чувствую. Все жар.

Ваша Зина.

На обороте адресная надпись:

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Пант. 4 д. 20.

Пометы М.Шагинян:

Первая 1/2 1910 <? - Н.К.>. О реферате — на какую тему. Религ<иозно>-философск<ое> общ<ество>. Христ<ианская> секция.

№ 21.

5.12. <19>09

СПб.

Милая Мариэтта, если вы хотите, чтоб “стружка”²³ была настоящая, — выкиньте из письма все, что обо м н е (о, если б выкинули вы это из головы!). Не об одной “тактике” я сейчас забочусь, т.е. не о том, что Н<овоселов> из-за этих строк не уви-

дит и всей правды вашего письма; нет, это глубже, это касается вас, меня и нас. Я не могу терпеть такого вашего ослепления в пункте “меня” — при таком вашем сознании в остальном. Если вы не можете прозреть, то на веру берите, что не видите тут ясно и — молчите. Ставя меня чуть не на идольский пьедестал — вы этим разрушаете “мое”. И “свое”. Какого там чорта я “близка ко Христу” и “борюсь с Дьяволом неустанно и полно”! Каково это мне читать, зная себя бездонно слабой, маленькой и грубой, боящейся и жизни, и смерти, не ничтожной и не *самой* слабой, — а так себе, *довольно* слабой, как очень многие, как очень близкие... Если есть у меня кусочек силы, — то как раз в сознании этой средней слабости, в моей смиренной “частичности”, — а вам бы это хотелось у меня отнять! Нет, нет, не отнимете.

Мне была бы большая радость дать прочесть ваше письмо к Н<овосел>ву моим близким, потому что в нем, в этом письме, столько правды, воли и чистоты, но... я лишаю себя этой радости; вы понимаете, я не могу, они посмотрят на то, что обо мне — как и я, ибо и меня они такой же видят, как я сама вижу (и неужели вы думаете, что они любят меня меньше вашего?)

Ну, все равно. Не надо судить человека, всегда будешь в какую-нибудь сторону несправедлив, пусть Бог судит. И я не хочу с вами спорить по существу — о себе. Лучше бросим суды.

А вы сделайте мне громадное удовольствие, выкиньте из письма все, что обо мне (не о нас), — тогда вы совершите письмом некое малое “действие”. Только тогда.

Ваша З.Г.

P.S. Реферата вашего еще не читала. Скоро прочту. Тогда напишу.

На конверте адрес:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пантелеймонская 4, кв. 20.
Пометы М.Шагинян:
5-Х11 909. Вторая 1/2 1909. “Стружка”. Письмо к Новоселову.

№ 22

<Декабрь (после 5) 1909>

Милая Мариэтта.

Поздравляю вас с рождением Солнца (праздник древний и вечный).

Приходите завтра попозднее, чтоб не бегать от “мужиков” в другую комнату, останьтесь обедать.

Посылаю вам ваш реферат. кот<орый> я прочла, и... от Дм<итрия> С<ергеевича> письмо. кот<орое> мы н е читали.

Дм<итрий> С<ергеевич> не взглянул внимательно на конверт, раскрыл письмо и в удивлении перед ним остановился, ничего не понимая. Я подняла конверт и увидела, что оно с передачей вам.

ДС. извиняется очень. Ни о чем вам не пишу, зная, что вы все мои письма переписываете. А Лина для меня не вы, да и никакой человек не одно. Или вы думаете, что я Лине писала бы слово в слово то, что вам?

Нет, милая моя. Учитесь сознательно относиться к *единственности* личности и уважать ее, чья бы она ни была: ваша или Линина.

Ну, так до завтра.

З.Гип<пиус>.

На конверте пометы М.Шагинян:

Письмо Зины насчет Лины и пересылает Дмитрия Сергеевича. Но это письмо от Мережковского я потеряла. № 20.

№ 23.

7.12.<19>09

Милая Мариэтта, я с трудом пишу вам, мне перо опротивело. Писатели плохие корреспонденты. Кроме того — мне безумно надоела *тема* наших разговоров и нашей переписки, эта вечная тема... Боюсь, что тут главная причина моего “волнения”, усмотренного вами в письме. Вашей теории о моей двойственности я не понимаю, т.е. вернее не хочу в нее вникать. А не хочу — опять потому, что мне надоела тема — я сама. Ну пусть себе я такая, буду какая хочу, поговорим о чем-нибудь другом.

Говорят — Бердяев в Москве. От Бори я уже, конечно, много писем “в отмену” получила. И еще... впрочем, вы наших дел не знаете, а потому вам будет не интересно. Не знаете же вы 1) благодаря вашему нежеланию 2) благодаря моим сомнениям: в вас нет достаточной “конспиративности”. А всякое дело ее требует. Вы обо всем пишете подробно людям, близким *вам*, но не мне и не нам. Это не грех, отнюдь! Но это известное неудобство.

А что же письмо Н<овосело>ву — вы его не пришлете мне в измененном виде?

З.Г.

Без конверта.

Адресная надпись: Мариэтте Сергеевне Шагинян.

№ 24.

Понед<ельник>
<Без даты>

Я занята сегодня, Мариэтта, завтра вы получите от меня вести.

З.Г.

На конверте адрес:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пантелеймонская, 4, кв. 20.
Пометы М.Шагинян:
Пишет, что занята — завтра пришлет мне “вести” (знаменитое письмо в тетрадке). № 4.

№ 25.

<Без даты>

Прочтите, Мариэтта, конец тетради.

Без подписи. На конверте адрес:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пантелеймонская д. 4, кв. 20.
Пометы М.Шагинян:
На моей тетрадке написано ее знаменитое письмо (о любви).
№ 5.

№ 26.

Пятница
<Без даты>

Милая Мариэтта,
у меня самая вульгарная инфлуэнца, кот<орая> уже и проходит. В ее разгар я люблю быть одна, в темноте, и чтобы меня никто не видел. Сегодня надеюсь уже быть как всегда, или почти как всегда. Приходите часов в 5. Надеюсь, вы, если уедете, так скоро вернетесь, а то что ж это?

Зин. Г.

На конверте адрес:
Мар. Серг. Шагинян.
Пантел<еймонская> 4 кв. 20.
Пометы М.Шагинян:
Я собираюсь в Москву на неск<олько> дней. Юбилей Гоголя. 1-ая 1/2 1909 (? — Н.К.). № 9.

Воскресенье
<Без даты>

Письма Лины²⁴ меня совершенно *очаровали*, милая Мариэтта. Но мало этого: они мне открыли... если не “бездны” (“бездны” — “открывает Чуковский”) — то во всяком случае глаза. Ведь вот оно что такое! Ведь между курсисткой “фохтинянской” и курсисткой “когенианкой” — ни малейшей разницы²⁵, или самая крошечная, по сравнению с курсисткой вообще — и всем, что не она... А я этого совсем не понимала. Я идиотски судила вас — по себе и от себя, забывая, что вы, хоть и не Лина, но вы же ее сестра, вы жили этой жизнью, вы старше ее едва-едва, а *кроме* того — вы начинающий поэт, литератор. (Вас даже, говорят, с а м Иннокентий Анненский будет разбирать в “Аполлоне”²⁶ рядом со мною).

Когда вы меня уверяли, что не хотите “никого” видеть и “ни с кем” знакомиться — я потому верила вам, что *мне* — *то* они все до чортиков надоели за долгую среди них жизнь, а в юности я их от самоуверенности презирала немного, даже стариков, с кое-какими снисходительно дружила. Как-никак — я с ними жила, в свое время, а вы совсем не прошли через литературную среду, и она, вам, может быть, должна еще казаться интересной. Мне стыдно, что я вам нисколько тут не помогла, оставляла вас жить где-то с теткой и хозяйкой. Мне надо было сразу вас “лансировать” (или лансируйтесь сама, если не хотите почему-нибудь никакого моего содействия). Меня сейчас интересуют вопросы более узкие (с моей точки зрения более широкие) и узкие кружки нужных людей, — но ведь это уже *после* всего, а вы, как и Лина, д о, вы не устали и полны сил для общения с самой разнообразной “литераторской” толпой. Вам еще нужно и в “стихотворную Академию”, и в кружки “Аполлона” и Вячеслава, и на вечера Сологуба, и... мало ли еще куда! Не могу простить себе, что все принимала вас у себя, где я “перестаю принимать литераторов”.

Сегодня вечером выберу вас в Вячеславу секцию и вообще буду о вас говорить с Вячеславом. Завтра днем (часа в 4, в понедельник) зайдите ко мне, поговорим.

З.Г.

На конверте адрес:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пантелеймонская 4, кв. 20.
Пометы М.Шагинян:

Письмо первой зимы после чтения Лининых регламентаций — я с ужасом шархнула от ее предложения ввести меня в литературу.
Пишет в воскресенье и тотчас за этим — в понедельник. № 11.

10.12. <19>09
СПб

Мариэтта, милая,
как ваше здоровье? Я все эти дни в суете, от которой не отбоярисься. Хватит ее, думаю, еще на несколько дней, но это не помешает мне видеть вас. Вы не огорчайтесь, что я не осталась у вас дольше: ДС. простужен (до сих пор), и я должна была вернуться к 11. Мне у вас понравилось (ну и спартанка же вы!), и я еще приду непременно. Но если вы уже выходите, то приходите ко мне в воскресенье, в 4. Я позвала бы вас раньше, в субботу, но вы бы обиделись, я знаю (и как это жаль!) — потому что в субботу у нас бывают разные студенты, рабочие и мужики, которые ходят в нашу секцию. (Я их называю “эмбрионами”, но очень серьезно к ним отношусь, и просто). Вы мной все недовольны, Мариэтта, а я, как видите, чтобы не обижать вас, уступаю даже вашему непонятному желанию — не общаться ни с кем, с кем я общаюсь, не учиться рядом со мною маленьким делам жизни. Мне часто хотелось бы рассказать вам то и другое, но вы так ставите себя от моей “эмпирики” далеко, приемлете меня эмпирическую (т.е. жизненную) лишь для того, чтобы на эмпирическую жаловаться, а об отвлеченной вздыхать. Я все-таки хочу верить, и верю, что это как-то изменится. Но это уж мое дело, что я так верю, вы — мою веру укреплять не хотите.

Нов<оселов>ское письмо я давно отправила, теперь оно мне кажется совсем хорошим, хотя, конечно, он ничего не поймет.

Ваша З.Г.

Неужели так-таки Лина и не приедет?

На конверте адрес,
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пантел<еймонская> 4, кв. 20.
Пометы М.Шагинян:
10/ХII 1909. Вторая 1/2 1909. После ее первого визита.

<Без даты>

Милая Мариэтточка, спасибо вам за хорошее письмо. Я ему верю. Не надо создавать искусственных трагедий, их так много, настоящих, в жизни.

Не обращайтесь внимания, если несколько времени не увидите меня. У меня разные внутренние печали и худое настроение. ДС. нездоров, что-то с сердцем.

Посылаю вам оставленную карточку. Нежно целую вас, будьте здоровы и бодры. Христос с вами.

Зин. Г.

Тата сказала, что скоро придет к вам. Ее адрес — Саперный пер. д. 10 кв.33.

На обороте записки: Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Пометы М.Шагинян:

Адрес Таты.№ 21.

№ 30.

<Без даты>

Ну, что опять все глупые трагедии, Мариэтта. Не все ли равно, придти вчера или сегодня. Хорошо, приходите завтра. Почему я непременно не должна еще и других звать, если вас зову, — а иначе вы не приходите?

Затем еще удивляюсь: почему же вы заперлись на ключ до получения моего письма, когда вчера писали, что придете?

Ваша Зин. Г.

А сегодня-таки были черверо, и я с ними одна сидела, ДС. ушел.

На обороте записки:

М.С.Шагинян.

Пометы М.Шагинян:

Насчет ее посетителей. Мое будированье. Начало внутр<еннего> протеста. № 35.

№ 31.

Понед<ельник>.

<Без даты>.

До чего вы, Мариэтта, полны трагизма! Нельзя же так, Господи помилуй! Почему это так оскорбительно даже не сравнить, а приблизить вас к Лине? И наконец, как вы себе там хотите, а я серьезно стою на утверждении, что все дело — в *мере*. Я не живу в коробке и не думаю, что надо жить в коробке. Я уклоняюсь от “Академий” и от “вечеров Сологуба”, запираю двери, — но от общения с людьми я не уклоняюсь, — в меру сил... и в меру мыслей моих. Литературу я тоже совсем не желаю проклинать, и довольно глупо с вашей стороны от нее отречься, потому что вы даровиты; хорошо ли с такой злобой зарывать в землю данный Господином “талант”?

Без всякой даже “лансация” (нельзя пошутить с этой девицей!), если вы хотели бы “щепки таскать” — то ведь для этого

тоже надо иметь сношения с людьми, с которыми общаемся мы! Или вы из Публичной Библиотеки на Пантелеймонскую и обратно хотите их таскать? Нет, нет, прежде всего — будьте проще и тише, не бушуйте так из-за всего. Выходит, что я верю в вас гораздо больше, чем вы в меня и в нас. Вы тотчас же готовы “сложить вещи” и т.д., а я — нисколько, я спокойно пишу вам все, что мне придет в голову.

“Если я сказал не так, — скажи, что не так...”, а вы тотчас же решаете, что все погибло.

Жду вас завтра в 5 часов, и будьте вы, милая, ко всему миру добрее.

Зин. Г.

На конверте адрес:

М.С.Шагинян.

Пантелеймонск<ая> 4 кв. 20.

Пометы М.Шагинян:

Сразу же после Ф Первая 1/2 1909 (? — Н.К.) Понедельник. Ответ на мое возмущение насчет лансаций. № 13.

№ 32.

<Без даты>

Милая Мариэтта, я вам отвечу очень кратко (по сравнению) и вразумительно (по силам).

Сначала: не мы с вами не говорим, а вы с нами. Именно вы должны были бы говорить, “како веруете”, потому что мы много лет только и делаем, что говорим и пишем о том, “како веруем”, если же все-таки никому не можем этого передать, то уж не наша воля виновата, мы ее не жалели. Спрашивать же вас и допрашивать — трудно.

Я лично думаю, что вы двигаетесь по совершенно тому же пути, как я и мы, только естественно многого еще не успели понять “подкожно”, что успели мы. Теперь, после вашего этого письма, я вижу это еще яснее. Я узнаю *себя* в вашем теперешнем сознании и вере, какую я была несколько лет назад, узнаю вплоть до горячности рассуждений. Это мой этап, — думаю, и ваш. Это отнюдь не значит, что вы, его покинув, чему-нибудь из ныне утверждаемого измените. И я ничему не изменила. И я все-таки *сейчас* с вами не согласна. Разница такая: вы, скажем, смотрите с первой площадки Эйфелевой башни, а я с третьей. Мы разный видим Париж; но он один и тот же; мы обе правы, но неужели я буду с вами спорить? Я сама была на вашей площадке; что я вижу — я вам рассказывать не буду, и не надо, довольно мне видеть, что ваш путь — по той же лестнице (если ничего внешнего не произойдет) и что вы *будете* там, где я. А что каса-

ется вас — то я бы на вашем месте тоже постаралась в эту единственность пути поверить, ну просто в кредит; для этого вы имеете много всяких оснований. Ваша площадка — праведна, но при условии, что она первая. Не торопитесь с выводами, не торопитесь на ней самоутверждаться, как на последней: просмóтрите лесницу, не увидите того, что я вижу, и никогда мы не будем вместе. Если я могу помочь вам — то лишь при условии такого вашего сознания. И вы пройдете легче, чем я, лестницу; и скорее, если будете меня там знать, наверху...

А лестница незаметная; до нее — сколько трапов! Мне видно."История — ложный опыт". "Се, творю все новое: п р и ш л и времена!" "Чтобы сейчас безгосударственность!" (Есть: духоборы, французские колонии "либертеров", — вполне святы и оторваны от истории, которая "лежит вся во зле". Чорт с ним, с миром, коли не хочет спасаться; нас мало, — но "мы избранныки, смело войдем..."). Нет, милая Мариэтта, верьте — не верьте, а дело не так просто, как мне когда-то казалось, Париж не так узок, как вам видится.

Можно бы много возразить вам и с примитивно-логической точки зрения, но бесполезно. Дело ведь не в логике. Если я ошибаюсь в моем конечном оптимизме (т.е. что вы на верном *этапе*) — мне будет больно. Но возможен и такой взгляд на вас: в сущности, то, что вы говорите, находится целиком в плоскости исторического христианства и старо, как оно. Ну да, или чудо *сейчас*, чтобы ходить по водам, а что вне этого — от дьявола. Уберечься от дьявола может каждый, отряса прах и сосредоточившись в ожидании *немедленного* чуда. Признаюсь: во время моего этого этапа (сейчасного, от сего момента, проклятия всякого человеческого устройства в мире) — такого безоглядного у меня старого христианства — только — христианства — не было, было с чуть-чуть другим оттенком. И анархизм у меня был с оглядкой, с сознанием, что я чего-то *окончательно* — еще не знаю.

Теперь же я, *для себя*, считаю *безбожным* повторить вашу фразу: "А мне совершенно безразлично, самодержавие у нас или республика". Так же безбожно, как сказать: мне все равно, свиные ли все люди мира, или начинают принимать человеческий облик.

Вы еще не дошли до утверждения жизни, Мариэтта, а только до утверждения смерти. Пусть светлой, божественной, какой угодно — но смерти. Вы — та незрелая революционерка русская, которая хочет прежде всего "пострадать"... Не так уж это трудно — хорошо пострадать и умереть. А вот попробуйте-ка хорошо пожить! Для этого надо вам прежде всего *отодвинуть* вашу идею вперед, вдвинуть ее во время; сейчас же ею вы от себя заслонили

всю жизнь. Напрасно вы думаете, что вы — совершенство, и готовы к “Царствию Божию на земле”. Да если бы и были совершенством — так я бы, на вашем месте, видя мир в несовершенстве, отказалась бы от своей привилегии. “Мир сей”... однако, его “так возлюбил Бог, что Сына отдал”, а вы их, мир и Сына, так наскоро разделили и подчалили неожиданно и к Толстому, и к либертерам, и к пустынноку Фивейскому — вместе.

Евангелие читать — тоже не шутка! Надо уметь.

А если я вам “внутреннего” не говорю, то вы знаете, отчего. У нас разные взоры на “личность”.

Феня торопится, хозяйки боится.

Ваша Зин. Г.

Приходите хоть завтра или послезавтра. Простите, за неимением взяла старый конверт.

На конверте зачеркнуто: Татьяне Николаевне Гиппиус.

Адресная надпись: Мариэтте Сергеевне.

Пометы М.Шагинян:

Первая 1/2 1909 (? — Н.К.). Отповедь.

На обороте конверта:

Опять отповедь мне (справедливая). “Феня боится хозяйки, сердится...” Значит, 1909. № 24.

№ 33.

<Без даты>

Хочу вас повидать, милая. Все эти дни ДС. был болен, а я возилась с самыми скучными делами. Письмо ваше хорошее, настоящее, и если кое-что вы в нас еще не так понимаете, то отнюдь не ваша в том вина (если есть “вина?”), а наша. И простите, что не пришла еще к вам сама, но видите, какая погода, как трудно мне выходить. А потому сегодня — придите уж ко мне вы, в 5 часов. (До пяти у меня еще дело одно, а в 5 буду вас ждать).

Ваша Зин. Г.

На обороте записки адрес:

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Пантелеймонская 4 кв. 20.

Пометы М.Шагинян:

Вторая 1/2 1909. “Письмо ваше хорошее, настоящее”.

№ 34.

<Без даты>

Мариэтта, я могу сейчас дать вам только глубочайшее *понимание* всего, что вы пишете. Только это сейчас. Если бы иное,

если бы “открытость, сообщение о печалях и настроениях и т.д.” — это было бы у меня насилием, худым и бесполезным. Я — такая; я очень, очень запертая, я всегда такая, и мне тяжело тут насилие над собой, особенно было бы тяжело потому, что я не знаю, почему оно необходимо, почему я должна тут коренным образом себя ломать. Я даже не знаю, любили ли бы вы меня, если б я была вся другая: ведь вы меня любите *такой*. Простите меня за боль, которую я вам даю. Любовь непременно и боль, на это мы все идем сознательно, если мы сознательны. Говорю вам: я до дна понимаю все, что вы пишете; и ничего не хочу вам давать *нарочно*, не *вольно*. И вы не требуйте. Желать и стремиться, с терпением молиться — вот что действительно, а не требование, да еще с логическими доказательствами.

(Феня ваша торопится, кончаю).

Простите же меня, Мариэтта, если сердце вам подскажет. А любовь пусть подскажет не мучить меня преждевременным желанием изменения моего “Я”, любящего свое одиночество — подчас правое, подчас нужное.

Ваша Зина.

Я напишу вам, когда придти. Верьте мне.

Адресная надпись:

М.С.Шагинян.

Пометы М.Шагинян:

Ответ на мое отчаяние, что она мне не открывается. № 22.

№ 35.

<Без даты>

Сегодня еще не приходите, Мариэтта, я еще никуда не по-
жусь, а лучше завтра или в воскр<есенье>. Если завтра — то по-
раньше, около 4-ех, мы еще успеем с вами поговорить, пока слу-
чайно никто не пришел (если только я буду принимать).

Нет, вы ужасно смешная. Я все это *видела* отлично, пока вы
все переживали. Но разве можно сказать, надо, чтоб в душе само
сказалось.

Ваша Зин.

На обороте записки адресная надпись: М.Серг. Шагинян.

№ 36.

<Без даты>

Милая Мариэтта.

Простите за глупую книгу, кот<орую> я вам послала, но она
забавная. Посылаю Мопра (я его до сих пор не кончила), а, глав-

ное, “Рел<игию> и культуру” Мейера²⁷. Вам тогда Мейер станет яснее — со всеми его опасными недоговоренностями. У меня все еще жар по вечерам — такая досада! Не придется на секцию пойти. Жаль, что вы сегодня не можете у нас быть. Когда же вы бываете свободны?

Тата, должно быть, на секцию пойдет.

Не скучайте. Подумайте, мне-то какво безвыходно сидеть и мерить температуру!

Ваша Зин. Г.

Линины письма кстати посылаю.

Адресная надпись:

Мариэтте Серг. Шагинян (с пакетом).

№ 37.

Среда.

<Без даты>

Милпя Мариэтта,

сказки я ваши прочла. По-моему, одна под Андерсена, а другая — так умна, так умна, что боюсь, как бы детям она не показалась глупой. В этом духе я и отрекомендовала их Поликсене Сергеевне по телефону, а сказки послала по почте. Они там молят, главное, “реального рассказа”, а всех, хоть ты что, тянет на сказки.

Будь я сейчас маленькой девочкой — я сама бы жаждала рассказа, и чтобы премного в нем “случалось”.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы в пятницу (эту) пошли познакомиться с Пол<иксеной> Серг<еевной>. Возьмете у нее кстати том ваших стихов (с моими пометками, с кот<орыми> она согласна, хоть еще имеет и свое мнение). Я рассказала ей между прочим, что вы “кладезь премудрости”, и она уверяет, что “боится” вас. Но вы этого не бойтесь.

Впрочем все это я надеюсь вам рассказать и лично, т.к. жду вас в четверг.

З.Г.

Милая Мариэтта,

будьте добрая, отдайте кстати прилагаемый пакет Пол<иксене> Сер<геев>не, когда будете у нее сегодня!

Ваша З.Г.

На обороте адресная надпись:

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Помета М.Шагинян:

Начало работы у Поликсены Сергеевны Соловьевой — Allegro. “Тропинка”²⁸.

22.

Милая Мариэтта, посылаю вам от Пол<иксены> Серг<еевны> половину письма, относящуюся к вам, и то, что она прилагает. Вы, оказывается, не дали ей своего адреса. Дайте хоть московский.

Она больна, у нее, кроме сердца, еще болят почки.

Мне, кажется, лучше, сижу целые дни одна, скучно, но отдохновенно. Впрочем, и не скучно было бы, если бы можно было писать. Но этого еще боюсь.

Жду вас в четверг, как обещали. Пришлите мне Лино письмо, если находите интересным.

Думаю о том, какие все люди разные и как невозможно им понимать друг друга. И они не виноваты. Разно устроены. Знать еще можно кое-что, да и то все ложь.

Искренне ваша Зин.Г.

Адресная надпись:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пантел. 4 кв. 20.

<Без даты>

Только хотела писать вам, чтобы вы пришли сегодня! Приходите, мне вас нужно. Пол<иксена> Серг<еевна> просит вас прийти к ней завтра, поговорить о рассказе, который ей *очень нравится*. А я вам дам для нее кое-что передать.

Нет! Это уж предел, третий раз переписывать!²⁹ Не могу решиться. И так вы меня совсем подавили своими подвигами. Итак — до 5 часов!

Зин.

Лучше книжку рассказов приведем в порядок, она растрепана.

Адресная надпись:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Помета М.Шагинян:
Я переписала ее стихи для печати. № 32.

Среда.

<Без даты>

Бедная моя Мариэтточка, и отчего это вы такая психопаточка? Я, было, написала вам вразумительное письмо, но вижу, не стоит. И денег обратно не посылаю, чего им взад-вперед таскаться, а вы приготовьте Пол<иксене> Серг<еевне> письмо с

объяснениями и с просьбой вернуть рукопись, принесите ко мне, я вложу деньги и отправим при вас. Я и читать не хочу ваших объяснений, а сама не могу ей ничего говорить, мне жалко ее оскорблять, а за вас стыдно.

Д<митрий> В<ладимирович> рассказал мне по этому поводу, что он вам послал деньги на марки, а вы их назад прислали, так что он должен был с этими же деньгами лететь сам за марками, или даже, кажется, Дашу послал, а уже вам марки предоставил. Мы оба удивленно смеемся, решаем, что тут не без психопатии, ибо ведь не оттого же вы деньги прислали, что требовали готовых марок? Но отчего?

Нет, пусть это психопатия, а не что-нибудь другое. Но надо вам ее сознавать, нам — с ней считаться и на деловые сношения с вами не всегда полагаться.

Какие, вообще, мухи вас там у хозяйки кусают? Какие я ваши письма читала? И какие там “непоправимые” ужасы такие, что вы не своим голосом о них говорите?

Если б я знала заговор от психопатий! А я только от ожога...

Жду вас в четверг, с письмом для П<оликсены> С<ергеевны>, если вы не придете в себя и будете упорствовать в желании оскорблять невинных людей. Но уж я — прямо вас боюсь, и обещаюсь ни о чем вас не просить никогда.

Ваша Зин. Г.

На обороте адресная надпись:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Помета М.Шагинян:

Как я отказалась от гонорара Поликсены Сергеевны Соловьевой — Allegro. Журнал “Тропинка”.

№ 41.

<Без даты>

Мариэтточка, я не успела просмотреть книжку, очень дурно себя чувствовала весь день. Пусть уже в воскресенье пришло. Спасибо за все. Отлично наклеили! Пока не нужно, думаю, клеить статьи.

Я забочусь все о Пол<иксене> Серг<еевне>, как это она без рассказа останется. Но вы пишете ей *только* если самой захочется.

<Без подписи>

На обороте записки адресная надпись:
М.С.Шагинян.

№ 42.

<Без даты>

Спасибо вам, милая, повесть, по моему, отлично написана, а что против нее — скажу при свидании. Но конечно она П<оликсене> С<ергеевне> очень пригодится (еще не рассказывала о ней).

Действительно, “В черту” нет. А я не заметила! Вставьте его, куда хочется, прервите похожий размер. Я дурно себя чувствую, пишу лежа. Скоро увидимся.

Зин.

На обороте записки адресная надпись:

М.С.Шагинян.

Помета М.Шагинян:

О том: что она пропустила “В черту”. Стих.? Я вставила.

№ 43.

Четв<ерг>.

<Без даты>

Мариэтта милая, спасибо вам, и как скоро! И как хорошо, что так скоро!

Прошу, *придите сегодня* ко мне (в 5 час.), обо всем поговорим, нужно.

Зина Г.

На обороте записки адресная надпись:

М.С.Шагинян.

№ 44.

Суб<бота>

<Без даты>

Боюсь, милая, что вы немножко увлекаетесь. “Эмбрионы”, которых я нынче вызвала к жизни, надумав эту секцию³⁰, — должны быть многочисленны очень, чтобы хоть двое оказались настоящими людьми. Какие-нибудь двое и есть наверно, Скалдин ли из них — не знаю. Письмо его к вам — пренаглое в смысле самомнения, смотрите, как бы вы за честолюбие не приняли самомнение. По-моему, уж Нечаев куда “настоящее”. Но, конечно, и Скалдин, как факт, любопытен. А что касается Сим<еона> Столпника, то ровно о нем и знать нечего, кроме того, что он тридцать лет на столпе стоял, спасаючись (факирство своего рода). Скалдин неуклюже хотел выразить, что вот, мол, сей Симеон не менял же своих мирозозерцаний, а держался одного — столпа.

Конечно, приходите. Тем более, что у нас никого не будет. Дм<итрий> Вл<адимирович> всем отказал на эту субботу. Я выезжала два раза (на автомобиле), но пользы это мне не принесло: сегодня доктор сказал, что у меня, кроме плеврита в правом легком, еще катарральная пневмония в левом, и даже уезжать нельзя, пока не разрешится.

Так, жду вас сегодня.

Ваша Зин. Г.

PS. А Стангов вам наврал, вот прочтите, что он ДС-чу написал (я просмотрела), увидите, как он верил во Христа.

На обороте адресная надпись:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пометы М.Шагинян:
1910. О своих эмбрионах. Дмитрий Владимирович. Странден.

№ 45.

Понед<ельник>.
<Без даты>.

Милая Мариэтта, сегодня я оказываюсь занята, и страшно, лучше завтра приходите.

Энд.

А Вячеслав болен, и на секции не был.

Напишите, не рассердились ли на мое письмо (и на отмену)..

На обороте записки адресная надпись:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пантелеймонская 4 кв. 20.

№ 46.

<Без даты>

Ну и какая же вы хвастунья! “Все могу” и даже “ничто не трудно”, и... Ну, я шучу, я вполне верю в искренность вашей доброй воли и на нее надеюсь.

Будьте только терпеливы и зрелы (посл. слово неразб. — Н.К.). Главное — терпеливы. Ничего наспех и сразу не делается.

Я сегодня скверно себя чувствую от этого дьявольского тумана. Никого не вижу. Если придете в субботу часов в 5 — поговорим.

З.Г.

На обороте записки адресная надпись:
М.С.Шагинян.
Пантелеймонская 4 кв. 20.

№ 47.

Пятница
<Без даты>

Милая Мариэтта, я не могу решиться выйти в такую погоду (не город — подземелье), а т.к. вы все равно дома не сидите, и т.к. мне хотелось бы повидать вас, то приходите *сегодня* часа в 4—5. У меня болит голова, и я никого не буду принимать, кроме вас, да я и вообще не принимаю, все видя одних моих сожителей!

Ваша З.

PS. Если бы эта записка вас дома не застала, — приходите завтра (в 4). Мой же визит от вас не уйдет.

На обороте записки адресная надпись:
Мар.Сергеевне Шагинян.
Пантелеймонская 4 кв. 20.

№ 48.

<Без даты>

Милая Мариэтта, я нездорова, простудилась тогда в аудитории, а на другой день *должна* была читать на вечере, т<ак> что еще подбавила. Приходите завтра.

Все, что вы пишете, я отлично понимаю. Вот что значит усиленно и сосредоточенно заниматься своей психологией! Она должна складываться *около* другого.

Зин.

На обороте записки адресная надпись:
Мар. Серг.
Помета М.Шагинян:
№ 18.

№ 49.

<Без даты>.

Мы еще поговорим, что склеить, я вам напишу веч<ером> с Дм<итрием> Вл<адимировичем>.

Ваша Зин.

На обороте записки адресная надпись:
М.С.Ш.
Помета М.Шагинян:
№ 33.

<Январь — до 9 февраля 1910>

Милая Мариэтта, вижу, что ваш южный темперамент доставит вам еще не мало хлопот и горей. Я им не могу сочувствовать, потому что действительно мало понимаю их остроту, однако соболезную. Не знаю даже, как вас и утешать, потому что у меня впечатление (как очень часто), что все эти переживания ко мне никак не относятся. Постараюсь прочесть эту “фатальную” книгу, м.б. больше пойму. Мне ее на днях принес Дм<итрий> Вл<адимирович> от сестры вместе со Стендалем и *Rogny*. Вспоминаю, что я ее читала лет 10—12 тому назад за границей, у меня осталось смутное воспоминание стилизации, интересной попытки восстановить психологию женщины известной исторической эпохи Франции. *A b e l H e r t a n t* очень талантливый человек, романы его весьма любопытны для интересующихся духом истории Франции. Он почти классик. Причем тут “мир как кровать” — я абсолютно и безнадежно не понимаю. У нас с вами, очевидно, разные взгляды на книги. Я люблю романы в меру талантливости авторов, сужу с точки зрения искусства и постольку они мне доставляют удовольствие, а вы чего ищете? Поучения? Бряд ли, ибо вы наслаждаетесь Натом Пинк<ертоном>, лубком и пошлостью, которую я в руки не возьму. Я с интересом следила за Willy, таким характерным для Франции современной, а вы бы, пожалуй. повесились от горя, прочитав его *Claudine en ménage*. Некоторые старые романы Veul-я я даже перечитываю: например, “*Rouge et noir*”, а я даже не знаю, читали ли вы его хоть раз, пожалуй, он показался бы вам “безбожным”, как и весь Veule, которого я ставлю очень высоко и хорошо³¹.

Вот и все, что я вам могу сказать, Мариэтта. Ваших всех приписок я совершенно не понимаю, и вникать не хочу, буду считать, что это ваше личное дело, ко мне не относящееся, и там уж как себе хотите, так и воображайте.

Ваша З.Г.

PS. Я ожидала, что вы мне о секции что-ниб<удь> напишете, а вы мне какую-то бабби-ребяческую дичь.

На обороте адресная надпись:
Мариэтте Сергеевне Шагинян.
Пантелеймонская 4, кв. 20.

Пометы М.Шагинян:
Перв<ая> 1/2 1909.(? — Н.К.) В январе 1910. После моего чтения книги Нертант-а.

Люблю Зину на всю жизнь. Клянусь в этом свою кровью, которую пишу.
Мариэтта Шагинян. СПб., 9-ое февраля 1910 г.

Поздняя приписка:

Какая же я была дура, что не понимала эту старую зазнавшуюся декадентку, выдающую себя за “самую простоту”!

О Hermant-е с п. Willy.

№ 27.

¹ “Собрание стихов 1889–1903”. М., книгоиздательство “Скорпион”, 1904. 8 декабря 1909 г. Гиппиус подарила Мариэтте Шагинян эту книгу с надписью: “Мариэтте С. Шагинян. Пусть нет узла — его в себе мы носим... З.Гиппиус”. Вторая книга стихов З.Гиппиус будет издана в 1910 г., при технической помощи М.С.Шагинян: “Собрание стихов. Книга 2-я. 1903–1909. М., книгоиздательство “Мусарет”. 1910.

² Пять книг рассказов З.Гиппиус — “Новые люди. Рассказы”. СПб., 1896; “Зеркала. Вторая книга рассказов”. СПб., 1898; “Третья книга рассказов”. СПб., 1901; “Алый меч. Четвертая книга рассказов”. СПб., 1906; “Черное по белому. Пятая книга рассказов”. СПб., 1908. Книга статей — “Литературный дневник 1899–1907”. СПб., 1908.

³ Бывший Гриф-Соколов — Соколов Сергей Александрович (1876–1936, псевдонимы С.Кречетов, Гриф), поэт, журналист, основатель альманаха “Гриф” и одноименного издательства (1903–1913), в котором печатались А.Белый, А.Блок, Эллис и др. поэты-символисты.

⁴ “Все к худу” — рассказ Гиппиус из ее четвертой книги рассказов “Алый меч”; позже был включен в сб. “Небесные слова, Рассказы 1897–1900 гг.” Париж, 1921. В журн. “Новый путь”, 1903, № 10. С.1–12 печ. под загл. “К худу”. Слова “Никакого сообщения между людьми нету” произносит герой рассказа Дементьев, убивший свою жену, с которой у него не было “никакого сообщения”, отбывающий наказание в монастыре и повесившийся в конце рассказа.

⁵ Цитата из стих. “Поэт” А.С.Пушкина. Точно строка — “В заботах суетного света...” — Полн. собр. соч. в 10 тт. М., 1957. Т.3. С. 22.

⁶ Речь идет о книге стихов Мариэтты Сергеевы Шагинян “Первые встречи. Стихи 1906–1908 года”. Москва, 1909. Один из разделов книги — “Interieurs” — имел эпиграф из З.Гиппиус:

Мое одиночество — бездонное, безгранное,
Но такое душевное, такое тесное...

⁷ Иван Иванович — герой рассказа Гиппиус “Иван Иванович и чорт”, входившего в пятую книгу рассказов “Черное по белому” 1908 г. Первоначально был опубликован в журн. “Золотое руно”, 1906, № 2. С. 58–76.

⁸ Речь идет о статье Гиппиус “Литературный дневник”, ч. 11 — “Обратная религия” //Русская мысль, 1909, № 2, отд. 2 — о богоискательстве и о вере в сверх-человека, что есть “обратная религия” по отношению к христианству (не Бог как человек, но человек как Бог).

⁹ Первая публикация повести Бориса Викторовича Савинкова (1879–1925), эсера, террориста, возглавлявшего Боевую организацию, — под загл. “Конь бледный”, данным ей З.Гиппиус — “Русская мысль”, 1909, № 1. Гиппиус принадлежит редакция повести и псевдоним Савинкова В.Ропшин. В дневнике “О бывшем” Гиппиус писала о нем как о человеке

“с тяжелой биографией, с кровью многих на душе”: “Борис Савинков — необыкновенно даровитый во всех отношениях человек. Поразительно умный и чуткий. Русский. <...> Я увозила с собой (из Париже в 1908 г. — Н.К.) только роман Савинкова “Конь бледный”, написанный, конечно, от совместных наших разговоров” // З.Гиппиус. Дневники. Т.1, М., 1999. С. 139—140.

¹⁰ Первая строка стих. Гиппиус 1901 г. “Глухота” // Мир искусства, 1901, № 5. С. 203; входило в кн. “Собрание стихов 1889—1903”. М., 1904.

¹¹ Соловьева (псевд. Allegro, А.Меньшов и др.) Поликсена Сергеевна (1867—1924) — поэтесса и детская писательница, издатель журнала “Тропинка” (совместно с Н.Манасеиной). Близкая приятельница Гиппиус, посвятившей ей несколько стихотворений и мемуарный очерк “Поликсена Соловьева”, напечатанный лишь в 1959 г. в журнале “Возрождение”. Гиппиус опубликовала в 1909 г. в журн. “Тропинка” рассказ “И звери” (№ 7, 1 апреля) и статью “Самый одинокий (О Гоголе)” (№ 6, 15 марта).

¹² Философ и публицист Николай Александрович Бердяев (1874—1948) был сподвижником Мережковских в начале 1900-х гг. В 1904 г. он был одним из редакторов (вместе с С.Булгаковым) журнала “Новый путь”, затем журн. “Вопросы жизни”. Расхождение, затем разрыв с Мережковскими произошли в Париже в 1908 г., и были связаны с отказом Бердяева принимать неохристианство Мережковских и их пересмотр православных церковных обрядов (придумывание своих молитв, разработанная ими служба литургии и пр.). Гиппиус писала в дневнике “О бывшем”: “То, что мы поняли, — он перестал понимать. Отсюда его упреки в “самоволии”, его, еще тогда не явный, наклон к Церкви; в 1908 г. Бердяев перешел в православие. Обо в с е м — мы ему не говорили, но все-таки — он молился с нами, я помню его еще не верующего, я так много сил и мыслей отдала ему, любила его всегда. Был тяжел разрыв”. // Дневники. Т.1. С. 140. В 1908 г. начался “московский” этап жизни Бердяева, вошедшего в среду церковных деятелей и философов “православного возрождения” вместе с философами С.Булгаковым, Е.Трубецким, В.Эрном, П.Флоренским и др. Он был участником Религиозно-философского общества, затем кружка М.Новоселова; в статьях, объединенных в сб. “Духовный кризис интеллигенции: Статьи по общественной и религиозной психологии (1907- 1909)”, СПб., 1910 он обвиняет интеллигенцию в измене истины и “метафизическому духу” великих русских писателей, в увлечении революционными и общественными идеями. Статья Бердяева об этом вошла в сб. “Вехи” 1909 г. — “Философская истина и интеллигентская правда”.

¹³ Новоселов Михаил Александрович (1864 — ?) — духовный писатель, публицист, один из организаторов московского религиозно-философского кружка, издатель “Религиозно-философской библиотеки”. Был сторонником ортодоксальной православной церкви и противником неохристианства Мережковских. Владимир Кожевников — один из членов кружка Новоселова.

¹⁴ Образ костра — один из значимых символов в ранней поэзии Мариэтты Шагинян. Так, в стихотворении-эпиграфе ее первой книги “Молитва” говорится:

Мой светлый Бог, чудес не надо,
О нет, я чуда не прошу.
Я у невидимой ограды
Огонь зажженный не тушу.
Гляжу на бешеную ловлю
Зигзагов огненных костра
И от утра и до утра
Тебя, Премудрый, славословлю ...

В разделе “Огоньки одинокие”: “Прошлых костров огоньки одинокие, Нет, вы мерцаньем меня не обманете...” С образом костра, для которого она готова была “таскать щепки” под руководством Гиппиус, М.Шагинян связывала свои надежды на будущее служение революции “сообща”, вместе с другими “призванными” членами новой церкви.

¹⁵ Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — философ, экономист, член редакции журн. “Новый путь” и “Вопросы жизни”, участник сб. “Вехи” и Религиозно-философского общества. С 1906 г. депутат 2-й Государственной Думы, в 1906–1908 гг. профессор Московского университета. В 1918 г. принял священн. сан. Гиппиус полемизировала с Булгаковым в “Литературном дневнике”, — в частности, с его “терпимостью” и оценкой современной христианской православной церкви как “истинной во всем и вечной”. Гиппиус противопоставляла Бердяева и Булгакова друг другу, но считала влияние обоих на умы ищущей молодежи одинаково вредным. В статье 1905 г. “Все против всех” она писала: “Если Булгаков опасно здоров, то Бердяев опасно болен; если у Булгакова — отсутствие трагедии, чрезмерное благополучие, то у Бердяева такая трагедия, что за него страшно — выйдет ли он жив из нее. Это та же самая трагедия, как у всех героев Достоевского — от Ставрогина до Ивана Карамазова: бесконечное раздвоение ума и сердца, воли между бездною верхнею и нижнею, между “идеалом Мадонны и идеалом Содомским”, как выражается Дмитрий Карамазов” // Дневники. Т. 1. С. 316–317).

¹⁶ Флоренский Павел Александрович (1882–1937) — религиозный философ, богослов.

¹⁷ “Вехи” — сборник статей московских религиозных философов, стоящих на позициях ортодоксальной православной церкви и протестующих против революционных устремлений интеллигенции. Участниками сборника были Н.Бердяев, С.Булгаков, Мих.Гершензон, А.Изгоев, Б.Кистяковский, П.Струве, С.Франк.

¹⁸ Но вы сами в этом виноваты (*франц.*).

¹⁹ Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) — князь, правовед, религиозный философ. Стремился соединить учение Вл. Соловьева о “всеединстве” с доктриной ортодоксальной христианской церкви. Один из основателей партии кадетов и партии “мирного обновления”.

²⁰ Тетка — крестная Мариэтты, Ашхен Джамгарова, жена банкира.

²¹ Две статьи Гиппиус парижского сборника “Le Tzar et la Révolution”, Paris, 1907 — “La Révolution et la violence” (“Революция и насилие”) и “La vraie force du tsarisme” (“Истинная сила царизма”). См. на русском яз.: Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция. М., 1999. С. 87–132 и 193–214. “Тоска по смерти” — статья Гиппиус в журн.

“Свобода и культура”, 1906. № 7. С. 476–482, который являлся продолжением еженедельника “Полярная звезда”.

²² Собрания в Религиозно-философском обществе были воссозданы Мережковскими после возвращения из Парижа в июле 1909 г. Гиппиус писала об этом в дневнике “О бывшем”: “Религиозно-философское общество, без нас, давно, затеянное Бердяевым и брошенное им, едва прозябало. (Было затеяно по примеру моих старых Религиозно-философских собраний). Мы его взяли на себя. Сильно подняли и оживили. Неонародничество и споры с марксистами. “Богоискатели и богостроители.” (Дневники. М. Т.1. С. 141.) “Христианскую секцию” в Обществе возглавлял Вячеслав Иванов; туда и ходила М.Шагинян. Мережковские создали в параллель ей свою секцию, при Народном Университете. В дневнике Гиппиус пишет об этом и о появлении М.Шагинян в их духовной жизни: “Мариэтта — умная, религиозная и... легкомысленная девушка, привязанная ко мне. Все понимающая. Свидания с епископом Михаилом. Начало “голгофцев”. Устройство, помимо “христианской”, Вячеслав-Ивановской, секции — еще другой, нашей, с Мейером во главе, в Народном Университете. Бесплодные приемы мужиков.” (Там же. С. 142).

²³ “Стружка” — по-видимому, термин, восходящий к названиям нескольких критических статей К.Чуковского “Литературные стружки”, которые публиковались в газете “Речь”, начиная с 23 февраля 1909 г.

²⁴ Письма сестры Магдалины Сергеевны (Лины) Шагинян из Москвы в Петербург содержали подробные сведения о встречах с религиозными философами и писателями, посещавшими дом сестер, о ее учебе на курсах и другие деловые подробности и фактические сведения. Сестры называли их “регламентациями”. В дальнейшем именно такие письма Мариэтта по просьбе З.Гиппиус посылала ей из Петербурга в Париж. «“Бездны” открывает Чуковский». Фраза Гиппиус, возможно, содержит намек на многочисленные статьи Чуковского о Леониде Андрееве, в частности, о его рассказе “Бездна” (1902) и полемике вокруг него.

²⁵ Фохтинианка — от имени немецкого естествоиспытателя Карла Фохта (1817–1895), здесь: материалистка. Когенианка — от имени немецкого философа идеалиста, неокантианца Германа Когена (1842–1918). Впрочем, может быть, в термин “foхтинианка” Гиппиус вкладывала и другой, более “личный” по отношению к биографии М.Шагинян, смысл: ее отец, врач и естествоиспытатель С.Д.Шагинян был учеником профессора Александра Богдановича Фохта и работал в Москве в его клинике. Установить это можно было бы только на основании писем Шагинян к Гиппиус, которые не сохранились.

²⁶ Иннокентий Федорович Анненский писал о Шагинян в статье “О современном лиризме” //Аполлон, 1909, № 3, декабрь.

²⁷ Мейер Александр Александрович (1875–1939) — религиозный мыслитель, публицист, активный участник Религиозно-философского общества и единомышленник Мережковских в 1908–1909 гг. В дневнике Гиппиус пишет о нем: “Отвлеченный, умный и какой-то “странник”. Любви у нас к нему особенной — ни у кого. <...> Бывший социал-демократ,

потом был и “мистический анархист”. Подходил искренно и тяжело” (Дневники. Т. 1. С. 149). «Мопра» — роман Жорж Санд, 1837.

²⁸ М. Шагинян в журнале “Тропинка” опубликовала рассказ “Бегство” — 1910, № 9, май, с. 354—362; № 10, май, с. 393—398.

²⁹ М. Шагинян несколько раз от-руки переписывала стихи Гиппиус для ее второй книги. Один такой список хранится в отделе рукописей РГБ. 18 февраля 1910 г. Гиппиус подарила книгу Шагинян со следующей надписью; “Эта книжка — может быть я — вам; может быть вы — мне; ведь вы заботились о ее плоти. Если правда, что в вашей душе — есть капелька моей — делайте то, что я всегда хотела делать, и, главное. — сделайте. Зина Гиппиус. 18.11.X. СПб.”

³⁰ Скалдин, Нечаев — молодые рабочие, представители “народа” в секции Мережковских в Религиозно-философском обществе.

³¹ Hegnant Abel (1862—1927) — французский писатель, автор романов из истории Франции. Willy Henry Gauthier Willars (1855—1931) — французский писатель. “Claudine en ménage” его роман “Клодин в супружестве”. Шагинян не согласилась с оценками, данными Гиппиус. В воспоминаниях “Человек и время” она писала об этом: “Абель Хэрман никакой не был классик. Книга его была цинична и претила мне своей похабщиной, своим равнодушием и к политике, и к истории Франции. Никакой стилизации я в ней не усматривала и не понимала, зачем и для кого нужно писать такие книги. И она просто была неинтересна мне. А в то же время, к стыду своему, я совсем не читала Стендаля и даже не знала, что Бейль и Стендаль — это одно лицо” (М., 1980. С. 405.). Veyle — Стендаль (Анри Мари Бейль, 1783—1842), роман “Красное и черное” написан им в 1831 г.



ПИСЬМА З.Н.ГИППИУС А.С.ЭЛИАСБЕРГУ

Вступление, подготовка текстов и комментарии
В.Н.Терехиной

Среди важнейших аспектов изучения литературы русского зарубежья — история ее включения в иноязычную среду, обретение подлинно мирового контекста и признания. Письма З.Н.Гиппиус к переводчику и пропагандисту прозы и поэзии крупнейших русских писателей Александру Самойловичу Элиасбергу (1878—1924) являются важным документом для характеристики этого малоизученного процесса.

А.С.Элиасберг родился в Минске, но с 1907 года постоянно жил в Мюнхене. Тогда же им была составлена первая антология русской поэзии в переводе на немецкий язык “Russische Lyrik der Gegenwart”. В книгу вошли произведения Бальмонта, Брюсова, Бунина, Гиппиус, Минского, Сологуба. Для того, чтобы отобрать стихи, авторизовать переводы, составить биографические справки, Элиасберг начал переписку со своими современниками. Так состоялось его заочное знакомство с З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским, переросшее в дальнейшем в доверительные, дружеские отношения.

Переводы Элиасберга в предвоенной, а особенно, в веймарской Германии получили признание как образцовые по своей точности и безупречности стиля. За 18 лет пребывания на чужбине, — сообщалось в “Летописи Дома литераторов” (1922, № 8—9), — Элиасберг перевел около 70 томов русских авторов, составил антологии “Русская литература в портретах” (Мюнхен, 1922, 2-е изд. — 1923), “Галерея русской литературы” (Мюнхен, 1922), которые воспринимались как род энциклопедий; попасть на их страницы означало получить известность и признание не только в Германии. О сложности этого труда писал Дм.Мережковский в предисловии к “Russische Literaturgeschichte”: “Русская литература для нас, русских, — Священное Писание, книга Пророков. Как понять ее чужим, немцам — немым?”

Среди тех, кто поддерживал русских писателей в эмиграции, был Томас Манн, с которым Элиасберг был хорошо знаком.

Томас Манн прислушивался к суждениям знатока русской литературы, “превосходного посредника”, который знакомил его с новинками, например, произведениями Мережковского. Элиасберг перевел десять книг Мережковского, в том числе трилогию “Христос и Антихрист”, романы “Александр I” и “14 декабря”.

Известно, какую большую роль играл Томас Манн в присуждении Нобелевской премии. В письмах Бунина к Элиасбергу отразились подробности первой попытки войти в “нобелевскую историю”. Именно в 1922 г. в русской эмиграции возникла надежда на присуждение Нобелевской премии представителям русской литературы, выдающейся по своим достижениям и привлекавшей сочувственное внимание драматизмом судьбы в изгнании.

Тогда же по “делу о присуждении Нобелевской премии” 1922 г. к Элиасбергу обращалась и Зинаида Гиппиус. “Одним из возможных кандидатов,— утверждала она, — мог бы быть Д<митрий> С<ергеевич> (Из здешних русских, конечно, единственный). И здешние русские писатели очень бы этого хотели, т.к. это всех нас могло бы спасти”. Ее так же беспокоила кандидатура Максима Горького, от которого “гроша бы никто не взял”. Опираясь на многолетнее сотрудничество с Элиасбергом, Гиппиус писала: “Голос Германии в этом случае очень важен. Если б, например, Томас Манн сказал слово за Дм<итрия> С<ергеевича>, это имело бы большое влияние. В случае, если Вы думаете, что надо Д<митрию> С<ергеевичу> написать об этом г. М<анн>у лично, — пришлите проект письма, Д<митрий> С<ергеевич> его напишет...”

По-видимому, Элиасберг был достаточно осведомлен о преждевременности подобных действий и, судя по ответным письмам, осторожно предупреждал об этом. Лишь спустя десять лет, когда литература русской эмиграции более глубоко вошла в европейский контекст, Нобелевская премия 1933 г. была вручена Ивану Бунину “за правдивый артистичный талант, с которым он продолжил традиции русской прозы”. Хотя Александр Элиасберг не дожил до этого события, он своими трудами содействовал его осуществлению.

Одним из значительных трудов Элиасберга стала антология “Русский Парнас” (1920), наиболее интересный, а по мнению Гиппиус, лучший сборник русской поэзии. В письме к составителю и автору послесловия поэтесса признавалась: «В нем столько достоинств, что не хочется упоминать о крошечных недостатках. Лично мои стихи Вы избрали очень удачно. Приношу Вам мою благодарность. А какая это была работа! Легко могу вооб-

разить... Влад<имир> Ан<аньевич> Злобин уверяет меня, что мой “Петербург” гениально переведен». Не все были согласны с отбором произведений, которые должны представлять “лицо Русской Поэзии”. И тем не менее по общему настрою рецензий ощущалось, насколько важное значение обретали книги Элиасберга: в первые годы раскола русской литературы на их страницах продолжали жить целостность, внутреннее единство двух потоков, эмигрантского и советского, а немецкий читатель воспринимал ее богатства в достаточной полноте. Недаром Шмелев обращался к Элиасбергу: “Для всякого писателя дорого найти чуткого истолкователя-проводника в круг писателей, говорящих, думающих на другом языке. Важно, чтобы переводчик — пусть даже артист своего дела — принимал душевно писателя, которого переводит, любил бы его... во мне остается горячее желание именно Вас видеть истолкователем-художником моей книги”.

Элиасберг переводил стихи, рассказы, статьи З.Н.Гиппиус; переписка не только фиксирует подробности их сотрудничества, но освещает более общие вопросы, творческие, мировоззренческие. Элиасберг сохранил эти автографы, как и автографы и документы других писателей. В так называемом “Альбоме А.С.Элиасберга”, хранящемся в фонде Н.В.Зарецкого в Бахметевском архиве Колумбийского университета, есть письма Бальмонта, Бунина, рукописи автобиографий Вл.Ходасевича, Б.Пильняка, С.Есенина, полученные переводчиком, вероятно, от редактора “Новой русской книги” А.Ященко для работы над книгой литературных портретов (см.: “Первая автобиография С.Есенина. Публ. А.А.Козловского и В.Н.Терехиной // Знамя, 1996, № 8). Однако альбом Элиасберга, переданный его вдовой художнику и коллекционеру Н.В.Зарецкому, одному из организаторов Пражского архива русской эмиграции и музея при нем, оказался разрознен. Настоящая публикация является попыткой восстановить возможную на данном этапе полноту, объединяя два письма Гиппиус от 23.01.1921 и 16.02.1921, хранящиеся в Бахметевском архиве, и два письма из пражской коллекции. Первые публикуются с разрешения заведующего Бахметевским архивом (1994). Последние публикуются с любезного разрешения проф. МПГУ В.А.Лазарева, включившего их в сб. “В поисках истины”. М., 1993. С. 125–128).

23.01.1921

Париж

Глубокоуважаемый Александр Самойлович,

Я давно хотела писать вам — о многих вещах. Не знаю, уместно ли сейчас сказать обо всем. Но постараюсь.

Во-первых — насчет стихов. “Плоды полей и гроздь...” Шиллера, в переводе Жуковского. Остальные — мои; причем “мешается, сливается” — старые, из 1 книги, остальные — самые новейшие, почти все вошедшие в Сб[орник] [19]18 г. “*Последние стихи*”¹. Я издала сборник сама уже при большевиках (14—18 гг.) в последние дни “свободы” печати. Я сразу продала все издание и не знаю, успели ли его распродать или спрятали (стихи были сплошь самые резкие). У меня 3 стихотворения “Декабристам”, и четверостишие:

...Ночная стая свищет, рыщет,
Лед по Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян! —

как раз из одного из “большевицких” 14 декабря 17 года².

Вот, между прочим, одно из доказательств, что Гржебин³ скупал у нас всех, умирающих литераторов, наши произведения “из-под полы” и “впрок”, — т.е. “когда падут большевики”. Он эту книжку тоже “купил”. Он купил все (3 тома) мои стихи (даже будущие) за 20 тысяч в начале [19]19 года, когда 1 фунт хлеба стоил, на эти же деньги, 300 рублей (черного). Условие это еще не было написано на старой гербовой бумаге*. Мы согласились 1) что он не может издавать за границей, 2) до падения б[ольшевико]в, 3) и по большевицкой орфографии. Рукопись я ему сдала, но через несколько месяцев он прислал ее обратно, чтобы я прибавила новые стихи и расположила их. Уже не доверяя словам Г[ржеби]на, я, прежде чем вернуть рукопись, написала ему с просьбой письменно подтвердить наше соглашение (насчет границы, орфографии и т.д.). Этого он не сделал до нашего отъезда и поэтому рукопись я ему обратно не отослала, как я его и предупреждала.

Александр Самойлович. Хотя вы и прочитали мой дневник, но перед действительностью слова столь слабы, что меня почти не удивляют ваши предложения: раскрыть имя J.J. и замаскировать Гржебина. Ни на первое, ни на второе я согласиться *не могу*. Первое — это значило бы принять участие в избиении оставшихся честных людей в России. Второе — признать власть мерзавцев над собой. Будет еще время, когда они станут господами в Европе. Или они уже господа в Германии? Тогда другое дело. Тогда я просто не буду издавать свой дневник в Германии. Еще есть Франция, Англия и Америка, которые, если и на пути к капитуляции, этого еще пока не осознают⁴.

* Впоследствии он полюбил делать именно “гербовые” условия.

Гржебин даже не большевик, — он крупный мошенник, играющий на *большевицкой* карте, т.е. если угодно, большевик в кубе. Во всяком случае он — представитель правительства (или верноподданный), не признанного в Европе. Пусть он привлекает к какому может суду — меня! Я обязуюсь ему доказать *на свободном русском суде со свободными рус[скими] свидетелями*, что я не говорю ни слова неправды.

А если из черной запертой дыры — бывшей России, — нельзя получить ни одного свидетельства и даже по имени никого нельзя назвать *здесь*, чтобы его не схватили *там*, — то пока не все люди еще сошли с ума — абсурд Гржебинской апелляции к “бурж[уазным]” законам для покарания недобитых, убежавших, буржуев — *не пройдет*. Это мне напоминает вчерашнюю ноту Чичерина к английскому правительству с требованием запретить Черчиллю писать статьи против “сов[етской]” власти. Если германское правительство уже охраняет честь “сов[етских]” подданных, вроде Гржебина — другое дело.

Чем сейчас Г[ржебин] занимается в Берлине — я не касаюсь. Но что он делал в России — я знаю, и обо всем, что знаю — буду говорить открыто везде, где еще есть тень свободы.

Повторяю: я не знаю положения в Германии, но думаю, что Питеру нечего бояться: слишком абсурдно положение Гржебина, взывающего к “закону” чужой страны. Его инсинуаций тоже бояться нечего. Мало ли в Европе наших “беззаконников”, они не стесняются, но им цену знают, на них клеймо.

Дм[итрий] С[ергеевич] уехал, оставил Г[ржебину] письмо, где он предлагает ему какой угодно гласный суд — в первый же момент существования гласного суда в России. Но в этот момент, конечно, Гржебина нельзя будет найти.

Довольно, однако, о нем. Перейдем к делам человеческим. И даже отрадным, — какова ваша антология⁵. Это прекрасная книга, прекрасный сборник. Быть может, лучший сборник русской поэзии из доселе существовавших. Я с большим удовольствием напишу о нем заметочку в здешней газете. В нем столько достоинств, что не хочется упоминать о крошечных недостатках. Лично мои стихи вы избрали очень удачно. Приношу вам мою благодарность. А какая это была работа! Легко могу вообразить...

Спасибо за присылку “Зеленого кольца”⁶. Я искала его по всей Европе, т.к. книгу, отдельное издание с моим длинным предисловием (о Савиной, о постановке пьесы в Алекс[андринском] театре в СПб.), изданную в [19]16 году, я не могла захватить с собою. Несколько дней тому назад я вдруг узнаю, к моему ужасу, что она вышла по-английски. Я достала перевод — и что вы думаете? Там написано, что он — *autorisee*!! И переведено явно с

книги, ибо с предисловием. А я никогда в жизни никого не авторизировала, да и человека этого не знаю. А уж если издавать было, то следовало еще кое-что прибавить. Ибо “Зеленое кольцо”, с тех пор, шло в Студии Худ[ожественного] театра в Москве в продолжение трех лет почти *ежедневно*, и до сих пор идет! Бедный Стахович повесился, знаменитая (по Зел[еному] Кольцу) Тарасова исчезла, а оно все идет. Нет москвича, который бы не видел этой пьесы. Говорят, они сделали из нее что-то поразительное. Говорят... Ибо, вообразите! я сама этой постановки не видала.

“Историю Зеленого Кольца”, громадный портфель с рукописями, письмами, фотографиями (даже запиской Керенского!) я в минуту голода продала в Публичную библиотеку. Текст рукописи, бывшей у вас, не совсем сходится с окончательным текстом на сцене и в книге. Но я все-таки хотела вас спросить, а нельзя ли издать пьесу и по-немецки? Ведь вы, кажется, ее переводили. Если б можно было достать русскую книгу с моим первым “послесловием”, я бы дала вам и дополнение, и “гимн”, который исполнялся в Москве.

Еще одно: наша книга, собственно, составлялась вчетвером, как мы и бежали⁷. Там была и статья нашего спутника, молодого поэта Злобина — “Тайна большевиков”, вся построенная на Достоевском (Бесы и Вел[икий] Инквизитор). Для книги же предназначалась наша группа, довольно хорошая фотография. Мы ее вам пришлем (у нас *единственный* экземпляр) когда переснимем. Я думаю, будет интересно ее приложить. Мы там совсем свеженькие от побега. Что касается статьи Злобина — то может быть и ее прислать вам?

Такое длинное письмо, спешу кончить. Еще кое-что хотелось сказать вам — но до следующего раза. Видаете ли вы парижское “Общее дело”⁸? Мы оба там пишем. У меня целый ряд статей (“Там, в России”) — взгляды, довольно противоположные здешней эмигрантской колонии.

Кланяйтесь, пожалуйста, моей тезке, Зинаиде Николаевне. Помнит ли она меня⁹?

Крепко жму вашу руку и жду ответа, — вы так исключительно и так приятно аккуратны!

Ваша Гиппиус.

Хотя я родилась не в [18]67, а в [18]69 году, но эту ошибку повторяют давно все, ибо я никому, кроме Венгерова (лит[ерату-ра] XX века) никогда не давала своей биографии и точных дат¹⁰.

1.02.1921

Париж

Дорогой Александр Самойлович.

Спешу ответить на ваши вопросы:

1) “Зеленая армия” — так до сих пор, в отличие от “белых”, называются повстанцы. Название пошло от того факта, что красные дезертиры, скрываясь в лесах, соединялись кучками, вели (и до сих пор ведут) партизанскую борьбу против красных.

2) “Танки” — так называют русские мужики-красноармейцы “танки”, которых боятся.

3) Петерс¹¹ — любопытная фигура: молодой латыш, глава главных Чрезвычайек, абсолютно беспощадный; кажется, автор знаменитого изречения: “лучше казнить тысячу невинных, чем помиловать одного виновного”. Вместе с поляком Дзержинским носит имя главного “палача”.

4) Луначарский — комиссар “Нарпросвета”, т.е. “Народного просвещения”, со всеми отделами и подотделами, т.е. он же комиссар искусств.

Быть может, придется кое-что выпустить из дневника. Я еще не знаю что, но меня напугали, что я могу и в таком виде повредить J.J. (хотя это не его буквы). Постараюсь, чтобы поменьше выпускать.

Дм[итрий] Серг[еевич], немножко успокоившись вашими достижениями, — тревожится насчет Bonnier. Отчего вы не написали смысла его письма? Будет ли он “накладывать арест” на русское издание? Ведь это же абсурд!

Влад[имир] Ан[аньевич] Злобин уверяет меня, что мой “Петербург” гениально переведен. У меня есть еще два (не считая 2-х стих[отворений]) “Декабристы” [19]17-го и [19]18-го годов (после 1909). Третий “Петербург” — *прямое* продолжение вами переведенного, и я вам его посылаю¹².

У меня еще много есть чего сказать вам, но не хочу задерживать этого письма и пока прощаюсь, посылая привет сердечный З[инаиде] Н[иколаевне]. Как она поживает?

Гиппиус.

28.05.1921

Париж

Дорогой Александр Самойлович.

Пишу Вам, вместо Д[митрия] С[ергееви]ча, я, на сей раз. Д[митрий] С[ергеевич] все в тревоге, в заботах и денежных томлениях. Да и правда, дела наши сузились уже благодаря Общ[ему] делу (объявило 3 месяца тому назад, что писать в нем можно только даром), ну и другим разным падениям и обманам. Особенно я оказываюсь ни к чему... но в сторону. Добавлю толь-

ко, что эти обстоятельства заставляют нас принять предложение какого-то учено-литературного о[бществ]а в Югославии: это поклонники Д[митрия] С[ергееви]ча и обещают его там, на лето, устроить чуть ли не даром, — около Загреба. Правда, путешествие мучительно и стоит очень дорого. И все-таки заставляют нас также и о Висбадене еще подумывать. Нам пишут, что там пансион, в лучшем отеле, — всего 40 марок! С другой стороны, в Загребе, быть может, найдется какой-нибудь заработок¹³.

Теперь отвечаю последовательно.

Предисловие написано и послано Вам 14 дек[абря]¹⁴. Д[митрий] С[ергеевич] Вас благодарит и — ни на что пока не надеется (такое у него настроение).

Фотография. Нам нужен оригинал группы для того, чтобы успеть поместить его во франц[узское] издание. Но мы бы хотели сохранить оригинал у себя. Может быть у Вас есть снимок или клише¹⁵? Мы были бы Вам ужасно благодарны. Я знаю Ваше артистическое фотографирование. Конечно, конечно, используйте среднюю часть группы в Вашей книге! А не можете ли Вы, кроме того, как-нибудь выделить для меня одну меня и прислать мне несколько снимков? У меня просят вечно фотографий, а у меня ничего нет!

Статья о Бунине. Вам тоже послана. Бунин очень интересен. Для Вашей книги я Вам могу добавить библиографические и фактические о нем сведения¹⁶.

Декаденты. Начало 90-х годов. Северный вестник¹⁷, где печатались тогда я, Сологуб, Бальмонт. Д[митрий] С[ергеевич] лишь боком участвовал в этом движении тогда. Вряд ли можно его трилогию ввести в это движение. “Юлиан” был начат до всякого декадентства. “Декадентами” считали в то время меня, Брюсова (чуть-чуть позже), Сологуба, отчасти Бальмонта, Алекс[андра] Добролюбова, Коневского и еще кого-то, хотя я сразу стала открещиваться от “декадентства”, утверждая символизм. Теперь смешно сказать, но меня главным образом знали за “свободный стих”, который я стала вводить в [18]93-м году. Влияние французов было очень слабо у всех (кроме Брюсова, может быть). Свободным стихом, однако, кроме меня, долго никто не пользовался. “Весы” — сравнительно поздний период¹⁸. О декадентах у меня много в книге статей “Литературный дневник”. Это старая книга, вероятно, она у Вас была...

Вот и все. На этих днях думаю закончить заметку о Вашей книге — русских поэтов: напечатаю в “Общ[ем] деле” (больше нигде). Пришлю Вам¹⁹. Если Вы дадите мне какие-нибудь еще дополнительные сведения о том, как книга составлялась, о

Вашем брате и т.д. — буду очень благодарна. Во всяком случае ответьте поскорее...

Крепко жму Вашу руку и жду скорого ответа. Ваша З.Гиппиус.

P.S. Статья о Бунине — “высочайше одобренная”, т[о] е[сть] он сам (я ему читала в рукописи) был потрясен моим подходом и смущенно сказал, что это “первое человеческое слово” о нем.

1.12.1922

Париж

Дорогой Александр Самойлович,

Д[митрий] С[ергеевич] очень просит извинения, что сам не отвечает, он ужасно устал с писанием франц[узских] статей, чтением фр[анцузских] докладов и, наконец, устройством вечера Сахаровых (где он тоже читал) в профит наш с Буниным²⁰. Вечер, слава Богу, прошел, профита, кажется, серьезного не будет, но возни с великосветскими дамами и разъездами по городу было сверх головы. На несчастье Влад[имир] Ан[аньевич] Злобин нас покинул как раз в это время: уехал встречать свою мать, вырвавшуюся из Совдепии. Теперь он с ней в санатории. Если это недалеко, пишу ему, чтобы он съездил в Мюнхен, повидал Вас и поговорил о разных делах. Кое-что, о трех, я Вам здесь вкратце скажу.

1. Тот текст “Египта”, кот[орый] у Вас в руках, полный; вторую часть — “Вавилон” Д[митрий] С[ергеевич] пришлет Вам очень скоро, она кончена, только еще не переписана. Будет, кроме того, громадное “Введение” или предисловие, статья большой важности, она кончена и тоже не переписана²¹. Что касается указания Вам книг, — это, к сожалению, невозможно, ибо масса книг у Д[митрия] С[ергеевича] осталась в Совдепии. Он просит Вас в этих случаях просто уничтожать лучше кавычки. Однако Д[митрий] С[ергеевич] намерен потом составить возможно полную библиографию для напечатания в конце книги.

2. Это дело о присуждении Нобелевской премии будущего года²². Одним из возможных кандидатов мог бы быть Д[митрий] С[ергеевич]. (Из здешних русских, конечно, единственный). И здешние русские писатели очень бы этого хотели, т[ак] к[ак] это всех нас могло бы спасти. С другой стороны, мы недавно узнали, что свою кандидатуру поставил Горький. Если бы он и вздумал “делиться”, то никто из нас, конечно, гроша бы от него не взял (впрочем, он это слишком хорошо знает сам). И не только из здешних писателей, но и из Берлинских тоже, кроме подлых, вроде Ал[ексея] Толстого²³, но те и так процветают. В России же совсем никого не осталось.

Голос Германии в этом случае очень важен. Если б, например, Томас Манн сказал слово за Дм[итрия] С[ергеевича], это имело бы большое влияние²⁴. В случае, если Вы думаете, что надо Д[митрию] С[ергеевичу] написать об этом г[осподину] М[анну] лично, — пришлите проект письма, Д[митрий] С[ергеевич] его напишет. Вл[адимир] Ан[аньевич] Злобин, если придет, даст Вам разные подробности, но думаю, Вам все понятно и так.

3. Это уже касается меня. Я теперь пишу книгу рассказов “о настоящих” людях²⁵. О моих “встречах” с людьми замечательными (известными и неизвестными). К сожалению, письма и документы у меня остались в Совдепии! Только “встречи”, т[о] е[сть] люди по свидетельству моих собственных глаз. У меня уже был (кратко) Есенин, Лундберг и еп[ископ] Антоний. Будет “советский батюшка” Введенский (элемент нового распутиства), будет “Хромая Аня” (Вырубова) в связи с письмами императрицы. Будет, надеюсь, Розанов и мн[огие] другие. Но сейчас у меня есть совершенно готовая и отделанная история моей дружбы с Блоком (в нее эпизодически входит и А.Белый). Этот рассказ под названием “Мой лунный друг” я сама перевела, сократив и приспособив, по-французски. Не прислать ли Вам русский подлинник, рукопись, не хотите ли перевести ее по-немецки? Может быть, какой-ниб[удь] немецкий журнал напечатает. Размер — немного более печ[атного] листа, м[ожет] б[ыть], полтора. Жду Ваших соображений. Но только печатать раньше февраля нельзя, ибо франц[узская] адаптация должна выйти на 8 дней раньше.

Спешу кончить, сердечно кланяюсь Зинаиде Николаевне, надеюсь, что она и ваш наследник здоровы и благополучны.

С приветом.

Ваша Гиппиус.

¹ Возможно, речь идет о сб. “Немецкие поэты в русских переводах”, составленном Александром Элиасбергом и Артуром Лютером (Лейпциг, 1921), в который вошли переводы Гиппиус из Шиллера, а также об отборе стихов З.Гиппиус для одной из антологий, составляемых Элиасбергом в 1921 г. “Мешается, сливается” — строка из стихотворения Гиппиус “Снежные хлопья”, 1894 г., вошедшего в первую книгу (Сборник стихов. 1889—1903. М., 1904). Последняя изданная в России книга — Последние стихи. 1914—1918. Пб., 1918.

² Гиппиус написала стихи к годовщине восстания декабристов на Сенатской площади в 1909 году под заглавием “14 декабря”, затем — “14 декабря 17 года” и “14 декабря 18 г.”.

³ Зиновий Исаевич Гржебин (1877—1929) был известным издателем, в частности, альманаха “Шиповник”. Весной 1919 года им было создано “Издательство З.И.Гржебина”, одним из редакторов которого стал

А.М.Горький. В 1921 году Гржебин и Горький вместе уехали в Германию. Более 200 книг, которые предназначались для распространения не только в зарубежье, но и в России, вышло под маркой Гржебина в Берлине. Но в связи с запретом на ввоз в РСФСР этих тиражей, издательство потерпело в 1923 году крах. Финансовые споры были у Гржебина не только с Гиппиус и Мережковским, но и с Горьким. О том, что, приехав в Берлин, все права издания передал Гржебину, сообщал в автобиографии Борис Пильняк (Бахметевский архив, фонд Н.В.Зарецкого). С другой стороны, Борис Зайцев, шесть томов собрания сочинений которого напечатал Гржебин в 1922 году, рассказывал, что гонорары выплачивались аккуратно и были столь существенны, что их хватало на жизнь в Германии (Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1996. Т. 5. С. 501).

⁴ Две части “Петербургского дневника” (“Черная книжка” и “Серый блокнот”) с записями за июнь 1919 — январь 1920 вошли в книгу: Дм. Мережковский, З.Гиппиус, Д.Философов, В.Злобин. Царство Антихриста. Мюнхен, 1922. В переводе А.Элиасберга на немецком языке — München, 1921, на французском в изд-ве Roche — Bossard, Paris 1922. J.J. — по-видимому, Иван Иванович Манухин, хотя Гиппиус и уточняет, что J.J. — не его инициалы (см. с. 148).

⁵ Имеется в виду книга “Русский Парнас” (Сост. А. и Д.Элиасберг; послесл. А.Элиасберга. — Лейпциг, 1920, 332 с. В нее вошли стихотворения Гиппиус “Песня”, “Она”, “Электричество”, “Нелюбовь”, “Тварь”, “Протяжная песня”, “Любовь — одна” и “Петербург”. В отличие от Гиппиус Бальмонт высказал в письме Элиасбергу несколько критических суждений по поводу антологии: “Русский Парнас”, на мой взгляд, составлен совершенно произвольно. Давать Лохвицкой одну страницу (взяв лишь два пустичка, на Мирру непохожие), блистательному Вячеславу Иванову дать 7 страниц, а полупоэту Валерию Брюсову, компилятивному ритору, 14, — это такое личное пристрастие, которое неизменно в поэтической энциклопедии... Давать поразительному Некрасову 10 страниц, и столько же ничтожному Алексею Толстому, это значит не видеть лица Русской Поэзии...” (Бахметевский архив, фонд Н.В.Зарецкого; см. также: G.Cheron. Letters of K.Balmont and V.Brjusov to A.Eliasberg // Wiener Slawistischer almanach 28 (1991)).

⁶ Пьеса Гиппиус “Зеленое кольцо” выходила дважды (СПб., 1916 и М., 1922). Премьера в Александринском театре в постановке В.Э.Мейерхольда состоялась в 1915 году. Во Второй студии Московского Художественного театра спектакль держался в основном репертуаре и после отъезда Гиппиус из России. Так, “Вестник театра” за 13–19 января 1920 года сообщал: вторник — “Младость”, среда — “Зеленое кольцо”, четверг — “Младость”, пятница — “Зеленое кольцо”. Алексей Александрович Стахович (1856–1919) был исполнителем роли Дяди Мики. В очерке “Смерть Стаховича” М.Цветаева писала о похоронах артиста: “...за ним идет одна молодежь — студийцы II Студии — его “Зеленое кольцо” (М.Цветаева. Собр. соч.: В 7 т. Т. 4. М., 1994. С. 498).

⁷ Дм.Мережковский, З.Гиппиус, Д.Философов и В.Злобин уехали из России 29 декабря 1919 года из Петрограда в Варшаву, затем в октябре 1920 года они, за исключением Философова, отправились в Париж. Их фотография открывала книгу “Царство Антихриста” (перепеч. в кн.: З.Гиппиус “Живые лица”. Тбилиси, 1991. Кн. I. С. 17).

⁸ “Общее дело” — газета, выходившая в Париже в 1918—1934 гг.

⁹ Зинаида Николаевна Васильева-Элиасберг была талантливой художницей, принимала участие в выставках Берлина и Парижа, экспонировала графику, фарфоровые статуэтки. Ей принадлежит оформление антологии русской поэзии в переводе Элиасберга (Мюнхен, 1907). Тогда Бальмонт писал Элиасбергу: “Проклятые Немцы, умеют издавать книги, а мы, Русские, все будем у иностранцев учиться? Впрочем, Ваша жена Русская. Ее рисунок для обложки поэтичен, изящен. Сколько настроения в этих ветвях, и в двух этих птицах!..” З.Н.Элиасберг была знакома со многими художниками и писателями зарубежья. Так, Михаил Ларионов в 1926 году давал уроки сыну Элиасбергов Павлу. В письмах Н.В.Зарецкому Зинаида Николаевна рассказывала: “Была у Ремизовых... А Ремизов, закутанный в плащ и стоя у столика с толстопузым тоже закутанным в шарф чайником, как будто проповедник за кафедрой, журчал...” (28.10.1926). В письме от 29.02.1928 года она сообщала о самоубийстве Нины Петровской, которая ранее неделю жила в ее комнате (Бахметевский архив, фонд Н.В.Зарецкого).

¹⁰ См.: З.Н.Гиппиус. Автобиографическая заметка // С.А.Венгеров. Русская литература 20 в. М., 1914. Т. I. С. 176.

¹¹ Петерс Яков Христофорович (1886—1938), в 1918—23 гг. заместитель председателя Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК), председатель Ревтрибунала.

¹² Третье стихотворение Гиппиус о Петербурге — “В минуты вещей одиночеств...”, апрель 1919 г.

¹³ Благодаря поддержке проф. А.А.Белича Дм.Мережковский и З.Гиппиус получили стипендию от Белградской Академии наук.

¹⁴ Речь идет о предисловии Дм.Мережковского к антологии Элиасберга “Russische Literaturgeschichte in Einzelporträts”, München, 1922.

¹⁵ Гиппиус просит групповое фото для французского издания кн. “Царство Антихриста” (1922).

¹⁶ По-видимому, З.Гиппиус имеет в виду одну из своих статей “Тайна зеркала. Иван Бунин” или “Русский народ и Иван Бунин”, которые позже были напечатаны в газете “Общее дело” (1921, 16 мая, № 304 и 23 октября, № 463).

¹⁷ Первые стихи Гиппиус появились в “Северном вестнике” в 1888 г., а публикация в 1895 (№ 3, 12) сделала ее известной поэтессой. Роман Дм.Мережковского “Отверженный” (в дальнейшем — под заглавием “Смерть богов (Юлиан Отступник) из трилогии “Христос и Антихрист” впервые публиковался в “Северном вестнике” (1895, кн. 1—6).

¹⁸ “Весы” — главный печатный орган символистов, где статьи Гиппиус выходили в 1906—1908 гг. Книга избранных работ Гиппиус “Литературный дневник” вышла в 1908 г. под псевдонимом Антон Крайний.

¹⁹ Речь идет о книге “Русский Парнас”. Брат А.С.Элиасберга, Давид Самойлович, был указан как второй составитель.

²⁰ Союз русских литераторов и журналистов в Париже, в который входили Мережковский и Гиппиус, устраивал благотворительные вечера в пользу нуждавшихся литераторов, в том числе в доме балетных артистов А. и К. Сахаровых. Об одном из них Бунин записал в дневнике 7(20) января 1922 года: “Вечер Мережковск[ого] и Гиппиус у Цет-

линой. Девять десятых, взявших билеты, не пришли. Чуть не все бесплатные, да и то почти все женщины, еврейки. И опять он им о Египте, о религии! И все сплошь цитаты — плоско и элементарно до нельзя” (Устами Буниных. Под ред. М.Грин: В 3 т. Т. 2. Франкфурт-на-Майне, 1981. С. 74).

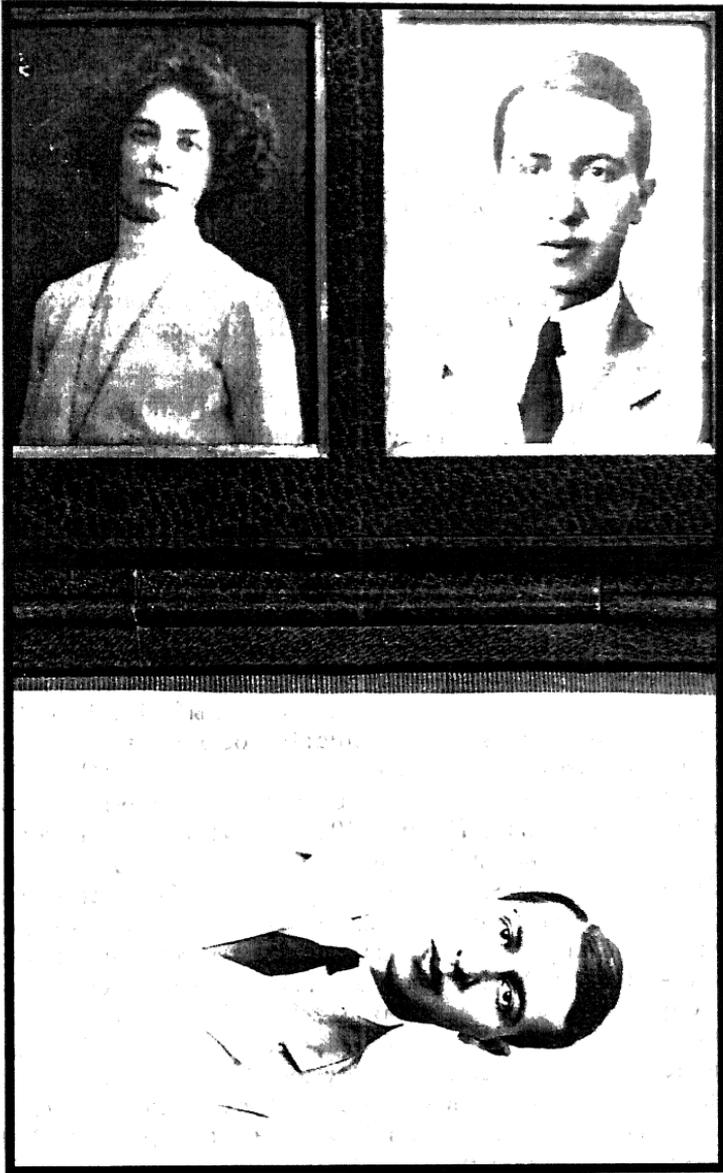
²¹ “Тайна трех: Египет и Вавилон” вышла в Праге (1925) и в переводе Элиасберга под названием “Die Geheimnisse der Ostens”. Berlin, 1924.

²² В 1922 году в эмиграции началось движение за присуждение Нобелевской премии представителям русской литературы. В качестве претендентов называли А.М.Горького, отметившего 30-летие литературной деятельности, и, как иронически сообщал журнал левой ориентации “Удар”, “истекающих желчью И.Бунина и Ал.Куприна” или “литературного сэндвича: Мережковского, Гиппиус, Философова” (“Удар”. Париж, 1922, № 3). Бунин в письме Элиасбергу подчеркивал: “Такого “популярного” одного (кроме Горького), я боюсь, среди нас нет (не исключая и Мережковского, хотя он-то думает почему-то иначе и вообще считает себя “единственным” достойным премии) ...А на днях мне стало документально известно, что кое-кто из самой высокой европейской литературной знати думает так: “Самое лучшее — а в политическом смысле самое тактичное — это разделить премию между Горьким и N”. (Называют одного из нас)» (Бахметевский архив, фонд Н.В.Зарецкого).

²³ А.Н.Толстой был исключен в мае 1922 года из Союза русских литераторов и журналистов в Париже после его открытого письма Н.В.Чайковскому в газ. “Накануне”: “Я отсекаю себя от эмиграции...”

²⁴ Томас Манн был хорошо знаком с Элиасбергом, ценил его переводческий талант и знание русской литературы. В Пражском литературном музее хранятся 29 писем Т.Манна к Элиасбергу. В предисловии к альманаху “Süddeutsche Monatshefte” (1921), посвященному шедеврам русской прозы, Т.Манн рассказывал: “Однако после войны я услышал вот что. Я услышал от Александра Элиасберга, что Мережковский, с которым я однажды через него, Элиасберга, сказочным образом обменялся приветами, что Мережковский, бежавший из Советской России, находится в Варшаве, собирается приехать в Германию, в Мюнхен и меня посетит” (Т.Манн Художник и общество. Статьи и письма. М., 1986. С. 37). Встреча не состоялась. По поводу “Грядущего Хама” Т.Манн писал Элиасбергу 25 февраля 1919 года: “Не могу сказать, чтобы книга Мережковского подействовала на меня благотворно. Это, на новый лад, такой же дурной продукт войны, как и другие в подобном роде...” С конца 1921 по июнь 1924 года есть два письма Т.Манна, но в них не упоминается Мережковский.

²⁵ Гиппиус работала над книгой “Живые лица” (в 2-х томах, Прага, 1925). Очерк о Блоке впервые напечатан в журн. “Окно”, Париж, 1923, № 1, с. 103—153. В переводе на франц. яз.— “Mon ami lunaire, Alexandre Blok” — “Mercure de France”, 1923, CLXI, p. 289—326.



ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЗИНАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ
ГИППИУС И ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА МИЛЮКОВА
1922—1930 годов

Подготовка текстов Х.Барана (США) и Н.В.Королевой;
вступление и комментарии Н.В.Королевой

Фрагменты из обширной переписки З.Н.Гиппиус и П.Н.Милюкова, которые мы предлагаем вниманию читателей, относятся к периоду чрезвычайной напряженности их отношений. Павел Николаевич Милюков (1859—1943) — выдающийся историк, издатель, мемуарист, до революции — крупный политический деятель: член Государственной Думы 3-го и 4-го созывов, министр иностранных дел во Временном правительстве (март — май 1917 г.). Лидер партии конституционных демократов, убежденный антимонархист. Эмигрировал из России в 1918 году.

Милюкову принадлежат капитальные труды по истории России: “Очерки по истории русской культуры”. Тт. 1—4. СПб., 1896—1904; “Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого”. СПб., 1905; после эмиграции он пишет о проблемах сегодняшних — “Эмиграция на перепутье”, Париж, 1926; о русской культуре XIX века — “Н.И.Тургенев в Лондоне”. Париж, 1932; “Живой Пушкин: Историко-биографический очерк”. Изд. 2-е, испр. и доп. Париж, 1937. Возвращается к издательской деятельности (до революции он был одним из издателей газеты кадетской партии “Речь”), — 1 марта 1921 г. под его начало перешла основанная в 1920 году русская ежедневная газета “Последние новости” (Париж). Многочисленные собственные статьи П.Н.Милюкова печатались также в изданиях “На чужой стороне” (1925), “Голос минувшего”, (1926), “Современные записки” (конец 1920-х — 1930-е годы), “Русские записки” (журнал, который в 1937—1939 гг. редактировал Милюков под загл. “Ежемесячный журнал”).

“Последние новости” П.Н.Милюкова к 1922 году, когда началась переписка З.Н.Гиппиус с П.Н.Милюкова, были газетой очень авторитетной и читаемой. Главное направление идеологического удара — против монархии, монархистов и белого движения за возрождение монархии в России — на страницах этого

издания чрезвычайно раздражало Гиппиус, — и вместе с тем сама личность Павла Николаевича Милюкова, человека огромных знаний и безукоризненной честности — привлекала и побуждала вступать в борьбу с ним, попытаться переубедить, привлечь на свою сторону, если не в свой круг.

Главные разногласия Гиппиус и Милюкова — по поводу оценки революции (1905 года, Февральской, Октябрьской) и по вопросу о злободневности борьбы на страницах эмигрантской печати не с большевиками, а с монархией. В 1921 году Гиппиус активно спорила с Милюковым и позицией его газеты “Последние новости” на страницах газеты “Общее дело”. По мнению Гиппиус, Милюков — антибольшевик, но он и антиреволюционер, позиция которого не изменилась со времен мировой войны и февраля 1917 года. “...посмотрите парижские “Последние новости”, — писала Гиппиус в статье “Там и здесь”, — ведь там есть и настоящие анти-большевики. Там сидит — когда-то, при царе, сдержаннейший П.Н.Милюков, этот, во время войны и святой Февральской революции, убежденнейший антиреволюционер. Водитель “Речи”, создатель несчастного “правого блока”, — он с изумительной твердостью долго не признавал ни революции, ни республики, не мирясь с совершившимся фактом”. (“Общее дело”, 1921, 4 апреля, № 263. С.2).

Гиппиус не могла простить Милюкову и поддержку им Е.Д.Кусковой, с которой Милюкова связывали давние дружеские отношения: муж Кусковой, экономист и общественный деятель С.Н.Прокопович, был членом ЦК партии кадетов, в 1917 г., как и Милюков, был министром Временного правительства, после высылки в 1922 г. из РСФСР возглавил Институт по изучению народного хозяйства СССР в Праге, печатался в “Днях”, “Крестьянской России”, “Последних новостях”. Сама Е.Д.Кускова после высылки была убежденной сторонницей помощи несчастной вымирающей России, утверждала историческую общность корней всех слоев русского общества и партий (один из ее парадоксов — “Большевики — наши дети”, то есть и кадеты, и большевики — порождение одних и тех же исторических процессов). Позиция Кусковой в статьях, с которыми она выступала на страницах газет и журналов “Руль”, “Слово”, “Последние новости”, “Современные записки” и др., стала поводом начала публикуемой нами эпистолярной полемики. Зинаида Гиппиус печаталась в это время в журнале (с № 10 за 1922 г.) “Современные записки”, авторитетном, близком ей по духу. Он был основан эсерами М.В.Вишняком, А.И.Гуковским, В.В.Рудневым и Н.Д.Авксентьевым, затем в редколлегию вошел И.И.Фондаминский, близкий друг Гиппиус, стремящийся вывести журнал на

платформу “межпартийности”. Именно в этом журнале были опубликованы некоторые из статей Гиппиус, которые она пыталась предложить П.Н.Милюкову (о Ремизове, например — “Современные записки”, 1924, № 22)¹.

Таким образом, печататься Зинаиде Гиппиус было где, но ее привлекал П.Н.Милюков. Парадоксальность ситуации заметил в свое время Глеб Струве в кн. “Русская литература в изгнании”: “Интересно, что в то время как Мережковский стал сотрудником, хотя и не близким, “Возрождения”, Гиппиус поначалу предпочла пойти в “Последние новости”, хотя ее отношение к Милюкову и к доктринальным кадетам вообще всегда было не слишком доброжелательным <...> Ни духовно, ни политически милюковская газета не была З.Н.Гиппиус близка, и ее сотрудничество в ней продолжалось недолго: она тоже перешла в “Возрождение”, но и там не могла чувствовать себя вполне дома”².

Статьи, которые З.Н.Гиппиус печатала в августе — сентябре 1922 г. в “Последних новостях” и одна — в русской берлинской газете “Руль” (редактор И.В.Гессен, выходила с 1920 по 1931 г.) мало известны и не введены исследователями ее творчества в научный обиход. Собственно говоря, вообще критические статьи и публицистические эссе Гиппиус 1920-х годов к настоящему времени не собраны и не изучены³. После бегства из России она печаталась в газетах “Минский курьер” (Минск), “Свобода” (Варшава), “Общее дело” (1920–1922), “Русская мысль” (1922–1923) и, наконец, в “Последних новостях”, сотрудничество с которыми, судя по публикуемой нами переписке, отнюдь не было кратковременным. Во всех изданиях, в которых Гиппиус печаталась после отъезда из России, она, по собственному признанию, стремилась быть абсолютно свободной в своих высказываниях, — в издании же П.Н.Милюкова она вынуждена подчиняться его редакторскому давлению. Вот что она писала 8 августа 1926 г. В.Ф.Ходасевичу: “...я отупела, оглупела до последней степени. <...> Оглупение мое — результат работы над ненормальной и непосильной задачей: написать о шайке “Верст” — все время думая не о ней, а о Милюкове. Две недели не спала и не ела, все изворачивалась, кучу бумаги изорвала, каждую мысль в 30 пеленок заворачивала, которые тут же и меняла опять... а результат — фельетон, себе самой противный, но в смысле Милюкова такой, что Дм<итрий> С<ергеевич> заклинал меня его даже и не посылать.

Ввиду этого я и решаюсь на героические меры: поступаю в “санаторию”. Иначе, если не захватить вовремя, я лишусь всякой возможности писать. “Вольно” я сделала бы фельетон в 2–3 вечера, если не в один, а тут 2 недели тупого изнеможения! Я не

писала “вольно” со времени “Общего дела”, и последняя вольная статья — первая в “Совр<еменных> зап<исках>”. С тех пор пошла музыка другая, — et voilà. И я отказываюсь, на неопределенное время, от всяких “социальных” и других заказов”⁴.

Переписка Гиппиус и П.Н.Милюкова позволяет глубже раскрыть сложные внутренние отношения в среде русской эмиграции. Публикуемые ниже письма хранятся ныне в Москве, в ГАРФ (“Пражский архив”), тексты их подготовлены к печати Хенриком Бараном (США), и в отделе рукописей Центра русской культуры (Амхерест, США), подготовлены к печати Н.В.Королевой. Публикуются с любезного разрешения архивов. Некоторые из писем Гиппиус к Милюкову (№№ 6, 13) по черновым автографам были опубликованы Т.А.Пахмусс в кн. «Intellect and Ideas in Action...» Мюнхен, 1972. С. 170–173.

¹ Об участии З.Гиппиус и Д.Мережковского в журнале “Современные записки” см. статью М.В.Вишняка “З.Н.Гиппиус в письмах”. // “Новый журнал”, 1954, т. XXXVII.

² Г.Струве. Русская литература в изгнании. Ymca-Press. Paris, 1984. P. 89.

³ В настоящее время А.Н.Николюкиным готовятся к печати два тома сочинений З.Гиппиус, в которые войдет и ее публицистика 1920-х годов: З.Н.Гиппиус. Сияние слов. Неизвестная проза. 1920–1925 и 1926–1930, М.: Лаком-книга, 2002.

⁴ Зинаида Гиппиус. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ardis / Ann Arbor. 1978. P. 50.

1.

5 Авг. [19]22
91, rue de Tours
Ambroise
(Indre et Loire)

Вы опять, как всегда, оказались правы, Павел Николаевич. “Слово”¹, когда я ему послала запрос относительно моей заметки по поводу Е.Д.Кусковой, уже было забронировано. А я и не знала, т.к. ваше письмо получилось позже. Штерн ответил, с большим шеколадом*, но твердо: Тимашев² все сказал, что можно, и больше ничего нельзя. В заключение — просьба написать о... Есенине³! Это “оскорбление” я извинила, отнеся его на ваш счет: уж очень вы бедного Штерна истерли в порошок. А он, видимо, хорошей школы не прошел. Огнеупорности не имеет.

* Слово неразборчиво.

Тимашев был найден, очевидно, отвечающим общему удовольствию: благодаря обилию вводных предложений он в нужной степени невразумителен, но звуки благонадежные, что и поспешил засвидетельствовать ваш обзорщик. А “Вопросы из публики” я решила присоединить к моему архиву, сделав надпись: “было тогда-то написано, при таких то обстоятельствах, но благодаря отсутствию свободы слова и свободы мнения для литераторов, появиться нигде не могло”. Завещаю будущему издателю “Архива русской эмиграции”.

Я очень рада, что вы допускаете “полемику” хотя бы в частных письмах. По нынешним временам это уже большой либерализм. Это “не дело”, конечно, а все-таки утешение для нас, — безприходских, — журналистов, которым некому слова сказать. Кстати, о “приходах”: на мой взгляд они все не очень еще определились; приход соборный, т.е. тот, который окажется самым главным, менее других; вернее — менее других он выявлен. И мы, многие из нас, чувствуя себя прихожанами именно соборными, потому и кажемся с виду праздноболтающими. Но на это, конечно, у меня сейчас нет никаких доказательств; разговор был бы уж совсем праздный.

Мне хотелось удивиться другому, если позволите. (Если я это говорю — это, между прочим, знак, что у меня тоже “нет камня за пазухой”.) Изумляет меня, очень искренно, ваша тактика относительно монархистов. Е.Д.Кускову я понимаю (т.е. понимаю, почему может она некоторых вещей не понимать), но как это весь ваш “приход”, целиком, так единодушен в страхе перед несчастной тайной русского народа — ça dépasse ma raison⁴. Я очень извиняюсь за мою смелость, но все-таки скажу, что вы их на 3/4 сами создаете. Ведь достаточно прочесть полностью эти “манифесты” Кирилловы⁵, чтобы видеть цену их “силе”. Ваше внимание “силу” эту, конечно, не увеличит особенно (дело пропавшее), но вы их очень ободряете. И да не отметит будущий Нестор: “во время царствования в России большевиков, г-жа Кускова и г. Милюков боролись главным образом с монархистами”.

Впрочем, я решительно перехожу границы моей компетенции. Литераторы не имеют права и заикаться о “политике”, теперь, как всегда (это Штерн еще раз мне пояснил). Тут у меня неожиданно возник к вам новый вопрос. Пусть литераторы не смеют ничего смыслить в политике и не должны о ней заикаться. Почему вам кажется, что о литературе могут заикаться т.н. общественные деятели (см. статью уважаемого С<оломона> Познера⁶ о Пильняке и т.п.)? Не потому-ли, может быть, что литераторам лучше теперь вообще ни о чем не заикаться, просто помалкивать?

Но тут я, свершив круг, возвратившись к началу, — ставлю точку. Много еще имею сказать вам... но довольно. Со всей искренностью подписываюсь как

признательная вам

З.Гиппиус

2.

10 Августа 1922
91 rue de Tours
Ambroise (Indre et Loire)

Как супруги Позднышевы в “Крейц~~ер~~овой>. Сонате” “дрались детьми”, так Гессен⁷ вчера подрался — в некотором роде мною — с вами, Павел Николаевич. Говорю “в некотором роде”, ибо не мною, а лишь букетом мною собранных писем. Но вы опять оказываетесь правы: не оценили ли вы сразу эти письма, как обывательские, узко-горизонтные, не поместили ли вы их только от беспристрастия? “Руль” этого не знал и не узнает, увы; но ничего, узнает потомство, для которого я, конечно, сохраню ваши письма. И, конечно, для этого самого потомства на рукописи моей не будет предлагаемой вами надписи: отнюдь я подобных вещей не думаю. Я считаю вас действительно “либералом”, во всех смыслах (самых прекрасных), и это для вас не секрет. Кроме того, вы правы (ну что делать, если приходится повторяться?) — и я бы никогда не издавала “Свободной трибуны”. Позвольте мне только сказать, что тут, как и везде, впрочем, *дело в мере*. Глядя на русскую нашу без-мерность и неограниченность, нередко восклицаю я: оттого, вот, и сидят у нас большевики! Мера великая вещь. Между прочим она, давая границы, ведет и к необходимой определенности. Вы, как будто, уверены, что ваш “приход” и его границы в совершенстве определены, и что вы с безошибочной точностью можете сказать, принадлежит ли данный человек к вашему приходу, или к чужому. Будь я вами, в вашем положении, с вашими возможностями высказываться, — я бы искала большего совершенства. Не одни, ведь, на свете злостно-непонимающие и глупо-несогласные. Не для них, конечно, а для других — я бы и постаралась довести свою позицию до той совершенной степени определенности, когда чужие сами, автоматически, исключаются, и о “приходах” споры падают.

Впрочем, что мы все о “приходах”! Иной раз, думается, дело лежит чуть-чуть поглубже. Например, единение ваше с Е.Д.Кусковой⁸ я, помимо прочего, прозреваю как единение в некоторой

“вере”, если говорить фигурально. А не фигурально — в одинаковом вашем, полном (сознательном и чувственном, — извините мое не публицистическое, философское выражение) отношении к тому, что называется, определяется и ощущается как *революция*. Я очень извиняюсь, что позволяю себе коснуться этого обстоятельства и последнего вопроса, не имея возможности сопроводить все это надлежащими объяснениями: было бы длинно, благодаря моей страсти к определенности, в письме неуместно, да и вам неинтересно, тут уж начинаются *мои* приходские, если хотите, дела. Кстати, вы не правы (наконец-то!), указывая мне, как на противоречие, на то, что я называю себя “безприходским литератором” и затем упоминаю о “соборном” приходе. Я несомненно “безприходский литератор” для всех; что я иное, пока мой приход, если он есть, — в катакомбах? Ну а кто же, скажите, может не считать, или не верить, что *его-то* приход и будет главным? Зачем бы он к нему тогда принадлежал? Доказательство на лицо: вы говорите, в конце письма, то же и о своем собственном “приходе”.

Разъяснив это кажущееся противоречие мое, я попрошу и у вас одного разъяснения. Вне полемики в данный момент, я интересуюсь совершенно объективно: если в уставе вашего прихода значится пункт, предлагающий, в вопросе выбора государственной формы, считаться с волей народа, то как может быть форма эта предопределена, когда воля народа еще не выражена? Естественно является следующее: вы говорите: я предугадываю волю народа. Может быть, бессознательную, т.к. народ еще далеко не сознателен, но непременно эту. *Только эта — в его собственных интересах*. Я это знаю, в этом убежден.

Иначе ответить нельзя, сохраняя первое положение. И, может быть, даже следует так ответить. Только... не следует закрывать глаза на то, что этим лишь формально сохраняется первое положение (да попутно в большой мере уничтожается уверенность, что народ достаточно окреп и возродился). И на то еще, что беря на себя... как бы сказать? ну миссию, что ли, блюстителя народных интересов (предугадывая его такую-то волю) мы, — т.е. вы, — нисколько, в сущности, не разнитесь с монархистами, искренними, конечно. И они тоже “блюстители народного интереса”, только интерес видят в другом.

Савинков⁹, например, совершенно все это, *en toutes lettres*, и говорит. Его — противоречия не смущают, потому что он все врет, с самого начала, и все это видят, и ему нечего терять. Ему ничего вместе: и “по воле народа”, и обязательно “советы на местах”, не иначе, “а то всех разражу”. Он думает, что это “политика”. Но “политика”, может быть, всегда сводится лишь к

борьбе между “блюстителями интересов народа”, различно эти интересы понимающими. А “народная воля” — конфетка, тактика, — демагогия.

Минский когда-то сказал: “еще не было примера, чтобы писатель не писал”. Вижу, что он прав. Нет статей — писатель болтает в письмах. Беспольные рассуждения отвлекли меня от некоторых, на этот раз, конкретностей. Одна из них: Штерна вы именно запугали, т.к. он забоялся моего “куста”, его даже не увидев: я же не посылала ему моих “вопросов”, а лишь запрос о них (притом обещала быть почтительной). Вторая: вы мне не ответили, кто же судит общ.<ественного> деятеля, когда он пишет о литературе? Третья: что случилось с моей заметкой о Ремизове?¹⁰ Четвертая откладывается за недостатком места. Еще раз приношу вам мои извинения за неумеренную болтовню.

З.Гиппиус

3.

29 Авг. <19>22
91 rue de Tours
Ambroise (I et L)

Простите, многоуважаемый Павел Николаевич, я забыла в предыдущем письме подчеркнуть мою покорнейшую просьбу: если в “П<етербургских п<исьмах>”¹¹ вам *что-нибудь* покажется непечатаемым — возвратите мне *все* переписанное, пожалуйста.

(Оно мне, вообще, нужно, ибо подлинники я почти все отослала в Сербию). А на днях я получила еще два письма, — в том же роде.

Посылаю вам заметку о Ремизове.

Искренне преданная

З.Гиппиус

P.S. Я пишу на ваше имя и на данный адрес — по указанию М <арии> С<амойловны>.

4.

31 Авг. 22
91, Rue de Tours
Ambroise (Indre et Loire)

Очень благодарна вам, Павел Николаевич, за скорый ответ. Вы правы, в письмах есть однородность стиля и даже схожесть с моим (хотя кто там вспомнит обо мне и моем стиле, раз нет подписи!). Это очень объяснимо: один из авторов (между нами говоря) — моя сестра, художница; второй — человек, на

кот<орого> я имела некот<орое> литературное влияние. Дальше всех третий.

Вы правы и насчет узости горизонта у интеллигентов, оставшихся в Совдепии. Да, очень узкий!

И — да, они “не у дел”. Именно не у дел. Сознаюсь, что и я, и многие мои собратья — не типа Ал. Толстого — тоже, в Совдепии, не иначе бы были, как не у дел. Скажу больше: так как там “у дел” теперь исключительно находятся 1) коммунисты и сочувствующие (политика) — 2) спекулянты и способные к сп<екуляции> (экономика) — то я естественно думаю, что даже и вы сами, Павел Николаевич, и уважаемая Ек.Дм., — тоже оказались бы *не у дел*. Как же иначе?

Я не согласна, что состояние “не у дел” — уже дает право на чин “обывателя”. Я вообще не согласна насчет обывателя. Он имеет нечто от “быта”, а когда быта, в точном смысле, нет, то нет и обывателя. Может, будет, а сейчас это лишь ветхое слово, служащее неприятельным журналистам-эмигрантам для полемического употребления.

Нынешних интелл<игентов>-совдепцев, что живут не у — (коммунистических и спекулянтских) — дел, и все таки живут, и даже хранят нечто старое (совесть) — скорее можно называть святыми. Без пафоса и без иронии говорю это, а просто ища точности.

Очень рада была прочесть вашу отповедь Брежневской насчет дела Корнилова¹². Очень жалею, что уважаемая Ек.Дм. так забронирована в “Посл<едних> Н<овостях>”, что ей можно предложить несколько вопросов “из публики” только в “Слове”. Очень надеюсь получить необходимые разъяснения.

Очень и очень искренно желаю вам всего хорошего.

Z.Hippius.

5.

14-9-<19>22
91 rue de Tours
Ambroise (I et L)

Дорогой Павел Николаевич.

Я очень смущена “видимостью”, которую имеет самый факт появления моей статьи в “Руле”¹³. (Фактом тоже, но об этом после). Видимость такая, точно я вас обманула. И я не могу не сказать двух слов в оправдание. Прошлым летом Гессен мне определенно сказал, что наши точки зрения (между прочим, на “революцию”) так разнятся, что я не могу участвовать в “Руле”. После моей статьи о Ландау я даже имела с “Рулем” (и вообще) небольшие неприятности. Поэтому, когда в нашем “монастыре”

(действительном, основанном в 1436 г.) я демонстрировала мою рукопись с известной вам, шутливой, надписью и Мережковский сказал, что ее следовало бы еще послать в “Руль” — я тотчас согласилась и позволила ее переписать, в полной уверенности, что “Руль” мне даже не ответит, и Гессена я прибавлю к Штерну.

Et voila! Прихожу к выводу, что я чего-то не понимаю во взаимоотношениях современных политических лидеров; во всяком случае, лишний раз убеждаюсь, что сама я представляю из себя столь малую ценность, что если случайно и детально в известный момент с кем-нибудь совпаду, то можно и мной воспользоваться. Все это заставляет меня серьезно подумать, не лучше ли от греха бросить писательские привычки и спуститься, пока что, в катакомбы моего “прихода”.

Таким образом, вы видите, что мои “извинения” носят совершенно бескорыстный характер; тем более, что я от самой моей статьи ни в одном слове не отказываюсь; а две последние статьи Е.Д.Кусковой (“Б<ольшевики> — наши дети”)¹⁴ считаю 1) полными логических противоречий и 2) оперирующими с X-ом. “Руль” же — в некоторых вопросах второстепенной важности, — стоящим на более близкой мне позиции.

Я жалею немного, что вы не успели напечатать до инцидента мою заметку о Ремизове, так <как> я обещала ее самому Ремизову, но что же делать.

Возвратите мне ее (она не переписана, это единств<енный> экземпляр) если, как я предполагаю, вам покажется, что “открытое письмо” З.Гиппиус в “Руле” мешает литературным упражнениям А.Крайнего в “П<оследних> Н<овостях>”; но примите, во всяком случае, мои объяснения как должно и не лишайте меня вашего частного благоволения.

З.Гиппиус.

6.

18 Sept <19>22
91 rue de Tours
Ambroise (I et L)

Дорогой Павел Николаевич.

Наша переписка забрела в такие сложности и экивоки, что меня берет желание поставить громадные, круглые точки над “i”.

Вы хотите сказать, что мои “вопросы” провокационны и вредят конспиративному делу Е.Д.Кусковой. Но конспираторы не выступают публично, не говорят с эстрады о своем деле даже

самым эзоповским языком. А если говорят, то должны рисковать, что недоуменные вопросы им будут предложены, мной или другими, с наивностью или без оной. Мне уж приходило в голову, что выступления Е.Д., с их спутанностью и недоговоренностью, могут иметь вид полу-конспиративный, а это самое неосторожное. (Знаю из последнего письма “оттуда”, что с ними как-то связывают гомерические преследования интеллигенции.) Очень соблазнительна параллель с царским режимом в смысле эзоповского языка для журналистов и т.п., но боюсь, что нам практичнее от этой параллели иногда отказываться.

Далее. Верю, но психологически изумляюсь, что Е.Д. могла забыть свои собственные речи у Гласберга и повторительные в автомобиле. Я — не могла их забыть уже потому, что тотчас же записала, а потом мы не раз вспоминали их со многими из присутствовавших¹⁵. Или мы их поняли как-нибудь навыворот? Однако я и до сих пор не догадываюсь, в чем был наш общий выворот, и что следует под вот этими словами иное разуметь. Я их привела не для “изобличения” какого-нибудь; лишь для оттенения своей позиции; да и не понимаю, что тут могло быть за “изобличение”, и что нужды Е.Д. утверждать, что она *тогда* ничего подобного не говорила, если она *теперь* говорит приблизительно то же?

Еще далее (это все — исключительно ответ на ваше письмо). Непоследовательные марксисты, — у меня есть эта оговорка, — могли, конечно, “желать” политического переворота, даже, на скользком уклоне, могли дойти до мечтаний, при этом “удобном случае” (революции) попытаться насильственно насадить социализм, “устроить” его, приказать ему быть. Для приказывания нужна власть, но даже и эти, соскользнувшие со своей линии “мечтатели”, на революцию работать не стали бы, и захватить власть не плохо лежащую — не могли бы. Так и было: приехали на готовенькую (революцию). Подобрали — власть, валявшуюся на улице. А затем стали издавать приказы: “сотворить новый мир” и “разрушить старый”. Первая серия, естественно, провалилась к черту; вторая пошла более успешно, найдя подходящих исполнителей — народ, только что сорвавшийся с самодержавной цепи. Ну вот и все. Если эти, еретики марксизма, таковы — как же не сказать о честных, разумных, последовательных (и “цузамменбрухнеров”¹⁶ включая), что они непременно не революционны?

В таком виде, сейчас, вопрос о “революционности” кажется схоластикой. Я его не развивала в заметке. Но при оценке положений Е.Д.Кусковой он играет большую вспомогательную роль. То или иное отношение к революции, как таковой, определяет многое.

Себя — напрасно вы обвиняете в пристрастии к сильным словам и большим делам, “когда на очереди малых”. Ценю вашу любезность, но понимаю и сознаюсь, что одна я во всем этом повинна, как и в “благородной позиции непримиримости”. Но куда же мне деваться, если другого места я не вижу в природе вещей? Пусть мне укажет его Екатерина Дмитриевна, мне и таким же, как я, поклонникам логики и здравого смысла, — да мы скорее вас бросимся в ее объятия! Легальная оппозиция? Полноте. Большевики недаром над самым сочетанием слов в бороды смеются, знают, что беззаконники, и ничто легальное с ними сосуществовать не может. И меньшевики в России тоже это знают. Как бы ни был “узок их кругозор”, своих-то большевиков они знают, этого у них не отнимешь.

Грубо говоря — стоило бы подумать, не сменить ли бесплодно-благородную и непримиримую позицию на менее благородную, менее непримиримую, но более плодородную? Однако такого выбора нет. Примиримая и неблагородная равно бесплодны. Какая же выгода, — говоря современным языком?

Противоречия Е.Д.К., на которые вы указываете в вашем “ответе”, формального свойства. Они выкупаются ее волевым темпераментом. Несогласий между вами я не вижу, да, в сущности, и та область, которой вы главным образом касаетесь (фатализм или не фатализм, чьи дети большевики, самодержавия или интеллигенции и т.д.) так уже определена, что в ней мы, при небольшом внимательном усилии, все можем согласиться. А я, например, не только в вопросах, вроде происхождения <большеви-ко>, — я согласна со всеми вашими теперешними *основными положениями*, отнюдь не с “Рулевыми” — с вашими! и даже, если можно так выразиться, согласна прежде вас. (Во время оно это “согласие” отделяло меня от “Речи”¹⁵ и от ее присных вплоть до Философова.) И однако — я не вашего с Кусковой “прихода”. Потому что центр тяжести и не в формальных мелочах, и не в “основных, программных, положениях” — он, как вы скажете, — в единстве тактики, или, как мы скажем, — в единении воли. Оно превалирует по праву, ибо оно, помимо прочего, органично; и оно определяет “приход”.

Что бы я вам ни писала, — и будь я семи пядей во лбу при этом, — уверься вы бессомненно, что я республиканка и все прочее (что я и есть), ничего бы это ни изменило. Я бы так же была не с вами и не с Кусковой, как сейчас. Общность воли важнее даже общего понимания “народных интересов”.

Исследовать, откуда проистекает соединение воли вашей и Е.Д.Кусковой, можно, конечно, но бесплодно и потому неинте-

ресно. Констатирую факт, против него не думаю, чтобы вы стали возражать.

И кончаю это письмо, безмерно затянувшееся. Я его не имела времени написать сразу, поэтому вышло длинно.

Вы совсем не “обязаны” мне отвечать, Павел Николаевич. Это сознание решительно стесняло бы меня. Я сама пишу вам только пока мне это интересно. Хоть вне большевиков будем свободны.

Желаю вам много приятных надежд.

З.Гиппиус

P.S. С моей заметкой о Ремизове вышла предосадная история.

7.

8 Дек. <19>22

11 bis Av. du Col<onel>Bonnet

Paris 16e

Дорогой Павел Николаевич.

Я вам лучше дам кусочки из “Хромой Ани” (Вырубовой)¹⁸ когда ее закончу в полноте, — в связи с письмами Ал<ександры> Фед<оров>ны. Кстати вышел ее, В<ырубо>вой, дневник, — я его отчасти знала в рукописи. Мне хочется передать впечатление, которое она производит лично. А “Советского батюшку” (Введенского)¹⁹ вы все равно не напечатаете. Там неизбежно касанье к религии, а “Посл<едние> Нов<ости>” еще совсем недавно вспомнили одну старую формулу: “религия — реакция”. Этого вопроса вы позволяете касаться только Игорю Платоновичу²⁰, за его тут а-политичность.

Ну, а я считаю, что если мы начнем последовательно утверждать “а-политичность”: литературы, театра, искусства, религии, философии, науки, педагогики, экономики, наконец, и т.д. — остановиться уж трудно, — то окажется, что большевики занимают сейчас такое малое, такого малого значения, место, что как будто и говорить о них особенно нечего. Не находите ли вы такое положение несколько искусственным и не соответствующим действительности?

Не надеюсь, впрочем, вас убедить, хотя признаю вас, теоретически, одним из людей, наиболее доступных доводам разума и логики. Вообще же я пришла к заключению, наблюдая со стороны эмигрантские споры, что они — просто дело темперамента. Е.Дм., например, все равно бы не могла перманентно не “полемизировать”, даже если *б tout pouvait aller comme elle le veut*²¹. Русская интеллигенция так долго и успешно воспитывала в себе

дух протеста (насчет всех других “духов”), что органически уже не может подчинять его разуму. Оттого и не знает никаких “объединений”, кроме самых узких, партийных, — буквенных. И учиться им не хочет. Вошло в плоть и кровь, — что вы хотите! Борьба же со своим темпераментом и воспитанием требует большой воли при большой сознательности.

К сожалению, это приходится говорить о лучшей части нашей интеллигенции. О других, у кот<орых> нет ni foi ni loi, просто совсем не надо говорить, даже если они перепрыгнули через забор “политики” и объявляют себя находящимися на громадном пустыре “а-политичности”.

A bon entendeur — salut

З.Гиппиус

P.S. Ни я, ни Дм<итрий> С<ергеевич>, мы не читали, что написал о нас бедный Боря Бугаев в своих “воспоминаниях”²²; зная его, нельзя ни упрекать его, ни опровергать его, ни сердиться на него. Но вот то, что “Посл<едние> Нов<ости>”, опираясь на эти “воспоминания”, глухо перепечатают, что “ни одна строка из сочинений Мережковского ему не принадлежит” (?), это уж не только не “по дружески”, на что мы не смеем претендовать, но вообще как-то... не умею выразиться... не “традиционно”, что ли. Д.С. давно хотел вам на это посетовать, все забывал. Сейчас, узнав, что я пишу вам, просит вам эту жалобу, к которой я присоединяюсь, передать.

P.P.S. Я получила от одного англичанина письмо, где он пишет, что мое послание к Negriot перепечатано в “Times”. Нет ли у вас в редакции случайно этого номера?^{22а}

З.Гиппиус

8.

16 декабря 1922
17 Rue Leriche

Дорогая Зинаида Николаевна.

Простите за задержку ответа на Ваше письмо от 8 декабря. Очень уж меня задержали эти дни. “Хромая Аня”, конечно, очень подойдет; напечатаем с удовольствием и благодарностью. О “Советском батюшке” лучше судить Вам самой.

Демидова мы печатаем отнюдь не за его “аполитичность” в религии, и вообще я в этом грехе “аполитичности”, в котором Вы меня обвиняете, отнюдь неповинен. Доказательство — то, что меня постоянно обвиняют в обратном: в том “сектантстве”, в котором Вы сами в конце письма обвиняете “лучшую часть нашей интеллигенции”. Для меня Вы, правда, делаете любезное

исключение, допуская, что я “один из наиболее доступных доводам разума и логики”. Thank You. Не помню, где и когда “П<оследние> Н<овости>” вспомнили “старую формулу: религия — реакция”, но это как раз и доказывает отсутствие аполитичности в отношении к религии. Конечно, я лично не мог выразиться: “религия — реакция”, ибо считаю, что религия может и должна быть могучим фактором прогресса. Таковой она была в истории. Все классические образцы свободомыслия и свободных политических учреждений имеют свой источник в религиозном движении XVI—XVII столетия. Но это и показывает, *какая религия не есть “реакция”*. Зачатки *такой* религии есть и в России, и через эту стадию должно пройти всякое развивающееся народное сознание. Иначе оно замрет в азиатчине.

Прилагая этот критерий конкретно к теме Вашего “Советского батюшки”, я априори предполагаю, что в “живой церкви” есть не только элемент большевистского бюрократизма, пользующегося этой формулой для правительственных целей, — как пользовалось в свое время религией и самодержавие, — но есть и элемент действительного религиозного обновленчества, связанного с движением предыдущих годов.

Не знаю точно, *какая Ваша религия*. Когда-то Владимир Соловьев пытался связать мистицизм с прогрессом и доказывал, что религия играла и должна играть в человечестве ту роль, на которую я только что указывал. Было даже время, когда он почти примирился с “либералами” и писал совсем-совсем “либеральные” статьи в “Вестнике Европы”²³. Но ведь для Вас “либерализм” есть поверхностная “пошлость”, исключающая богосискание и богопонимание. А profession de foi Бердяева окончательно забрасывает его в лагерь Де-Местра и Тональда. Всякий последовательный реакционер так и должен поступать: осуждать “либерализм” в самом его источнике, в религиозном расколе XVI столетия, и возвращаться тем или другим путем в лоно католичества, как наиболее совершенного православия. Им в религии нужна именно religio, в латинском значении слова, церковь, как носительница и среда мистического единения с Богом, а не *вера*, субъективная, человеческая вера, низводящая откровение в человеческую душу и делающая его фактором человеческой психики.

Вот, вероятно, разница наших позиций, и Вы поймете, почему позицию, противоположную моей, я называю реакционной, — независимо даже от воли и намерений ее излагателей. Вы согласитесь также, что эта позиция не исчерпывается “старой формулой — религия — реакция”.

Простите за эту экскурсию в область, в которой я — не хозяин.

Рецензию, за которую меня бранит Дм.С., я совершенно не помню, и если бы приведенные строки попали мне на глаза прежде напечатания, то, наверное, они не увидели бы света. Мне не попался номер “Times” с Вашей статьей. Если попадется — вырежу и пришлю.

9.

21-12-<19>22

Париж

Дорогой Павел Николаевич.

Ваше письмо не только интересно, но и с некоторых сторон даже *поразительно*. И я позволяю себе дать suite нашему разговору, хотя вижу, как вы заняты: вы даже забыли подписать письмо...

То, что я назвала “а-политичностью” — есть в сущности принцип *morcellage*’а, разделение жизни на “области”, из которых каждая должна быть — “а-остальные”; независимее всякой Латвии, например. Вы с редкой страстью следовали этому принципу всегда. И в России, в Петербурге, вы сумели, все последние десятилетия, заниматься исключительно своим “хозяйством”. Даже из любопытства не бросили взгляда на соседние. Не могли ли вы мне дать относительно одного из них, — течения “религиозного” — маленькую фактическую информацию? Может быть она *теперь* вам пригодится?

Вопрос о *религии-вере* (как вы берете) давно и благополучно разрешен в “либерализме”: “религия есть приват захе”²⁴ (и это вы тоже отмечаете.) Центром же русского “религиозного” движения последних лет был вопрос — *о церкви*. Не о православной, католической или какой либо другой, и не о “культе”, — но о церкви... в ее идее, что ли. Т.е. о возможности, — (и если да, то об условиях и методах) перенесения религии из индивидуального в план общественный. Весь Вл.Соловьев, с вашего позволения, на этом строился, — почему бы ему и не писать было “либеральных” статей в “В<естнике> Е<вропы>”? Останься он в живых, он, конечно, в этой области, был бы “левым”. Ибо тут были свои, определенно, “правые” и “левые”; и даже почти совершенно совпадающие с “обыкновенными” правыми и левыми, — ведь план-то у них у всех один — общественный. (Лишь единая форма левизны выпадала: а-революционный марксизм, ибо его база, “научный материализм”, была не а-религиозна, но анти-религиозна).

И у правых, и у левых были свои опасности — русские события определили и подчеркнули их. Вопрос о “церкви” — это очень длинная и очень гибкая хворостина, на одном конце которой — Карловацкий собор и все что с ним, на другой — Распутин и все что с ним (тут же, не во гнев вам будь сказано, и всякие Введенские-батюшки, и большевики). Мы собственными глазами видим, как легко гнется эта хворостина, соединяя концы. Вы, из-за ограды вашей местности бросая рассеянный взор на “распри” Введенских с Вениаминами, (кровавые распри! а ставка — русский народ), говорите, что должны же быть известные “новшества” (где? в религии? в церкви?) для того, чтобы религия (или церковь?) “содействовала прогрессу”, и что потому, вероятно, и Введенский отчасти прав. Позвольте мне, в порядке информации, сказать вам, что линия “новшеств”, в этой области, в крайней своей точке упирается в Распутина, совершенно так же, как линия (в политике) революционная упирается в большевиков. И это даже не параллельные линии, а совпадающие. При том это линии, мною принятые и, по моему разумению, единственно-верныя. Но, идя по линии революционной, я не приму большевиков, — совершенно так же, идя по линии “новшеств” (тоже революционной), я всегда знала, что ее опасность, от которой нужно уметь сохраниться, — распутинство.

Это трудно понять, не имея в этой области взгляда изнутри и соответственного знания и опыта. Но я в моем “хозяйстве” кое-как привыкла разбираться, и вам придется мне тут верить. Что касается вопроса — имеет ли вообще серьезное значение вся эта “область”, стоит ли не специалистам в ней разбираться, — я уклоняюсь от ответа. Всякий решает, как может. Думаю только, что и любому политику придется, в будущей России, с этой стороны столкнуться; так не лучше ли знать а *quoi s'en tenir*²⁵, нежели пребывать в полемиках?

Струве, Бердяев, Булгаков, Карташев и многие-многие — все это наши “правые”, лишь вдолге, но фатально, пришедшие к правизне политической. (Карташев дезертировал из левого лагеря в правый перед войной.) Поскольку они еще не вполне “Карловацкий Собор”²⁶, постольку и не вполне с каким-нибудь “блюстителем престола”. С другой стороны есть и наши “левые”, еще не вполне с распутинством и с <ольшеви>ками, но уже подвинувшиеся к *своей* опасности. Не стоило бы говорить о кучке вчерашних интеллигентов; но я беру их для примера, в них отображается то, что смутно и довольно широко происходит в теперешней России. Я *знаю*, что большевики (наиболее умные из них) придадут этому гораздо большее значение, чем стараются показать. Сейчас в борьбе — скажем для простоты — вениами-

новцев с введенцами — первые еще неизмеримо дальше от своей опасности (Карл<овацкий> соб<ор> и т.д.), нежели вторые от своей (распутинство и б<ольшевы>ки.) Конечно, в конце концов победят первые. Но неизвестно еще, во что превратятся эти “вениаминовцы” к моменту своей победы, или они будут представлены самим себе, и борьба затянется, выкинутая из поля зрения политиков. Есть знаки, видимые для всех, что опасность не изжита. Хотя бы такая мелкая деталь, как антисемитизм. Е.Д.Кускова отмечает факт, но приступить к нему ни с какой стороны не может и вопиюще перед ним бессильна: этот цветок вырос на земле соседней усадьбы, а Е.Д.-на тоже знает лишь собственное хозяйство.

Но я кончаю. Увы, я вполне допускаю, что вы на все это можете даже и так возразить: как это, мол, я в религию, в дела “веры”, впутываю политику, перемешиваю их... и т.д. То есть, счесть любезно, что я никаких “ненужных глупостей” не говорила, и спокойно вернуться к спокойной для этих вещей полочке: “приват захе”. Заранее беру вину на себя: я не умею говорить вашим языком настолько, насколько вам это нужно.

Ограничимся, пожалуй, такими моими фактическими поправками, вызванными вашим экскурсом в чужую область: на первом плане в России стоял вопрос не о “вере”, а о “церкви”, и не в том смысле, что нужно сменить православие на католичество, или вроде что-нибудь, но вставал этот вопрос в концепции Достоевского и затем, главным образом, Вл.Соловьева, от которого уже шел дальше. Вл.С. вполне естественно стоял за “либерализм” (в то время), а я, кстати, “либерализм” простой пошлостью не считаю. И, наконец, никакие “новшества” советских батюшек не могут послужить к созданию религии (или церкви?), “содействующей прогрессу”, ибо и в этой области есть черта, (определяемая религиозно не “соглашательством” с б<ольшевы>ками), за которой кончается и религия, и вера, и церковь, а начинается распутинство, (как в политике, тоже черта, и за ней кончается политика, а есть Ленин, Троцкий, грабь награбленное и че-ка.)

Еще раз извините, и до свиданья. Все время отрывалась от этого письма для других настоятельных дел, и не знаю, сколько лишнего написала. Для краткости, действительно, нужно время.

Искренне ваша

З.Гиппиус

Так значит, вы не читали этой “нетрадиционной” статьи о Д.С. в “Посл<едних> Н<овостях>”? Я ее поищу и вам пришлю.

30 декабря 1922
17 Rue Leriche

Дорогая Зинаида Николаевна,

Все рассчитывал Вас встретить эти дни, потому и не отвечал на последнее письмо. Благодарю за справку из области Вашего “хозяйства”: конечно, она для меня очень интересна и полезна. Но вы несколько преувеличиваете мою изоляцию, “все последние десятилетия”, в моем собственном хозяйстве. Я никогда не был сторонником *morcellage*’а и с юных лет, в качестве заправского русского интеллигента, искал цельного *Weltanschauung*. Если я его не проповедовал (хотя оно и просвечивало неволью), то просто потому, что, согласно велению Шиллера, хотел сосредоточить *die höchste Kraft am kleinsten Punkt*²⁷. Но все же у меня имелся свой взгляд и на чужие “местности”, и отчасти я его выразил в прошлом письме. По отношению к Вашему взгляду я прежде всего отмечаю одну разницу: я — не в качестве религиозного человека, а в качестве историка — охватываю более широкую область явлений *веры* и *церкви*, чем Вы. Вы себя ограничиваете православием; я вижу возможность выхода за эти рамки. Конечно, эволюции *веры* и *церкви* связаны, но так как для Вас есть “религиозная черта”, положенная эволюции церкви, то Вы кладете черту и эволюции веры. Иначе, на известной стадии *веры* приходится взрывать церковь предания и понемногу превращать ее из видимой в невидимую: это и происходило в эволюции западной веры, а у нас в сектантстве. “Религиозная черта” мешает Вам переходить в “евангельское” и в “духовное христианство”; а в пределах этой черты двигаться и эволюционировать некуда. Отсюда и неполнота и, если разрешите так выразиться, некоторая поверхностность Вашей схемы. В пределах Вашей “хворостины” Вы усматриваете лишь полюсы Карловацкого собора и распутиства, оговариваясь, что это — “линии, Вами принятые” и “единственно верные”. По мне, полюсы в Вашей *религиозной* хворостине должны быть другие: традиционное бессилие религиозного творчества в православии семи вселенских соборов, или... соловьевский католицизм, как своего рода “живая церковь”, развивающаяся с историей и противопоставляющая себе рационализму протестантской веры. Больше Вам двигаться некуда. С *политической* стороны — это будут полюсы: церкви служительницы светской власти (цезарепапизма) или церкви стоящей *над* светской властью (идеал католичества).

Вот почему из *Ваших* полюсов я понимаю только один: Карловацкий собор. Другого, распутиства, я просто не понимаю.

“Линия новшества” упирается совсем не в “распутинство”, а в сектантство: в этом направлении она бесконечна, как бесконечны человеческая мысль и чувство. Распутин только случайно соприкасается с хлыстовством: это не характерно в нем. *Политически* я еще менее понимаю этот полюс: где параллель между “распутинством”, понимаемым (почему-то) как форма религиозного экстремизма, и большевизмом? Интересно бы было знать, в дополнение к Вашей фактической справке, кто эти Ваши “левые”, которые “уже подвинулись к *своей* опасности” распутинства и большевизма. *Вас* я ведь, кажется, уполномочиваю считать на *левом* фланге, а не на фланге Карловацкого собора?

Да, еще забыл. Я, конечно, всегда был против конфессионального государства и, в известном смысле, я сторонник “приват-захе” — в смысле допущения внеисповедного состояния. Но это не мешает мне не считать ни религию, ни церковь “индивидуальным” делом и понимать громадное “общественное” значение этой стороны жизни.

Ваш П. Милюков

11.

3-1-<19>23

Париж

Пришла в отчаяние и ужас, получив ваше письмо, Павел Николаевич. От себя, натурально. Каково же мое умение выражать свои мысли, рассказывать о фактах после этого! (Виноват всегда тот, кого не понимают.)

Затем я несколько смирилась. Наивно было бы ожидать от себя способности, в случайном письме, дать информацию о таком сложном течении, притом человеку, им попутно не интересовавшемуся. Кроме того, я пыталась взять его именно исторически, вполне объективно, оставляя себя в стороне. Это особенно трудно при объяснении. Вы, слава Богу, все время возвращаетесь ко мне, — слава Богу потому, что я на этом возвращении наглядно могу убедиться в бездарности моих объяснений. Хорошо, сойдем на конкретности (на меня, что ли, как пример или символ).

Так вот, значит, в том движении, — или “умонастроении”, все равно, — центральным был вопрос о *церкви как идее*. Т.е. о реальном религиозном коллективе. Т.е. о возможности (или невозможности) существования коллектива, включающего в себя все области жизни — и стоящего на религиозных предпосылках. Имеющего, что ли, религиозный пункт в программе максимум.

Попутно, конечно, делалась критическая работа относительно церковей “исторических”. (Я повторяюсь, но это необходимо).

Теперь: наши “левые”... извиняюсь, буду говорить символически “я”, или иногда “мы” в кавычках, — я утверждала, принципиально, что такой коллектив *может* быть, во-первых; что исторические церкви (и меньше других — православие) ему не отвечают, во-вторых; (очевидно, я не могу вам здесь это доказывать и обосновывать.) Что христианство само в себе, “христианство — только христианство”, как “мы” говорили, в аспекте, взятом ист<орическими> церквами, вообще не “церковно” (т.е. неспособно создать тот “коллектив”, о кот<ором> речь шла выше, и вообще христианство есть совершенное... я бы сказала “исполнение” личности, но вы это не так поймете, и я скажу, “учение” о личности, но слово не точно.) О “нецерковности” христианства я довольно много писала, полемизируя с “москвичами”, которые составляли свою группу (Булгаков, Соловьев, впоследствии Бердяев и очень многие другие.) Затем я признавала, что историч<еские> церкви *по времени* не могли быть иными, чем были, и утверждала их великое значение — ибо они пронесли сквозь века и сохранили ценности, еще не вполне раскрытые, но потенциально раскрываемые, и гибель которых была бы губительной для эволюции человечества. (Пожалуйста не поймите, что я говорю о “церковных ценностях”, как это теперь понимают большевики, их “изымая”; я говорю в смысле философском; в смысле, напр. Вейнингеровском “О последних вещах”²⁸ — построение морали на понятии “ценности”). Оговариваюсь еще, что я держусь отчасти философии Бергсона и признаю, что “la durée” не есть “Temps”; и что истинно-новое, во времени, не есть все сплошь новое, но... как это понятнее сказать? Из соединения “вчера” с “сегодня” рождается новое “завтра”, в котором есть те элементы из “вчера” и “сегодня”, которые должны остаться. Словом, есть нечто, что, изменяясь, пребывает.

Из вышесказанного, если вы сделаете опять вывод, что “я ограничиваю себя православием”, то я уж решительно отказываюсь от пера, от чернил, и от всяких рассуждений насчет этих материй. Тогда уж очевидно будет, что меня Бог обидел, и я вообще никому самой простой вещи объяснить не могу.

Наши “правые” (Карловацких соборян у нас не было: этим с нами вообще было не по пути, они всех нас, огулом, считали тогда еретиками), так вот *наши* правые утверждали, — беру в грубой схеме один главный пункт, — что возможна, в известном направлении, эволюция именно исторических церковей, и что мы вносим в понятие “церковь” (рел<игиозный> коллектив) момент *революционный*, который, мол, и вообще-то никуда не дол-

жен быть вносим. По этому поводу Евг. Трубецкой²⁹ напечатал немало статей, и я, отвечая ему, сумела пронести контрабанду этих вопросов в подвал газеты Богучарского. Итак — для церковников и православно^й церкви (да и католической), и притом не для мракобесной вовсе части ее, — “мы” были признанными еретиками, “отпавшими”... и куда? Отнюдь не в “духовное” христианство, духоборство, толстовство и т.д. Тут вы правы, но с моей позиции утверждения реального религиозно^{го} коллектива — “духовное” христианство совсем и не кажется эволюцией, а просто сдачей всех “церковных” позиций, религиозным ущерблением. “Отпавшие” от церкви православно^й в глазах церкви православно^й, — мы, однако, в собственных глазах, для себя, не считали себя от нее отпавшими... впрочем, это сложно, я хочу только перейти к сектантству, к распутиству, к тем “рамкам”, религиозно^й черте, которую вы приняли за черту “православия”.

Вы, конечно, знаете, что в религии есть область мистики. Мистика, взятая единолично, не имеющая корректива, ничем не ограничивающая себя, имеет роковую тенденцию переходить в безумие. Таков объективный факт. Мистические секты (о рациональных я не говорю) фатально кончали тем, чем они и кончали, — даже “Чемряки”, с современными адептами которой так трогательно соединились в 1909—12 году эс-деки, а с “батюшкой Щетининым”³⁰ (абсолютный Распутин, только без царей, без удачи) и с его помощником (как его?) я имела удовольствие видеться, слышать ахиною и даже писать, в связи с эс-деками, в “Русско^й Мысли”. Этого рода “выпадающие из церкви” уже несутся по мистическому морю без руля и без ветрил и обыкновенно в нем тонут. Чаще всего их глава “старец”, пройдоха и плут, а тонут вовлеченные им в это опасное море “верующие”. Для таких внешние рамки хотя бы православно^й церкви есть благодеянье и правда, ибо церковь ограничивает их, оберегает их от срыва, оставляет их при тех ценностях, о кот^{орых} я говорила и которые в существо своем истинны. Церковь (историческая) со всеми ее богатствами, с ее преданиями и т.д.) это параличный старик. Он без ног; но он прав, если удерживает ребенка, мешая ему броситься в огонь. А мы правы, если, не заставляя его насильно подняться и идти, сядем рядом, послушаем его, возьмем от него все, что ему уже не нужно, а нам очень нужно для нашего дальнейшего пути. Без компаса на этом пути ждет верная потеря. Но нужно уметь *взять* и нужно уметь *держат*ь. Распутин — тип чрезвычайно обыкновенный, обыденный. Фатальным его сделали *время* и *место*, только. Он, конечно, был не с пр^{авославно}й церковью, т.е. внутренне отпал от ее “ценнос-

тей”, а внешне он лишь “казался” неотпавшим, благодаря внешнему состоянию, ужасному, в котором тогда была эта церковь. Священник Введенский, как в зеркальном, обратном, отражении, похожий на Распутина, скупаемый безнадежным честолюбием, для которого все средства хороши, поплыл по Маркизовой луже без всякого руля. Большевицкие уста дуят в его ветрила. Нужны “новшества”. Нужны с амвона, вместо “аще и обряще” — стихи Игоря Северянина. Пожалуйте. Не все ли равно? Какие тут “ценности”, можно ни с чем не считаться. И — нужна истерика. Истерика всегда нужна (это “мистическое уловление”). Если бы вы полюбострадали послушать его проповедь на потоках кликушества или взглянуть на него в кругу “братчиц”, где он внушал им “смех и веселие, радость жизни” (это в 18-то году, как весело!) то вы бы, конечно, поняли, что это за птичка; и не в личности его дело, — он “тип”, — а в чем-то другом.

Однако, довольно об этом, да, пожалуй, и обо всем. Нужны не только религиозные, но и письменные границы. Иначе и там, и здесь только растечешься по древу. Я, во всяком случае, постаралась показать вам, что я понимаю под “распутинством” и почему оно фатально совпадает с большевизмом. И почему так легко сгибаются концы этой хворостины. Один из моих единомышленников (наш бывший “левый”) на границе “живой церкви”, но еще не сорвался. Другой, священник, бывший сподвижник Введенского, напротив, его, кажется, оставил уже. Очень трудно судить издали, но что знаю — оправдывает мои оценки. Кстати, один из наших “правых” — был П.Б.Струве³¹. Отказавшись в свое время от “приват захе”, он стал, как он говорил, “за седовласую церковь”. Пока до Карл<овацкого> Собора не дошел, но...

В моем письме есть X., который я не назвала. Это — “ценности”, хранимые и сохраненные историческими церквями. Я не назвала их оттого, что имя их одиозно и может совершенно, и сызнова, исказить для вас то, что я говорю, в лучшем случае затемнить. Я, однако, попробую сказать вам, став предварительно под твердую защиту Леруа³², что одними из главных ценностей ист<орической> церкви — я считаю христианскую догматику. Со взглядами Леруа мои абсолютно совпадают; разница между нами та, что он их, как католик, покорно взял назад (для видимости); я, как более свободный человек, назад ничего, ни ради чего, не беру. Одиозность слова “догмат” вообще происходит от неумения думать и от непонимания существа “свободы”. А также законов творчества и божественного закона “меры”.

Еще раз довольно. Простите за этот трактат.

Ваша З.Гиппиус.

P.S. Почему это вы никак не можете выйти из “цезаропапизма” или “папоцезаризма”? Значит ли это, что без папы и цезаря вам не мыслится ни церковь, ни государство? Вот в этом и все дело.

12.

26 января 1923

Дорогая Зинаида Николаевна, отыскал, наконец, Ваше письмо от 3 января, перечитал — и вижу, что в самом деле надо поставить точку в нашем — не споре, а собеседовании. Не можете же Вы, в самом деле, читать мне курс лекций, чтобы познакомить меня с своей точкой зрения, о которой я в свое время не удосужился осведомиться. И не Вы, конечно, и не Ваша манера изложения виной того, что мне и теперь, после Ваших обстоятельных объяснений, многое остается неясным. Позицию Ваших “правых” я понимаю — и понимаю, почему, с их точки зрения, вы — еретики. Они органически не могут принять Вашего тезиса, что христианство “не церковно”. Ибо без церкви как хранительницы догматов и раздавательницы благодати таинств, без церкви как посредницы между Богом и членом общины — что же христианство? И я, вместе с ними, должно быть, не понимаю Вашей “церкви как идеи”. Не понимаю и того, как, отпавши от православия в *их* смысле, Вы остаетесь в православии в *Вашем* смысле. Тут все мои “черты” и “границы” перепутываются, а классифицировать Вас я никак не могу. При переходе от “исторического” христианства к “духовному” сторонники “исполнения личности” против ее порабощения священством и церковью все-таки спасались при помощи идеи невидимой церкви от полного индивидуализма. Но Ваша церковь, кажется, видимая, реальный “коллектив”. Где же она, если не в православии и *даже* не в католицизме? Я, к сожалению, не читал Леруа, с которым Вы признаете себя солидарной. Слышал, что он был “эволюционистом” в истории догмата, и понимаю, почему он согласился на ретракцию, не желая уходить из лона единственной церкви, в которой эволюция догмата — в законном порядке, конечно, — возможна. Но *Ваша* позиция возможна только при том “параличном старике”, каким Вы рисуете (и правильно) наше православие. Старик в Риме заставил бы Вас сказать наконец громко, где Вы, в церкви или вне церкви.

Не уйти Вам от этой альтернативы и путем создания себе какой-то особенной уютной “мистической” каморки *внутри* исторической церкви, — так, чтобы сразу быть и в ней, и *над* ней. Вы, по-видимому, различаете себя от “выпадающих из церкви”

и “тонущих в мистическом море” тем, что у Вас есть “компас”, а у них нет; Вы “умеете взять и держать”, а они — не умеют. Но я не знаю, откуда у Вас этот компас, а потому не могу в конце концов судить, как далеко Вы уплыли по “мистическому морю” от исторической церкви. Думаю (простите за сопоставление): дальше Распутина и Введенского.

Я-то “могу” выйти из “цезаропапизма”, а вот православие до сих пор не смогло. “Церковь без папы и цезаря” — это эксперимент, который нам предстоит; но вот удастся ли он, когда “параличный старик” встанет с завалинки, на которой сидел тридцать лет и три года, и расправит свои члены: это мне очень хотелось бы знать теперь же, потому что, боюсь, не доживу. Не известно ли Вам что-нибудь по этому поводу?

Ваш П.Милюков.

13.

11 bis Av. du Col~~onel~~ Bonnet
Paris 16e
7 февр. <19>23

Дорогой Павел Николаевич.

Прочла ваше письмо с удовольствием. В прошлый раз была моя вина, теперь горжусь своим успехом: сумела-таки дать вам историческую информацию. Вам “неясно” именно то, что и должно было быть “неясным”. И вопросы именно те, которые должны задаваться. Ответы вас не удовлетворят, но это не важно.

Paul Claudel пишет (в частном письме): “...Достоевский искал Бога, а вы, мне кажется, находитесь в поисках церкви. Я боюсь только, нет ли тут “мистагии”, которая m'est si desagréable в славянской душе и (прибавляет!) даже во Влад. Соловьеве”³³. — Не считаете ли вы, что и Вл.Соловьев “уплыл по мистическому океану дальше Введенского и Распутина?” Если да — то ошибаетесь. А “мы” (символическое “мы”), не сходя с той же линии, лишь договариваем то, чего он договорить не успел и не мог. “Мистагогия” Распутина и Вв<еденского> дешевого свойства, и не для “нас” она опасна; но объективно, конечно, опасна...

Вы правы, римская ц<ерковь> “нас” отлучила бы, очень просто. Не потому, что мы чего-то в ее существеннейших основах, в ее догматике, не признаем (мы все признаем), а потому, что еще признаем нечто, что она, вопреки своим основам, не может и не желает воплощать. Коренной вопрос, к которому все постоянно возвращались: способна ли ист<орическая> церковь эволюционировать, допускает ли она развитие догмата? — был решен ею

почти (а нами вполне) — отрицательно. Церковь, способная на эволюцию, должна, следовательно, быть другим организмом. Но она может только выйти, родиться из первой, как дитя рождается от матери. Потому ист<орическая> церковь, церковь (в потенции даже как бы “римско-католическая”) — для нас не только — хранительница догмата и т.д. — но еще и Мать.

Пока же, на ваш справедливый вопрос: “где эта церковь, о которой речь?” я могу лишь ответить: “в будущем”. Без смущения, ибо опираюсь на ваши же слова, со стороны формальной вполне совпадающие с моими надеждами: “эксперимент ц<еркви> без папы и цезаря — это то, что нам предстоит...” Неясно, впрочем, кому — нам? России? Вы-то (символически) все-таки не мыслите никакой церкви без цезарепапизма, разве потуги Введенского под крылом сов<етской> власти, пока эти крылья еще существуют. А там “встанет параличный старик...” Уж не лучше ли бы, мол, если б сов<оветская> власть успела добить его, как хотела? При органической ненужде в церкви вообще — такие чувства понятны. Но ведь неизвестно, есть ли уже эта ненужда у русского народа и человечества? А это правда, встанет старик, сидевший в параличе с Петра I, — грозен. Большевики очень тому поспособствовали. У “нас” для борьбы с этой стороной реакции не будет никакого оружия; не станете же вы, подобно сов<етской> власти, изыскивать средства для уничтожения ц<еркви> вплоть до покровительства Введенским? Плохо и для “нас”: рождение церкви будущего очень отдалается. У нас будет, однако, нечто положительное, во имя чего можно бороться с цезаризмом, опирающимся на “Бога”. Вы не думаете, что царя свергнуть — хорошо, но еще нужно, для безопасности, и “погасить идею самодержавия в уме и сердце”? Идея не погашена, и нечего себя обманывать.

Посылаю Вам Введенского (мой единственный экземпляр). Там никаких “религиозных рассуждений” нет, это просто один из моих современных портретов, как Блок, Брюсов и другие.

Еще раз спасибо за интересное письмо.

Ваша З.Гиппиус.

[Приписка на полях:] Вашу фамилию я не по незнанию, а по убеждению не пишу как *Мильюков*.

13 июля <19>23
 Villa Evelina
 Grasse (A.M.)

Дорогой Павел Николаевич.

Теперь я вижу, что причина вашего уклона от моих дружественных изъявлений (одна из причин, конечно!) та, что я “друг опасный”, да еще и “ослеплена моей политической страстью”. Что ж, может быть вы и правы! Только вам-то ни я, ни мои политические страсти никак не опасны: на вашей стороне сила. А я безоружна — я нема. Захотите вы — и последний пистолетик вы выбьете из рук... (я выражаюсь фигурально; конечно, и намекаю на редакторские ножницы). Чего же вам меня бояться?

Со своей стороны я за это время много думала, и не могла понять, что, собственно, отделяет меня и от вас, П<авел> Н<иколаевич>, и от “П<оследних> Н<овостей>”? Все, казалось бы, мне приемлемо, ибо мое же: я и революционерка, и республиканка, и анти-монархистка и т.д. и т.д. А вот что-то отделяет, да еще как! Анти-большевизм — но ведь и вы, и “П<оследние> Н<овости>”, — анти-большевизны? Никогда бы я не поняла, если б одна маленькая фраза ваша не открыла недавно мне глаз.

“Мы, конечно, не страдаем физиологической непримиримостью” к большевикам, написали вы, полемизируя с этой несчастной Кусковой. Ну вот, эта ваша “физиологическая примиримость” и отделяет меня, да так прочно, что тут ничего не попишешь. В этом все дело. Gardez vous bien³⁴ понять меня так, что я говорю, будто физиология диктует разуму. Нет, но пока разум не прорезался до физиологии — его доводы, если хотите, “убеждения” человека, еще не срастаются с человеком, и он, всегда во времени изменяясь, может изменить им, кстати; спустить, вместе со старой шкурой, верхней. Этот-то самый антибольшевизм у вас, у “П<оследних> Н<овостей>”, у Кусковой, у Пешехонова³⁵ и т.д. — еще флоттантный, разумный — только — разумный, а у меня не менее логичный, но уже и физиологический — он-то нас и разделяет, расталкивает безнадежно, как бы не соединяли слова.

Смею сказать, что эта цельность моя, и верность, в данном пункте, соединяет меня с *настоящими* людьми в России, а ваша нецельность от России вас отделяет. Смею еще сказать (ведь это частное письмо, entre quatre yeux) что это-то, пожалуй, и мешает вам создать, до зарезу нужный всем, “центр”. Чтобы в него прыгнуть, надо, во-первых, ничего не бояться (даже монархистов, есть кого!) а во вторых иметь вот эту крепкую, цельную

точку оттолкновения, твердый, до-физиологический, антибольшевизм.

А затем — *mes excuses, cher Monsieur, et croyez moi, je vous en prie, votre admiratrice peu dangereuse*³⁶.

3. Гиппиус

16.

23—7 [19]23
Villa Evelina
Grasse (A.M.)

Дорогой Павел Николаевич.

Да на каком же основании вы мне возражаете — моими же собственными словами? Не весьма ли я отчетливо написала, что не признаю “физиологию, диктующую разуму”? Нет, уж если спор наш тайный, без свидетелей, да еще на расстоянии (т.е. осложненный временем), то нам следует самим строго блюсти его правила. Как в дуэли без секундантов. Я, со своей стороны, обязуюсь принимать ваши слова в их прямом значении и сама стараться о всей *точности* выражений, без полемических приемов.

Вы напрасно везде подозреваете “метафизику”, точно монархизм. Я говорила с вами именно в порядке фатума и логики. Но слишком ограничивать его — опасно; выйдет Ленинский “учет”. Вы не за него, конечно, ибо сами, вспоминая Прагу, говорите о вашем “пафосе”. Заметим, значит, пока, что вы признаете законность и нужность какого-то плюса к голому разуму.

И я должна повторить, оставаясь в рамках вашего письма, что разделяет нас именно различное содержание “пафоса” (точнее: некоей *совокупности* разума и воли.) Она у вас в борьбе с монархистами; у меня — с большевиками. Не входя в оценку того и другого, замечу лишь, что мой “пафос” как-то натуральнее, обращен на борьбу с реально в данный момент существующим злом, т.е. с первоочередным. Так я шла против самодержавия во время его существования. У вас, напротив, борьба с монархизмом явилась “пафосом вашей жизни” теперь, когда фактически русского монархизма нет, а будет ли — этого вам и сама бабушка русской революции не скажет. Мне, вот, и непонятно — ни моему разуму, ни ощущению — как это “полагать свою жизнь” на борьбу с не актуальным противником, с тем, у кого нет в руках того, *за что* борешься — России. К тому же я знаю, что двух “пафосов” в одно и то же время ни у кого быть не может; на то он и “пафос”, чтобы остриться в одну точку; и, поверив вам, что ваш — в борьбе с монархизмом, я уже естественно понимаю, что в борьбе с большевиками его у вас нет. Я выражаюсь

точно, сухо, коротко; говорю не о “соглашательстве”, а лишь вот это: в борьбе с большевиками у вас пафоса нет.

Если это положение обобщить, то, конечно, придется сделать некоторые выводы. Вот, хотя бы, Е.Д.Кускова. Ее непосредственность, превалирование в ней физиологии и бабья, извините, способность “ляпать” — дает порою ценные указания. Она только что, борясь с монархизмом, объявила в “Дне”³⁷: “Нет, уж лучше большевики!” Какая же возможна вера в успешную борьбу ее с большевиками, раз они для нее чего-то “лучше”? Представляете вы себе войну — с опаской, а вдруг победим? Вдруг будет “хуже”?

“Методы” — дело вторичное, зависимое и подвижное; при наличии совпадения в “пафосе” они вряд ли могут серьезно разделять. Вы указываете на различие наших “методов” борьбы — вы боитесь “бить по России”, ударяя по большевикам. Но не происходит ли эта ваша боязнь — и моя небязнь — от различной оценки положения большевиков в России? Не считаете ли вы их и Россию более слитыми органически в одно целое, нежели я? Не кажется ли вам рабоче-крестьянское советское правительство более сросшимся с Россией за шесть лет, чем романовское за триста, ударяя по которому, мы не очень боялись “бить по России”? Если да — то вот и объяснение: мне этого совсем не кажется.

Итак, от ваших двух пунктов, которыми вы определили наше разделение, ничего не осталось. Мироззрение мое, подобно вашему, резко определяет роль и разума, и физиологии, отводя тому и другой место не по количеству, а по качеству: каждому подобающее. В тактике же... я уже вам докладывала, что, моему, “с одной физиологией далеко не уйдешь”, и очень рада, что вы со мной согласны. За устранением ваших двух пунктов приходится вернуться к моему единственному: несовпадение *пафосов* (подчеркиваю, что это слово употребляю не в смысле голой физиологии, а как некую активную совокупность *разума и воли*). Что всего досаднее, что это несовпадение “первых воль” не в существе, а *во времени*. Мы с вами в таком же расстоянии друг от друга, как когда я писала прокламации для Керенского и манифест для Чернова³⁸, хотя теперь *вы* готовы бы их писать, а я ни за что бы не стала. Спрашиваю себя, что будет, если большевики падут (не с вашей помощью, очевидно) и если, не дай Бог, начнется какая-нибудь “конституционная демократия?” Если ваш пафос ляжет тогда в борьбу за возвращение “раб<оче>-крестьянской республики”, то конечно, конечно, я с вами опять не совпаду. Ибо я так никогда и не скажу: “уж лучше...” Что бы ни случилось.

Ничего такого не случится, скажете вы, ибо... для чего же “центр?” Гм... центр. Я, ведь, и центр понимаю как будто не так, как вы. Мыслью его даже не как “середину”, а скорее как “центр тяжести”, точку подвижную, но всегда находящуюся на нужном месте, — в зависимости от положения предмета... Фигуральности завели бы нас, однако, далеко. В вашем письме это, как будто, проще. Вы, как будто, говорите: “le centre — c’est moi”³⁹. О, тогда вы правы (кстати, и в метафизическом порядке.) Но вы правы и во всем другом: что вам некуда прыгать, и нечего центр этот создавать, и не случайно я лишь на периферии... Как иначе?.. Не настаиваю, однако, на моей догадке; опять говорю *точно*, что к ней ваше письмо очень располагает!

Два слова к началу: скажем откровенно, что, несмотря на “антибольшевизм” вашего лагеря, как раз мой антибольшевизм и лишает меня у вас всякой свободы слова. Как-то весной, на приглашение Винавера⁴⁰, я ответила предложением писать в “Звене”, через №, “Дневник журналиста”. Но с условием дать мне хотя бы такую свободу, какой я пользовалась в СП<етер>б<ург>ском “Дне”. Куда там! Винавер одной мысли о *моей* свободе испугался. Чем же это можно было бы объяснить, если не опасной моей “первой волей”, антибольшевизмом активным? Пишу я не хуже других, а подчас и занимательнее, с Врангелем сношений не имею и т.д. и т.д. Если б я имела сношения с Эренбургом или Есениным, или с Ив<ановым>-Разумником, это бы мне простили; особенно же приветствовали бы антибольшевизм с прохладцей, а еще лучше — полную “а-политичность”, чтобы никакого намека на “существующий строй”. Но моего-то, внутреннего, довольно известного, “строя” вы простить не можете. *Даже запаха*. И я, повторяю, безопасна. Я нема... во век, и вот один из результатов: вы принуждены читать эти мои длинные письма, для “никого”. Пеняйте на судьбу.

Пора, однако, умолкнуть. Письмо так длинно, ибо пишу урывками: каждую минуту гаснет электричество... от грозы, но мне это напоминает Совдепию.

Посылаю вам мои дружеские комплименты.

Ваша З.Гиппиус.

P.S. Неправда ли, вы теперь стали православным и одобряете разумную позицию Тихона⁴¹? Что до меня касается — я, увы, должна вернуться к коренным моим концепциям православия и признать, что параличный остается параличным, останется, м.б. и навсегда.

1 августа 1923

Дорогая Зинаида Николаевна!

Простите за промедление ответа на Ваше длинное полемическое письмо. В промежутке мне пришлось побывать в Лондоне. Вы устраняете мое определение пунктов нашего различия и настойчиво предлагаете собственное определение. Хотя теперь Вы много ближе подошли к предмету спора, но все-таки согласиться с Вами и в том, и в другом отношении мне трудно. Вы не хотите, чтобы я углублялся до Вашей “метафизики” и предлагаете говорить “в порядке разума и логики”. Вы “не признаете физиологии, диктующей разуму”. Чего бы лучше! Но кто же пустил в оборот это выражение “физиологическая непримиримость”, которое я употреблял как готовое, пришедшее ко мне из Вашего лагеря? Может быть, я обнаружил “масонскую тайну”? Как бы то ни было, если Вы от “физиологической непримиримости” отказываетесь и согласны рассуждать в порядке разума и логики, это сильно упрощает спор. Но Вы тотчас, однако, вводите в окно то, что только что выгнали в дверь. “Физиология” проходит под видом “пафоса” — “плюса к голому разуму”. Опять-таки для меня Вы соглашаетесь выразить это в терминах эмпирических: “некая совокупность разума и воли”. И опять я готов бы был согласиться, но Вы сейчас же наделяете свой пафос чертами некоего абсолюта. Пафос может быть только один, а потому, раз я заявил о своем антимонархическом пафосе, — значит, у меня нет антибольшевистского. Дальше следуют уже “некоторые выводы” из допущенного Вами и “обобщенного” положения. Очевидно, большевики “лучше”, и, очевидно, они для меня “более слиты органически” с Россией. Ну, как за Вами угнаться?

Мой антимонархический пафос не то что больше антибольшевистского. Он просто прочнее — и не только потому, что мне 64 года, и борьба моя с монархизмом началась на заре моей юности. Он прочнее потому, что эта борьба еще не кончилась. Вы можете сколько угодно верить, что монархисты — ничтожная величина и что в России будет теперь “конституционная демократия”. Вы, исходя отсюда, иронизируете над “моим” (действительно, моим) “центром”. Для меня же монархистская опасность — яснее ясного, и мой центр не потому ориентирован против нее, чтобы я думал, что даже большевики “лучше”, а потому, что большевиков я считаю временным, почти законченным эпизодом, против которого к тому же наши прежние ресурсы борьбы исчерпаны, тогда как монархическая — и именно право-монархическая — реакция для меня опасность завтрашнего дня,

который неизбежно наступит. Вы бессильно брюзжите против сегодняшнего дня, с которым все равно ничего поделать не можете, а я предпочитаю готовить день завтрашний, который все-таки отчасти зависит и от моего “центра”. Заметьте при этом, что “прокламаций для Керенского и манифеста для Чернова” я ни тогда не мог писать, когда вы писали, ни теперь не могу: считаю преступным. Но вот Вы-то, которая писала — не ко времени, ибо не видели от сего никаких последствий, — сейчас опять не ко времени готовите в молчании веревку. Не согласитесь ли Вы хотя после этого опыта признать за мной некоторое преимущество дальновзоркости? Я апеллирую впрочем не к Вашему ясновидению, а к Вашему разуму. Я хочу, чтобы он вошел несколько в большей пропорции в Ваш пафос, чем, по-моему, это есть в действительности. Вы мысленно “наострили” его на Вашу “конституционную демократию” — и лукаво спрашиваете меня, не ляжет ли тогда мой пафос в борьбу за возвращение “рабоче-крестьянской республики”. Но ведь Вы знаете, что пафос моей жизни дальше настоящей конституционной демократии не шел. Если я теперь за “республику” — если угодно, даже и за “рабоче-крестьянскую”, — только не в смысле коммунизма, — то это потому, что история ушла вперед меня, а история, — поверьте хоть Шпенглеру⁴², — никогда назад не возвращается. “Центр” мой, во всяком случае, — в этом Вы правы, — старается гарантировать Вас не от республики, а от самодержавного рецидива. Я не фаталист и не уверен, что это удастся. Но сюда направлены мои усилия задержать обратный взмах маятника. Вы, наоборот, как тянули его раньше далеко влево, так тянете теперь далеко вправо. Что же, это понятнее — и стихийнее, ближе к (осуждаемой Вами на этот раз) физиологии!

В этом и разница Вашего “антибольшевизма” от нашего. “Свободу слова” Вы, конечно, и теперь можете получить, но только в другом лагере. Почему Вам не хочется туда идти? Интеллигентская чистоплотность? Но... тут уж и я лишаю себя свободы слова. Как бы это выразиться. Вы просто не представляете себе, куда попадают политические проекции Вашей поэтической мысли. Ужасно далеко от нас. А в гиды Вы нас брать не хотите. Выходит — отсебятина, потому что ведь и политика, как поэзия и философия, — есть тоже своего рода специальность. Поймите, я не хочу вовсе Вас обидеть, но хочу только объяснить, почему, когда, например, Куприн или Бальмонт начинают непременно, во что бы то ни стало, писать политические статьи, они (или “он”) с своей отсебятиной находят гостеприимный приют в... “Русской газете”⁴³. И сами, по-видимому, не понимают, что наделали. Вы, конечно, выгодно отличаетесь от обоих регулирую-

шей ролью разума, — и поэтому я решаюсь говорить Вам то, чего не стал бы говорить им: просто было бы бесполезно.

Но вот Вам — перебросил мячик. Принимаю “дружеские”, не принимаю “комплиментов”, и, как видите из этого письма, сам их не делаю.

Ваш П.М.

17.

5 Апр<еля 19>24

Дорогой Павел Николаевич.

Я как *будто* ангажировала вас на сегодняшнее собрание писателей, пожалуйста, не считайте, что это так: я, держась ото всего в стороне, не имею данных утверждать, что вы не потеряете вечера, и не отвечаю ни за речи, ни за возможную толкотню. Жаль, что у вас нет добросовестного “фотографа”; все с “религией-реакцией”; если б нашелся один с “религией-младенчеством”, и то бы хорошо; и было бы tout comme⁴⁴.

Искренне ваша

Гиппиус.

18.

11 bis Avenue du Colonel Bonnet.

13 ноября <19>24 Paris

Дорогой Павел Николаевич.

Едва вернувшись в Париж, решаюсь напомнить вам о моем существовании. (Я, впрочем, имела это желание уже летом, но, по некоторым причинам, исполнение отложила.) Прежде всего — просьба, d'une insolence!⁴⁵ но она всегда тщетна, если я не обращаюсь “к верхам”: сделать распоряжение выслать мне “П<оследние> Н<овости>” на Париж. Приношу вам мои нижайшие извинения. (Со “Звенем”, я убедилась, и вы не поможете: вот более году, как я получаю 2 экземпляра на Grasse и ни одного на Париж!)

Затем я прошу вашего внимания еще на несколько минут.

По просьбе одного из редакторов “Совр<еменных> Зап<исок>” я, летом, написала небольшую статью; она *не о* Бердяеве, так как принципиальная, но *по поводу* одной из последних книг Бердяева. Статья эта намеренно написана “для среднего возраста” и называется “Оправдание свободы”⁴⁶. Ввиду моей всегдашней доброй воли применяться к данному положению вещей, статья, в общем, не встретила сопротивления в ред<акционной> коллегии, несмотря на мою определенную точку зрения; однако нам пришлось отложить ее до след<ующей> книж-

ки, благодаря затруднениям с главой о *социализме*. Эту главу, несмотря и на первоначальную ее мягкость, мне пришлось два раза переписывать, уже под личным наблюдением редактора; но, увы, и это оказывается недостаточно, и мне вероятно, придется сплошь выкинуть все эти страницы. Я не знаю, что из этого выйдет и как я свяжу текст, будет ли он годиться хотя бы для “младшего возраста”, — но я пойду и на это, ибо считаю самую возможность появления в “Совр<еменных> З<аписках>” *такой* статьи, все равно в каком виде, — фактом интересным. Но с другой стороны, у меня явилась мысль, которую я вам сообщаю пока совершенно лично, в виде туманного проекта: не согласились ли бы вы, чтобы я прочла эту статью, ранее выхода книжки, — в полном виде, конечно, — в вашем “Р<еспубликанско-демократическом> Об<ъединении>”⁴⁷ (Кстати, оно давно меня интересует, и я была бы рада к нему поближе присмотреться.) Вопрос о социализме вряд ли представит для вас затруднение, я касаюсь его как не “спец”, и приблизительно с той позиции, на кот<орой> стоят “П<оследние> Н<овости>” (чуть-чуть левее, м.б.) Техническое затруднение: они не отдадут мне моего текста, обещая прислать лишь корректуру с окончательными выкидками. У меня лишь куча черновиков всяких изменений, и придется поработать порядком, если вы, теоретически, найдете *que cela puisse aller*⁴⁸.

Потому я и хотела бы иметь ваш ответ заранее (книжка не выйдет ранее Рождества). Повторяю, что это лишь смутный проект, возможно, что я и сама не успею справиться, у меня сейчас масса работы.

Во всяком случае, настоятельно прошу вас верить в неизменность моих чувств к вам — и в мою досаду, что мы с вами так редко встречаемся.

З.Гиппиус.

19.

14 ноября 1924
17. Rue Leriche

Дорогая Зинаида Николаевна,

Очень рад узнать о перенесении Вашего существования в Париж и жалею только, что Вы не исполнили своего намерения напомнить мне о нем из Grass. Но причины, очевидно, были уважительные. В “Посл<едних> Нов<остях>” я сделаю распоряжение.

Что касается Вашей статьи и намерения прочесть ее в “Республиканско-демократическом объединении”. Думаю, что то, что допустимо в “Современных Записках”, не может быть недопустимо в собрании более умеренного характера, чем (официальная) позиция г. редактора. Но предлагаю Вашему вниманию следующее соображение. Если статья в самом деле “для среднего возраста”, то для большого публичного собрания она вполне уместна. Если же она все-таки написана углубленно, то, быть может, лучше прочесть ее в “Республиканско-демократическом клубе”, который должен скоро возобновить свои действия. Разница та, что, во-первых, в клубе участвуют и с.р-ы и, во-вторых, собираются (по крайней мере так было в прошлом) люди, более подготовленные.

Во всяком случае, в *принципе* я не вижу, что можно было бы возразить против прочтения и в том, и в другом собрании. Когда Ваш проект выйдет из “смутного” состояния, может быть, разрешите ближе ознакомиться с содержанием имеющего быть прочтенным текста?

Благодарю за “неизменность чувств” (с одной оговоркой: я не совсем уверен в исходном пункте их, который остается “неизменным”). “Досаду” на редкость наших встреч легко преодолеть, сделавши их более частыми.

Ваш П. Милюков.

20.

26 ноября 1924

Дорогая Зинаида Николаевна,

Вчера было заседание правления Республиканско-демократического клуба, и я сообщил о Вашем намерении прочесть доклад на тему Вашей статьи в “Современных Записках”. Мне поручили просить Вас осуществить это намерение в ближайшем будущем. Намечается <в> субботу 6 декабря. Откладывать дальше нельзя, так как вскоре после этого выступит и Вишняк⁴⁹ со своей статьей-докладом, а числа 10-го появится и книжка журнала. Итак, если с Вашей стороны не имеется препятствий, дайте сейчас же знать о Вашем согласии мне (телефон Sigur 97-06) или Познеру.

Всего доброго.

Ваш П. Милюков.

11 bis Av. du Col<onel> Bonnet
Paris 16 e
26 ноября <19>24

Дорогой Павел Николаевич.

Если так спешно требуется ответ — *я вынуждена отказаться!* Cela me fait quelque chose, по многим причинам, но я до сих пор не имею ни текста, ни корректуры даже (с выпусками). Текст мне не отдают, несмотря на мои посредственные (через Грасс, у Фонд<амин>скаго)⁵⁰ и непосредственные настояния (у “диктатора” “С<овременных> З<аписок>”, Вишняка.) Если бы через несколько дней и воследовал успех, то все же это нужно “приготовить”, разобраться в хаосе черновиков, сто раз измененных “криминальных” мест, и затем представить на ваш совет, без которого я и не желала бы ни в каком случае обойтись.

Кроме того: я в таких внутренне-дружественных отношениях с “С<овременными> З<аписками>” (через Ф<ондаминс>кого), что мне казалось необходимым поставить их в известность насчет моего выступления со статьей, посвященной Бердяеву,* — но в бесцензурном виде. Это я предполагала сделать лично, в пятницу у М<арии> Сам<ойловны>⁵¹, где, как я знаю, будете и вы, и Вишняк.

Но так как время не терпит, то ничего не поделаешь, придется отказаться. Я вхожу в эти длинные объяснения потому, что мне такой исход очень самой огорчителен: и с-ры стоят доброжелательной критики, особенно критики их нетерпимости к любой критике; и Бердяев стоит внимания: он отравляет кое-какие колодцы, только не все это видят, нужно иметь специальные очки, — и я, кажется, их имею.

Во всяком случае очень рада, что увижу вас в пятницу. Буду вас приветствовать особо за решение давать “Дневник”.

A bientôt —

З.Гиппиус

P.S. Книжка 10-го, конечно, не выйдет. А Вишняк написал свое “Оправдание равенства” именно как контр-статью моему “Оправданию свободы”.

* В тексте описка: Бунакову.

22.

1 января 1925
11 bis Av. du Col~~onel~~ Bonnel
Paris 16e

Дорогой Павел Николаевич.

Хотя вы и отнеслись к моему приглашению несколько не галантно, — в плане “третьем” (у Бердяева их, кажется, четыре всех) — это не имеет значения и не мешает моей рецидивной просьбе: если сугубо-важные дела вас не задержат, загляните к нам вечером в понедельник, 8-го янв.

Оба мы вам будем рады.

Toute á vous

З.Гиппиус

23.

2 января 1925

Дорогая

Зинаида Николаевна,

Если бы Вы знали, как я был занят к концу года, то наверное не упрекали бы меня в недостаточной галантности. Вечером в понедельник буду у Вас и постараюсь заглазить свою провинность.

Ваш П.Милюков.

С новым годом.

24.

26.3 [19]25
Paris

Дорогой Павел Николаевич.

Игорь Платонович передаст вам мой диалог “Общеизвестное”⁵². Это, действительно, экстракт многих эмигрантских разговоров (одна часть их, конечно; есть и другие части, о черносотенцах, но, хоть и любопытно, — было бы длинно.) Если найдете в мнениях “Оптимиста” несоответствующие вашим мнениям — можете выпустить (*хотелось бы знать — что?*) “Два цент...” <нужда>ются в пояснениях, но опять <...> длинно...*

С “центральной” приветом

З.Гиппиус

* Часть листа оборвана.

1 мая [19]25

Paris

Дорогой Павел Николаевич.

С.В.Познер уговаривает меня написать о “Двух Станах”. Я не прочь, но нахожу, 1) что необходимо *пропустить время*, дабы инцидент с И.П.Демидовым был основательно закрыт и 2) чтобы эта статья не имела чисто-полемического характера и даже вообще “полемического”, ибо я с некоторыми русскими течениями не “полемизирую”, а просто рассматриваю их, как явления.

Если в общем вы со мной согласны, то я буду эту статью *иметь в виду*, а напишу — в соответственное время.

Должна покаяться, что злоба всяких “Времен”⁵³ против меня доставила-таки мне свои минуты забытого удовольствия. Обычно все это я не читаю, но, теперь Ив. Ив. Манухин приносит нам аккуратно какие-то номера, и, как ни мелочен инцидент, все-таки мне было приятно и забавно почувствовать себя в прежней, привычной, атмосфере бессильных наскоков. И, по-прежнему, под “страшной тайной” — письма сочувствующих “малых сих” из враждебного лагеря, которые все боятся, что если господа узнают — “живьем съедят”...

Субъективную забаву в сторону — объективно — это дает грусть; и даже трепет “малых сих” ее увеличивает. Им и помочь никак нельзя при этом трепете. Поневолу олять приходит в голову, что разумнее в “правую” сторону просто не глядеть. Боюсь, что эти остатки должны вымереть. А количество подданных этих развратителей столь, сравнительно, мало и круг их действия столь узок, что... снова приходишь к жестокому выводу о *quantité négligeable*⁵⁴.

Впрочем, всему время и всему своя мера.

Мне говорят, что мои “Аспиранты”⁵⁵ усилили раздражение и против вас; но я этому совершенно не верю, да, наконец, не привыкли ли вы ко всему не меньше, если не больше, чем я? И я ни в чем не раскаиваюсь, хотя эта статья, увы, лишила меня личного расположения одного из моих друзей — Бунина... Верю, впрочем, что не навсегда: я, ведь, не гуманистка, как вы, а “сверхгуманистка”, и всегда верю в доброе. (Например, верю, что мой “сверхгуманизм” *вашего* расположения меня не лишит.)

Bien á vous

З.Гиппиус

Villa Alba
rue Jonquièrre (Cannet)
Cannes (A.M.)
12 Июля [19]25

Дорогой Павел Николаевич.

Черты вашего пера на моей рукописи (и почему они не красивые!) — привели меня в разум. Вы слишком избаловали меня, и это, в связи с некоторым здешним одичанием, заставило меня потерять чувство действительности. Иначе я бы угадала сама, чего писать не стоит, ибо вы это зачеркнете.

Посылаю вам заметку (вам, — пот<ому> что Иг<орь> Пл<атонович> написал, что уезжает) с *тремя* последними страницами, вместо *пяти*. Я только связала кончики между выкинутым, не вставив ни одного запрещенного слова (только фраза о “браке с метафизикой”, которую я поставила так, чтобы вы, если пожелаете, могли ее вычеркнуть без “зиянья”).

Сознаю, что вышел “дифирамб”, и думала даже, не похерить ли заметку; но я твердо обещала ее “записочникам”⁵⁶, они ждут, а у меня нет времени построить ее иначе, написать снова. И прошу вас, если мое намерение не сделать никакой gaffe удалось, наконец, — оказать снисхожденье сахарности заметки.

Иг<орь> Пл<атонович> не указывает, кому послать обещанную, и уже готовую, заметку мою “О женах” (Толстой и Достоевской)⁵⁷. Поэтому и ее я завтра пошлю вам же, в чем заранее прошу извинения. Для дальнейшего, более меня занимающего в данную минуту своими трудностями (фельетон о “Возрождении”, — мы говорили с Иг<орем> Плат<оновичем>) — жду ваших приказаний и соответственно его направлю.

Никогда так не жалела, что не имею возможности видеть вас и поговорить с вами, время от времени, лично. Д<митрий> С<ергеевич> просит вам передать его привет, а я, к привету, присоединяю и благодарность за науку.

Ваша

З.Гиппиус

25 июля <19>25
Villa Alba
rue Jonquièrre (Cannet)
Cannes (A.M.)

Дорогой Павел Николаевич.

Не получив указаний, я предположила, что и вы уехали из [Петерб] Парижа, и потому не посылала заметки о женах. Посы-

лаю ее теперь, хотя тоже как бы в пространство, ибо Иг<орь> Плат<онович> мне ничего не написал. Я не думаю, чтобы относительно “Жен” могли быть принципиальные недоразумения, хотя новая загадка опять сбила меня с толку: очень прошу вас, объясните мне, какой криминал заключался в моем абзаце о стихах “Совр<еменных> Зап<исок>”, который вы исключили уже во втором чтении (в первом вы его не вычеркнули)? Не то, чтобы я за этот абзац особенно стояла, нет, но меня просто интересует, (да и нужно мне знать) что в нем было недозволительного? Если “Жены” тоже чем-ниб<удь> грешат — усердно прошу вас дать мне знать это до 3 августа! Конечно, при условии, что вас такой знак не очень затруднит. Шлю вам мой нижайший поклон. “Разговор” о “Возрождении” пошлю тогда, когда что-нибудь выяснится или когда вернется Игорь Платонович.

Я, в точном понимании, готова служить вам в меру сил, осмеливаюсь думать, что могу вам пригодиться, но... не знаю, что вы об этом думаете...

Bien á vous

З.Гиппиус

28.

Вторник <Август 1925>

11 bis a. Colonel Bonnet

Дорогой Павел Николаевич, позвольте Вас от души поздравить с пятилетним юбилеем Вашего детища, “Последних Новостей”.

Мы оба очень сожалеем, что не смогли придти на юбилейный обед — у меня ларингит и вот уже дней 9 как я не выходил, а у З<инаиды> Н<иколаевны> бронхит и она тоже почти не выходит, а в даль отсюда и совсем не выходила.

Но, поверьте, мы оба сердцем были с Вами.

Чего Вам пожелать на юбилей? Бодрости Вам нечего желать — Вы и так бодры — и в этом Ваша огромная сила, которой я всегда завидую. А пожелаю здоровья и того, чтобы следующий юбилей отпразднован был уже в России.

Сердечно Ваш

Д.Мережковский

В моих чувствах вы, конечно, не сомневаетесь, дорогой Павел Николаевич. Желаю, вместе с вами, такой республики, о которой можно было бы сказать словами Вл.С.Соловьева: “Содержание ее — Любовь, форма — Красота, условие — Свобода”.

Всегда ваша

Гиппиус

3 Ноября [19]25
 Villa Alba
 rue Jonquièrre
 le Cannet A.M.

Дорогой Павел Николаевич.

Что вы думаете о “политике милосердия?” У Ильина 23-е правило гласит: “безжалостность”⁵⁹. Но не ваше же оно?

Допустим, что “полоротые мальцы”, “внуки”, — виновны: до сих пор еще не успели превратить свою физиологическую, “лужбочную”, непримиримость в сознательную. И вообще глупы, некультурны до такой степени, что склонны соблазняться там, где никакого рокового соблазна нет. Достойны ли они при этом снисхождения? Т.е. хотя бы “считанья” с их глупостью, некоторого осторожного внимания к их глупости, в надежде... и т.д.?

Я говорю не просто о милосердии (его все достойны) но о милосердии политическом (или тактическом), а потому ставлю предварительный вопрос: нужны эти полоротые нейтралы, или не нужны? Для себя я решаю вопрос в утвердительном смысле, а, значит, и нахожу, что снисходительности они заслуживают. Но — “тревожное сомненье закралось в грудь мою”: вдруг мы тут с вами расходимся? Вдруг я ошибаюсь, вдруг ни малейшей “политики милосердия” с ними вести не следует, вдруг они все ни к чорту не нужны?

Ибо: только что я, по своему дилетантскому рассуждению, пытаюсь перекинуть к ним мостик — вы усаживаете на это хрупкое сооружение милейшего Мих<аила> А<ндреви>ча⁵⁹ и уважаемую Е<катерину> Д<митриевну>. Их, вдвоем, мостик, очевидно, не выдерживает. И когда полоротые, — все по глупости своей, конечно, — на меня накидываются: “что вы это разводили в “П<оследних> Н<овостях>” о “левой непримиримости?” Видите теперь, все неправда?” — то я не знаю, как им ответить, ибо о глупости этой помню и признаю, что они-то соблазняются естественно.

Итак, весь вопрос в нужности или ненужности полоротых. Это решает нужность или ненужность “политики милосердия”. Не правда ли?

Я жду и прошу ваших ясных, самых ясных, указаний. Рискуя навлечь ваш гнев, признаюсь, однако: до сих пор находилась в убеждении, что полоротые, “по какому-то” (сказал бы А.Белый) — нужнее Осоргина! Я даже не понимала, на что и вам последний так нужен!

Говорю “навлечь гнев” — но это лишь une façon de parler: я давно вижу, что вы на меня просто махнули рукой, зачислили в

“лубочки” и уже не надеетесь на мое воспитание. Это правда, я тупа и традиционна; а покинутая здесь вами — я даже вздохнула, было, в последнее время, о старой моей (тоже несчастной) любви — с.р.ах... Но это между нами!

Разъяснений ваших все-таки жду. Стою — и жду, в полной неподвижности и безмолвии. *Ainsi soit-il.*

Toujours bien á vous

Z Hippus

P.S. Кстати о воспитании: я не вижу, чтоб и Ек.Дм. сделала большие успехи, — в смысле ясности и отчетливости, хотя бы...

30.

1-3 [19]26

Paris

Дорогой Павел Николаевич.

С некоторым страхом надоест, посылаю вам мою краткую “Точку”⁶⁰. Она, конечно, имеет смысл лишь как некий обзор и резюме наблюдателей со стороны, ни на что не претендующих. Впрочем, вы сами увидите и сами рассудите, насколько вам сия “точка” нужна, или вы уже поставили свою. Я намеренно не касаюсь “моральной” стороны вопроса, ибо тут все уж сказано, что можно, а, по-моему, даже больше, чем можно. “Мораль” легко превращается в болото, где чорт ломает себе обе ноги.

Что касается “Пути” (отзыва о нем) то единственно, что там интересно, это вопрос, остро поставленный Бердяевым и Лосским об отношении христианства к миру⁶¹. Но, к сожалению, он ставится *внутриконфессионально*, т.е. борьба происходит между овцами и пастырями прав<ославной> церкви, и приобретает, поэтому, характер какого-то “богословия”. Я затрудняюсь, как вывести его “в свет”; упрямство спорщиков таково, что всей моей “ловкости рук” не достаточно, боюсь, для приспособления его к газетным листам. С политической же стороны улавливать “Путь” не интересно, да и этот № не характерен. Слишком прикрито, пожалуй, и вы спрятанных концов не нашли бы. Бердяев просил у меня свиданья, которое ничего мне не дало, оставило в тех же затруднениях. Я прошу вашего совета. Так как и “Путь”, и вопросы я все-таки считаю явлением времени, показательным, свое значение имеющим, то просто пройти мимо — как-то обидно. Не знаю, какова пражская “молодежь” (подозреваю, что оболтусы) — но знаю, что здесь все мало-мальски живое льнет или косит в сторону “путейцев”, (которые все-таки, и с вашей и с моей, и с нашей общей точки зрения — подозрительны.)

Вот пока и все. Да, — в тех кругах впечатление, что я “нападаю” на пр<авославную> церковь. Это жаль, я этого совсем не желаю. Но оттого, вероятно, Иг<орь> Пл<атонович> и боится моих рецензий.

Всегда ваша

З.Гиппиус

31.

7.6[19]26.

Париж

Дорогой Павел Николаевич.

Я чрезвычайно удивлена и обижена, что вы исключили мою статью в последний момент. Если все дело в Пушкине, то, ведь, я предупреждала вас, что буду писать не о Пушкине, а, кроме того, времени было много, вы могли бы мне вернуть заметку раньше, чтобы я утилизировала ее в другом месте. Очень прошу вас, однако, и теперь не погубить ее (т.к. я не имею черновика) и прислать мне ее на *Villa Alba, rue Jonquièrre, Le Cannet* (А.М.), ибо хочу найти ей приложение в конце концов.

Пишу вам, ибо Иг<орь> Пл<атонович> ничего не знает, и я сговаривалась с вами.

Шлю вам привет.

З.Гиппиус.

32.

Villa Alba, rue Jonquièrre

Le Cannet (А.М.)

4 Июля [19]26

Дорогой Павел Николаевич.

Заметку о стихах (Н.Оцуп и др.)⁶² меня просил написать Иг<орь> Пл<атонович>, но в бытность его в Париже я сделать это не успела. Теперь вы снова вступили в свои права, “возвратился ветер на круги свои”,

И вновь, как Пушкин Николаю,
(*Toutes proportions, bien sur, gardees*)
Мои творенья посылаю
На строгий суд главе Р.Д.
("О" — ради рифмы опускается;
И только подразумевается.)
Засим — поклон, А.С. — привет
От Д.С.М. и

*Hippius Z.*⁶³

P.S. Я написала о вас хвалебную статью в Варш<авской> газете.

19-2-30

11 bis av. du Colonel Bonnet

Paris 16 e

Дорогой Павел Николаевич.

Друзья передали мне ваше замечание насчет “преждевременности” вашего “примирения” со мной. Я спешу сказать, что вы, может быть, правы, но это требует пояснения.

Прежде всего: “примирение” надо понимать, как ваше со мною, только; ибо я с вами не “ссорилась” и в отношении к вам осталась неизменной. Правда, я держусь того убеждения, что всякий из нас свободен в критике; поэтому никогда не чувствую себя в “ссоре” с тем, кто критикует меня, ни с тем, чью позицию критикую я, — если, конечно, тут нет какого-нибудь коренного, окончательного разногласия, — по существу. Даже в тех случаях, когда полемика против меня несколько шаржирована, — и это еще не причина, с моей стороны, чувствовать себя “в ссоре”. В полемике так легко увлечься! Если я редко увлекаюсь, то потому, что всегда допускаю мысль, что, критикуя чью-нибудь позицию, могу и ошибаться...

Но так как вы говорите о “примирении”, то, очевидно, вы держитесь несколько другого взгляда. И если даже, имея в виду мою “критику” вашей позиции 2,5 года тому назад, вы находите ваше “примирение” преждевременным, то тем более вы, *с вашей точки зрения*, окажетесь правы, узнав, что есть еще и другая, позднейшая (не по времени, а по времени опубликования). Я говорю о “Синей Книге”⁶⁴, которую вы, вероятно, не читали, но которая существует: значит, умолчать о ней я никак не могу. Вы это поймете, не правда ли?

Хочу надеяться, что времена для всех таких критических ссор изживаются, в конце концов, и поссорившиеся примиряются; вот только на себя надеяться не могу, в том смысле, что не буду при физической возможности говорить то, что думаю, или говорить там, где, по-моему, нельзя ничего говорить. Можно ошибаться, но лучше совсем молчать (что я делаю), чем не исправить ошибку.

Я слышала, что вы обратили ваше внимание на начало религиозного движения в девятисотых годах и имеете даже “Новый путь”! Так как я очень близко стояла к интеллигентско-церковным собраниям 1901 г., то я хорошо знаю, что по отчетам, напечатанным в “Нов<ом> п<ути>”, почти невозможно составить себе понятие ни об этих собраниях, ни вообще о движении. Тем менее о лицах, которые в нем принимали участие. Роль Розанова

была там далеко не центральной, между прочим; напротив, выразителем главной идеи (одной, на всем протяжении собраний) был Тернавцев⁶⁵. Двойная цензура того времени (духовная и светская) достаточно исказила доступные материалы. Если бы я могла вам дать какие-нибудь полезные сведения, относящиеся к данной эпохе, я была бы очень рада. В настоящее время, здесь, очень мало осталось, кажется, свидетелей и участников этого начального движения в церкви и столкновения, — первого, — ее с интеллигенцией.

Затем прошу вас, дорогой Павел Николаевич, верить искренности всего здесь написанного и неизменности моих всегдашних чувств.

3. Гиппиус

¹ “Слово” — еженедельная парижская газета, выходившая с 26 июня 1922 по 19 февраля 1923 г. под редакцией С.Ф.Штерна, затем А.Анина. Полемика с Е.Д.Кусковой, в которой Гиппиус предполагала участвовать на страницах газеты “Слово”, была связана с проблемой отношения к советской России и большевикам, которых Гиппиус категорически не принимала. Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958), публицист, общественный деятель; в 1905 г. была избрана членом ЦК партии кадетов, но отказалась войти в партию; была редактором и постоянным сотрудником еженедельника “Без заглавия”, где в 1906 г. опубликовала программную статью “Ответ на вопрос — кто мы?”, в которой выступала за блок всех левых сил России. В годы гражданской войны была противником любой диктатуры — и большевиков, и белых, стремилась создать “третью силу”. Входила в руководство “Лиги спасения детей”, была членом Совета Политического Красного Креста. В 1922 г. вместе с мужем, С.Н.Прокоповичем, была отправлена в ссылку на север, затем выслана за границу. В эмиграции много печаталась, вместе с Милюковым вела переговоры о создании Республиканско-демократического центра; много сделала для организации общества помощи голодающим в России (Помгол), призывая “засыпать ров гражданской войны”. Была противником планов военных интервенций в Россию.

В августе 1922 г. Кускова прочла доклад “Разногласия в русском вопросе” (опубл. в газ. “Руль”). Именно ответом на этот доклад была статья “Вопросы из публики. Письмо в редакцию”, которую Гиппиус хотела опубликовать в газете “Слово” и которая затем (см. переписку Гиппиус и Милюкова ниже) появилась в газете “Руль”, 1922, 10 сентября. Е.Д.Кускова в 1920-е годы публиковала многочисленные статьи о проблемах России и эмиграции: “А что внутри?” — “Воля России”, 1922, №№ 6, 7; “Пестрые картинки” — “Современные записки”, 1922, № 12; “Русский голод” — там же, 1924, № 22; ““Мы” и “они”. Обыденное” (...). — “На чужой стороне”, 1924, № 8, и др. Гиппиус была одним из самых яростных противников Кусковой и ее идей примирения и помощи советской России (см. газ. “Последние новости”, 7 марта 1926 и др.)

² Тимашев Н. С. (1886–1970) — историк, профессор, председатель Отделения общественных наук в Русском народном университете в Праге (с 1923 г.), член Ученого совета Русского научного института в Берлине (создан в 1923 г.), автор работ о социальном устройстве и экономике Советской России и СССР (“Крестьянство и Советы” — “Современные записки”, 1928, т. 34; “Проблемы независимого суда” — Там же, 1926, т. 27; “Церковь и советское государство” — “Путь”, 1928, № 10 и др.). По своим общественно-политическим взглядам был близок к “примиренческой” позиции Е. Д. Кусковой. Очерк о нем см. в кн. Н. П. Полторацкого “Россия и реолюция. Русская религиозно-философская и национально-политическая мысль XX в.” Tenaflly, 1988.

³ Предложение написать о Есенине Гиппиус получила не случайно. Она писала о нем еще в 1915 г. — “Земля и камень” — “Голос жизни”, 1915, № 17. С. 12. 6 июля 1922 г. в газете “Последние новости” она опубликовала статью “Лундберг, Антонин, Есенин” (подпись Антон Крайний), где о Есенине говорилось в недоброжелательно-пренебрежительных тонах. Позже, после смерти Есенина, она написала очерк “Судьба Есениных” — “Последние новости”, 1926, 28 января, № 1772, где о поэте говорилось с большой долей сочувствия как о жертве. Судьба его, по мнению Гиппиус, пример того, чем грозит “безмерность, безволие и безответственность”, нежелание защищаться от “соблазна самопотери” — в условиях большевизма. В заключение статьи Гиппиус предлагает по-человечески пожалеть поэта — “он не напрасно умер”. В это же время, в письме от 1 апреля 1926 г., Гиппиус высоко оценивает статью о Есенине В. Ф. Ходасевича: “Ваш “Есенин” очень хорош” (З. Н. Гиппиус. Письма к Н. Н. Берберовой и В. Ф. Ходасевичу. Ardis/Ann Arbor. 1978. С. 42).

⁴ Недоступно моему пониманию — (франц.)

⁵ Манифесты Кирилловы — возможно, речь идет о великом князе Кирилле Владимировиче, двоюродном брате Николая II, одном из претендентов на Российский престол. В 1924 г. в Кобурге (Германия) он провозгласил себя императором Всероссийским.

⁶ Познер Соломон Владимирович (1880–1946) — журналист, общественный деятель, историк.

⁷ Гессен Иосиф Владимирович (1866–1943) — один из лидеров партии кадетов, адвокат, публицист. Один из основателей и редакторов ежедневной газеты “Руль” (1920–1931). С 1921 по 1937 г. издавал “Архив русской революции”.

⁸ О разногласиях Милюкова и Кусковой см. в публикации М. Г. Вандалковской “В Вас я верю, но иногда Вам не верю...” Письма П. Н. Милюкова Е. Д. Кусковой. 1922–1936 гг. — “Исторический архив”, 2000, № 6. С. 142–157; 2001, № 1. С. 64–92.

⁹ Отношение Гиппиус к Борису Викторовичу Савинкову (1879–1925), эсеру, террористу, писателю, которого она в начале его творческого пути опекала, редактировала его книги и называла своим учеником, менялось на протяжении 1920-х гг. Высшая восторженная оценка его личности и поведения относится к июлю-августу 1917 г, времени т. н. “Корниловского” мятежа. Охлаждение начинается в Варшаве после эмиграции, в 1922–1925 гг. Гиппиус не может простить Савинкову “заигрывания” с больше-

виками и Советами, а неумением правильно оценить коварство большевиков и ЧК объясняет гибель Савинкова в 1925 г. в застенках ЧК.

¹⁰ Заметка Гиппиус о Ремизове — возможно, рецензия “А. Ремизов. Николины притчи”, которая была опубликована в “Современных записках”, 1924, № 22 за подписью А. Крайний.

¹¹ Речь идет о письмах из России, которые Гиппиус регулярно получала и частично публиковала в эмигрантской печати. Сестра — Гиппиус Татьяна Николаева (1877—1957), живописец и график. О судьбе оставшихся в России сестер Татьяны и Натальи см. в воспоминаниях Б. Филиппова “Всплывшее в памяти” — “Новый журнал”, т. 171. С. 251—258, а также в статье “Воспоминания о сестрах Гиппиус” Сергея Мантейфеля — альм. “Чело”, Новгород, 2000. № 1 (17). С. 38—47.

¹² Брешковская (Брешко-Брешковская) Екатерина Константиновна (1844—1934) — революционерка, одна из организаторов и лидеров партии эсеров; имела огромный авторитет в кругах революционеров и прозвище “бабушка русской революции”; многие года провела в тюрьмах и ссылках. В 1919 г. эмигрировала. Сотрудничала в газете Керенского “Дни”. О белом движении и генерале Корнилове писала в статьях и книге “Россия на переломе”. 1927. В июле-августе 1917 г. Брешковская должна была войти в правительство, которое предполагалось в России после введения военного положения и состав которого определяли глава Временного правительства Керенский, управляющий военным министерством Б. В. Савинков и верховный главнокомандующий генерал Л. Г. Корнилов. В последний момент Керенский, не доверявший Корнилову и Савинкову, отказался от введения военного положения, генерал Корнилов был объявлен мятежником и смещен с поста главнокомандующего. Брешковскую, судя по записи в дневнике Гиппиус от 12 августа 1917 г., Савинков должен был встретить на вокзале с извинениями в связи с неудавшимся переворотом. В дальнейшем, после Октябрьской революции, Корнилов сформировал и возглавил Добровольческую армию, в феврале 1918 года выступил с нею в 1-й Кубанский поход и погиб при штурме Екатеринодара. Милюков был не согласен с Брешковской в оценке белого движения, считал его бесперспективным, о чем неоднократно писала газета “Последние новости”.

¹³ Статья Гиппиус в газете “Руль” — возражение Е. Д. Кусковой, которое ей не удалось напечатать в газете “Слово”. Статья ее о Ландау появилась в газете “Общее дело”, 1922, 13 января. С. 2—3 и явилась откликом на статью философа и публициста Григория Адольфовича Ландау “Происхождение смуты”, опубликованную в газ. “Руль”, где Ландау утверждал: “Все, принимающие Февральскую революцию, должны также принимать и торжество большевиков”.

¹⁴ Утверждения-лозунги Е. Д. Кусковой — “Большевики — наши дети” и “Октябрьская революция — национальна” — вызвали оживленную полемику. В газете “Последние новости” 17 сентября 1922 г. ей возражал Милюков: Кускова хочет действовать на сознание русского читателя посредством шокинга, построенные ею логические парадоксы: большевики — дети русской истории, мы — дети русской истории, следовательно —

большевики наши дети — не убедительны. “Я не хочу быть папой Коллонтайши!” — заявляет Милюков.

¹⁵ Гласберг (или Глазберг) — петербургский знакомый Мережковских, в доме которого на Васильевском острове в октябре 1917 г., накануне Октябрьской революции, происходило совещание представителей различных кружков интеллигенции, описанное Гиппиус в ее статье “Вопросы из публики” и ранее — в дневнике 1917 г. (см. З.Н.Гиппиус, Синяя книга, — Дневники, т.1. М., 1999. С. 577–579). Речи Кусковой на совещании и после него (“в автомобиле”) произвели на Гиппиус впечатление чрезмерно длинных и сентиментальных, в частности, в изображении доброты русских солдат в Петербурге накануне большевистского переворота. Гиппиус была не согласна с мнением Кусковой, что интеллигенция не должна бороться с большевиками, т.к. это дело армии, “а “наше” дело, значит, работать внутри, говорить на митингах, убеждать, вразумлять, потихоньку, полегоньку свою линию гнуть, брошюрки писать...” (С. 578). Гиппиус не согласна с оценкой ситуации и с призывом сохранять пассивную позицию: “Завтра эти “солдатики” в нас из пушек запалят, мы по углам попрячемся, а она — митинги? Я не слепая, я знаю, что от этих пушек никакие манифесты интеллигентские не спасут, но чувство чести обязывает нас вовремя поднять голос, чтобы знали, на стороне каких мы пушек, когда они будут стрелять друг в друга” (С. 578). Е.Д.Кускова, по мнению Гиппиус, тогда выражала безвольную позицию Временного правительства, Гиппиус же была на стороне Б.В.Савинкова и генерала Л.Г.Корнилова, сделавших попытку активно противостоять большевикам.

¹⁶ Цузамменbruchнеры — разрушители, от нем. die Zusammenbruch — крушение, катастрофа.

¹⁷ “Речь” — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, издаваемая кадетской партией в Петербурге в 1906–1917 гг.

¹⁸ “Кусочки” из “Хромой Ани” были напечатаны в журнале “Современные записки”, 1923, № 17. С. 206–248 под загл. “Маленький Анин домик”. В переводе на франц. — “La Maisonnette d An’a” — “Mercure de France”, 1923, CLXY. P. 611–662. Мемуарный очерк вошел в кн. “Живые лица”, Прага, изд. “Пламя”, 1925, т. 1. Воспоминания Анны Александровны Вырубовой (псевд. Танеева А.А.) — “Страницы моей жизни” — “Русская летопись”, Париж, 1922, № 4.

¹⁹ “Советский батюшка (А.Введенский)” — мемуарный очерк Гиппиус, был напечатан в газете “Последние новости”, 1923, 1–18 февраля, № 869 и 11–20 февраля, № 870. Речь идет о студенте с Васильевского острова А.Введенском, который появился в петербургских религиозно-философских кругах в 1908–1909 гг. и, пользуясь тем, что его путали с известным профессором Алекс.Ив. Введенским, начал делать карьеру религиозного проповедника. После Октябрьской революции, в годы террора и расправ с выдающимися деятелями церкви, Введенский призывал своих прихожан и прихожанок (“братчиц”) к веселью и радости, украшал свои проповеди стихами Игоря Северянина, что, по мнению Гиппиус, было “новым распутиством”. “Советскому батюшке” она противопоставляла высокий пример митрополита Вениамина, убитого большевиками, против которого А.Введенский “показывал” на суде. “Была народная молит-

венная тишина в митрополите Вениамине. И не было ее в священнике Введенском”, — писала Гиппиус.

²⁰ Игорь Платонович — Демидов (1873—1946), член партии кадетов, активный помощник Милюкова в газете “Последние новости”.

²¹ Все стали бы поступать как она хочет. (франц.)

²² Воспоминания Андрея Белого в начале 1920-х годов печатались в журнале “Эпопея”, издаваемом им в Берлине с апреля 1922 по июнь 1923 г., под загл “Воспоминания о Блоке” (NN 1—4). Отношение Белого к Мережковскому было неровным, от почтительного и уважительного до ернически-насмешливого. Этот оттенок сохранился и в поздних воспоминаниях, — в частности, в главе “Мережковские” книги “Начало века”, где Белый объявляет сочинения и идеи Мережковского плодом коллективного творчества “общины”, “кооперации”: “А в гостинной Антон, Дима, Зина “запрели” над темою спешно заказанной ему статьи; <...> Дима, Антон, Зина, Тата ему подадут, точно мед, за него продуманный материал; отведав его, свистнет, уйдет, а с утра — застрочит фельетон, где сбор книжный мыслей у Гиппиус, у Философова, у Карташова: невиннейше выступит; “община”, кооперация, или — поставка сырья <...>” (А. Белый. Начало века. М., Худ. лит., 1990. С. 465.).

^{22a} Herriot Eduard (1873—1957) — мэр г. Лион, посетивший Россию в 1922 г. и приветствовавший большевиков, о чем написал в газете “Известия”. Возмущенное письмо Гиппиус к Херриоту — газ. “Gaulois”, Париж, 29 ноября 1922 г.; цитаты из него — Dupod by the Soviet. M. Herriot in the Bolshevist Trap. // The Times. London. 30 November 1922. P. 11.

²³ Статьи Владимира Соловьева в “Вестнике Европы” печатались в 1890-е гг. в лагерь Де Местра и Тональда — в лагерь реакции. Де Местр Жозеф (1753—1821) — французский философ и писатель, враг Великой французской революции, ярый клерикал. Profession de fua (франц.) — кредо.

²⁴ Morcellage (франц.) — разделение. Приват захе — частное дело (от немецк. die privat Sache).

²⁵ Как к этому отнестись. (франц.)

²⁶ Карловацкий собор — русский заграничный церковный собор в Сремских Карловцах 8/21 ноября — 19 ноября/2 декабря 1921 г., принявший послание к “чадам Русской Православной церкви, в рассеянии и изгнании сущим”. На этом Соборе было избрано Высшее Церковное Управление за границей во главе с митрополитом Антонием (Храповицким). В России этот Собор не был признан, 22 апреля/5 мая 1922 г. был издан Указ патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета об упразднении Карловацкого Высшего Церковного Управления.

²⁷ Die Weltanschauung (немецк.) — мировоззрение. Die höchste Kraft am kleinsten Punkt (немецк) — высочайшую силу в мельчайшей точке.

²⁸ Вейнингер Отто (1880—1903) = австрийский философ. О его теориях Гиппиус писала в статьях “Зверобог” // “Образование”, 1908, № 8. С. 19—27; “О любви” (1. “Любовь и мысль”, 11. “Любовь и красота”) // “Последние новости”, 1925, 18 июня, № 1579, 25 июня, № 1585; 2 июля, № 1591.

Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ, автор теории интуитивизма и оригинальной концепции времени. Одной из работ филосо-

фа — “Два источника нравственности и религии” — 19 января 1933 г. было посвящено заседание общества “Зеленая лампа”. *La durée (франц.)* — продолжительность.

²⁹ Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) — философ, правовед, профессор Московского университета, публицист, общественный деятель. Один из основателей партии кадетов. Сторонник идеи “православного Возрождения” 1900-х гг. О статьях Евг. Трубецкого в “Русской мысли” Гиппиус писала на страницах журн. “Голос жизни”, 1915, № 3. С. 5–6. В дневнике Гиппиус характеризует Трубецкого как “честного церковника” (Гиппиус. Дневники. Т. 1. М., 1999. С.489).

Богучарский В. (Базилевский-Богучарский, наст. фам. Яковлев Василий Яковлевич, 1861–1915) — историк, издатель, в том числе издатель-редактор журнала “Былое”. В дневниках Гиппиус содержится очень высокая оценка человеческих и гражданских качеств Богучарского: “Богучарский — удивительно хороший человек. Он — “приемлющий” войну, он один из тех, кто рвался “делать”, помогать России, сжав зубы, *несмотря* на правительство и... деланию этому все время правительство мешало. Ведь даже стариннейшее Вольно-экономическое о<бщест>во закрыли!” (28 апреля 1915 г., Дневники, Т.1. М., 1999. С. 396). По определению Гиппиус, Богучарский принадлежал к той группе интеллигенции, которая, являясь “левой”, “радикальной”, ни к революционерам, ни к кадетам не пристала, а может быть отнесена к “поправевшим социал-демократам”. (Там же. С.399).

³⁰ “Чемряки” — религиозная секта “Ответвления Старого Израиля”, созданная старцем А.Г.Щетининым. В “Русской мысли” Гиппиус активно сотрудничала с 1894 г., см. об этом в настоящем издании, с. 358–382, в статье М.Паолини “Критическая проза З.Н.Гиппиус 1899–1917 гг.”

³¹ Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — философ, экономист, историк, публицист; в 1890-е гг. теоретик “легального марксизма”, член РСДРП и автор манифеста этой партии, затем член партии кадетов и член ее ЦК. Редактор и руководитель журналов “Освобождение”, “Русская мысль”, участник и инициатор сборников “Вехи”, “Из глубины”. Один из идеологов Белого движения. В эмиграции издавал журнал “Русская мысль” и газету “Возрождение”.

³² Леруа Олав — католический священник и философ.

³³ Paul Claudel — Клодель Поль (1868–1955), французский поэт. Мистагогия — мистическая сила. *M'est si désagréable (франц.)* — мне так неприятна.

³⁴ Сохрани вас бог (франц.).

³⁵ Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) — общественный деятель, публицист, один из организаторов и лидеров партии народных социалистов, министр продовольствия Временного правительства. 5(18) января 1918 г. был избран председателем Учредительного собрания. С 1920 г. в эмиграции. Флоттантный — *от франц. flottant* — неустойчивый, неуверенный. *Entre quatre yeux (франц.)* — между нами.

³⁶ Мои извинения, дорогой меcье, и верьте мне, я вас прошу, ваша поклонница мало опасна (франц.).

³⁷ Гиппиус имеет в виду газету “Дни”, выходявшую с 29 октября 1922 г. в Берлине, затем в Париже под ред. А.Ф.Керенского.

³⁸ “Прокламации” для А.Ф.Керенского Гиппиус писала в период наибольшей их духовной близости и ее веры в его историческую роль для России — в 1915-начале 1917 гг. Адвокат Керенский был тогда представителем Трудовой группы в Государственной думе, защищал идею революционного оборончества в Мировой войне, считая, что поражение России приведет ее к эконмической гибели, отстаивал тезис о спасительности революции для государства и боролся за объединение всех живых, творческих сил страны во имя революции. Возглавив Временное правительство, был одним из инициаторов создания коалиционного кабинета, объединяющего левые демократические силы, включая кадетов. Об одном из эпизодов, когда Гиппиус участвовала в создании коллективной “записки” по вопросу о необходимости революционного воздействия на царское правительство во время войны, она рассказывала в дневнике за май 1915 г: “Помню, как твердокаменный Ник. Дим. Соколов завел длинную шарманку о ... федерализме. Дмитрий о самодержавии (не в практических тонах), Карташев свое, Керенский, конечно, свое и верное, но сбивчиво, и только бегал из угла в угол, закуривал и бросал папироску, загорался и гас. М. поручено было составить записку по существу вопроса, я взялась помогать <...>. Записку мы, однако, написали. В очень осторожных тонах, не помню ее точно, помню лишь, что там говорилось о некоторых допустимых и при войне действиях на правительство, но революционного порядка, в виду того, что положение ухудшается, что если даже во время войны не будет никаких неорганизованных, стихийных внутренних вспышек, — а они возможны, — то после войны пожар неизбежен, а чтобы он не был стихийным, — об организованном деле надо думать теперь же. Уже с этого момента”. (Дневники. Т. I. С.400).

Взгляды Керенского и Гиппиус совпадали по ряду вопросов, в частности по вопросу о необходимости заключения мира с Германией в марте 1917 г. Категорически расходились они с Милюковым, заявившим в этот момент корреспондентам, что России нужны проливы и Константинополь. Гиппиус и Мережковский консультировали Керенского при составлении “правительственной декларации” марта 1917 г. “К сожалению, Дмитрий <Серг. Мережковский> вернулся от Керенского какой-то растерянный и растрепанный, и без толку, путем ничего не рассказал. Говорит, что Керенский в смятении, с умом за разумом, согласен, что правительственная декларация необходима. Однако не согласен с манифестом 14 марта, ибо там есть предавание западной демократии. (Там есть кое-что похуже, но кто мешает взять только хорошее?) Что декларация пр<авительств>вом теперь вырабатывается <...> Нет покоя, все думаю, какая возможна бы мудрая, новая, крепкая и достойная декларация пр<авительств>ва о войне, обезоруживающая всякие Советы — и честная. Возможна?” (Там же. С. 504–505). Реально написанная декларация правительства не удовлетворила Гиппиус своей “хлипкостью, “безвластностью” и “жалким оборончеством”. Она полагала, что должны быть жестко высказаны требования условий мира с Германией, проявлена реальная забота об армии, об установлении там “твердых линий свобод”, в пределах

которых “сохраняется сила армий как сила”. В последний раз Гиппиус и ее ближайшее окружение пытались повлиять на Керенского летом 1917 года, когда положение на фронтах ухудшалось с каждым днем — немцы взяли Ригу, русская армия отошла на линию Чудское озеро — Псков. Керенскому было написано программное письмо — “Можно бы, конечно, покороче и посильнее, если подольше думать, — но ладно и так. Сказано, что нужно. Все те же настоятельные предложения или “властвовать или передать фактическую власть “более способным”, вроде Савинкова, а самому быть “надпартийным” президентом российской республики (т.е. необходимым “символом”). Подписались все. Запечатали моей печатью, и Л. унес письмо”. (Там же. С. 545—546). По свидетельству Д. В. Философова, Керенский 23 августа 1917 г. лично пришел в дом Мережковских поблагодарить их за письмо. К этому времени Гиппиус относится к Керенскому уже весьма критически, не может простить ему колебаний и неумения твердо держать власть в руках. “Керенский — вагон, сошедший с рельс. Вихляется, качается болезненно и — без красоты малейшей. Он близок к концу, и самое горькое, если конец будет без достоинства. Я его любила прежним (и не отрекаюсь), я понимаю его трудное положение, и помню, как он в первые дни свободы “клялся” перед Советами быть всегда “демократией”, как он одним взмахом пера “навсегда” уничтожил смертную казнь...” (Там же. С. 536).

Манифест для Чернова Гиппиус писала 1—2 января 1918 г. Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей партии эсеров, в 1917 г. министр земледелия Временного правительства. 5 (18) января 1918 г. избран председателем Учредительного собрания. В дневнике Гиппиус от 1—2 января записано: “Теперь, однако, пора здесь сказать кое-что с ясностью. Спросить себя (и ответить), почему я помогаю эсерам? Почему сижу до 8 ч утра над их “манифестами” для Учредительного Собрания, над их “нотами”, “прокламациями” и т.д.? Илюша <Фондаминский> приходит, как Никодим, поздно ночью, уже с заднего крыльца. Приносит свою отчаянную демагогию и вранье (в суконных словах), а я все, это же самое, пишу сызнова, придаю, трудясь, живую форму. Зачем я это делаю?” (Дневники. Т. 2. С. 34). Далее Гиппиус отвечает на этот вопрос: в настоящее время главным является лозунг “Вся власть Учредительному собранию!” и отстранение от власти большевистских Советов. Она не верит в реальную возможность этого, т.к. большевики основательно подорвали доверие народа к эсерам и самой идее Учредительного собрания. Она не верит и в Чернова, который “мало чем лучше Ленина”. Но в настоящий момент главная задача — свалить большевиков, и только у эсеров есть один процент возможности успеха, хотя все их поведение с апреля по ноябрь 1917 г. она считает преступным. 4 января 1918 г. Гиппиус дорабатывает текст манифеста: “Кое-где прибавить, кое-где убавить, кое-что иначе сказать... Будет ли еще у них большинство? Эсдеков почти нет. Кадеты перестрелованы”. <...> Никакой победы над большевиками завтра не будет же. Но если бы хоть надлом?... <...> Душа в тисках. Сжата болью, все нарастающей. Господи!.. и нет слов. <...> Не хочу я больше писать. Не могу я больше ничего сказать. И знать-то дальше я уже ничего почти не желаю.” (Там же. С. 39). 5 января Учредительное собрание от-

крылось, эсеры провели в председатели Чернова, вскоре должен был быть прочитан написанный Гиппиус манифест: “У<кредительное> С<обращение>”, открывшись сего числа и т.д., объявляет, что приняло всю власть в свои руки. У<кредительное> С<обращение> постановило: О мире... О земле... О воле... и повелевает...” До сих пор никакого “вижелянья” не заметно. Этот “мой” манифест написан так, что его не допускает”.

Разгон Учредительного Собрания Гиппиус восприняла как крушение всех своих надежд на революцию. “Ее манифест” зачитан не был.

³⁹ “Центр — это я” (франц.). Гиппиус подразумевает известную формулу абсолютизма, фразу Людовика ХIУ “Государство — это я”.

⁴⁰ Винавер Максим Моисеевич (1863—1926) — журналист, издатель, общественный деятель; кадет, член Государственной Думы. В эмиграции издавал газету “Еврейская трибуна” на трех языках, литературное приложение к газете “Последние новости” — “Звено”, воспоминания, сборники статей.

“Дневник журналиста” Гиппиус публиковала в 1914 г. в с.петербургской газете “День” (см. с. 375 наст. изд), изд. с 1912 по 1918 г. В газете “Звено” в 1923 г. были опубликованы три стихотворения Гиппиус и ее рассказ “Пестрый платочек”. Позже она публиковала здесь литературно-критические обзоры, а в 1926—1927 гг. две статьи на смерть Винавера: “Его вчерашняя слава (М.М.Винавер)” — 31 октября 1926, № 196 и “О свободе (Речь на собрании памяти М.М.Винавера 17 декабря 1926 г.)” — 9 января 1927 г., № 206.

⁴¹ Тихон (Белавин Василий Иванович, 1865—1925) — патриарх; 19 января 1918 г. обратился к верующим с посланием, в котором предавал анафеме “творящих кровавые расправы” как извергов рода человеческого. В 1920-е гг. отношения патриарха Тихона с советской властью были сложными. См. об этом: Демидов И.П. “Патриарх Тихон и советская власть”. // “Современные записки”, 1922, № 11. Тихон был решительным противником большевистских репрессий по отношению к церкви, изъятия церковных ценностей, расправ с церковнослужителями. Не принимал он и т.н. “обновленцев” церкви, поддерживающих и прославляющих власть большевиков. В мае 1922 г. Тихон был заключен под домашний арест в Донском монастыре. В мае 1923 г. 2-й Всероссийский Поместный Собор лишил Тихона звания патриарха, однако сторонники Тихона не согласились с этим решением. 16 июня 1923 г. Тихон обратился к Верховному суду РСФСР с письмом, в котором отмежевывался от контрреволюции и просил о помиловании. Постановлением ЦИК СССР от 21 марта 1924 г. дело против патриарха Тихона было формально прекращено. По свидетельству современника (Б.Зайцев), похороны Тихона в 1925 г. были грандиознее и многолюднее, чем похороны В.И.Ленина. Эмигрантская печать откликнулась на смерть Тихона многочисленными статьями: Православный. “Патриарх Тихон” — “Своими путями”. Прага, 1925, № 6/7; Трубецкой Г.Н. “Памяти святейшего патриарха Тихона”. — “Путь”, Париж, 1925, № 1 и др. См. также: архимандрит Сергей (Шевич Кирилл Георгиевич). “Тихоновская Россия и эмиграция”. — “Вестник РСХД”, 1927, № 7; его же — “Сошел ли митрополит Сергей с пути патриарха Тихона” — там же, 1928, № 9; Без подп. “Допрос патриарха Тихона на про-

цессе “54”. — Вестник РСХД, 1972, № 103. В 1975 г. № 115 “Вестника РСХД” был целиком посвящен патриарху Тихону (см. статьи С.Н.Булгакова, Э.Н.Бакуниной, А.Рождественского, Н.А.Струве и др.).

⁴² Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий публицист и философ. В 1921 г. в Берлине вышла его книга “Прусская идея и социализм” (изд. С.Эфрона), в 1922 г. в изд. “Берег” в Москве сб. “Освальд Шпенглер и закат Европы”. Статьи о философии Шпенглера печатались в 1920-е гг. в газете “Руль”, в журн. “Русская мысль” и др.

⁴³ “Русская газета” — еженедельная, затем ежедневная газета, выходившая в Париже с 23 апреля 1923 по 7 июня 1925 гг. под ред. Г.А.Алексинского, Е.А.Ефимовского и А.И.Филиппова. Орган русской национально-патриотической мысли; выступала против большевиков и всех левых, разрушивших Россию, партий и конкретно против Милюкова, Керенского, Чернова и пр. На страницах газеты печатались обвинения их как клеветников “на все русское”, которые отравляют русское общество “разлагающими статьями”. “Русская газета” вела ожесточенную полемику с “Последними новостями”. А.И.Куприн и К.Д.Бальмонт печатались на ее страницах, Куприн, в частности, поместил здесь более шестидесяти произведений.

⁴⁴ Tout come (*франц.*) — здесь: все в порядке (букв.: одно и то же)

⁴⁵ Дерзость (*франц.*).

⁴⁶ Статья Гиппиус “Оправдание свободы” // “Современные записки”, 1924, № 22. С. 293–315.

⁴⁷ Республиканско-демократическое объединение создано Милюковым в 1924 г. на основе “Парижской демократической группы партии народной свободы” (1921–1924).

⁴⁸ Что это стоит делать (*франц.*).

⁴⁹ Вишняк Марк Вениаминович (1882–1975) — политический деятель, публицист, член партии эсеров. В Париже опубликовал книгу “Черный год. Публицистические очерки”, 1922, активно печатался в “Современных записках”, одним из организаторов и редакторов которых являлся и где вел постоянные рубрики “На родине и на чужбине” и “На родине”. Статья Вишняка “Оправдание равенства” была опубликована в “Современных записках”, 1924, № 22.

⁵⁰ Фондаминский Илья Исидорович (псевд. Бутаков, 1880–1942) — публицист, общественно-политический деятель, член партии эсеров и ее ЦК. Был комиссаром Временного правительства на Черноморском флоте, депутатом Учредительного Собрания. С 1918 г. в эмиграции. Один из создателей и руководителей “Современных записок” и издательства при этом журнале. Проводил политику примирения авторов различных политических убеждений, напечатал в журнале историко-философские очерки “Пути России”. Погиб в Освенциме.

⁵¹ Мария Самойловна — Цетлин, урожд. Тумаркина, в первом браке Авксентьева) — член партии эсеров, жена М.О.Цетлина (псевд. Амари). В эмиграции в Париже в доме Цетлиных собирались ведущие литераторы и политические деятели (кадеты и эсеры). В 1923 г. Цетлины издавали журнал “Окно” (№№ 1–3), в будущем явились одними из создателей “Нового журнала”.

⁵² Диалог Гиппиус “Общеизвестное” — “Последние новости”, 1925, 8 апреля, № 1520.

⁵³ Возможно, Гиппиус имеет в виду газету “Время”, Берлин, 1919–1925, где печатались публицистические очерки Баяна (И.Колышко) “Обломки” (в том числе о Мережковском, З.Гиппиус, Милюкове, Розанове) и др.

⁵⁴ О чем-то не заслуживающем внимания (*франц.*).

⁵⁵ “Аспиранты” — статья Гиппиус “Аспиранты. Вокруг “Тайны” С.Р.Минцлова” — “Последние новости”, 1925, 22 февраля. № 1482. 26 февраля в той же газете, № 1485, появилось “Письмо в редакцию” — “Вокруг “Тайны” С.Р.Минцлова” подписанное Гиппиус, Н.А. Бердяевым, А.И.Куприным, В.П.Вышеславцевым, И.И.Манухиным и Д.С.Мережковским. Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1936) — прозаик, журналист, историк. страстный библиофил. В 1921–23 гг. в “Современных записках” печатался роман Минцлова “За мертвыми душами”, изданный отдельной книгой в Берлине в 1925 г. В 1924 г. там же — “Из снов земли” (№№ 19–21); в сб. “На чужой стороне” — “Петербургский дневник” (1924, № 8, 1925, №№ 9, 10); в журн. “Своими путями” — заметки “Русские писатели о современной русской литературе и о себе” (1926, № 10/11).

⁵⁶ Начиная с 28 июля 1925 г. Гиппиус регулярно печатала в “Последних новостях” обзоры журнала “Современные записки” за подписью Антон Крайний.

⁵⁷ Статья Гиппиус “О женах” — “Последние новости”, 1925, 30 июля, № 1614.

⁵⁸ Возможно, речь идет о книге Ивана Александровича Ильина (1883–1954), религиозного мыслителя и ученого-правоведа, “О сопротивлении злу силою”, Берлин, 1925. Ильин полемизирует с теорией непротivления злу, утверждая, что любовь, добро, терпение могут противостоят злу и что иногда надо прибегнуть к принуждению и насилию, а непротivление может оказаться безнравственным. Книга вызвала широкую полемику, в которой приняла участие и Гиппиус — статья “Предостережение”, — “Последние новости”, 1926, 25 февраля, № 1800.

⁵⁹ Михаил Андреевич — Осоргин (псевд., наст. фамилия Ильин, 1878–1942), прозаик, эссеист, публицист. Занимал принципиально нейтральную позицию человека вне партий, сотрудничал в изданиях Керенского, Милюкова и др., с 1926 г. начал публиковать в “Современных записках” главы романа “Сивцев Вражек”, получившего отрицательную оценку Гиппиус. *Ғаґон de parole (франц.)* — форма выражения. *Ainsi soit-il (франц.)* — да будет так.

⁶⁰ Статья Гиппиус “Точка. Ответ Кусковой” — “Последние новости”. 1926, 7 марта, № 1810.

⁶¹ Журнал “Путь” — орган русской религиозной мысли, под ред. Н.А.Бердяева выходил в Париже с сентября 1925 по март 1940 г. В начале 1926 г. там появились статьи Бердяева “Спасение и творчество: о двух пониманиях христианства” (№ 2), “О духовной буржуазности” (№ 3), “Ответ на письмо монархиста” (там же).

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) — философ, литературный критик, профессор философии, крупнейший представитель интуитивизма и персонализма в России. В 1922 г. был выслан из России с группой философов. В журнале “Путь”, 1926, № 2 — статья Лосского “Вл. Соловьев и его преемники в русской религиозной философии” и “Преподобный Сергей Радонежский и Серафим Саровский. По поводу книги Б.Зайцева и книги Вл. Ильина”; № 3 — “Преемники Вл. Соловьева”.

⁶² О стихах Н.Оцупа Гиппиус писала в июне-июле 1926 г. Оцуп Николай Авдеевич (1894–1968) — поэт, критик и мемуарист, в 1920 г. вместе с Н.С.Гумилевым, М.Л.Лозинским и Г.В.Ивановым основал Новый Цех поэтов. Он издал две книги стихов — “Град”, 1921, переиздан в 1923 в Берлине, и “В дыму”, Берлин, 1926. В эмиграции в 1920-е гг. его стихи и рассказы печатались в изданиях “Современные записки” (1924, № 22, 1926, № 27, 28, 1927, № 30, 33 и далее; “Беседа”, 1923, № 2, 1024, № 5; “Эпопея”, 1923, № 4; “Новый дом”, 1926, № 2; “Звено”, 1927, № 3 и др. В июле 1926 г. Гиппиус сообщала из Канн В.Ф.Ходасевичу о том, что пишет статью о нескольких поэтических книжках, в том числе об Оцупе, и очередной обзор журнала “Современные записки” — “со смесью уныния, сожаления и отвращения”; о рассказе Оцупа, который ей прислал Ходасевич — “Вашего Оцупа я, извините, и одолеть не могла <...>. О своих делах не пишу, ибо они из рук вон плохи. Висящие на мне авторы почти меня задушили, но все-таки ничего от меня не получили. И, кажется, не получают. Вы мне помогли кое-как справиться с Оц<упом> и Тер<апиано>, но я прибавила Шаховского, которого, конечно, Мил<юков> выкинет, грудью защитит, как защитил уже Винавера, выкинув из Адамовича все, кроме “казенных восхвалений” (Гиппиус. Письма к Н.Н.Берберовой и В.Ф.Ходасевичу. С. 46.) Статьи Гиппиус о поэзии в “Последних новостях” — “Поэзия наших дней”, 22 февраля 1925 г., “Стихи, ум и глупость”, 22 июля 1926 г., а также соответствующие разделы в обзорах журналов “Современные записки”, “Новый Дом”, “Версты” и др. После опубликования отзыва о стихах Оцупа Гиппиус спрашивала Н.Н.Берберову в письме от 26 июля 1926 г.: “Как вы думаете, не обиделся ли Оцуп на мои кисло-сладкие похвалы? Я так давно все это написала, что сама забыла, а теперь вижу, что Терапиано у меня вышел как-то нежнее...” (Там же. С. 5).

⁶³ Конечно, сохраняя известные пропорции (*франц.*) Р.Д.О. — Республиканско-Демократическое Объединение. Д.С.М. — Дмитрий Сергеевич Мережковский. Хвалебная статья Гиппиус о Милюкове — в варшавской газете “За свободу” 3 июля 1926 г.

⁶⁴ “Синяя книга” — дневник Гиппиус за 1914–1918 гг. Отдельным изданием книга вышла в Белграде, изд. “Русская библиотека” 1929 г. Во вступлении к ней Гиппиус подчеркивала отличие дневника, “современной записки”, от воспоминаний: “Дневник — само течение жизни”, поэтому автор не вносит в текст исправлений и не скрывает имена “живых людей”. В ноябре 1927 г., начав готовить текст дневника для печати, Гиппиус дала его целиком прочесть В.Ф.Ходасевичу на предмет возможных купюр, но не согласилась с его предложениями (в частности, изменить суждение о М.Горьком). Остались неизменными эпизоды и оценки, свя-

занные с Керенским, Милюковым и др. Изъяты страницы о “личном”, о самых близких друзьях (И. Фондаминском).

⁶⁵ Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940) — богослов, чиновник Синода, один из организаторов и активных участников Религиозно-философских собраний (с 1901 г.) вместе с Мережковскими, Философовым, Карташевым, В. Розановым и В. Миролюбовым. В кн. “Дмитрий Мережковский” Гиппиус вспоминала о Тернавцеве как об “одном из замечательных людей того момента”. Он был эрудитом в богословии, блестящим оратором, пророком, сторонником и проповедником хилиастического учения, что сближало его с Мережковским. Докладом Тернавцева открылось первое религиозно-философское собрание 29 ноября 1901 г. Отчеты о первых собраниях были напечатаны в новом, созданном при участии Тернавцева журнале “Новый путь” (№ 1 — ноябрь 1902 г.). В апреле 1903 г. собрания были запрещены синодальной властью, запрещены и отчеты о собраниях зимы 1902–1903 гг. в журнале “Новый путь”.

ИССЛЕДОВАНИЯ



*Темира Пахмусс
Иллинойский Университет США*

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЗИНАИДЫ ГИППИУС

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) происходит из рода баронов фон Гиппиус, переселившихся в Россию из Мескленбург'а в XVI веке. Сама Гиппиус никогда не употребляла своего дворянского титула, очень рано ощутив себя демократкой и русским литератором.

Приехав в 1889 г. после своего замужества с Д.С.Мережковским в Петербург из Тифлиса, Гиппиус сразу погрузилась в литературную жизнь столицы. Она познакомилась с поэтами А.Н.Плещеевым, Я.П.Полонским, Н.М.Минским, А.Н.Майковым, К.Д.Бальмонтом, Федором Сологубом, Андреем Белым, Александром Блоком, Вячеславом Ивановым и Владимиром Соловьевым. Она встречалась со Львом Толстым, Чеховым, Лесковым, Короленко, Григоровичем, Михайловским, Горьким, Акимом Волынским. Вместе с Мережковским она вошла в группу Сергея Дягилева, издававшего журнал "Мир искусства" эстетического и неоклассического направления. В группу "Мира искусства" входили Петр Перцов, впоследствии редактор журнала Мережковских "Новый путь", художники А.Н.Бенуа, В.Ф.Нувель, Лев Бакст; критик Владимир Гиппиус, троюродный брат Зинаиды Гиппиус; Дмитрий Философов, двоюродный брат Дягилева, журналист, впоследствии интимный друг и соратник Мережковских; Поликсена Соловьева, издатель и поэт, позже близкий друг Зинаиды Гиппиус; Василий Розанов, также быстро подружившийся с Мережковскими. В Москве Гиппиус была близка к кругу Валерия Брюсова. Какое блестящее окружение у молодого талантливого литератора!

Поэт и прозаик Зинаида Гиппиус начала свой творческий путь как символист. Первые ее стихи были опубликованы в 1888 г., писала она их с семи лет.

В 90-е годы XIX столетия поэзия Гиппиус выражала больше, чем творчество других писателей-символистов. В ней были любовь к красоте, антиномия религиозного экстаза и богохульства, тесная связь между религией, поэзией и мистической чувствен-

ностью. Ее намеренное нарушение традиционных канонов, как и переоценка эстетических ценностей, также были типичны для своеобразной атмосферы, отличавшей русскую литературу конца XIX — начала XX веков. Вместе с Мережковским, Минским, Розановым и Федором Сологубом Зинаида Гиппиус ратовала за новый художественный вкус, создавала новые сочетания звука и ритма, указывала на новые художественные ценности русскому читателю. Одаренная большим чувством метрической композиции, звука и цвета, она экспериментировала в стихах, используя скрытые возможности русского стихосложения. Гиппиус, однако, никогда не теряла контроля над поэтической техникой и поэтическим выражением в стихах. Верная метафизическому искусству символизма, она относилась к Слову как к Чуду.

Как и другие поэты-символисты, Гиппиус отделяла эмпирический мир от духовного, полного мистического значения и имманентности. Вслед за Гете она утверждала, что “*Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis*”, изображая мир в своем творчестве как хаотическое взаимодействие материи и духа. Вместе с другими русскими поэтами-символистами она видела в поэзии путь к познанию последних тайн и потусторонней реальности — истины, которая выше интеллектуальных и моральных категорий на земле. Современники Гиппиус, среди них Валерий Брюсов, Андрей Белый, Иннокентий Анненский и Михаил Кузмин, высоко ценили поэтическое творчество Гиппиус как *maître* стихосложения, который навсегда сохранит свое место в истории русской поэзии. Ее стихи, полные аллитераций и тонких оттенков, обнаруживают индивидуальное чувство слова, цвета и запаха. Мелодичность ее стиха сочетается с потоком образов и мыслей, подкреплена рефренами, параллелизмом синтаксических структур и ритмического рисунка. Мелодия звуков и красок дала возможность Гиппиус выразить невыразимое в поэзии. Целый ряд русских композиторов, среди них С.Прокофьев и Н.Мясковский, положили ее стихи на музыку.

Ранние произведения Гиппиус, созданные в 90-е годы XIX века, характеризуют ее как поэта эстетизма и крайнего индивидуализма с ностальгическим лейтмотивом “мне нужно то, чего нет на свете”. Ее стихотворение “Песня”, включающее эту ставшую сразу же знаменитой строку, является поистине поразительным творением с разнообразной метрической системой, с чередующимися длинными и короткими строчками и с музыкальным рефреном. Сама Гиппиус воспринимала это стихотворение как молитву. 19-го марта 1893 г. в *Contes d'amour* она сделала по этому поводу следующую запись: “Я писала стихи сегодня после многих лет <...>. Пишу их и повторяю потом — как

молюсь. Есть неведомое чувство умиления и порыва в душе. О, если б молиться, пока жить!"

Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею,-
С вечернею зарею.

И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным...
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.

Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю...

И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,

Но плачу без слез о неверном обете...
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете!

В этот ранний период своего творчества Гиппиус отрицала вульгарность, пустоту и *ептти* человеческого существования. Только изредка она писала о красоте природы и полноте человеческой жизни в своей поэзии, вдохновленная итальянским Ренессансом и эллинистическими концепциями святости плоти. Эти взгляды на человеческую плоть она разделяла с Мережковским, Минским и Волынским. Меланхолия, желание одиночества и острое чувство отчуждения отличают ее стихотворения этого периода.

В самом начале XX века ее настроения внезапно и резко изменились. Она ощутила желание посвятить свое творчество религиозным идеалам. К своей прежней концепции Бога она присоединила новую идею свободы и желание обрести глубокую веру в Бога. Отказавшись от эллинистического понятия святости плоти и от христианского понятия святости духа, она, вместе с Мережковским, выразила уверенность, что эти две концепции

могут быть слиты в одно и таким образом затем соединиться с религией Святой Троицы. Это было их “апокалиптическое” христианство, верившее во Второе Пришествие Христа так же, как историческое христианство верило в Его Первое Пришествие. Русское неохристианство начала XX века формулировало синтез Святой Плоти и Святого Духа в их равенстве и цельности как стремление к конечной цели — Человечеству Третьего Завета. Гиппиус выразила эти настроения религиозного возрождения в своей поэзии второго периода, например, в стихотворениях “Молитва”, “Нескорбному учителю”, “Христу” и др. Характерным стихотворением этого времени можно назвать “О другом” (Собрание Стихов: 1889—1903):

Господь, Отец.
Мое начало. Мой конец.
Тебя, в Ком Сын, Тебя, Кто в Сыне,
Во имя Сына прошу я ныне
И зажигаю пред Тобой
Мою свечу.
Господь. Отец. Спаси, укрой —
Кого хочу.

Тобою дух мой воскресает.
Я не о всех прошу, о Боже,
Но лишь о том,
Кто предо мною погибает,
Чье мне спасение дороже,
О нем, — одном.

Прими, Господь, мое хотенье!
О, жги меня, как я — свечу,
Но ниспошли освобожденье,
Твою любовь, Твое спасенье —
Кому хочу. (С. 118)

В дополнение ко всем другим художественным достоинствам этого произведения нужно отнести форму *Carmen figurantum* в виде зажженной свечи в подсвечнике и аллегорическое видение автора — горящей свечи перед Богом. Поэт сжигает себя на алтаре в мольбе за другого. Аллегория здесь двойного характера: молитва — это горящая свеча и сама поэтесса; свеча сгорает, становясь символом самопожертвования поэта.

Мистическое и религиозное мышление Гиппиус постепенно привело ее к убеждению, что в Русской Православной Церкви должна быть проведена реформа и что “новое религиозное сознание” должно заменить догмы исторической Церкви. Прежде всего, настаивала она, Церковь не должна быть подчинена госу-

дарству. В этот период ее творчества (1905—1914) религиозные, мистические и философские мысли Гиппиус образовали единое целое и совпали с ее планом преобразования общественно-политического устройства в России, основанного на свободе.

Поэзия Зинаиды Гиппиус тесно связана с литературной традицией в России, в частности с творчеством Тютчева, Баратынского, Лермонтова, Фета, но ее метафизическая религия опирается на другие источники: Библию, индусские откровения, книги Emmanuel Swedenborg'a, Karl von Eckhardthausen'a, Elias Levi и книгу мудрости Соломона. В центре ее поэтического видения стояла любовь как мистическая, очищающая сила, способная возродить грешную человеческую плоть. Ее стихотворения можно обозначить как гимны, прославляющие Бога, такие как Gloria in Excelsis, молитвы Серафима Саровского "Арфа Святого Духа", проповеди Андрея Критского и торжественные религиозные оды, в которых звучали главные мотивы манихейства, концепции дуалистического строения вселенной, и даже частично гностицизма с его учением о том, что эмансипации духа можно достигнуть через знание. Оказал влияние на Гиппиус и французский символизм, в частности Mallarmé с его обожанием красоты и отвращением к посредственности "скучных деталей жизни". Но в центре метафизической философии Гиппиус всегда стояла любовь, которая в этот период была тесно связана с понятием свободы. Концепцию любви в ее творчестве можно найти, например, в стихотворении "Любовь одна".

Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь — одна.

Мы негодуем, иль играем,
Иль лжем — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
Душа одна — любовь одна. (С. 90)

Восхитившись этим произведением, немецкий поэт Rainer Maria Rilke перевел его на немецкий язык². Стихотворение "Любовь, любовь..." также раскрывает поэтическую концепцию любви Гиппиус.

Любовь, любовь... О, даже не ее—
Слова любви любил я неуклонно.
Иное в них я чуял бытие,
Оно неуловимо и бездонно <...>

Живут слова, пока душа жива,
Они смешны — они необычайны.
И я любил, люблю любви слова,
Пророческой овсянны тайной.

Декабрь 1912, СПб. (С. 198)

Как Владимир Соловьев, Гиппиус утверждает, что подлинная любовь существует только в вечном “настоящем”. Она *одна*, она не повторяется, не изменяется. Любовь верна и постоянна. Любовь — это триумф над смертью, переход из сферы временного в бессмертие, в вечность. Любовь выше человеческого сознания; любовь — это освобождение от эгоцентризма и эгоизма. Любовь — это эмансипация человеческой личности, она разрывает оковы тирании себялюбия³.

В философской системе Гиппиус любовь занимает центральное место во взаимоотношениях индивидуума и общества. Любовь — мост между ними. Только как активный член общества человек может реализовать свое абсолютное значение во вселенной и стать органической частью всеобщего единства. Поэтому способность человека испытывать любовь есть божественный дар. В любви он может обрести животрепещущую созидательную силу. Любовь сильнее веры, но вера живет во всякой любви. Любовь — это сама жизнь. Смысл человеческой жизни Гиппиус видит в стремлении человека к любви, к внутреннему гармоническому единству всего. Эта концепция любви лежит в основе понятия “нового религиозного сознания” Мережковских.

Гиппиус яснее всего дала свое определение христианства в статье “Великий путь” (1914)⁴, где она пишет, что историческое христианство есть только часть истинного Христианства, центральная и органическая часть его, но только часть. По ее мнению, истинное Христианство как концепция совпадает с понятием Троицы в Одном. Христианство есть совершенная, личная вера в Одну Божественную личность: Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух, — Вечная Женщина-Мать. Апокалиптическая Церковь, Царство Третьего Завета, настаивает Гиппиус, раскроет любовь как духовную свободу. Царство Третьего Завета, разрешив все ныне существующие антиномии — пол и аскетизм, индивидуализм и общество, рабство и свобода, ненависть и любовь — соединит Небо и Землю в единое Царство, Царство апокалиптического Христианства. Произойдет соединение Трех в Одном: Бога Отца, Бога Сына, Святого Духа, — Вечной Женственности-Материнства. Христианство в этот момент завершит самое себя. Человек “нового религиозного сознания” должен понять идею Трех в Одном не как абстрактную теологическую доктрину, требует Гиппиус, а как “живую, пульсирующую истину”. Гиппиус в

1938 г.⁵ выразила эти идеи в стихотворении “Вечно женственное” таким образом:

Каким мне коснуться словом
Белых одежд Ее?
С каким озарением новым
Слить Ее бытие?
О, ведомы мне земные
Все твои имена:
Сольвейг, Тереза, Мария...
Все они — ты Одна.
Молюсь и люблю... Но мало
Любви, молитв к тебе.
Твоим-твоей от начала
Хочу пребыть в себе,
Чтоб сердце тебе отвечало —
Сердце — в себе самом,
Чтоб Нежная узнавала
Свой чистый образ в нем...
И будут пути иные,
Иной любви пора.
Сольвейг, Тереза, Мария,
Невеста-Мать-Сестра! (С. 266)

В своем желании подготовить человека к духовной метаморфозе на пути к Царству Третьего Завета Гиппиус решила создать тесную группу людей-единомышленников, молящихся вместе, надеющихся вместе и ожидающих вместе светлого будущего. Уже в 1899 г. идея новой церкви возникла почти одновременно у Гиппиус и у Мережковского. По контрасту с первым, ранним периодом ее творческого пути Гиппиус теперь становится очень активной в своей деятельности, сознавая свою ответственность перед Человечеством будущего Третьего Завета. О своей новой идее она сообщила Философову, Перцову, Бенуа, Владимиру Гиппиусу, Нувелю, Баксту, Дягилеву, а также Антону Карташеву и Василию Успенскому, студентам Теологической Академии в С.-Петербурге; Бердяеву, Федору Сологубу, Минскому, Розанову и Поликсене Соловьевой. Все они принимали живое участие в религиозных дискуссиях на квартире Мережковских, но ясной перспективы в создании новой единой церкви ни у кого из них не оказалось. Тогда Гиппиус решила выделить центральное ядро из этой группы — Мережковского, Философова и себя — для продолжения их деятельности по созданию новой церкви, “нового религиозного сознания”. Они постановили поддерживать *внутреннюю* связь с существующей Церковью, но *внешне* от нее хотели отделиться.

По инициативе Мережковских были организованы в С.-Петербурге Религиозно-Философские Собрания. Первое заседание состоялось 29-го ноября 1901 г. в зале Географического Общества. Епископ Сергей (Финляндский), ректор Теологической Академии в С.-Петербурге, был назначен председателем. На собрании присутствовали русские священники, монахи, а также Мережковский, Гиппиус, Валентин Тернавцев, Минский, Розанов, Бенуа, Перцов, Е.В.Дягилева (мачеха С.П.Дягилева), Карташев, Успенский и другие люди, близко стоявшие к Мережковским. Всего прошло 22 заседания Религиозно-Философских Собраний. Они были закрыты 5-го апреля 1903 г. по приказу Победоносцева. Протоколы заседаний печатались в журнале Мережковских “Новый путь” (1903–1904), созданном по инициативе Гиппиус. Сотрудниками журнала были Александр Блок, Владимир Пяст, Леонид Семенов, Сергей Сергеев-Ценский, Евгений Лундберг, Павел Флоренский, Розанов, Минский, Карташев, Успенский и другие.

Религиозно-Философские Собрания сыграли большую роль в духовной жизни столицы, поскольку они дали возможность русской интеллигенции и русскому священству обсуждать интересующие их проблемы непосредственно, лицом к лицу. Собрания также способствовали установлению более тесной связи между искусством и религией, западно-европейской культурой и восточным христианством. В этом смысле Собрания вполне соответствовали устремлениям и планам Зинаиды Гиппиус.

Она продолжала искать сообщников для реализации своего плана по созданию “нового религиозного сознания” в России и за границей, главным образом среди французских католиков и представителей партии социал-революционеров, таких как Борис Савинков и Илья Бунаков-Фондаминский, с которыми она очень сблизилась во Франции. В С.-Петербурге к ее деятельности примкнули ее сестры, Татьяна (художница) и Наталья (скульптор) Гиппиус, Карташев и Успенский, а также начинающая писательница, приехавшая в С.-Петербург из Москвы, Мариэтта Шагинян.

В 1905 г. Гиппиус изменила свои взгляды на самодержавие: концепция монархии больше не соответствовала ее философским и религиозным планам. Она записала 23-го февраля 1908 г. в свой дневник “О бывшем”: “Я была бессильна против идеи самодержавия, как все-таки более религиозной, чем другая, общественная. Я не могла найти против нее метафизических аргументов. Но стала чувствовать, что должна найти, ибо она — неправда. Дима [Философов] отрицал ее — не обосновывая. Пользуясь его чувством — я пошла дальше. И вместе мы поняли, что

сама идея личности и теократии — в нашем понимании — ее отрицают”⁶. Гиппиус теперь не видела в русском монархе заместителя Христа на земле. Самодержавие, считала Гиппиус, вызвало войну, Октябрьскую стачку, Манифест и московское восстание. Мережковские и Философов сформулировали свое новое отношение к монархии короткой фразой: “Самодержавие от Антихриста”, обвиняя русского императора в социальной несправедливости, политическом насилии и других проявлениях зла абсолютизма. Главным злом в их глазах была “узурпация духовной силы” императором, объявившим себя верховным и непогрешимым судьей Священного Синода. Она утверждала, что вина императора заключалась в том, что Русская Православная Церковь утратила свободу и автономию в духовных делах. Эти новые взгляды Мережковские и Философов изложили в книге 1907 г. “Le Tsar et la Révolution”⁷. В ней они отрицали концепцию самодержавия и государства как проявления силы извне, как царство дьявола. Они также отрицали диктатуру пролетариата и социализм как формы государства, основанные на применении силы извне. Отвергали они и общественно-политическую анархию, поскольку она порождает крайний индивидуализм. Бог был основой религиозной идеи Мережковских и Философова, высочайшей манифестацией духовной свободы и любви, особенно любви. Гиппиус называла сложные взаимоотношения между религией и политической и общественной жизнью (коллективом людей) “религиозной общественностью”. Свои надежды на создание религиозной общественности или религиозной теократии они возлагали на русскую интеллигенцию, “аристократов мысли” в платоновском смысле слова. “Аристократы мысли”, по их мнению, были способны пробудить в людях “новое религиозное сознание”. Несколько избранных интеллектуалов должны были стать *intellektus incarnatus*, разумом и совестью России, устроителями духовного человеческого общества.

В период с 1914 по 1920 г. Гиппиус была целиком поглощена общественными и политическими делами. Считая буржуазное общество с его стремлением к созданию материального комфорта и финансового благополучия главной помехой в достижении ее идеалов, она ужасалась его незаинтересованности в духовных сферах жизни. Находясь под влиянием нищенского культа индивидуализма и аристократизма, Гиппиус отвращалась от вульгарности, банальности и тривиальности устремлений окружающих ее людей. Вместе с Мережковским она опасалась, что это “царство посредственности” распространится на весь мир, и возникнет новое политическое государство, новое социальное устройство без свободы, без просвещенного индивидуализма и

без человеческой личности, созданной по образу и подобию Божьему. По терминологии Мережковских, это будет “царство Антихриста, царство дьявола”, и его главной задачей будет сделать невозможным установление Царства Божьего на земле.

Гиппиус и Мережковский отрицали Первую мировую войну главным образом по религиозным соображениям. В своей речи на собрании Религиозно-Философского Общества в ноябре 1914 г. Гиппиус решительно объявила свою оппозицию войне, которая была для нее профанацией мирового человеческого устройства, грубым насилием и кровавым убийством. Она открыто выступала против защитников войны, в том числе Философова, Федора Сологуба, Александра Куприна, Леонида Андреева, Вячеслава Иванова, Антона Карташева, П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова и других, начавших, по ее словам, петь “патриотические оды” во славу будущей победы России. Как она отмечает в “Синей книге”: “Писатели все взбесились. К. пишет у Суворина о Германии: “...надо доконать эту гидру”. Всякие “гидры” теперь исчезли, и “революции”, и “жидовства”, одна осталась: Германия... <...>. Идет организованное самоистребление, человекоубийство. “Или всегда можно убить, или никогда нельзя”. Да, если нет истории, нет движения, нет свободы, нет Бога. А если все это есть — так сказать нельзя. Должно каждому данному часу истории говорить “да” или “нет”. И сегодняшнему часу я говорю, со дна моей человеческой души и человеческого разума — “нет”. Или могу молчать. Даже лучше, вернее — молчать. А если слово — оно только “нет”. Эта война — война. И войне я скажу: никогда нельзя, но уже никогда и не надо”⁸.

Эти настроения нашли себе выражение в творчестве Гиппиус этого нового периода в стихотворении “Нет, никогда не примирюсь”:

<...> В последний час, во тьме, в огне,
Пусть сердце не забудет:
Нет оправдания войне
И никогда не будет.

И если это Божья длань —
Кровавая дорога, —
Мой дух пойдет и с Ним на брань,
Восстанет и на Бог (С. 214).

Ее “восстание” на Божескую длань еще отчетливее слышится в стихотворении “Адонай”:

Твои народы вопиют: доколь?
Твои народы с севера и юга.
Иль ты еще не утолен? Позволь
Сынам земли не убивать друг друга.

Не ты-ль разбил скрижальные слова,
Готовя землю для иного сева?
И вот опять, опять ты — Иегова,
Кровавый Бог отмщения и гнева! <...>

О, прикоснись к дымно-багровой мгле,
Не древнею грозюю — а Любовью.
Отец! Отец! Склонись к Твоей земле:
Она пропитана Сыновней кровью!

(СПб., ноябрь 1914. С. 205–206)

Вместе с тем Гиппиус могла бы принять войну как требуемую Богом жертву огнем и кровью. Гиппиус надеялась, что этот очищающий огонь укрепит волю и стремление человека в его борьбе за “новую Истину”, за Царство Божье на земле. Таким образом, полагала она, война могла бы способствовать претворению в жизнь идеалов Апокалипсиса. Новое начало принесло бы с собой всеобщий мир, освобождение от посредственности и установление религиозной общности. Эти новые надежды нашли выражение в стихотворении 1915 г. “Молодое знамя”:

Развейся, развейся, летучее знамя!
По ветру вскрыли, троецветное!
Вставайте, живые, идите за нами!
Приблизилось время ответное.

Три поля на знамени нашем, три поля:
Зеленое-Белое-Алое.
Да здравствует молодость, правда и воля!
Вперед! Нас зовет Небывалое. (С. 209)

Гиппиус стремилась разрушить старое и создать новое. Ее литературная деятельность была для нее средством на этом пути, как и участие в Религиозно-Философских Собраниях, создание журнала “Новый путь”, а позже литературно-философского общества “Зеленая лампа” в Париже. Именно таким образом Гиппиус искала возможности для распространения своих религиозных взглядов и общественно-политических концепций, для выявления духовных болезней современного человека и указания пути преодоления этих болезней. В этот период она уповала больше на молодое поколение, чем на *intellectus incarnatus*. В своей пьесе “Зеленое кольцо” (1914), поставленной в Александринском театре в С.-Петербурге под руководством Всеволода Мейерхольда, в исполнении ведущих столичных актрис М.Г.Савиной и Е.Н.Рощиной-Инсаровой, Гиппиус рисует поколение русских людей, вдохновленное на жизнь идеей “быть вместе”. Автор называет секретом пьесы “радость общности”⁹. Мо-

лодежь создает новые человеческие взаимоотношения на основе свободы, равенства и братства. Взяв из прошлого только им необходимое, они строят новое общество и создают новые духовные ценности. Пьеса прошла с большим успехом: сначала на петербургской сцене, с 1916 г. на сцене Московского Художественного театра с Аллой Тарасовой и Николаем Баталовым в главных ролях, и в 1933 г. в Пражском театре в Чехословакии.

Гиппиус и Мережковский были в С.-Петербурге, когда произошла Февральская революция 1917 г. Как и Блок, Андрей Белый и Брюсов, Мережковские приветствовали ее, видя в ней катаклизм, который вызовет к жизни “революционно-разрушительные” и “революционно-созидательные” силы для будущей России — нового государства, основанного на свободе, равенстве и братстве. Февральская революция, как надеялись эти русские писатели, освободит человеческую личность и создаст “новое религиозное сознание”, подавленное до тех пор русским самодержавием и русской православной церковью.

Полная энергии и устремленности в будущее, Гиппиус писала манифест для Временного правительства и вместе с Мережковским и Философовым обсуждала вопросы политического и общественного характера с Керенским, Бунаковым-Фондаминским и Борисом Савинковым у себя в петербургской квартире на Сергиевской улице. Гиппиус сочинила декларацию для Религиозно-Философского Собрания, в которой требовала отделения Церкви от государства. Власть, утверждала она, должна перейти в руки Временного Правительства. В опьянении от свободы, которая обещала ей настоящую религиозную революцию, Гиппиус писала такие полные воодушевления стихи, как “Юный март” от 8-го марта 1917 г.:

“Allons, enfants de la patrie...”

Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.
Там солнце со снегом целуется
И льет огнерадостный хмель.

По ветру, под белыми пчелами,
Взлетает пылающий стяг.
Цвети меж домами веселыми
Наш гордый, наш мартовский мак!

Еще не изжито проклятие,
Позор небывалой войны.
Дерзайте! Поможет нам снять его
Свобода великой страны <...> (С. 218)

Вместе со своей страной Гиппиус надеялась, разбуженная “Божьим дыханием”, “воскреснуть за гранью таинственной” в новой религиозной общественности.

Однако Февральская революция, как и революция 1905 г., разочаровала Мережковских. Временное правительство вскоре пало. Октябрьская революция 1917 г. установила в России “Царство Антихриста”. Свобода индивидуума была попорана: церковь стала первой жертвой нового режима; религиозные искания Мережковских больше не могли быть реализованы с воцарением “зверя-народа”. Гиппиус изобразила этот новый этап в истории России в стихотворениях “Тли”, “Тишь” и других, полных тоски и сознания большой потери. “Нет никаких людей”, “душа на ключе, в тяжком запоре”, “над городом распростерся грех” — такие и другие подобные образы пронизывают теперь поэзию Гиппиус. Писала она и горестные, полные гнева стихи, как, например, “Осенью (сгон на революцию)”:

На баррикады! На баррикады!
Сгоняй из дальних, из ближних мест...
Замкни облавой, сгрудил, как стадо,
Кто удирает — тому арест.

Строжайший отдан приказ народу,
Такой, чтоб пикнуть никто не смел.
Все за лопаты! Все за свободу!
А кто упрется — тому расстрел. <...>

На баррикады! На баррикады!
Вперед за “Правду”, за вольный труд!
Колом, веревкой, в штыки, в приклады...
Не понимают? Небось, поймут!

25 октября 1919. СПб. (С. 239)

В новой стилистической манере она бросает гневные упреки русскому народу, свершившему политическую революцию и в этом процессе засекающему кнутом свою свободу:

<...> Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

29 октября 1917. (С. 220)

Но вера в будущее не покидает ее даже в эти страшные годы, о чем мы читаем в ее стихотворении “Нет”:

Она не погибнет, — знайте!
Она не погибнет, Россия.

Они всколосятся, — верьте!
Поля ее золотые. <...> (С. 235).

А затем ее мольба уже в эмиграции: “Господи, дай увидеть!”:

Господи, дай увидеть!
Молюсь я в часы ночные.
Дай мне еще увидеть
Родную мою Россию.

Как Симеону увидеть
Дал Ты, Господь, Мессию,
Дай мне, дай увидеть
Родную мою Россию. (С. 344)

Потеряв надежду на спасение России силами извне и не желая работать на большевиков, Мережковские решили покинуть Россию, чтобы вновь в Европе обрести утраченную свободу и продолжать поиски возможности установления Царства Божьего на земле. Гиппиус так поэтически изобразила отъезд из С.-Петербурга много лет спустя:

ОТЪЕЗД

До самой смерти... Кто бы мог думать?
(Санки у подъезда. Вечер. Снег.)
Никто не знал. Но как было думать,
Что это — совсем? Навсегда? Навек?

Молчи! Не надо твоей надежды!
(Улица. Вечер. Ветер. Дома.)
Но как было знать, что нет надежды?
(Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.) (С, 366)

С отъездом в Европу “навсегда” — в Варшаве — начался новый период в творчестве Гиппиус. Вместе с Мережковским и Философовым она читала лекции, писала антикоммунистические статьи и встречалась с представителями польской шляхты и русской эмиграции в Польше, решая вопросы оказания сопротивления большевикам из Польши. Там, поглощенная политическими событиями, Гиппиус не писала художественной прозы. Только один томик ее стихов “Походные песни” под псевдонимом Антон Кириша вышел в Варшаве в 1920 г. Написаны эти песни были для русского полка, который должен был идти в авангарде польской армии в поход на Москву.

После заключения Пилсудским мира с Советской Россией в августе 1920 г. Мережковские покинули Варшаву 20-го октября 1920 г. и через Wiesbaden прибыли в Париж в начале 1921 г. Все

события, связанные с их пребыванием в Варшаве, описаны Гиппиус со всеми подробностями в ее “Варшавском дневнике”¹⁰.

В эмиграции Гиппиус не только не отказалась от своих прежних религиозно-философских взглядов, но продолжала настаивать на своей прежней точке зрения на революцию, на ее сущность, что следует, например, из ее письма к Бердяеву от 13-го июля 1922 г.: “Я, конечно, не согласна с вами насчет революции. Доказать вам противное я не могу, ибо факты, как будто, подтверждают ваше положение; но данные факты еще не доказательные для меня. Вы забываете войну. Я еще могу признать, что наша революция во время данной войны должна была кончиться большевизмом, но чтобы всякая революция (вещь очень смешная, конечно, чего не отрицаю) должна фатально порождать такую дьявольско-неслыханную ситуацию — никак не могу поверить. Вообще, я не страдаю фатализмом и поэтому остерегаюсь широких обобщений. Да и как иначе, если признаешь свободную личность во времени и пространстве?”.

О своем отношении к России и к Русской православной церкви после революции 1917 г. Гиппиус сообщает в том же письме: “Россия? Нет, я без доброго чувства вспоминаю последние годы, там проведенные. Я не хуже вашего знаю, до какого высокого подъема духа могут прийти там люди. Письма, кот<орые> я оттуда получаю, нельзя читать без чувства величайшего *благоговения*. Я знаю, я прямо вижу там, в России, — святых. Быть может, останься я там эти два года, и я бы приобрела это сияние. Но когда я уезжала — было еще время действенных надежд, борьбы и веры, что нужна какая-то волевая прямолинейность. Оказалось, не нужна, но и святости той здесь не приобретешь... Я — если смею сказать — не приобретаю святости и утратив очень многое, сохранила только себя. Насколько это большая ценность — вопрос другой. О Церкви — я говорить не хочу. И не могу. Я могу только преклониться в данный момент перед Нею с тем же благоговением, как могу перед святыми в России... в грешной России. Сейчас мне Россия чужда, поскольку в ней только святые и только грешники... там, как будто, нет “людей просто”. А Церковь — уж конечно врата Адовы не одолеют ее”.

В письме к Бердяеву от 13-го июня 1923 г. Гиппиус дает следующую картину своей жизни в Париже после прибытия из Польши в 1920 г.: “Я ... ясно вижу, что выброшена отовсюду и некуда приложить сил, которые у меня еще остались. Нечего и *не с кем делать*. Страшное состояние, я для моей природы неподходящее”. Несколько раньше, 20-го февраля 1923 г., она пишет Бердяеву: “Что касается меня — то не говорю уже о том, что в России я фактически последние годы была лишена всякой возможности какой-нибудь работы, — здесь, в Париже, делать совершенно нечего. Вначале, когда мы приехали сюда после

полугодовой варшавской горячки, времена были другие несколько; теперь странно о них вспоминать; теперь Париж, в русском смысле, пустыня; нет ничего, и даже нет никаких возможностей для бытия чего-либо. Эмигранты — одичалые единицы или замкнутые *старые* кружки, как старые эсеры, сухая и тупая группа Милюкова. Все это недвижимо и непроницаемо. Единственная газета, — Милюкова, — курам на смех...¹¹ Есть еще церковный кружок, но это и все; окружение его — неинтересные “остатки” русской бюрократии, с которыми нам просто нечего делать и не о чем говорить. Остается одно: уйти каждому в себя, в собственную личную работу. Так люди, по возможности, и делают. Так ушел и Д<митрий> С<ергеевич>, так пытаюсь делать я, хотя с непривычки очень трудно писать с сознанием, что это для себя и только... Почти незаметно, у нас с Д<митрием> С<ергеевичем>, начинается склонение к французским кругам... Для заработка Д<митрий> С<ергеевич> иногда прямо по-французски пишет, да и я до этого разврата дошла, как это ни абсурдно”.

Русская колония в Париже изумляла Гиппиус своим безразличием к религиозным и политическим вопросам времени. В целом ряде своих статей она упрекала современников в их равнодушии к “вопросам первой важности” — большевизму, русской православной церкви, судьбе человека в советской России и т.д., горячо отстаивала свою концепцию “свободной русской православной церкви”, независимой от государства. По этому вопросу разгорелась оживленная полемика между Гиппиус, Бердяевым и Милюковым. На вопрос Милюкова о сущности новой церкви Мережковских Гиппиус писала в 1925 г.: “На ваш логический вопрос “где же эта церковь?” — мы отвечаем: “в будущем”. Это, формально, тот эксперимент Церкви без папы и цезаря, который предстоит “...нам”, говорите вы; кому — нам? России? Русскому народу? Мне неясно, что вы тут разумеете. Как будто все-таки выходит, что *вы-то* (символически) церковь без папоцезаризма или цезаропапизма не мыслите, никакую”. В письме к Бердяеву от 13—16-го мая 1926 г. Гиппиус так определяет свою позицию: “Я совершенно не считаю себя находящейся *вне* Церкви, и той именно, к которой по рождению и крещению принадлежу, догматы и Таинства которой признаю. Буду считать себя *вне* Церкви тогда, когда она меня отлучит”.

Хотя и в большом унынии по поводу крушения политических и общественных идеалов, связанных с Россией, Гиппиус была все так же полна планов и деятельна в эмиграции, как прежде в С.-Петербурге. Она продолжала, как всегда, сочинять стихи, облекая абстрактные мысли в конкретные образы; писала рассказы, литературные и критические статьи, дневники и воспоминания, в которых она неизменно выступала зорким наблюдателем, умеющим искусно связать отдельные наблюдения в одно органи-

ческое целое, и собирала вокруг себя интересующих ее собеседников. Своей миссией в Западной Европе Мережковские полагали предупреждение Европы об опасности и зле коммунизма.

В 1921 г. Гиппиус организовала в Париже Религиозный Союз, куда входили народник Н.В.Чайковский, которого Мережковские знали еще по С.-Петербургу, И.П.Демидов, помощник Милюкова в газете "Последние новости", А.В.Карташев и Н.П.Ваккар, религиозно мыслящий член Кадетской партии. Вскоре Гиппиус переименовала Религиозный Союз в Союз Непримиримости во имя более действенного сопротивления большевизму. По своей программе этот союз напоминал Религиозно-Философские Собрания в С.-Петербурге. В центре программы стояли вопросы о создании новой России, о свободе, о человеческой личности и о страдающей Русской Церкви в России. Гиппиус не отказалась от своих прежних идеалов, и в эмиграции она искала "новые методы" для их осуществления, для обретения свободы во Христе и со Христом.

Гиппиус печаталась во всех русских литературных журналах, газетах и сборниках в Париже. В 1925 г. вышли в свет ее "литературные портреты" — "Живые лица", жизненные миниатюры, прекрасно написанные с точки зрения стилистической манеры, с обилием красок, запахов, деталей, диалогов и насыщенные поэтической атмосферой. Вряд ли есть в русской литературе другое художественное произведение, хотя бы отдаленно напоминающее "Живые лица". Оно заслуженно получило высокую оценку ведущих русских критиков в эмиграции, Ходасевича и Адамовича.

Большим событием в жизни русской эмиграции в Париже стал Первый конгресс русских писателей и журналистов в эмиграции, созданный королем Югославии Александром в 1928 г. в Белграде. Король Александр вручил нескольким выдающимся русским писателям, в том числе Гиппиус и Мережковскому, орден Св. Савы за их вклад в русскую культуру. Было организовано специальное книгоиздательство "Русская книга" под эгидой Сербской Академии Наук. Оно сразу начало печатать книги Мережковского, Гиппиус, Бунина, Куприна, Шмелева, Ремизова, Бальмонта, Тэффи, Амфитеатрова, Игоря Северянина и других. В Югославии Мережковские прочли целый ряд публичных лекций; по просьбе слушателей Гиппиус читала свои стихи. В.А.Злобину, в письме от 23-го сентября 1928 г., Гиппиус описывала это событие следующим образом: "Король очень "почтительно" говорил с Дм., начал по-русски, а потом по-французски. Ко мне обратился по-русски, а я, м.б. по рассеянности, только что слыша фр., отвечала по-французски; тогда этот самый король говорит: "Madame trouve que je parle si mal russe qu'elle préfère

que je lui parle français”; я немедленно перехожу на русский, не сомневаюсь, мол, в ваших познаниях; он, как бы извиняясь: “Я прежде хорошо говорил, но теперь у меня нет практики, я забыл...”. Тут я немножко, как все нашли, его “поучила”: “О, это нехорошо забывать русский язык...”. Вообще было забавно. С владыкой Досифеем (превеселый монах, притом соловьевец), мы прямо друзья. Он меня так и зовет: “миленькая моя”. Был еще банкет министров, а завтра... международного конгресса... Сегодня, сейчас, мы поедем еще на какой-то “чай”, и еще куда-то вечером, не знаю”. В письме к Злобину от 30-го сентября 1928 г. Гиппиус продолжает весело: “Король дал нам какой-то орден. Кроме того, прислал мне массу собственных папирос... Вчера мы завтракали в “интимном” дворце, на золотых и серебряных тарелках (sic!) Я сидела рядом с королем, а Дмитрий — с королевой”. 6-го октября 1928 г. она рассказывает дальше: “Бунину бы тоже дали ленту через плечо (1-й степени), а теперь только Дмитрию и Немировичу. Я с Зайцевым и Куприным — только звезды (все это нам вручено, в голубых футлярах), но мы и 2-й степенью должны быть почтены: она только у министров”.

В 1938 г. Гиппиус прониклась новой идеей — издавать свободный сборник, в котором она настаивала на принципе свободного выражения мнений. Первый сборник вышел в 1939 г. с предисловием Гиппиус “Опыт свободы”. Сборник содержал произведения Адамовича, Мамченко, Терапиано, Юрия Мандельштама, Лазаря Кельберина, Лидии Червинской, Владимира Злобина и других. Темы их были самые различные: любовь, свобода, искусство, личность, совесть, война. В эмиграции, как и прежде в России, Гиппиус была поглощена литературными, общественно-политическими и философскими проблемами в современной ей жизни русской эмиграции.

О свободе Гиппиус писала поэту Виктору Андреевичу Мамченко 5-го января 1937 г.: “...Я хочу, кстати, и насчет “воскресений” именно с вами поговорить. Я держусь вашего мнения и старого принципа, т.е. свободы: пусть приходят те, кому интересно; кому неинтересно — те и сами не будут приходить... При такой свободе сохраняется и внутренняя свобода: всем можно говорить правду в глаза. Отбор сам получится, в конце концов; если, после него, останутся два-три человека, то это ничего, раз это произойдет естественно. Володя <Злобин> и Г.Иванов мудрят, желая произвести отбор искусственный, и возражают мне, что я не знаю изменившихся времен и степени общего разложения. Может быть, и не знаю; но что из этого? Искусственный отбор тогда уже совсем не годится, а просто — закрыть лавочку. <...> Вы мою тенденцию знаете — никого ничему не учить, ничего своего не “внушать”, а если кому что мое, или наше, понадобится (по-серьезному) — берите, насколько сумеете”.

В 1938 г. вышел последний стихотворный сборник Гиппиус “Сияния”. Звуковая и эмоциональная тональность его иная, чем в первых сборниках ее стихов. Усталость, разочарование и сожаления по поводу невозможности свергнуть большевистский строй в России отчетливо звучат в печальных строках:

В церкви пели Верую,
весне поверил город.
Зажемчужилась арка серая,
засмеялись рои моторов.
Каштаны веточки тонкие
в мартовское небо тянут.
Как веселы улицы звонкие
в желтой волне тумана.
Жемчужьтесь, стены каменные,
марту, ветки, верьте...
Отчего у меня такое пламенное
желание — смерти?
Такое пристальное, такое сильное,
как будто сердце готово.
Сквозь пень автомобильное
не слышит ли сердце зова?

Господи! Иду в неизвестное,
но пусть оно будет родное.
Пусть мне будет небесное
такое же, как земное... (С. 278)

Сборник заканчивается стихотворением “Домой”. Гиппиус читала его по просьбам слушателей на каждом литературном *soirée* в Париже и Югославии:

Мне
о земле —
болтали сказки:
“Есть человек. Есть любовь”.

А есть —
лишь злость.
Личны. Маски.
Ложь и грязь. Ложь и кровь.

Когда предлагали
мне родиться —
не говорили, что мир такой.

Как же
я мог
не согласиться?
Ну, а теперь — домой! домой! (С. 282)

Гиппиус отчетливо сознавала утрату веры в возможность претворения своих идеалов в жизнь. С глубокой печалью она писала Адамовичу в письме от 9-го марта 1933 г.: “Все мои *mezza* пройдены, отвечать мне за будущее, которого нет, нечего, “опустошенный” бояться поздно... Важно, что и *ничем* помочь не могу. Я ничего не могу и не умею “делать”, ни варить суп, ни мыть полы, а то, что я еще умею — ни для кого не пригодно... Да, очень трудно “сообщаться” человеку с человеком. Святые, пожалуй, правы, что каждый из них общался с Богом, а с людьми молчал. Бог-то уж наверно поймет, и не как-нибудь, а как надо”. Но из ее последней (к сожалению, незаконченной) поэмы “Последний круг” с очевидностью следует, что до конца жизни Гиппиус не отходила от своих главных религиозных и идеалистических убеждений: любовь — это главное в человеческой жизни; любовь связывает небо и землю в одно неделимое целое; путь к любви ведет через хаос человеческих переживаний и через смиренное принятие на себя страданий на земле. Она не винила Бога в своем страдании; напротив, утверждая, что она была безмерно счастлива в течение всей своей долгой жизни, перед переходом в “бытие-небытие” она принимала на себя “расплату” за счастье, за любовь, за творческий талант.

Свое отрицание большевизма Гиппиус также сохранила до конца своих дней. Екатерине Михайловне Лопатиной, своей приятельнице в Париже, она писала 5-го июня 1939 г.: “Самое тяжелое — это всесветный триумф большевиков. Все им лижут пятки, особенно французы, и они в полном самоупоении наглости. И подчас — нет-нет — и возропщешь: доколе же, Господи!“. Из Италии, 14-го октября 1936 г., Гиппиус пишет Злобину, что она не может, не хочет верить в возможность новой мировой войны, “хотя от дубины Хитлера всего можно ждть”.

В Сочельник в 1943 г. в Париже Гиппиус сделала краткую запись в своем дневнике “О бывшем”: “Конец. Все умерли. Пока я жива, физически”. Мережковский скончался в 1941 г. Его смерть повергла Гиппиус в состояние страшной физической слабости и умственной протрации, что она выразила в четырех сжатых строчках:

Как эта стужа меня измаяла,
Этот сердечный мороз.
Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло,
Да нет слез... (С. 370)

Одинокая, усталая и далекая от всего происходящего в нашем трудном современном мире, Гиппиус умерла 9-го сентября 1945 г., так и не дописав своей книги “Д.С.Мережковский”.

Зинаида Гиппиус является одним из самых интересных людей своего времени, оригинальным религиозным мыслителем,

талантливым поэтом, представителем самой утонченной мировой культуры. По словам А.А.Волынского, Гиппиус “была поэтична насквозь... Культ красоты никогда не покидал ее ни в идеях, ни в жизни... Знакомство мое с Гиппиус <...> заняло несколько лет, наполнив их большой поэзией и великой для меня отрадой”¹². В поэзии Гиппиус четыре аспекта в традиции русской культуры — искусство, религия, метафизическая философия и общественно-политическая мысль — сливаются в одно гармоническое целое. Творчество Зинаиды Гиппиус, этой современной *Nurata*, может быть, и устаревшее в наш экзистенциальный, технологический и преступный век, все еще сохраняет в себе силу вдохновлять читателя видением духовной реальности, красоты и всеобъемлющей любви как основания идеального человеческого общества.

¹ Гиппиус З.Н. Стихотворения. СПб., 1999, “Новая Библиотека поэта”. С. 75. Далее номер страницы в тексте.

² R.M.Rilke “Liebe ist nur eine”, *Ausgewählte Werke*. Leipzig, 1948. Т. II. S. 382.

³ Ср.— Владимир Соловьев, “Смысл любви”. Собр. соч. СПб., 1911. Т. 1.

⁴ Голос жизни. 1914. № 7. С. 13–17.

⁵ Сияния. Париж, 1938. С. 11.

⁶ Гиппиус З.Н. Дневники. Т. 1. М., 1999. С. 133–134.

⁷ *Le Tsar et la Révolution*. Paris, 1907. На франц. языке.

⁸ Гиппиус З.Н. Дневники. Т. 1. М., 1999. С. 386, 387.

⁹ Гиппиус З. Зеленое кольцо. СПб., 1916. С. 145.

¹⁰ “Возрождение. Независимый лит.-политич. журнал. Париж. 1969. №№ 214, 215, 216, публикация Т.А.Пахмусс; см. также: Гиппиус З.Н. Дневники. Т. 2. М., 1999. С. 281–346. Письма Гиппиус, цитируемые далее — см.: *Between Paris and St.Peterburg: Selected Diaries of Zinaida Hippus*, ed. and transl. By Temira Pachmuss. Urbana-Chicago-London: University of Illinois Press, 1975. PP. 178–241; Pachmuss T. *Intellect and Ideas in Action*. München, 1972.

¹¹ “Последние новости”, ежедневная газета под ред. М.Л.Гольдштейна и П.Н.Милюкова. 27 августа 1920 — 11 июня 1940, №№ 1–7015. Париж. Гиппиус начала сотрудничать в ней с полемической заметки “Было не то. Письмо в редакцию” 9 апреля 1921 г. (вместе с Д.С.Мержковским).

¹² Минувшее: исторический альманах. Москва — Санкт-Петербург: Atheneum — Феникс, 1993. № 12. С. 275.

*Джованна Спендель,
Туринский Университет,
Италия*

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГИППИУС И РЕВОЛЮЦИЯ

Зинаида Гиппиус принадлежала к той части русской интеллигенции, которая с самого начала Первой мировой войны, рассматривая приближающуюся катастрофу царской России в социальном и религиозном свете, видела в этой катастрофе путь к конечной правде, к торжеству нового сознания. Гиппиус надеялась, что революция способна претворить ее теории в действительность, связывала свои надежды с апокалиптическими масштабами, верила, что революция приведет не к торжеству “грядущего хама”, а утвердит начало нового мира — мира свободы и веры.

Как известно, Гиппиус не один раз в жизни меняла отношение к собственным теориям, она всегда решительно отказывалась от предложений и ответов, если они удовлетворяли ее не до конца, всегда старалась достичь “последней правды”. Ее политические и общественные взгляды оставались неизменными в одном: идеал Гиппиус — осуществление Царства Божьего на земле под знаком церкви Третьего Завета. И она не случайно приветствовала Февральскую революцию 1917 года, призванную, по ее убеждению, пробудить творческие революционные силы в народе и превратить Россию в мир свободы, равенства и братства, в родину нового человека. Она встретила революцию с величайшим воодушевлением, она внимательно следила за политической жизнью, горячо ее обсуждала. Надежды на новое революционное правительство она связывала с Керенским, чья позиция ей наиболее близка. 9 марта 1917 г. она записала в дневнике: “Можно бояться, можно предвидеть, понимать, можно знать, — все равно: этих дней наших предвесенних, морозных, белоперистых дней нашей революции у нас уже никто не отнимет. Радость. И такая... сама по себе радость, огненная, красная и белая. В веках незабвенная. Вот когда можно было себя чувствовать со всеми <...>”¹

Свободу, равенство, братство Гиппиус видит не только в духовной и нравственной сфере, но и в социальной действитель-

ности. Февральская революция 1917 года, как и революция 1905 года, не оправдала надежд Гиппиус, ибо не освободила творческие силы русского народа и не способствовала углублению религиозного сознания.

В начале дневника — “Синей книги” — Гиппиус отмечает, что жизнь позволила ей и Мережковскому наблюдать вблизи исторические события и некоторых их участников:

“...ведь именно в Петербурге зарождались и развивались события. Но даже в самом Петербурге наша географическая точка была выгодна: мы жили около Думы у решетки Таврического сада”².

З.Гиппиус и Мережковский имели обширное знакомство среди петербургской интеллигенции, среди эмигрантов, среди людей, занявших во время революции ответственные посты. В дневнике представлены министры, политики, партийные деятели, издатели, генералы. Представлены картины тогдашней смуты, разрухи, шатания умов, разногласий и слепоты:

“В роковой момент не оказалось людей, не верят никому... мало верят у нас и главнокомандующему Николаю Николаевичу Романову, а знаменитую его прокламацию писали ему Струве и Львов (редактировали)”³.

Много строк отведено Керенскому. Отношение к нему на этих страницах меняется: “Керенский непоседлив и нетерпелив”⁴, — гласит одна из первых записей. Приходит революция — и единственная личность, способная к действию — это Керенский:

“В нем есть горячая интуиция, и революционность сейчасная, я тут в него верю. Это хорошо, что он и в Комитете, и в Совете”⁵. Но он был как бы между “двух берегов”. Он представлялся “самодержцем-безумцем и теперь — рабом большевиков”⁶. Более светлым, более надежным тогда казался Борис Савинков. С ним З.Гиппиус была связана узами давней дружбы, Ропшина-Савинкова можно считать ее литературным учеником.

Есть о Савинкове истинно драматическая запись в дневнике:

“В Савинкове — да, есть что-то страшное. И ой, ой какое трагичное. Достаточно взглянуть на его неправильное и замечательное лицо со вниманием”⁷.

Свидетельства Гиппиус о фантазмагорических днях, месяцах, годах революции и гражданской войны — это не только ее дневники, но и стихи, составившие сборник “Последние стихи”, и письма разных лет, и статьи, опубликованные уже в эмиграции, и биографическая работа о Мережковском. Существенным дополнением к свидетельствам самой Гиппиус служат воспомина-

ния о ней современников — например, книга Владимира Злобина “Тяжелая душа”⁸.

С первых же страниц дневника поражают духовное одиночество, недоумение, презрение к насилию, отчаяние, сострадание, которые решительно изменяют обычную тональность Гиппиус, на что обращает внимание В.Чалмаев:

“Современная словесность настолько утратила генетические связи, код великой культурной традиции, что, вероятно, нас удивит нечто ремизовское, а может быть, идущее от молений, плачей, даже в дневниках “гордячки” З.Н.Гиппиус”⁹.

Часто записи дня кончаются риторическими вопросами, мольбой, восклицаниями:

“Бедная Россия. Да опомнись же!” — 22 февраля 1917 г.

“Бедная земля моя. Очнись!” — 23 февраля

“Бедная Россия. Откроешь ли глаза!” — 24 февраля

“Господи, Господи! Дай нам разум!” — 3 марта¹⁰.

В “Черной книжке”, шестимесячном дневнике 1919 года (с июня по ноябрь), размышлений и анализа меньше, записи носят в основном фрагментарный, обрывистый характер, в них преобладают факты:

“Ночи стали темнее”.

“Надо продавать все до нитки. Но не умею, плохо идет продажа”.

“Лекарств нет”.

“Соли нет”¹¹.

Обращает на себя внимание обилие отрицательных глагольных конструкций (“Не имею”, “не раскрутишься”, “не живу” и т.п.) и частое употребление слова “нет”. С мужественной сдержанностью Гиппиус констатирует отсутствие самого необходимого для элементарного человеческого существования. Позже, в “Сером блокноте” (ноябрь 1919 — октябрь 1920), это “нет” превращается в протест против тех, кто создал невыносимые условия для существования вообще. Написанное заглавными буквами, усиленное тире и многократно повторенное, оно превращается в крик тотального обличения:

“Я утверждаю, что ничего из того, о чем говорят большевики Европе — *НЕТ*.

Революции — *нет*.

Диктатуры пролетариата — *нет*.

Социализма — *нет*.

Советов, и тех — *нет*”¹².

С февраля 1917 года Гиппиус делает ежедневные записи — отражение 289 неправдоподобно грозных и страшных дней. Иногда указывается даже точное время: так, первая запись 27

февраля, в понедельник, помечена 12-ю часами, последняя сделана глубокой ночью.

“Это был день, когда революция восторжествовала, решилась бесповоротно <...> День 1 марта <...> был, собственно, последний день революционной *радости*: той, что сияла на лице каждой встреченной глупой бабы, почти не умеющей читать”¹³ — пишет Гиппиус уже в своей книге о Мережковском. В ее февральских и мартовских стихах 1917 года еще слышны отголоски всеобщего энтузиазма:

“Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.
Там солнце со снегом целуется
И льет огнерадостный хмель”¹⁴.

И дальше о 1917 годе — по книге “Дмитрий Мережковский”:

“Говорили — “двоевластие”, но власть была у Советов. Правители не успели, задумались, не решились, не посмели подобрать ее, когда она валялась по улице. А она действительно валялась, потому что никакой серьезной борьбы у царского правительства с начинающейся революцией не было”¹⁵.

24 июня 1917 г. Мережковские с Дм.Философовым, который был тогда болен, уехали в Кисловодск и вернулись в страшный и грязный Петербург лишь 3 или 4 августа 1917 г. По городу разгуливали банды солдат. До октября оставалось два месяца...

Гиппиус и Мережковский становятся свидетелями Октябрьской революции, наблюдая за разворачивающимися событиями из окон своей квартиры на Сергиевской улице:

“Вот холодная, черная ночь 24–25 октября. Я и Д.С., закутанные, стоим на нашем балконе и смотрим на небо. Оно в огнях. Это обстрел Зимнего дворца, где сидят “министры”. Те, конечно, кто не успел улизнуть. Все эсеры, начиная с Керенского, скрылись”¹⁶.

В последующих записях все меньше комментариев, все больше информации, основанной как на фактах, так и на слухах. 25 октября в 10 часов вечера Гиппиус записывает в дневнике:

“Город до такой степени в руках большевиков, что уже и директория, или вроде, назначена: Ленин, Троцкий”¹⁷.

Гиппиус до конца жизни не изменит своего отрицательного отношения к большевикам: большевизм для нее несравненно хуже царизма, он — воплощение Антихриста.

“Только четвертый день мы под властью тьмы, а точно годы проходят”¹⁸, — пишет она в субботу 28 октября 1917 года.

Записи от 30 октября и 1 ноября фиксируют последовательное развитие событий:

“Ушедшая было “Аврора” вернулась назад вместе с другими крейсерами. Вся эта храбрая и грозная (для нас, не для немцев!) флотилия — стоит на Неве”¹⁹.

“Самое последнее известие: Керенский и не в Гатчине, а совершенно неизвестно где. Слух, что к нему собрался было ехать Луначарский (это еще что?), но Керенского нет”²⁰.

Гиппиус отдает себе отчет в том, что ее дневник перерастает значение личного документа. 2 ноября она сохраняет еще достаточно самообладания, чтобы прийти к такому выводу.

“Я веду эту запись не для сводки фактов, но и для усиленной передачи атмосферы, в которой живу. Поэтому записываю и слухи по мере их поступления”²¹.

“Синюю книгу” петербургских дневников 1914–1917 годов завершают строки записи от 6 ноября 1917 г.:

“Я кончу, видно, свою запись в аду <...> Очень страшно, что я сейчас скажу. Но... мне СКУЧНО писать. Да, среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне этого бессмыслия — скука. Вихрь событий — и неподвижность. Все рушится, летит к черту, и — нет жизни”²².

Мысли, чувства, физические и нравственные страдания этих дней еще более резко выражены в написанных тогда же стихах — например, в стихотворении “Тли”:

“Отврат... тошнота... но не страх”³⁰.

28 октября 1917. Ночью.²³

Образ русского народа, далекого от воплощения стихийности, сливается с образом рабов под властью Антихриста:

Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

29 октября 1917.²⁴

Кто для Гиппиус и близких ей людей был опорой “большевиков”, или, как она часто выражается, составлял “большевистское движение”? Это масса, которую составляют озлобленные социальным неравенством, политически несознательные рабочие; молодые, томящиеся от безделья солдаты, оторванные от своих деревень, склонные к насилию и грабёжам; уголовные элементы; романтики социальной революции, и, наконец, собственно “большевики” — идеологи диктатуры пролетариата. Последних Гиппиус считает самыми страшными из всего этого разношерстного сообщества. Гиппиус не понимала, так и не смогла понять, как вера в новое справедливое устройство общества спо-

собна уживаться с насилием над инакомыслящими. Перед торжеством извращенных духовных ориентиров поблекли, стали редкостью общечеловеческие идеалы. Наступили месяцы красного террора. Лавина люмпен-пролетариев силой навязывала обществу свою, теперь уже военно-коммунистическую, идеологию.

Отражение хода революции и анализ увиденного продолжают в “Сером Блокноте” — дневнике, который Гиппиус вела с 24 декабря 1919 года до отъезда из Петербурга (20 января 1920 года совершился переход польской границы). На страницах дневника предстает ужасающая картина голода, мрака, человеческой ненависти, постоянных обысков, холода, бескультурья новой власти. Большевизм в глазах Гиппиус хуже рабства, он убивает человека если не физически, то духовно, нравственно, постепенно превращая его в животное:

“Да, рабство, физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного. Разрушение, обвал всей культуры. Бесчисленные тела белых негров”²⁵.

Конечно, человек может привыкнуть к такому положению, коль скоро не умрет раньше. Правда, привыкнув, делается уже получеловеком — “апатичным, механичным, покорным”. Убожество жизни, разорение бывшей столицы в эти годы удручают:

“Вши, мешочники, мерзлый картофель, слякоть... и люди! Самый их облик, полумонгольские лица”.

До последней минуты пребывания в России Гиппиус отказывалась от малейшего сотрудничества с большевиками и с их печатными органами, предпочитая отсутствие заработков, и продавая то, без чего можно было обойтись: пианино, шубу, книги. В своем отказе сотрудничать с большевиками она настолько принципиальна и последовательна, что решительно порывает с друзьями и бывшими единомышленниками — В. Брюсовым, А. Белым и А. Блоком, которые приняли сторону большевиков. И не только с ними:

“Почти вся оставшаяся интеллигенция очутилась в большевических чиновниках. Платят за это ровно столько, чтобы умирать с голода медленно, а не быстро. К весне 1919 года почти все наши знакомые изменились до неузнаваемости, точно другой человек стал”.

Быть отверженной не значило быть побежденной. Свою участь Гиппиус приняла как неизбежность, и теперь оставалось только “скрепить душу железными полосами. Собрать в один комок”. Самообладание, внутренняя сдержанность, чувство собственного достоинства спасли ее от унижений. Зинаиду Гиппиус пытались скомпрометировать: писатель Н. Ясинский распространил сочиненную в Смольном историю, будто за “пайки и аван-

сы” супруги Мережковские изъявили готовность “написать биографический словарь всех выдающихся деятелей, способствовавших Октябрьскому перевороту”²⁶.

Дневник 1919 года пестрит гневными записями, которые, повторяясь, производят впечатление своего рода идеи-фикс; так, например, строки о Горьком, о Белом, о Брюсове, о Блоке (Гиппиус не может простить ему “Двенадцати”).

Когда, после победы большевиков над белой армией в Сибири и на юге России летом 1919 года, надежды на возможность политических перемен в стране окончательно рухнули, Гиппиус и Мережковский вместе с Дм.Философовым и В.Злобиным приняли решение покинуть Петербург — могилу на кладбище, каким виделась им Россия. Отъезд из Петербурга и бегство в Польшу описаны в “Царстве Антихриста”, изданном в 1921 году на нескольких языках; о жизни в Минске, Вильнюсе и Польше; о разочаровании в Пилсудском Гиппиус рассказала в “Варшавском дневнике” и в кн. “Дмитрий Мережковский”, увидевшей свет после ее смерти. В памяти навсегда остались перипетии этих дней и месяцев, связанные с послеоктябрьским жизненным и политическим опытом. Этот опыт нашел отражение в письмах Гиппиус, адресованных в разные годы разным людям. Вот, например, строки из письма Н.Бердяеву от 28 февраля 1923 года:

“...в России я фактически последние годы была лишена всякой возможности какой-нибудь работы...”²⁷.

4 ноября 1926 года — Н.Н.Берберовой и В.Ф.Ходасевичу:

“Я тоже все хуюе. Отчасти, впрочем, этому помогает и то обстоятельство, что жизнь нагло возрастает, и так как я еще в Совдепии приобрела привычку почти не есть, то пользуюсь ею нынче для баланса”²⁸.

А рядом с этими горькими высказываниями — любовь к оставленной Родине; крепнущие убеждения, что оставшиеся в России интеллигенты — “святые”; стремление бороться с большевиками всеми доступными средствами вплоть до организации вторжения; страстная полемика с коллегами-эмигрантами, идущими на компромисс или союз с новой властью. Вокруг была реальность эмигрантского бытия. А покинутая родина продолжала жить в другом, особом пространстве, в собственном “я” воспоминаний, где ненавистная Совдепия не имела ничего общего с Россией.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гиппиус З.Н. Дневники. Т. 1. М., 1999. С. 485.

² Там же. С. 381.

- ³ Там же. С. 389.
- ⁴ Там же. С. 442.
- ⁵ Там же. С. 466.
- ⁶ Там же. С. 558.
- ⁷ Там же. С. 540.
- ⁸ Злобин В. Тяжелая душа. University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1980.
- ⁹ Чалмаев В. Твой брат, Петрополь, умирает в кн.: "Под созвездием топора", Москва, 1991. С. 15.
- ¹⁰ Гиппиус З.Н. Дневники. Т. I. С. 446, 447, 449, 475.
- ¹¹ Там же. Т. 2. С. 210.
- ¹² Там же. Т. 2. С. 282.
- ¹³ Гиппиус З.Н. Живые лица. Воспоминания. Т. 2. Тбилиси, 1991. С. 296.
- ¹⁴ Гиппиус З.Н. Стихотворения. СПб., 1999. Новая Библиотека поэта. С. 218.
- ¹⁵ Гиппиус З.Н. "Дмитрий Мережковский" в кн.: "Живые лица...". Т. 2. С. 297.
- ¹⁶ Там же. С. 300.
- ¹⁷ Гиппиус З.Н. Дневники. Т. I. С. 589.
- ¹⁸ Там же. С. 593.
- ¹⁹ Там же. С. 597.
- ²⁰ Там же. С. 602.
- ²¹ Там же.
- ²² Там же. С. 395.
- ²³ Гиппиус З.Н. Стихотворения. С. 220.
- ²⁴ Там же. С. 220.
- ²⁵ Гиппиус З.Н. Дневники. Т. 2. С. 110.
- ²⁶ Ясинский Н.Н. Роман моей жизни. Книга воспоминаний, Москва, 1926. С. 258.
- ²⁷ Rachmuss T. Intellect and Ideas in Action. Из переписки З.Гиппиус. München, 1972. С. 147.
- ²⁸ Гиппиус З.Н. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ardis/Ann Arbor, 1978. С. 70.

Е. П. Мстиславская
РГБ, Москва

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ И З. Н. ГИППИУС
ЛИРИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
(1889—1903)

В октябре 1903 г. в московском издательстве “Скорпион” вышла в свет книга З. Н. Гиппиус “Собрание стихов. 1889—1903” (на титульном листе: 1904).

В то же самое время Д. С. Мережковский держал корректуру своего “Собрания стихов. 1883—1903”, которое вышло из печати месяцем позднее (с указанием на титульном листе — 1904) в том же издательстве, которым руководил В. Я. Брюсов. Издание этих книг вызвало многочисленные позитивные и негативные отклики и стало событием культурной жизни.

Литературная критика в какой-то мере была права, реагируя не столько на конкретное содержание и специфику этих книг, сколько делая выводы об общих тенденциях творчества авторов. Как и современников Гиппиус и Мережковского, нас поражает, насколько в этих двух книгах все созвучно, и как неизмерима разделяющая их пропасть. Подлинное значение книг обнаруживается при их сопоставлении и соприкосновении с глубинными проблемами духовной жизни поэтов.

“Собрание стихов” Мережковского — четвертая, последняя его авторская книга (переиздавалась в 1910 г.), которая имела значение итогового философско-эстетического манифеста на лирическом материале. После ее издания он, как известно, продолжал писать стихи, но уже никогда их не публиковал. Книга Гиппиус — первый ее авторский сборник, за которым с большими интервалами последовало еще четыре. Это не заключительный всплеск, как у Мережковского, а начальная веха лирической автобиографии. В нем поэтесса подытожила первый важный этап своего творческого пути. Он был связан с осознанием своего литературного призвания, выбором лирического героя, основных целей и задач лирического творчества, которое было обу-

словлено тайными процессами ее внутренней жизни, этически и религиозно-философскими исканиями.

Сборники стихов Мережковского и Гиппиус 1903 г. появились на завершающем этапе первого периода их совместной активной творческой, общественно-религиозной, политической и литературно-организаторской деятельности 1890 — начала 1900-х гг., направленной на объединение интеллигенции для решения коренных проблем современности. Это время ознаменовалось вспышкой религиозно-философских исканий в среде русской интеллектуальной элиты. Особенно заметным вкладом оказалось создание основ теории “Новой религии” Мережковским и, особенно, Гиппиус, организация и проведение Религиозно-Философских Собраний в 1901–1903 гг. Они были ориентированы на сближение усилий иерархов православной церкви и интеллигенции для привлечения внимания общества к проблемам религиозного сознания и ставили вопрос о роли Церкви в общественном движении. В работах большинства современных исследователей, например, Н.А.Богомолова и Г.В.Нефедьева¹, о литературе русского символизма, основное внимание уделяется, главным образом, изучению “эзотерических подтекстов” и “влияния всевозможных тайных учений и доктрин”. Оно, на наш взгляд, несправедливо вытеснило выяснение роли влияния традиционных православно-христианских и новейших религиозно-философских учений на творчество символистов. Учение о символе лежит не только в основе оккультных знаний, эзотерики, но и в основе всякой религии, в том числе православия и “Новой религии” Мережковских. Именно установки учения “Третьего Завета” оказали огромное влияние на их эстетические воззрения².

Окончательно структура книги стихов Гиппиус, как и сборника Мережковского, сложилась к середине 1903 г., вскоре после запрещения Религиозно-Философских Собраний³ и сближения с деятелями различных партий, принимавших участие в общественно-политической борьбе начала 1900-х гг., которая подготовила первую русскую революцию. Но первоначальная идея издания сборника стихов Гиппиус, судя по ее переписке с В.Брюсовым, падает на середину 1902 г., — то есть в разгар Собраний. Замысел издания сборника Мережковского совпадает с окончанием его работы над трилогией “Христос и Антихрист” (романом “Антихрист. Петр и Алексей”) и разработкой основ “Новой религии”. Появление этих двух сборников было явлением нового литературного направления — русского символизма, на формирование которого оказали заметное влияние Мережковские⁴. Символизм изначально, по неоднократным высказываниям Мережковского, Вяч.Иванова, А.Белого, В.Брюсова и

других теоретиков, “не хотел и не мог быть только искусством”⁵. Нравственно-этические, религиозно-философские и эстетические воззрения Мережковских, которыми они руководствовались в своем творчестве, основываются на принципах свободы духа, личности, общества и народа, моральном критерии ценности личностного начала. Вслед за Вл. Соловьевым они развивают далее учение о роли этики в прогрессе общества и личности и сущности нравственно-этической ценности личности. В значительной степени в непосредственной форме они получают отражение в их лирике. В сборнике Мережковского 1903 г. реализуются обусловленные этой концепцией существенные грани его миросозерцания, которые не находят воплощения в художественной прозе, драматургии, литературной критике, историко-культурных эссе, религиозно-философских трудах, своеобразно дополняя их. Здесь выражено “бытие внутреннего мира” не исторической личности, как в остальном его творчестве, а современной⁶. В лирической книге Мережковского — жизнь духа и сознания, философия личности современного человека 1880—1900 гг., которая не была предметом пристального внимания его как писателя-историка. Таким образом, его лирическая книга оказывается включенной в цепь “историософских” построений, фрагментов мировой истории, которая представлена в его романах, эссе и т.д. в соответствии с концепцией софийного начала в процессе исторической эволюции христианства, которая предстает как результат антагонистического противостояния Христа и Антихриста. “В определенном смысле все творчество Мережковского есть грандиозный по замыслу цикл, в центре которого судьба целого мира, целого человечества”, — отмечает современный исследователь⁷. В этом цикле каждому его произведению принадлежит особая роль, в том числе сборнику 1903 г., который посвящен проблеме самосознания личности 1880—1900-е гг.

В отличие от Мережковского, в сборнике Гиппиус нашли отражение идеи, которые заложены и в других проявлениях ее деятельности: литературной критике, прозе, драматургии, публицистике, мемуаристике.

В последней книге стихов Мережковского и первой Гиппиус у каждого по-своему воплотилась часть той программы, которая осуществлялась ими на рубеже веков. Эти книги объединяет то, что здесь идет речь о сущности кризиса сознания целого поколения русской интеллигенции по всем наиболее кардинальным вопросам: гносеологии, философии истории, общественного процесса, социальной мысли, философии религии, этики, эстетики, философии личности и возможностях выхода из этого кризиса.

В мировидении Мережковского и З.Гиппиус было много общего, но и концепция образа лирического “я” в их сборниках стихов 1903 г. и основная проблематика во многом глубоко различны. При всем том Мережковскому и Гиппиус свойственно единство лирической позиции — гражданский пафос, философичность, трагизм переживаний лирического “я”. Они рождены сознанием исторического перелома в судьбах России, собственной ответственности перед современниками и потомками, неудовлетворенностью действительностью и настроениями интеллигенции. Общность их воззрений сказалась и на сущности лирического “я”. Для Мережковского религиозно-философские искания — путь обретения подлинных нравственных ценностей и воплощения идеалов, преобразования действительности в духе идей “нового религиозного сознания”, Всеединства, Третьего Завета. Эти особенности лирического “я” поэта четко сказались в трех предшествующих сборниках Мережковского: “Стихотворения” (1883—1887) (СПб. 1888), “Символы” (СПб. 1892), “Новые стихотворения” (СПб. 1897). Отчасти это объясняется тем, что сборник Мережковского 1903 г. итоговый, куда вошли, как отмечает поэт в предисловии, “из прежних стихотворных сборников” “все стихи, которым автор придает значение, и все, напечатанное им за последние годы”.

В книгах Мережковского и З.Гиппиус 1903 г. присутствуют две совершенно различные модели понимания сущности личностного начала человека кризисной эпохи.

В сборнике Мережковского 1903 г., вопреки его философской концепции общественного деятеля, религиозного философа, прозаика, нашедшей отражение в ряде его стихотворений, не включенных в сборник 1903 г., — сложно и многогранно развивается тема нереальности воплощения в жизнь идеалов “Третьего Завета”, любви-единения. Тщательно рассматриваются обстоятельства катастрофически неразрешимого конфликта трех начал бытия: божественного, материального и человеческого, — который определяет мирозерцание его поколения. Идея преодоления этого конфликта — лишь надежда на возможность возникновения зиждательной гармонии (“Дети ночи”, “Волны”, “Двойная бездна” и др.).

В религиозно-философских трудах Мережковский приходит к идеалам “Новой религии”, “Третьего Завета”, суть которых в обретении путей к выходу человечества из состояния тупика к новым формам духовного взаимодействия между людьми — душевной гармонии. Его лирический герой предчувствует возможность нового мироустройства, но сам по себе чужд надежды на него. Напротив — это душа ожесточенная, изломанная и испол-

ненная болезненных и противоречивых ощущений, переживаний, разъедающих ее.

Трансформация лирического героя Мережковского в последнем сборнике — утверждение “ролевого” Я, воссоздание образа представлений и знаний человека поколения 1880—1900-х гг. в целом. Он обречен на бесконечные страдания из-за противоречий в его сознании знания и веры. Это делает невозможным для него воплощение в современной реальной жизни идеалов “Третьего Завета”. Социальный конфликт является лишь элементом более глобального конфликта, несущего катастрофические последствия для человека и общества. Отсюда ощущение болезненного состояния души лирического героя, окружающего его общества и природы. Состояние рефлексии порождает неспособность к жизненной активности. Оно осмысливается как необходимость достойного человеческого существования, но порождает стремление к покою и смерти (“Скука”).

Тема служения народу, достижения социальной справедливости, прозвучавшая в первых сборниках Мережковского, в последнем реализуется в иных — этическом и обобщенно-философском аспектах. В свете нового религиозно-философского учения поэт приходит к выводу о возможности новых путей достижения социальной справедливости: не с помощью социально-политического переворота, а духовного, нравственного перерождения общества. Эта тема является сквозной подтекстовой темой его сборника и зеркально отражается в книге Гиппиус. В сборнике Мережковского 1903 г. конфликт из социального плана перенесен в религиозно-нравственный и общеполитический. Безысходность общеполитического конфликта влечет за собой неразрешимость и социальных проблем.

Этим определяется то, что в сборник стихов Мережковского 1903 г. не вошли многие его стихотворения 1883—1903 гг., в которых эта проблема ставится иначе, чем в этой книге. Из известных стихов 1883 г. не включены в книгу: “Поэту”, “На распутье”, 1884 г. — “Кораллы”, “Поэту наших дней”, “Искушение”, 1887 — “Смерть Надсона”, “Кроткий вечер тихо угасает”, “Как летней засухой сожженная земля”, “Покоя, забвенья...” и мн. другие. В частности, нет здесь таких стихотворений, как “Краткая песня”, где дано мажорное описание одухотворенной природы. Кроме того, за пределами сборника оказались стихи, где воспевается тема “любви — воления” — всепобеждающего чувства, — например, “Поэт” (1894). Тогда как стихотворение “Темный ангел” (1895), отрицающее тему “любви-воления”, напротив, включено в сборник. Сюда включены только те стихи, кото-

рые отвечали единству основной темы книги. Все, связанное с философским оптимизмом, осталось за ее пределами.

Первое стихотворение сборника — “Бог” — вводит в тему богоискательства, которое определяет сущность лирического “я”. Этой идеей объясняется отношение к подлинным нравственным ценностям как предопределенным Богом (“Голубое небо”). Но путь искания Его и истинно религиозной нравственности, как видно из дальнейших стихов, — это путь страданий и одиночества. На них обрекает лирического героя непонимание окружающих, обусловленное широким распространением атеизма (“Morituri”, “Дети ночи”, “Изгнанники”, “Голубое небо”, “Темный ангел”, “Одиночество”). Подлинный критерий нравственности для Мережковского — любовь к ближнему. Но это неосуществимо для лирического героя книги 1903 г. (“Я хочу, но не в силах любить я людей...”, “Молчание”, “Признание”, “Любовь-вражда”, “Одиночество в любви”, “Проклятие в любви”). Любовь для него не только становится в реальной жизни проклятием, но превращается в свою противоположность — вражду (“Любовь-вражда”). Эта “любовь-вражда” распространяется не только на человека, но и на Бога, материальный мир, природу. Психологический барьер, который воздвигает между лирическим героем и окружающим миром “любовь-вражда”, рождает непреодолимое чувство одиночества (“Одиночество в любви”).

Все стремления души, неподвластные лирическому герою, осложнены борьбой противоречивых чувств, переживаний, которые изломали его душу и лишили его веры (“Одиночество”, “Пустая чаша”, “Парки”, “Волны”). Сознание того, что истинные духовные ценности невоплотимы (“De profundis”) приводит героя к трагическому ощущению, “Что — радость и печаль, И жизнь и смерть — одно и то же”. Оно рождает чувство душевной усталости (“Усталость”) и бессмысленности существования. С неизбежностью влечет к мысли о смерти, как к избавлению от страданий (“Парки”, “Скука”, “Что ты можешь? В безумной борьбе...”, “Старость”, “Волны”). Одной из сквозных тем сборника является мотив внутреннего бунта против обреченности человека на конфликт с Богом, материальным миром и обществом. Суть конфликта человека и Бога выражена в стихотворении “Усталость”, человека и общества — в группе стихотворений: “Я хочу, но не в силах любить я людей”... — “Проклятие в любви”. Смысл конфликта человека и материального мира (природы) — в другом: человек — смертен, природа — вечна, бессмертна, человек — существо страстное, мятежное, природа — спокойна и бесстрастна, человек — олицетворение духовности, природа — бездуховна (“Природа”, “Нирвана”, “Если розы тихо осыпают-

ся”, “Усни”, “Вечер”, “Весеннее чувство”, “Ноябрь”, “Осенью в Летнем саду”, “Успокоенные”, “Осенние листья”):

Кому страдание знакомо,
Того ты сладко усыпишь,
Тому понятна будет, Кома,
Твоя безветренная тишь... (“На озере Кома”)⁸

Покой и бесстрашие природы — это покой смерти.

В последней группе стихотворений сборника сходятся нити всех тем, затронутых ранее, и они разрешаются через катарсис в завершающем стихотворении (“Молитва о крыльях”).

Структура книги предельно сложна. Между тематическими группами стихов помещены отдельные стихотворения, которые несут особую смысловую нагрузку. Они обладают свойством сублимировать ряд тем, затронутых в нескольких тематических группах, между которыми возникают сквозные смысловые токи. Существенной чертой сборника Мережковского 1903 г., как и всей его лирики, является реализация сквозных тем и основного содержания сборника в его подтексте. Это осуществляется путем сопоставления и столкновения смыслов расположенных рядом стихотворений, как внутри тематических групп, так и между ними.

В целом структура книги стихов Мережковского 1903 г. открывает путь достижениям многих мастеров книги лирики “себряного века”. Это итог его совместной работы с В. Брюсовым в области создания авторской книги лирики как содержательной целостности, т.к. стихотворения для сборника были отобраны Мережковским, а скомпонованы В. Брюсовым, о чем писали Н.А. Богомолов и Н.В. Котрелев в работе “К истории первого сборника Зинаиды Гиппиус”⁹.

Посвящая свою книгу тем же проблемам, строя ее на основе тех же композиционных принципов, что и Мережковский, Гиппиус вкладывает в нее иной смысл. В сборнике Гиппиус преобладает оптимизм, основанный на уверенности в гармонии божественного, материального и человеческого начал бытия. У Гиппиус, как и в сборнике Мережковского, основная тема — отношение лирического героя к тем же коренным вопросам бытия. Но, в отличие от Мережковского, лирическое “я” Гиппиус является не “ролевым”, а выражением авторской личностной позиции, которое в значительной степени выступает реальным воплощением — свершающимся или свершившимся — идеалов “Третьего Завета”. Отсюда большой оптимизм и нередко мажорная тональность¹⁰. Здесь присутствует фиксация фактов преодоления конфликта личности с Богом, материальным миром и об-

ществом. Происходит внутреннее перерождение личности под воздействием идеалов “любви-воления” и “Новой религии” (“Наши мысли”, “Сны”, “Стариковы речи”). Хотя факты разочарования, рефлексии и болезненных состояний души свойственны, временами, и лирическому герою Гиппиус (“Пыль”, “Тихое пламя”, “Однообразие”, “Крик”, “Мертвая заря”, “Сосны”, “Глухота”, “Земля”, “Противоречия”, “Страны уныния”), Гиппиус, в отличие от Мережковского, как бы постоянно находится на пути преодоления того трагического общепило-софского конфликта, который составляет сущность сознания лирических героев сборников 1903 г. и основную особенность проблемы личности эпохи (“Бессилие”, “Белая одежда”, “Любовь одна”, “Родина”, “Мгновение”).

Уже в первой книге Гиппиус основная проблема ставится как нравственная, а не социальная. Компония стихи в сборнике тематическими группами, которые обладают, в отличие от книги Мережковского, размытостью границ, первую она посвящает проблеме богоискательства (“Песня”, “Посвящение”, “Бессилие”, “Баллада”, “Отрада”). Божественное и человеческое начала у Гиппиус — проявление Богочеловеческой сущности того и другого. В предисловии к сборнику Гиппиус пишет об этом: “Пока мы не найдем общего Бога, или хоть не поймем, что стремимся все к Нему — Единственному, — до тех пор наши молитвы, — наши стихи, — живые для каждого из нас — будут непонятны и не нужны ни для кого”¹¹.

Возникающая далее в ее сборнике тема смерти созвучна Мережковскому. Это проблема обретения душой человека вечной жизни — бессмертия (“Сонет”, “Цветы ночи”, “Иди за мной”, “Осень”, “Вечерняя заря”, “Молитва” и др.): В отличие от Мережковского, преодолению тяги к смерти и обретению подлинной духовности не за гробом, а на земле способствует чувство глубокой гармонии человека с одухотворенным Богом материальным миром — природой (“Баллада”, “Осень”, “Вечерняя заря”, “Вечер”, “Пыль” и др.). И особенно — углубление чувства “любви-воления”, которое сближает людей, освобождает их от оков одиночества и трагической разобщенности (“Любовь”, “Улыбка”, “Стук”, “Предел”, “Мертвая заря”, “Кровь”, “О другом”, “Страх и смерть”, “Соблазн”, “Ограда”, “Два сонета”, “Нагие мысли” и др.)¹². В конце книги — как предостережение — звучит тема страданий на жизненном пути человека, не верующего в идеи “любви-воления”, “Всеединства” и “Третьего Завета”.

Основные идеи книг Мережковского и З. Гиппиус 1903 г. возникли из общих принципов мировидения. Аурой Богочеловече-

ства, Всеединства и Третьего Завета объясняется идея нравственного самоочищения как пути пересоздания социально-политической структуры общества. У Мережковского — это итог его лирики от первого к последнему сборнику. Для Гиппиус — изначальная данность.

Отличительной чертой лирического героя Гиппиус является его способность на поступок, деяние. Именно благодаря этому его жизнь воспринимается как движение по жизненному пути¹³, тогда как лирический герой Мережковского обречен на состояние внутреннего созерцания, статики своего душевного состояния. Преобладание пессимизма в мировоззрении лирического героя Мережковского сказывается в обилии мотивов упоения печалью, страданием, ужасом (“Сталь”, “На озере Комо”, “Помпея”, “Так жизнь ничтожеством страшна”, “Две бездны”).

Некоторые черты общности, свойственные лирическим героям этих двух сборников, проявляются в общности пафоса, как мы уже говорили. Кроме того, некоторые моменты жизненного пути лирического героя Гиппиус озаменованы переживаниями, которые сходны с обычным состоянием сознания лирического героя Мережковского. Но, если для лирического героя Гиппиус это только временные явления (например, разочарование в возможностях “любви-воления” “Мережи”, “Костёр”, “Страны уныния”, “Нет”, “Зеленое, желтое, голубое”, “Пауки”), которое затем сменяется противоположными ощущениями (“Сны”, “Спасение”, “Вместе”, “Алмаз”, “Нагие мысли”, “О вере”, “Луна и туман”, “Белая одежда”, “Электричество”, “Стариковы речи”), то для героя Мережковского они константны. Например, лирическому герою Гиппиус пришлось пережить момент неуверенности во всепобеждающей силе любви-воления: “Друзья! Вы мне не помогли. В тот час, когда спасти любовью Вы сердце слабое могли...” (“Мертвая заря”, 1901). Но он сменяется ее утверждением (“Стариковы речи” и др.). Гиппиус декларирует эту ситуацию от имени лирического героя: “В моей душе, на миг опустошенной...” (“Опустошение”).

Сборник Гиппиус отличен от книги Мережковского преобладанием религиозно-молитвенного начала, о котором она писала в своем предисловии к сборнику: “Я утверждаю, что стремление к ритму, к музыке речи, к воплощению внутреннего трепета в правильные переливы слов — всегда связано с устремлением молитвенным, религиозным, потусторонним, — с самым глубоким таинственным ядром человеческой души”, убеждением, “что все стихи всех действительно-поэтов — молитвы”.

Ее лирическому герою свойственно временное сомнение в Боге, что православно-христианской религией всегда расценива-

лось как проявление греховного начала в человеке. Божественное начало в его душе, в отличие от Мережковского, побеждает (“Нескорбному учителю”, “О другом”, “Что есть грех?”).

Таким образом, сборники Мережковского и Гиппиус 1903 года, взаимоисключая, дополняют друг друга. Мережковский ставит основные проблемы личности и эпохи, Гиппиус намечает их решение.

На формирование поэтики и стилистики, структуры книги Мережковского особенно большое воздействие оказало стремление вскрыть общефилософские корни конфликта человека и всех начал бытия. Восприятие всех форм и проявлений существования духовного и материального начал, макрокосма и микрокосма человеческой души как нескончаемой и непримиримой борьбы противоречий — составляет основу мироосозерцания его лирического “я”. Исходно диалектический подход к оценке всех явлений действительности в силу метафизического их решения привел к антиномичности его сознания. Антиномичность восприятия мира сказывается уже в первом сборнике (“На распутья” и др.), но значительно усиливается с начала 1890-х гг., определяя своеобразие сборника 1903 г., его единство и целостность. Противоречивость сознания лирического героя свойственна и лирике Гиппиус. Она возникает под несомненным влиянием Мережковского, обуславливая известное сходство их поэтики и стиля. Но если внутренние противоречия сознания затрагивают только лирику Гиппиус, то у Мережковского они пронизывают все сферы его творческой деятельности, определяя своеобразие его миропонимания (“Христос и Антихрист” и др.). В лирике Гиппиус, как и в остальных произведениях и религиозно-философских установках, антиномичность стремится к положительному исходу. В поэзии Мережковского — имеет статус трагического конфликта. Смысл и содержание одних и тех же антиномий (человек и природа, любовь и вражда, свобода и рабство, покой и борьба, печаль и радость и т.д.) в сборниках 1903 г. двух поэтов трактуются совершенно различно.

Важнейшей темой, сравнительно мало занимающей лирического героя Гиппиус, в книге Мережковского становятся антиномии “человек и природа” и “человек и общество”, которые отражают коренные проблемы бытия и вытекают из антиномии “духовности — бездуховности”.

Смысл антиномии “человек и природа” у Мережковского сводится к тому, что человек противосущен миру природы как духовное начало бездуховному, несмотря на бесконечную опьяняющую красоту природы (“Весеннее чувство”), из-за болезненного уродливого излома человеческой души (“Волны”, “Нирва-

на”, “Весеннее чувство”, “Март”, “Осенние листья”, “Природа”, “Ноябрь”, “Нирвана” и др.). “Духовность — бездуховность” — сквозная антиномия, связывающая отдельные мотивы и порождающая цепь дальнейших антиномий, основанных на контрасте духовности и бездуховности. Она представляет стройную законченную систему. Покой природы — покой бездуховности (“Смех богов”, “На озере Комо” и др.). Красота природы — олицетворение прекрасного и страшного по сути бесстрастия, недостижимого для человека. Ей противопоставлена вечно мятущаяся, борющаяся с собой и окружающим миром человеческая душа, олицетворением прекрасного для которой является состояние борьбы (“Сталь”, “Титаны”, “Рим”). Истоки этой антиномии отчасти кроются в литературной традиции, как ее воспринимал Мережковский (см. его толкование “Цыган” А.С.Пушкина). У Гиппиус толкование этого противопоставления иное: природа близка человеку. Природа выступает как одухотворенное Богом начало жизни, одухотворенная плоть, что отвечает положениям “Новой религии”. Созерцание природы рождает ассоциации с глубочайшими катаклизмами, которые потрясают человеческие души (“Баллада”, “Осень”, “Вечерняя заря”, “Вечер”, “Пыль” и др.). В сборнике Гиппиус даны развернутые, тщательно выписанные образы природы. В ткань стихотворений Мережковского она вкрапливается отдельной деталью, которая созвучна или противоположна состоянию души лирического героя (за исключением стихотворения “Март”). У Гиппиус природа приближает лирического героя *к жизни* (“Баллада”, “Нить”, “Богиня”, “Снег”). В книге Мережковского — *к смерти* (“Осенью в Летнем саду”, “Ноябрь”, “Осенние листья”, “Если розы тихо осыпаются”, “Весеннее чувство”). Подобные настроения бывают и у лирического героя Гиппиус, но они преходящи (“Иди за мной”, “Цветы ночи”, “Осень”). В сборнике Мережковского сущность одухотворения природы сводится, главным образом, к созданию образа ущербной природы (“Волны”, “Нирвана” и др.). Иногда лирический герой Мережковского отдается радости сопереживания красоте природы (“Весеннее чувство”, “Март”). Но и в этих случаях оно приближает героя к мысли о смерти. По большей части природа враждебна человеку (“Смех богов”). Природа у Гиппиус выступает провозвестником трепетного начала душевных тревог не жизни, а смерти как обретения человеком духовности.

Антиномии “жизнь и смерть”, “смерть и бессмертие” тесно взаимосвязаны у Мережковского и представляют два полюса одного тематического ряда (“Что ты можешь? В безумной борьбе...”, “Волны”, “Если розы тихо осыпаются”, “Скука”, “Ста-

рость”, “Март”, “Осенние листья”). Тема смерти занимает существенное место в сознании лирического “я” Мережковского как дальнейшее развитие антиномии “человек и природа”. Человек — смертен, природа — бессмертна (“Волны”, “Весеннее чувство”). Другой аспект темы смерти — освобождение от земных страданий (“Освобождающая мука Давно желанного конца”) и обретение вечной жизни (“Старость”).

В сознании лирического героя Гиппиус царит иная система представлений. Ему не в меньшей степени, нежели у Мережковского, свойственны противоречивость и борьба противоположных ощущений и переживаний. Но не как раздвоенность, а как закономерно обусловленная внутренним развитием его характера смена противоположных состояний в движении по жизненному пути. Лирическому герою Гиппиус вначале свойственно стремление к смерти, как обретению покоя. Но в дальнейшем тяга к смерти преодолевается привязанностью к земным радостям, упоением жизнью. Для лирического героя Мережковского характерны колебания, но не в убеждениях, а в настроении. Поэтому его отношение к смерти неизменно.

Взаимообусловлен другой ряд антиномий Мережковского “покой и борьба”, “печаль и радость”, аналогично разрешающихся у него и Гиппиус. Ощущение страдания, печали, горести как болезненных проявлений душевной жизни у них обоих ассоциируется с состоянием покоя как бездействия и безжизненности. Но у Мережковского — в отличие от Гиппиус — связано с представлением о бесстрастном покое природы (“Природа”, “Успокоенные”, “Сталь”, “На озере Комо”, “Пантеон” и др.). Состояние душевной активности неотделимо от представлений о радостях жизни, даже если борьба носит печать трагизма (“Молитва о крыльях”).

Еще одна цепь антиномий связана с понятиями “духовности-бездуховности”: “любовь — вражда” и “рабство — свобода”. В представлении лирического “я” Мережковского понятие любви неотделимо от понятия “рабство”, которое пронизывает взаимоотношения человека с Богом, с другими людьми (“Любовь-вражда”, “Признание”, “Одиночество в любви”, “Проклятие любви”, “Волны”). Любовь как рабское чувство воспитывалось веками, по мнению Мережковского, и составляет неотъемлемую особенность православно-христианской этики. Оно распространяется и на отношения с Богом, и на отношения с окружающими людьми. Поэтому чувство любви перерастает в чувство вражды или противоречиво-взаимоисключающее чувство любви-вражды, которое основано на извечном стремлении человека к внутренней свободе, заложенной в него Богом (“Две песни шута”).

Иначе трактуется тема любви в книге Гиппиус. Здесь это чувство, основанное на “волеии”, заключает в себе преобразующий жизнь и человеческую душу смысл (“Два сонета”, “Кровь”).

В непримиримой антиномичности бытия и сознания лирический герой Мережковского видит сущность мирового зла. У Гиппиус оно кроется в разобщенности людей и чувстве одиночества, однако, преодолимом. Истоки проблемы одиночества лирического “я” в сборниках Мережковского и Гиппиус различны. У Гиппиус — это чувство исключительности, неповторимости своего “я” (традиционный романтический конфликт, осложненный сознанием исповедания иных нравственных ценностей — “Новой религии”), сознание самоценности человеческой личности. У Мережковского причина одиночества в невозможности претворения в жизнь своих нравственных идеалов. И у Мережковского, и у Гиппиус — основа нравственного идеала — чувство любви к ближнему. Но если у Гиппиус этот идеал находит конкретное воплощение в “любви — волеии”, то для лирического героя Мережковского он неосуществим.

При несомненной общности проблематики вся глубина расхождения в ее решении в сборниках Мережковского и Гиппиус 1903 г. приводит к существенным различиям в поэтике и стилистике, образном строе. У Мережковского преобладает медитация, у З.Гиппиус — декларативность прямого высказывания, ораторская интонация. Впрочем элементы риторичности пронизывают и лирику Мережковского. Поэтическое высказывание в их сборниках 1903 г. тяготеет к афористичности.

В книгах Мережковского и Гиппиус отличны приемы композиции стиха. В основе структуры наиболее характерных и значительных стихотворений Мережковского лежит цепь антиномичных образов, логически вытекающих из заданной в начале стихотворения поэтической формулы (“Дети ночи”, “Две бездны” и др.). Для большинства стихотворений Гиппиус характерна двухчастная композиция, в основе которой лежат одно-два противопоставления. Сравним начальные строки стихов Мережковского и З.Гиппиус этих книг. Их содержание свидетельствует о том, что стихотворения Мережковского сразу вводят в мир отвлеченно-философского размышления этического характера. Стихи Гиппиус начинаются с конкретного реально-жизненного, бытийного явления, реалии бытия:

З.Г.: Окно мое высоко над землею

М.: О, Боже мой, благодарю

З.Г.: Небеса унылы и низки

М.: Мы бесконечно одиноки

З.Г.: Сырые проходы под светлым Днепром

М.: Есть радость в том, чтоб люди ненавидели

З.Г.: Предутренний месяц на небе дрожит

М.: Я людям чужд и мало верю

З.Г.: Смотрю на море жадными очами

М.: О, темный ангел одиночества

З.Г.: Глухим путем, неезженным

М.: Поверь мне, люди не поймут

З.Г.: Не страшно мне прикосновенье стали

М.: И хочу, но не в силах любить я людей

У Мережковского во всем сборнике есть лишь несколько стихотворений, начинающихся с конкретного, бытийного факта: "Пустая чаша" ("Отцы и дети, в играх шумных"), "Две песни шута" ("Если б капля водяная"), "Если розы тихо осыпаются", "Вечер" ("Горят и блещут с вышины"), "Март" ("Большой, усталый лед"), "Ноябрь" ("Бледный месяц — на ущербе"), "Осенью в Летнем саду" ("В аллее нежной и туманной"), "Осенние листья" ("Падайте, падайте, листья осенние"), "Мать" ("С еще бессильными крылами"), "Сталь" ("Гляжу с улыбкой на обломок"), — которые составляют единую тематическую группу.

У Гиппиус тоже лишь малую часть объемного сборника составляют стихи, открывающиеся отвлеченными понятиями ("Отрада", "К пруду", "Крик", "Надпись на книге", "Пыль", "Улыбка", "Соблазн", "Любовь", "Не знаю", "Христианин").

Стихотворения Мережковского обычно начинаются с эмоционально сильной строки, часто афоризма. Первая строфа концентрирует основной смысл стихотворения. У Гиппиус аналогичная смысловая нагрузка падает на последнюю строфу.

Различна у поэтов и семантика одних и тех же антиномичных слов-образов. Слова-образы ("жизнь" и "смерть") в антиномиях Мережковского и Гиппиус несут принципиально разную смысловую нагрузку. В лирике Мережковского эти слова-образы отражают глубинные процессы человеческого сознания и прежде всего относятся к области морали, этики. В книге Гиппиус те же слова-образы являются носителями другого рода философско-понятийных суждений. Они связаны с областью наблюдаемых поэтессой бытийных процессов в жизни человека, материального мира и психологии личности. Семантика противоречивых слов-образов в сборнике Гиппиус тяготеет к иным, чем у Мережковского, семантическим полям — связанным с понятиями материального мира, и вытекает из наблюдения над жизнью природы и бытом человека.

На уровне бытийном, что весьма характерно для книги Гиппиус 1903 г., у ее лирического героя возникает твердая убежденность в возможности преодоления противоречий: "Я к солнцу, к

солнцу руки простираю, И вижу полог бледных облаков... Мне кажется, что истину я знаю — И только для нее не знаю слов". Таков заключительный аккорд стихотворения "Бессилие" и лейтмотив всего сборника Гиппиус. Очень часто, когда подобное бытийное противоречие осознается лирическим героем Гиппиус, оно им преодолевается: "Не может сердце жить изменой. Измены нет: любовь — одна". Ср. у Мережковского, где антиномии на уровне сознания непреодолимы: "Меж тем, забыться не давая. Она растет всегда, везде, Как смерть, могучая, слепая, Любовь, подобная вражде". Диалогичность этих книг очевидна.

Учитывая все отмеченное выше, можно догадаться, почему именно Гиппиус в книге стихов 1903 г. удалось создать яркий образ — модель сознания, преодолевающего безысходную антиномичность. По своей сути здесь выражена основная идея религиозно-философского учения Мережковского в гносеологическом аспекте, но на бытийном материале. В подтексте эта идея реализуется на уровне сознания в стихотворении "Электричество", особенно близком, по его признанию, самому Мережковскому:

Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То "да" и "нет", — не слиты,
Не слиты — сплетены.
Их тесное сплетенье
И темно и мертво.
Но ждет их воскресенье,
И ждут они его.
Концов концы коснутся -
Другие "да" и "нет",
И "да" и "нет" проснутся,
Сплетенные сольются,
И смерть их будет — Свет¹⁴.

Сущность сознания лирического героя Гиппиус и те его качества, которые позволяют ему пройти трагическим путем борьбы, борьбы противоречивых глубинных устремлений духа, связаны с разочарованиями на пути уяснения предназначения материального мира и человека и их реальных возможностей в земной жизни. Надежда выйти из этой борьбы победителем с твердой приверженностью любви, Богу, жизни и человеку ("Вечер", "Улыбка", "Мгновение", "Любовь") наиболее прозорливо сформулирована Гиппиус в стихотворении "Электричество", где декларируется способ преодоления раздвоенности.

У Мережковского антиномично само сознание лирического героя, который мучим и раздираем противоречиями, испытывает

одновременно противоположные чувства. Это приводит его к утрате нравственных устоев и к убеждению в ущербности собственной личности. У лирического героя Гиппиус сознание этим не отравлено. В сборнике Гиппиус противоречиво то, что окружает лирического героя: внешний мир, природа, общество, — то, что относится к сфере бытия, а не личностного сознания лирического героя. Именно поэтому ее лирический герой, проходя путем трагических исканий, переходит от убеждений к разочарованиям до тех пор, пока не возобладает светлое начало. Но и на протяжении этого пути, в отличие от безысходного трагизма сознания лирического героя Мережковского, в книге Гиппиус преобладает убежденность в силе любви-воления, божьей благодати и возможности земного счастья.

Поэтика стихотворений З.Гиппиус строится на сращении отвлеченно-обобщающих образов, символизирующих суть душевных ощущений и переживаний лирического героя и его мироздания, и конкретно-чувственных реалий окружающего бытия — мира. Они как бы наталкивают лирического героя на те или иные умозаключения, вызывая в его представлении определённые тем или иным моментом существования ощущения.

Огонь под золою дышал незаметней,
Последняя искра, дрожа, угасала,
На небе весеннем заря догорала,
И был пред тобою я все безответней,
Я слушал без слов, как любовь умирала... (“Конец”)¹⁵

Если у Мережковского появляется образ неба, весны или еще какое-либо конкретное изображение, то он несет символическую образную нагрузку и фигурирует в отвлеченном значении. “Лазурь небесная тиха” — казалось бы, конкретный образ природы. Но ему придан символический обобщенно-философский смысл:

И вновь, как в первый день создания,
Лазурь небесная тиха.
Как будто в мире нет страданья,
Как будто в сердце нет греха. (“Нирвана”)¹⁶

Таким образом, у Мережковского реалии бытия, если они и используются, лишены своего конкретно-чувственного содержания, в отличие от Гиппиус. Стихотворение “Вечер” у Мережковского не является исключением. Его концовка снимает конкретно-чувственную напряженность всего стиха в целом, придавая образу природы обобщенно-философский характер, а не конкретный, как в одноименном стихотворении Гиппиус.

В тех случаях, когда Гиппиус касается в книге лирики 1903 г. проблем сознания, неизбежно возникает созвучие постановки и решения проблемы, тональности стихотворения — с лирикой последнего сборника Мережковского (“Предел” и др.).

Большой редкостью в книге Гиппиус являются стихи, поэтика которых полностью соответствует поэтике Мережковского (“До дна”). Но в отличие от Мережковского, на лирическом герое Гиппиус лежит печать дерзновения и силы внутреннего преобразования. Об этом поэтесса пишет в дарственной надписи Г. Чулкову от 7 апреля 1904 г. на книге своих стихов: “Имеющие силу дерзновения — Покорны и скромны; На них лежит сияние смирения И тишины.” “Сияние смирения и тишины” — состояние душевного покоя и покорности судьбе и Богу, т.е. приятия жизни во всех проявлениях, в отличие от лирического героя Мережковского. Таким образом, лирический герой Гиппиус книги 1903 г. постоянно находится на пути *преодоления* внутреннего душевного смятения. Факт его преодоления, явственно ощущаемый поэтессой, фиксируется в дарственной надписи на сборнике Чулкову, которая звучит заключительным аккордом к ее трактовке основного смысла сборника как целостности.

Лирическое творчество было только одним из проявлений различия своеобразия мышления, эстетической позиции, эмоционально-психологической структуры личности Мережковского и Гиппиус (при цельности их союза). В их лирике воплотился в творческом взаимодействии комплекс философских, общественных, политических, религиозных, этических и эстетических идей, в своей основе имевших как много общего, так и различного. Как расходились Мережковский и Гиппиус во многих оценках и вопросах, так же глубоки были различия и в трактовке задач лирического творчества, специфики лирического “я”, вылившегося в их конфронтационный диалог. С особенной отчетливостью это проявилось в их сборниках стихов 1903 г.

¹ Нефедьев Г.В. От спиритизма к антропософии (два документа к биографии Эллиса) // Новое литературное обозрение. М., 1999. № 39; Богомолов Н.А. Гумилев и оккультизм. Продолжение темы // Новое литературное обозрение. М., 1997. № 26.

² См. об этом: Мстиславская Е.П. Последний сборник стихов Зинаиды Гиппиус (К проблеме интерпретации содержания) // Пером и прелестью. Женщины в пантеоне русской литературы. [Сб. статей] / Под ред. Ванды Лящак и Дарьи Амброзьяк. Ополе., 1999.

³ См. материалы об этом в Отделе рукописей РГБ, ф. 686, к. 82, ед. хр. 36, лл. 24, 31, 42–44.

⁴ Лавров А.В. Зинаида Гиппиус и ее поэтический дневник // Гиппиус З.Н. Стихотворения / Вступит. ст, сост. и примеч. А.В.Лаврова.. (Новая библиотека поэта). СПб., 1999. С. 21 и след.

⁵ Мережковский Д.С. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. — СПб., 1908; Иванов Вяч. Заветы символизма // Аполлон, 1910, № 8 и др.

⁶ Колобаева Л.А. Тотальное единство художественного мира (Мережковский — романист) // Д.С.Мережковский: Мысль и слово. — М., 1999. С. 11 и далее.

⁷ Там же. С. 7.

⁸ Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. Новая Библиотека поэта. С. 502.

⁹ Богомолов Н.А., Котрелев Н.В. К истории первого сборника Зинаиды Гиппиус // Русская литература. 1991. № 3. С. 127.

¹⁰ Об этом см.: Лекманов О. Из заметок об акмеизме // Новое литературное обозрение. М., 1998. № 31(3). С. 267.

¹¹ Гиппиус З.Н. Собрание стихов. 1889—1903. — М., 1904. С. VI.

¹² Эта особенность была отмечена в работе: Азадковский К.М., Лавров А.В. З.Н.Гиппиус. Метафизика. Личность. Творчество // Гиппиус З.Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Л., 1991.

¹³ См. Лавров А.В. Зинаида Гиппиус и ее поэтический дневник. С. 37—39.

¹⁴ Там же. С. 111.

¹⁵ Там же. С. 105.

¹⁶ Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 499.

Р.Д.В. Томсон
Университет г. Торонто.
Онтарио, Канада

ВСТРЕЧА В ТАОРМИНЕ: ТРИ РЕДАКЦИИ ОДНОЙ ИСТОРИИ

В 1898 г. Зинаида Гиппиус и Мережковский провели месяц в Сицилии, в Таормине на вилле *Guardiola*, принадлежащей семейству Рейфов. Там они познакомились с фотографом-художником, *Henri Briquet*, и с англичанкой, *Miss Middle*, и ее приемной дочерью, баронессой *Elizabeth Overbeck*. События этих дней оставили глубокий отпечаток в душе Гиппиус. Она подробно описывает их три раза: сразу по возвращении в Петербург, в своем интимном дневнике, *Contes d'amour*, потом в рассказе "Небесные слова" (1901), а к концу жизни в "Мемуарах Мартынова" (1927—32). Для краткости назову эту группу произведений "таорминским циклом". В них можно проследить эволюцию сложного авторского понятия любви.

Любовь занимает центральное место в мировоззрении Гиппиус, но ее высказывания на эту тему отмечены глубокой противоречивостью, коренящейся в ее личности. Для нее подлинная любовь может быть только между равными; там, где один сильнее, а другой слабее, не может быть настоящей любви. Но в то же время она убедилась, что женщина вообще — низшее существо, ограниченное своей физиологической натурой¹, и даже себя она не считала исключением из этого правила. Вот почему, мне кажется, она так часто в своих отношениях с другими впадала в роль то подчиненной, то подчиняющей. Эти парадоксы особенно ощутимы в таорминском цикле. В дневнике повествование ведется от лица самой писательницы; в двух же повестях — от мужского лица — вымышленного рассказчика. Так как любовь во всех трех вариантах трактуется преимущественно как гомосексуальная, колебание между мужской и женской личностями рассказчика-рассказчицы вносит двусмысленность и в описания "нормальной" любви (слово принадлежит Гиппиус), и это становится особенно заметно при явно автобиографическом характере всей истории.

В идеале любовь — это мост, соединяющий духовное и плотское, земное и небесное в человеке; на деле же Гиппиус мучилась не только сознанием своей чувственной натуры, но и почти неодолимым отвращением к телесному контакту. Плотскую любовь она считала грешной, если та не освящена Божьей любовью. Но и здесь сознание подлинной любви часто омрачается у нее опасениями обмана, какого-то дьявольского подмена, как, например, в рассказе “Сокатил” (1907). Такие же противоречия можно найти и в подходе Гиппиус к близкому понятию красоты (то ли природы, то ли искусства), неотделимому в ее представлении от любви. Здесь тесно, как, наверно, и в сознании Гиппиус, переплетены психологические комплексы и религиозные стремления.

Знаменателен в этом отношении рассказ “Мисс Май” (1895), в котором, сама того не подозревая, Гиппиус предугадала многие черты таорминского цикла. Действие происходит в Малороссии, в семейном доме главного героя рассказа, Андрея Николаевича. Дом окружен большим парком с фруктовым садом, лесом и прудом. Все готовятся к предстоящей свадьбе Андрея Николаевича и его невесты, Кати. Скоро приезжает Катя с большой компанией друзей и родственников, среди них мисс Май Эвер, служившая компаньонкой при старой тетке Андрея. Мисс Май — англичанка, но говорит она по-русски свободно, хотя и с легким акцентом.

“Так говорят дети, едва переставшие картавить. Голос у нее был негромкий, но и не глухой. Среди звуков природы он, вероятно, не нарушал бы гармонии, потому что в нем не было резкости, свойственной человеческому голосу”².

Она иностранка, вся “не от мира сего”; ее голос музыкален, гармоничен, не похож на человеческий; несмотря на летний зной все в ней тихо и прохладно. Она обычно одевается во все белое, и Андрею она кажется живым олицетворением ангела-серафима³.

Мисс Май и Андрей Николаевич скоро сближаются: у Андрея “чувство, никогда раньше не испытанное, похожее на необъятную тоску и желание броситься вниз, в пропасть без дна, — сжало грудь до физической боли”⁴. Недаром Катя ревнует, презрительно отзываясь о ней: “Гувернантка, топорщится, как баронесса”. К концу рассказа мисс Май и Андрей объясняются в любви:

“Пошли так, обнявшись, куда-то вниз, должно быть, к пруду. Кругом стоял шум, шорох, шелест, и шепот летней ночи, темной, с черно-синим небом и большими лучистыми звездами. Вот и пруд, застывший, неподвижный, как бездонная яма⁵.”

В творчестве Гиппиус часто противопоставляются образы высшего и низшего, света и тьмы, а их примирение передано звездной ночью над пропастью. Знаменательно поэтому, что двое любящих движутся не вверх, как обычно в идеалистической литературе, а вниз, во тьму. Пропать и бездна — со времени Тютчева символы хаоса, то ли внешнего, т.е. стихийного, то ли внутреннего, т.е. подсознательного. Они вызывают не только страх и даже ужас, но и желание слиться с ними, притягивают к себе. Символ, таким образом, глубоко двойствен: он содержит в себе, с одной стороны, запредельные стремления автора, а, с другой — возможность подмена, соблазна. Готовность Андрея Николаевича отдаться этим силам должно понимать как проявление абсолютного доверия и любви. Но равновесие не может долго длиться. Раз признавшись в своей любви, герои ничего больше не хотят, и они расстаются. В конце концов, кажется, торжествует высшее начало, но, согласно парадоксу, характерному для З.Гиппиус, мисс Май поясняет, что подлинная любовь не может держаться на такой высоте, и должна неминуемо, под давлением быта, погибнуть, пройти, так же, “как апельсины падают с веток”⁶. После этого объяснения вся атмосфера рассказа, да и отношения мисс Май и Андрея Николаевича, меняются. Вместо пролады наступает жара:

“Лето было в разгаре. Все распустилось, разошлось, каждый лист раскрылся полным бесстыдством, не оставляя места никакой тайне. Солнце жгло и жарило. Пахло пылью и горячей смолой. Нигде не было отрады. <...> Лицо (мисс Май — Р.Т.) было еще бледнее, прозрачней, меньше, спокойные всегда глаза были грустны, точно весь этот летний зной, эта грубая сила природы, сменившая нежность, была враждебна ей..⁷”

Новые понятия, — “жара”, “бесстыдство”, “грубость”, “потеря тайны”, — разрушают кратковременную идиллию и намекают на перевес в сторону земного, плотского. Рассказ кончается отъездом мисс Май и возобновлением приготовлений к свадьбе Андрея Николаевича и Кати.

В отношениях Андрея Николаевича и мисс Май заметно какое-то неравенство. Он — робкий, безвольный, охотно отдается в ее власть и только смутно понимает, что с ним происходит;

она же, несмотря на свою “детскость” — всепонимающая и ведущая: она больше говорит, он больше слушает и молчит. Читая этот рассказ, сначала не видишь в нем автобиографического подтекста. Однако в свете таорминских событий напрашивается именно такая интерпретация рассказа “Мисс Май”. Многие, казалось бы, чисто орнаментальные детали раннего рассказа, например, балкон, скамейка, лестница, апельсиновый цвет, даже “англичанка-баронесса”, возникают вновь в таорминском цикле.

Действие теперь происходит не в усадьбе с прудом, а в вилле на скале, над Ионическим морем. “Таормина — удушливый запах цветов, жгущий ночной воздух, странное небо с перевернутым месяцем, шелковое шелестение далекого моря”⁸. Опять жара, цветы, сочетание неба и воды: в раннем рассказе “шум, шорох, шелест и шепот летней ночи”, здесь “шелковое шелестение далекого моря”; эпитет “удушливый” пока не несет неприятных ассоциаций, но в дальнейшем этот аспект будет подчеркиваться.

В дневнике описание начинается так: “О Таормина, Таормина, белый и голубой город самой смешной из всех любвей — педерастии!”⁹ Действительно там два гомосексуалиста, von Gloëden, пожилой художник-фотограф, и молодой, красивый Henri Briquet 24-х лет, с голубыми глазами, в которого Гиппиус, по ее словам, “могла бы очень приятно влюбиться”. Первое стихотворение, написанное в Таормине, “Апельсиновые цветы”, посвящено именно ему.

В дневнике, перечитав только что описанное, Гиппиус признается: “Цинизм у меня какой-то вышел в рассказе”¹⁰. Цинизма, по-моему, нет, но ирония, несомненно, кое-где проглядывает, и она, в большей или меньшей степени, будет оттенять и последующие редакции. (Заметим, что в “Мисс Май” никакой иронии нет. Мисс Май никогда не смеется и редко улыбается). Первая фраза, “Белый и голубой город самой смешной из всех любвей” может восприниматься как ирония, но как показывает продолжение, Henri Briquet от этого становится только привлекательнее в глазах автора. Ирония здесь ощущается не как насмешка, а скорее как улыбка соучастника. Все равно Гиппиус оставалась недовольна написанным. То главное, о чем она хотела написать, не допускало иронии. “Теперь, — пишет она, — очередь за другой историей... очень, очень для меня во всех смыслах важной. И не конченной”¹¹. Показательно, однако же, что несмотря на всю “важность” этой “другой истории”, Гиппиус во всех редакциях как-то уклоняется от ее прямого описания,

подходя к ней только косвенно, по аналогии с чужими любовными историями.

Через неделю по приезде на Сицилию, Зинаиду Гиппиус пригласили в гости, где она встречается с молодой англичанкой-композиторшей, баронессой Elizabeth Overbeck¹². Нужно отметить, что Гиппиус нигде не упоминает ее фамилии, и только к концу жизни изредка говорит об “Элле”. Она, как оказывается, по происхождению русская, хотя ни слова не понимает на этом языке, так как была увезена родителями из России еще ребенком. Родители вскоре умерли, и девочка была воспитана англичанкой. Первое впечатление от нее не очень приятное: она кажется “девочкой” (напомним, что у мисс Май голос был “детский”), но потом Гиппиус замечает, что у нее “странная, красивая палка [...] с перламутровыми инкрустациями”, и сразу ее отношение меняется — “я ведь с этим существом все могу сделать, что захочу, оно — мое”¹³. В противоположность ситуации в “Мисс Май”, незнакомка, полу-русская, полу-англичанка, теперь подвластна автору. Это сознание неравенства определяет все дальнейшее развитие их отношений.

На другой день — вечер с музыкой, народными танцами и особенно памятной Гиппиус тарантеллой. И новая встреча с Овербек. Гиппиус записывает: “Вдвоем только раз, на каменной лестнице. Девочка мне показалась не такой банальной”. Первые стихи, посвященные Овербек, так и названы “Лестница”.

Стихотворение написано от мужского лица (как большинство стихотворений Гиппиус, но в этом контексте прием носит особенно парадоксальный характер). Оно обращено вверх, ввысь, в “неласковую прохладу неласковой высоты”, без какого-нибудь движения вниз. “Там”, внизу, оставлены “апельсиновые цветы”¹⁴, “за оградой”, а это, как видно из предыдущего стихотворения, метафора неосуществимой любви к Henri Briquet, в которого “можно было бы очень приятно влюбиться”. Похоже, что Гиппиус сознательно переключила свои симпатии с Briquet на англичанку. От этого нота досады и пренебрежения в обращениях (“О, нелюбимая”, — говорит “он”, а подруга “испуганно-немая” — опять полный контраст с положением в “Мисс Май”). Глаголы, передающие чувства Гиппиус к Briquet, почти все непереходные (влюбиться), тогда как глаголы, обращенные к Overbeck, переходные (хочу, чтоб ты любила).

Потом Гиппиус заболела, уехали англичанки, и вдруг телеграмма от Овербек с приглашением встретиться в Риме. После встречи в Риме следует путешествие по Италии, по городам Сиена, Орвието, Флоренция. За это время, очевидно, разгорелась их страстная любовь. В *Contes d'amour* смутно пишется все

больше о нежности, о сладострастии, об огне в крови, о грехе и безгреховности, со множеством перечеркнутых и недописанных фраз. Последние слова в дневнике за 1898 г. раскрывают всю противоречивость чувств Гиппиус:

“И любовь, сладострастие, *теперешнее*, — я принимаю и могу принимать *только* во имя возможности — изменения их в другую, новую любовь, новое, безгранное сладострастие; огонь его в моей крови”¹⁵.

Гиппиус разрывается между приятием земного в любви и стремлением освятить ее “новыми” качествами. Этот поединок будет продолжаться тридцать с лишним лет; три редакции таорминской истории и отражают три разных решения этой проблемы.

По-видимому, Гиппиус с Overbeck встретились вновь в 1900 г., в Таормине и опять ездили по итальянским городам. Но что-то изменилось в их отношениях, на что смутно намекает Гиппиус в своем дневнике от 19 декабря 1900.

“Мне стало страшно. Как говорю? Здесь, в этой “яме”... Да в том-то и дело, что все изменилось и теперь место, где говорю о своем теле, о сладострастии, о поле, об огне влюбленности — для меня, для моего сознания, уже не проклято, не яма.

<...> Не отрицаю своей мерзости, своего ничтожества — но не в том их вижу. Идеал Мадонны — для меня не полный идеал”¹⁶.

В 1898 Гиппиус еще верила, что сладострастие можно возвысить в “новую любовь”. Спустя два года все изменилось, и она вынуждена была признать, что “идеал Мадонны не полный идеал”, то-есть, что он включает и Содом. Это может быть “мерзость”, но “не проклято, не яма”. Такие противоречия указывают на назревший кризис не только в самой Гиппиус, но и в ее отношениях с Elizabeth Overbeck. В двух стихотворениях, посвященных англичанке, “Прогулка вдвоем” 1900 г. и “Конец” 1901 г. и в повести “Небесные слова” все говорит о неизбежном разрыве.

ПРОГУЛКА ВДВОЕМ

Дорога все выше да выше,
Все гуще зеленые сени,
Внизу — чуть виднеются крыши,
В долине — лиловые тени,

Дорога все выше да выше...
Мы с нею давно уж в пути,
И знаю — нам надо идти.

Мы слабы и очень устали,
Но вверх всё идем мы послушно,
Под кленами мы отдыхали,
Но было под кленами душно....
Мы слабы и очень устали.
Я ведал, что трудны пути,
Но верил, что надо идти.

Она — все слабее и тише...
Ее поддержать я пытался,
Но путь становился все выше,
Все круче наверх подымался,
И шла она тише да тише...
И стала она на пути.
Не знала, что надо идти.

И было на сердце тревожно...
Я больше помочь не умею.
Остаться в пути невозможно,
Спускаться назад я не смею,
И было на сердце тревожно.
Она испугалась пути,
Она не посмела дойти.

И вот я бреду одинокий,
А полдень тяжелый и жаркий...
Тропой каменистой, широкой,
Иду я в бестенности яркой,
Иду все наверх, одинокий...
Я бросил ее на пути.
Я знаю: я должен идти.

(1900 г.)

В одном из последних писем к своей шведской приятельнице, художнице Грете Герелль, Гиппиус вспоминала, как она и баронесса пятьдесят лет тому назад в Риме ходили в один цветочный магазин, в котором они покупали розовые лилии, любимые цветы баронессы. С печалью Гиппиус прибавила в конце письма: “Может быть, она [баронесса. — Р.Т.] была единственным человеком, по-настоящему самозабвенно, преданно любившим меня”.

И в стихах, и в повести “Небесные слова” 1901 г. Гиппиус возвращается к таорминским событиям, но уже под другим ракурсом. В отличие от *Contes d’amour* рассказчик теперь мужчина, и его впечатления на вилле под Таорминой повторяют с незначительными изменениями переживания там же самой Гиппиус. Вдобавок тема повести теперь подчеркивается тем, что действие происходит у горы Monte Venere. Однако бросаются в глаза две существенные перемены. Во-первых, англичанка-музыкантша выкинута из повести, так что компания теперь почти вся мужская, и, во-вторых, все окрашено иронией, иногда довольно язвительной.

“Райский ореол” сада виллы уже не такой однозначный. Его красота испускает какой-то “таинственный соблазн”; роскошное обилие цветов теперь давящее и угрожающее, что напоминает известные стихи Гиппиус “Цветы ночи” (1894). Далее и соединение неба и моря, и восторженные излияния героя подвергаются такому же разоблачению:

“...Потом я понял, что такое море, это земля, притворяющаяся небом, подражающая небу: точно черты неба — солнце, луна, звезды, а также и мысли неба — облака — всегда в нем не чисты, а исковерканы. Я не люблю море, но в то время я решительно ничего не понимал, и мне казалось, что я достигаю высшей красоты, блаженства, и тончайшей мудрости. <...> Облокотившись на решетку, я стал смотреть вниз, в черный провал, откуда поднимался и ласково душил меня тяжелый, как запах ладана, запах апельсиновых цветов. Море шуршало в глубине, направо острилась серая гора богини Любви.

Тело мое ныло, сладко и слабо, и я чувствовал его на себе все слабее, мягким, безвольным, бессильным. Мне казалось, что я достигаю, касаюсь вершин красоты, от которых пошлость так же далека, как я сам далек теперь от низких, пошлых людей, с их грубой, “нормальной” любовью на грубой, уродливой земле. Новые пути, новые формы красоты, любви, жизни...¹⁷

Сочетание звездного неба с бездонной ямой, что в “Мисс Май” символизировало идеальную любовь, теперь оказывается грубейшим самообманом: море — это только искаженное подражание небу; “тихий шорох и шелест летней ночи” (“Мисс Май”) и “шелестенье далекого моря” (*Contes d’amour*) теперь снижены до змеино-го “шуршания” (ср. “шелестят, шевелятся, дышат” в “Цветях ночи”). Недавние мечты Гиппиус в *Contes d’amour* о “новой любви, безграничном сладострастии”, неподвластном пошлым условностям “нормальной” любви, немилосердно осмеяны

(“В то время я решительно не понимал...”). В конце концов рассказчик убеждается, что высшее в человеке несовместимо с низшими элементами, и что всякие попытки их соединить обречены. Он понимает, что небо “смеется” над ним: “...это был его суд — его смех, такой неожиданный, почти жестокий”¹⁸.

Встреча с англичанкой с перламутровой тростью вовсе исчезла из “Небесных слов”, и вероятно, все ироническое переосмысление таорминских впечатлений вызвано разрывом с Overbeck. Все-таки некоторые реминисценции об этом эпизоде проникают в рассказ, но они теперь ассоциируются не с Overbeck, а с некой безымянной женщиной, по приглашению которой рассказчик уезжает из Сицилии в Рим. Как и Гиппиус с Overbeck, герои “Небесных слов” проводят некоторое время в Риме, и потом путешествуют по Италии. Во Флоренции все растущая раздражительность против спутницы изливается в тех же выражениях (“грех”, “яма”, “наверх”), которые были отмечены в *Contes d'amour*:

“Она меня тащила в яму, а я был убежден, что мы вместе взбираемся наверх”¹⁹.

Окончательный толчок к разрыву происходит при солнечном затмении (которое действительно было 28-го мая 1900, хотя его значение здесь чисто символическое):

“Небо умирало, а с ним умирала и земля <...>. А с ними, с небом и землей, угасала и моя жизнь”²⁰.

Умирание неба — символ смерти небесного в любви: остается “только пустота, как темная пасть”. Та же яма, но теперь в небесах.

В 1902 Овербек приехала в Петербург на театральный сезон, и писала музыку для хоров в греческих трагедиях “*Ипполит*” и “*Антигона*” в переводах Мережковского²¹. Но Гиппиус уже не посвящает стихотворений своей подруге, и, по-видимому, вообще не пишет о ней. Насколько мне известно, после окончания театрального сезона в том году они больше не встречались. По-видимому, они тогда расстались навсегда.

“*Мемуары Мартынова*”, написанные уже в 20–30-ые гг., по самой структуре своей напоминают “Небесные слова”. Оба произведения построены как ряд эпизодов, преимущественно любовных, из жизни главных героев, и в обоих тот же ироничный рассказчик. В обоих произведениях любовь мужчины к женщине переплетается с гомосексуальной любовью. “Перламутровая

трость”, самая длинная и значительная часть цикла, посвящена давнишним сицилийским событиям и встрече с Elizabeth Overbeck.

Местоположение дома дано в уже знакомых образах высоты и глубины: “Мой длинный, чугунный балкон-галлерей висел над провалом, глубоким зеленым скатом. Вдали, за ним, туманилось высокое море”²². Атмосфера, как и в “Небесных словах”, напряженно-эротическая, и опять это передается через удушливый запах цветов и темный морской провал внизу.

Свобода, простота и нетребовательность людских отношений наполняют рассказчика тем же наивным восторгом, что и в “Небесных словах”. “Вот разгадка ее радостной особенности: здесь — “говорят и не скрывают”. Здесь не тащат за собой предрассудков; здесь все просто: здесь свободно всем”.

Последний эпизод рассказа посвящен встрече с Эллой, англичанкой-музыкантшей. Обстановка — тот же роскошный сад между морем и горой. Мрак такой, “точно мир кончается. Ничего, кроме мрака”, и, конечно, присутствует излюбленный символ *стихийного* — музыка:

“...и из сада, из черной темноты, где, казалось, ничего быть не могло, мир кончался — тонко зазвенела первая струна”.

Рассказчик сначала не понимает, что полюбил англичанку, и не то презирает, не то не замечает ее и воображает, что он “может сделать все, что хочет, с этим существом”.

Опять, как в “Небесных словах”, герою-рассказчику угрожает “демон смеха, самого грубого, самого издевательского”. Но теперь разрушительный смех направлен не столько на любовь как таковую, сколько на преувеличенную восторженность героя: на этот раз герой справляется с этим, все возвращается на свое место, и в конце рассказа Мартынов радостно принимает приглашение в Рим. Однако, эта поездка теперь не описывается, как будто Гиппиус не хотела вспоминать о том, что было во время нее. Возможно, это умолчание объясняется тем, что ко времени работы над “Перламутровой тростью”²³ Гиппиус уже познакомилась с Гретой Герелл, подругой ее последних лет. Герелл гораздо моложе Гиппиус, и поэт часто обращается к ней как к девочке (*ma petite*), несколько свысока. В письмах к Герелл 1932 г. Гиппиус несколько раз упоминает свою давнюю английскую подругу, которую, очевидно, Герелл в какой-то степени напоминала ей и таким образом воскресила воспоминания о далеких таорминских событиях. Описание путешествия по Италии с Overbeck

в начале века могло бы возбудить нежелательные воспоминания, которые могли бы испортить отношения с Герелл.

Три редакции таорминской истории и ее последствий, как мне кажется, открывают в сконцентрированном виде основные противоречия как в характере, так и в мировоззрении Зинаиды Гиппиус, противоречия, которые, однако, плодотворно питали ее стихи и ее художественную прозу. С одной стороны сознательное, волевое, “мужское” начало, не терпящее подчиненности, а с другой, стихийное, безличное, “женское”, страшная сила бессилия. Те же противоречия можно проследить и в религиозных исканиях Гиппиус, в которых упорное выдвижение своего “я” и смиренное послушание Божьей воле уживаются не так уж мирно. Но это уже другая тема...

¹ См., напр. рассказы, “Женское” и “Вечная женскость”.

² Гиппиус З.Н. (Мережковская). Новые люди. Рассказы. 2-ое изд., СПб., 1907. С. 393.

³ Эта тема подготовлена детским воспоминанием Андрея Николаевича: “...спускалась прохлада на землю. Андрей вспомнил, что в детстве няня, на его вопросы, почему к вечеру делается холоднее, отвечала, что это от крыльев серафимов веет прохлада...” (Там же. С. 388).

⁴ Там же. С. 415

⁵ Там же. С. 419.

⁶ Там же. С. 421.

⁷ Там же. С. 425.

⁸ Зинаида Гиппиус. *Contes d'amour* // Возрождение, 1969. № 211. С. 43.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. С. 45.

¹¹ Там же.

¹² Установлением личности мы обязаны работам Темиры Пахмусс. *Zinaida Hippus: An Intellectual Profile* (Carbondale, 1971, с. 389) и А.В.Лаврова // Гиппиус З.Н. Сочинения. Стихи. Проза. (СПб., 1991), с. 613–615. Пахмусс ошибочно передает фамилию как фон Овербах, русское издание правильно дает: Овербек. Некоторые ее музыкальные произведения, несколько песен на тексты из французской поэзии, и соната для скрипки и фортепьяно, были опубликованы (*British Library Catalogue of Printed Music*).

¹³ Возрождение, 1969. № 211. С. 45–46.

¹⁴ В “Мисс Май” “апельсиновые цветы” символизируют эфемерность земной любви.

¹⁵ Возрождение, 1969. № 211. С. 46.

¹⁶ Возрождение, 1969. № 212. С. 40.

¹⁷ Гиппиус. *Алый меч*. Четвертая книга рассказов. СПб., 1906. С. 87, 90–91.

¹⁸ Там же. С. 91

¹⁹ Там же. С. 95–6.

²⁰ Там же. С. 98.

²¹ Elizabeth Overbeck положила на музыку одно стихотворение Гиппиус, “Иди за мной”, наверно по французскому переводу самой Гиппиус (“Suis-moi”). (Temira Pachmuss. *Intellect and Ideas in Action*, Мюнхен, 1972. С. 548–9). Не удалось установить, когда именно была написана музыка.

²² Гиппиус З.Н. Мемуары Мартынова // Газета “Звено”, Париж, 1927, 13 февраля, № 211; 13 марта, № 215; 27 марта, № 217, 22 мая, № 225; Журн. “Звено”, Париж, 1927, № 1. Р. 31–39. Журн. “Иллюстрированная Россия”, 1927, № 17. Р. 1–6; 1931, № 8. Р. 1–2; № 47, Р. 4–5; 1932, № 16. Р. 1, 2, 4; 1932, № 46. Р. 1, 2, 4; 1932, № 52. Р. 4, 6, 7; 1933, № 16. Р. 4, 6; 1933, № 52. Р. 4–6.

²³ Гиппиус З.Н. Перламутровая трость // Сб. “Числа”. Париж, 1933. № 7–8. Р. 82–124.

Марианджела Паолини
(Италия)

МУЖСКОЕ “Я” И “ЖЕНСКОСТЬ” В ЗЕРКАЛЕ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ЗИНАИДЫ ГИППИУС

Некоторые необычные черты творческого и жизненного поведения Зинаиды Гиппиус, связанные с тем, что современная исследовательница В. Багно называет *андроженностью*¹, делали интригующим облик писательницы еще в самом начале ее литературной известности.

“Мужской модус” наиболее явно (если не сказать — провокативно) выразался в лирическом герое ее поэзии или авторе-повествователе ее прозы, которые, как известно, идентифицировались с мужским грамматическим родом. Наряду с используемым в ранней прозе псевдонимом “Л. Денисов”, рассказы часто — а стихи почти всегда! — подписывались также и собственным именем — сокращенным — “З. Гиппиус” — которое только непосвященными могло восприниматься как “мужская” фамилия, и полным — “Зинаида Гиппиус”, воспринимающимся однозначно как имя женщины. Важнее, однако, что исходная “мужская модальность” поддерживалась характером всего дискурса произведения: хорошо известны обвинения Гиппиус (поэта и прозаика) в чрезмерной рассудочности и “программности” — в комплиментарном варианте это свойство отразилось в формулировке Брюсова, назвавшего ее “кипящим льдом” современной русской поэзии². Все это пикантно сочеталось в сознании современников с как бы двоящимся внешним обликом Гиппиус — то ли роковой женщины, соблазнительницы молодых поэтов, то ли вечного подростка-андрогина, остающегося девственной весталкой в самом центре кипящего страстями котла декадентствующей богемы³. Во второй половине 1900-х годов этот образ еще более усложнился благодаря сплетням и легендам, возникшим вокруг “тройственного союза” (Мережковский, Гиппиус и Философов)⁴.

Все это не могло не порождать соответствующих, столь же известных интерпретаций в мемуарах и дневниках современников (из свежих публикаций интересны — прежде всего своей “договоренностью” — отрывки из дневника С. П. Каблукова⁵).

Из позднейших исследовательских интерпретаций один из плюсов отношения к жизнетворческому и художественному образу Гиппиус отражен в статье Дэвида Томсона, озаглавленной “Мужское “я” в творчестве Зинаиды Гиппиус: литературный прием или психологическая потребность?”. На основании приведенных им литературных и биографических фактов Томсон склоняется скорее к тому, что основной причиной возникновения “мужского “я” была именно “психологическая потребность” (точнее, некий психофизический комплекс, связанный в конечном счете со склонностью к нетрадиционной сексуальной ориентации Гиппиус, — с ее сложными отношениями с Д. Философовым, с Эллой Овербек и т.п.)⁶.

Настоящая статья является попыткой осветить данную проблему с несколько иной стороны — поставить ее в контекст критической прозы самой писательницы. Хотя отдельные критические работы Гиппиус часто цитируются в современных исследованиях, однако большая часть ее критического наследия остается не только недооцененной, но подчас просто не введенной в историко-литературный обиход.

Самой близкой к обсуждаемой нами проблеме является статья 1908 г. “Зверобог”⁷, которая посвящена имевшей в начале века шумный успех книге Отто Вейнингера “Пол и характер”⁸. Книга Вейнингера — “самая замечательная и самая современная по данному вопросу”, — произвела сильное впечатление на Гиппиус еще раньше; начиная с эссе 1904 г. “Влюбленность”, она упоминается практически во всех ее статьях, которые так или иначе соприкасаются с проблематикой пола, любви, женщины. Упоминается Вейнингер и в более поздних статьях, написанных уже в эмиграции.

Статья начинается с констатации некоторых противоречий в теории Вейнингера. Гиппиус согласна с Вейнингером в том, что в каждом природном индивидууме, независимо от его пола присутствуют одновременно женское и мужское — “Ж” и “М”; иными словами, “нет *чистого* мужчины и *чистой* женщины” (19; курсив З. Г.). Гиппиус дает свое развитие исходной мысли Вейнингера: “Личность — результат стармонированности двух начал в одном индивидууме” (23). Таким образом, — “чересчур Мужской индивидуум настолько же удален от начала Личности, насколько и чересчур Женский” (23). Значит: женщина = Ж+М, как и мужчина = М+Ж. Если Мужчина — Личность, то и Женщина — Личность. Но

“ошибки мыслителя начинаются там, где он с определения Женского Начала, “Ж”, соскальзывает на определение реальной женщины”. Он забывает исходную посылку — свое утверждение о несуществовании чистой женщины — и фактически возвращается к традиционной точке зрения (19).

Сама Гиппиус, вслед за Вейнингером, определяет женское начало как нечто “внетворческое, неподвижное, плодоносящее, но не зачинающее”; оно “не носит в себе ни творчества, ни единства, ни нравственности” (22); в нем “нет памяти, нет творчества, нет личности” (20). Критик говорит, что это верное по отношению к “Ж” определение неосознанно “слилось с отношением к реальной женщине” (22). “Чистая” женщина не может быть безнравственна, ибо она всегда — вненравственна” (20). Из этого следует, что “женщина всегда объект (как для мужчины, так и для себя) — мужчина всегда субъект, личность” (22). “Женщина — объект поклонения, вождения, почтения, презрения или отвращения, зверь или бог” (“зверьбог”), “нечто связанное с полом, “совсем другое”, нежели человек, — уже потому, что всегда объект” (26). “Женщина — или мать, или проститутка <...>, или героиня-мученица”, но “всегда “объект”, постигаемое, хотя и не постижимое. Если она мне не мать, не возлюбленная, если я ею не восхищаюсь, не возмущаюсь, если она мне никак не нужна — она не существует” (20).

Гиппиус приводит несколько примеров из современной литературы: «Арцыбашев ли со своим Саниным, Блок ли с Прекрасной Дамой, — одинаково они относятся к женщине реальной как к отвлеченной Женственности, а к Женственности как Вейнингер к своему “Ж”. <...> И сами женщины относятся совершенно так же к самим себе. Сочинения какой-нибудь Нины Петровской “Sanctus Amor” — не более как самообъективация женщины, признающей пол своей исчерпывающей сущностью” (26). Даже Бердяев считает, что женщина может хорошо делать только женские дела. “Вот женское дело, говорит он, — дело Беатриче; вот мужское дело — дело Данте. <...> Она жила в нем, и он делал, при ее помощи, свое человеческое дело, женского же дела тут никакого не было, уже потому, что “женское” никогда ничего не “делает”» (22).

Вейнингеровская схема (как мы видели, существенно развитая Гиппиус) во многом меняет существующее положение вещей: “<...> “человеческая женщина, как-никак, — иногда говорит, мыслит и развивается — это вмешанное в нее мужское начало творит; ведь по первой мысли Вейнингера — всякая женщина — есть Ж + М. Но эта черта в ней мала; в практике стирается, не учитывается абсолютно; отсюда и вытекает абсолютное неверие в

женщину творящую, мыслящую. “Женское творчество” даже никто не судит. Судят женщину, а не ее произведения. Если хвалят, — то именно женщину: ведь вот, баба, а все-таки умеет кое-как” (21). Сама Гиппиус признает, что когда хотела выступать на защиту женщин, “вставала опасность вовлечь этим в “делание” и “разговоры” многих других женщин, — руки мои опускались и уста замыкались” (24). В литературе происходит то же: “Начиная от критика самого беспристрастного, благожелательного — до грубого бранителя, все всегда помнят, что пишут о женщине <...> и я, то сознательно, то бессознательно, так же пишу, то же помня” (25).

Однако Гиппиус фактически признает не только предрешенность отношения к любому женскому творчеству как к проявлению “чистой женственности” (окруженного вейнингеровскими коннотациями “пассивного”, “неличного”, “иррационального”, “антиинтеллектуального”), но и утопичность (по крайней мере, в ее эпоху) сгармонизованности “Ж” и “М” в женщине: она — “личность, потому что в ней — М; но его так мало, что в ней все равно <все> преодолевает Ж” (21).

Ближайшее подтверждение этому — в женской литературе. Несмотря на заявленное выше сознательное или бессознательное снисхождение к женщине-автору, разделяемое Гиппиус с другими критиками, именно в ее оценках делалась попытка преодолеть эту тенденцию. Свойственная Антону Крайнему неприязнь к непрофессионализму литератора ни в коем случае не исчезает при обращении его к произведениям, вышедшим из-под пера женщин. “Признание пола своей исчерпывающей сущностью” оказывается крайне недостаточным мотивом для сотворения художественных произведений.

Кроме опасности бесплодной вторичности, “женскость” в литературе порождает и не менее бесплодную, антиинтеллектуальную импульсивность. Усмотрев ее в одном из публицистических выступлений Н. А. Лухмановой, критик замечает: “Я никогда не мог себя принудить жалеть женщину в истерике”, — именно в истерике, в кликушестве Антон Крайний находит оправдание крайнему консерватизму ее высказываний: “<...> разве г-жа Лухманова в своей статье понимала, на кого и за что она кликала?”⁹⁹. Характерны и терапевтические рекомендации, предлагаемые в подобных, “клинических” случаях: “Советую <...> хорошенько и строго прикрикнуть на женщину, когда она впала в такое состояние. Женщина утихает, ей становится легче. Рассуждать с ней, убеждать, доказывать ей что-либо от разума, — бесполезно”. “Медицинский” сарказм критика достигает апогея в конце заметки: “<...> надо советовать близким к ней людям повлиять на нее, за-

ставить ее не читать временно <...> ни журналы, ни книги, избегать общества умных людей <...>. В обзоре книг 1911 г., в статье “Литературный дневник”, в частности — в реплике, посвященной Надежде Санжарь, эти две темы осложняются третьей, очень важной для Гиппиус, — борьбой с воинствующей некультурностью. Эта тенденция в современной литературе, выпестованная, по мнению Антона Крайнего, прежде всего усилиями М. Горького и Л. Андреева, в писаниях Санжарь выявляется особенно выпукло, она — из тех писателей из народа, “которые не учиться идут, а учить”. Исключительность ее в том, что “некультурность” сопрягается здесь с “женскостью”, ибо ей присущи “типично-женские свойства писаний”, кроме ее “личной истерики и личной недаровитости”¹⁰. Без скидок на “женскость”, как “довременный хаос, безликий и безобразный” характеризуется и проза Ольги Шапир: “<...> открыть можно, прочесть трудно, понять, в чем дело — почти нельзя <...> интерес возбуждают знаки препинания: точки маком рассыпаны по странице, а между ними угрожающе глядят утроенные восклицания, вопрошения. Согласен, это интерес внешний, но другого никакого нет”¹¹. В этом ряду естественным оказывается отзыв об А. Вербицкой: “Я не знаю ни одного “интеллигента”, ради собственного удовольствия прочитавшего “Ключи счастья” <...>. Г-жа Вербицкая — чистый идеал писательницы-обывательницы, и уж я прошу поверить мне на слово, без доказательств: в критический разбор “Ключей” я пускаться не буду”¹².

Довольно известная статья 1907 г. “Братская могила”¹³ интересна тем, что женская тема соединяется здесь с “половым вопросом” в литературе. Эту тенденцию к “эротическому заголению и обнажению” Антон Крайний считает крайним проявлением широко распространенного “хулиганства”, или “некультурности”, которая стремится к тому, чтобы “подменять искусство — физиологией и патологией <...>, художественное творчество — заголением” (60).

“Заголение может быть и талантливым, и бездарным”; бездарное заголение — невинное, потому, что оно результат подражания другим. В этом смысле, пишет А. Крайний, “очень невинна <...> г-жа Зиновьева-Аннибал, со своими “33-мя уродами”, лесбийским романом”. Критик считает ее “неглупой прекрасной, простой женщиной, и даже писать она умеет недурно”: в ее детских рассказах (сборник “Трагический зверинец”) “есть места теплые, искренние, женски-теплые, — безпретенциозные кусочки подлинной жизни”. Иное отношение вызывают у Гиппиус “Крылья” М. Кузмина, “мужеложный роман”, рассматриваемый как параллель “женоложным” “33 уродам”. В нем она находит “вчерашний

“эстетизм””, претензии на “культурность”, которые отражаются даже в языке, который “неумел, скверно-банален и неловок”. В общем, книга скучна: “беспардонность внутренняя должна и облекаться в свою, беспардонную же, форму” (61). Антон Крайний заключает, что ничего не имеет против романа и его автора. Но он много имеет против его “тенденции, его несомненной (хоть и бессознательной) проповеди патологического заголения”, и ему “больно за всех тех, кто эту тенденцию *может* принять как художественную проповедь культуры” (62). Здесь важно принципиальное разделение художественности, “культурности” и “психологических потребностей”: из статьи явственно следует, что Гиппиус активно не приемлет то соединение проповеди нетрадиционных сексуальных ориентаций с философскими и эстетическими конструкциями, которое было задумано Кузминым в “Крыльях”. Скорее всего, для нее вообще в данной ситуации важна не проблема “пола как такового” (ср. с интерпретациями ее у Розанова, работах которого, несмотря на ряд переключек и внешних совпадений, концепции Гиппиус скорее противопологаются¹⁴), а проблема “виртуальной” (связанной с интеллектом и творческой интуицией) проекции пола. Иными словами, в работах Гиппиус мы имеем дело с понятиями, во многом предвосхищающими современное понимание гендера.

Обзорная статья “Литературный дневник” (1911) замечательна тем, что полностью посвящена женской литературе. Здесь появляется важный — по сравнению с концепцией “Зверебога” — нюанс, заключающийся в признании некоторой самоценности “женскости”: “по правде сказать, — женский роман менее всего бывает “современен”, он “вечен” <...> в сущности всякая женщина может написать одну хорошую книгу, — книгу своей жизни. Эта общеизвестная истина постоянно подтверждается”¹⁵. Рождение в литературе этого феномена объясняется Антоном Крайним таким образом: “<...> благодаря способности глубоко чувствовать свою жизнь, свою любовь, и безраздельно ею интересоваться, женщина может и рассказать о ней особенно искренно, точно”. Характерна для женщин-литераторов и “первая, долитературная, свежесть языка”, которая “в простоте своей часто соприкасается с высшей простотой искусства, перешедшего все ступени сложности. И женский роман может быть органичным, живым и прекрасным, как цветок” (19).

Вспомним, как в статье “Зверебог” истолковывалось женское творчество: “в Женском Начале (Ж) нет памяти, нет ума, но есть способности ассимиляции. Это свойство — очень опасно, ибо оно обманно, потому что делает женское творчество — не творчеством, а повторением” (24). Теперь же “ассимиляция” как “опасная” тен-

денция женской литературы рассматривается не как подражание, “повторение другого”, а как самоповторение: “после первой удачной (единственной) книги, женщина увлекается, начинает писать дальше, с намерением “творить”. И в результате — ряд слабых... не творений, а повторений; напрасные усилия вымысла; а свежесть языка, между тем, изменяет, свежесть неповторима” (19).

Проблема самоповторения значима в реплике по поводу книги Colette Willy “La Vagabonde” — “длинная, вялая, <...> вся та же история той же героини, нестерпимо скучная <...> автор скуки не замечает”. Скандально-знаменитый роман Е. Нагородской “Гнев Диониса” критик называет интересным, но и здесь Гиппиус, как и ранее, выступает против смешения “психологических потребностей” и художественности, характеризуя длинные рассуждения о “двуполости” как “неудачно привязанные к роману и детски формулированные”. Положительной оценки удостоивается и роман Маргариты Оду “Marie-Claire”. Так же, как и Н. Санжарь, она — писательница из народа, но “благородная, тихая душа спасла ее и дала ей возможность создать свою, женскую, душистую книгу”. Хотя в ее романе мало “искусства”, все-таки в нем чувствуется непосредственность и свежесть. “Мне кажется, что душевный такт М. Оду охранит ее от попыток писать какие-нибудь другие романы, от литературствования” (Там же). Последняя оговорка показательна. Сама по себе “женская книга” принимается гораздо более благожелательно, чем раньше. Но “ассимиляция-подражание-самоповторение” по-прежнему является главным препятствием на пути реализации женского творчества.

Существует еще один, несколько неожиданный (хотя и в высшей степени связанный со всем вышесказанным) аспект оппозиции “мужское-женское” в ряду других категорий критической прозы Гиппиус. Он выявляется при анализе ее отношений с А. Блоком. Мы здесь не касаемся в достаточной степени изученного биографического аспекта проблемы¹⁶. И ни в коем случае не сбрасывая со счетов всю изменчивость и сложность взаимоотношений двух художников, отраженных в переписке, стихотворных посланиях, дневниках и мемуарах, остановимся на срезе, определяемом критическими выступлениями Гиппиус, посвященными Блоку.

В первом отзыве о Блоке — рецензии на “Стихи о Прекрасной Даме” (декабрь 1904 г.) — подчеркнута неопытность молодого поэта: “Автор еще слишком туманен <...>”, а стихи сборника разделены как бы на две группы. Первая, лучшая — из тех, что посвящены Прекрасной Даме: “в ней тень Вл. Соловьева”. Вторая группа — стихи “без Дамы” — “часто слабый, легкий бред, точно прозрачный кошмар, даже не страшный <...> просто едва существующий <...>”¹⁷. В статье 1906 г., опубликованной в “Весах”

под фамилией Мережковского, Гиппиус позволяет более резкий выпад против “декадентства” Блока: “Нежнейший Блок <...> поет себе самому про к нему одному приходящую, им одним виденную “Царицу”, “Даму” <...> Видит себя и ее, для себя и для нее слагает гимны <...>”¹⁸.

В следующем критическом выступлении (май 1907) уже довольно отчетливо выкристаллизовывается некая “формула отношения” к Блоку. Суть фельетона “Трихина” — в уничижительной характеристике журнала “Перевал”, находящегося, по мнению Гиппиус, под влиянием “мистического анархиста” Г. Чулкова. Участие Блока в одиозном для “Весов” журнале объясняется пассивностью поэта: “Блок, этот талантливый, цельный, всегда очень благородный *поэт* [выделено З.Г.] — лишь страдательное лицо по отношению к Чулкову <...> Сущность Блока — вообще пассивность”¹⁹. Эволюция эпитетов в отношении Блока выражается, как видим, следующим образом: “слишком туманный” (1904) — “нежнейший” (с иронией) (1906) — “пассивный, страдательный” (май 1907). Выделенное в последнем случае курсивом “поэт” подчеркивает отрешенность Блока, которая позволяет Чулкову-“Хлестакову” (так проповедник мистического анархизма определяется в в другой статье Гиппиус²⁰) подчинить себе “талантливое, цельного, всегда очень благородного” Блока.

В июле 1907 г. появляется резкий отзыв Гиппиус о литературно-критических статьях Блока, опубликованных в другом одиозном для “весовцев” журнале — “Золотое руно” (статья подписана псевдонимом, который, как правило, использовался в наиболее полемичных публикациях Гиппиус — “Товарищ Герман”). Подчеркивая аморфность высказаний Блока (подобных “мухам, беспомощно мечущимся под проволочной кондитерской сеткой”) отсутствие у него ясности, логической стройностью, интеллектуальной мускулатуры²¹ (т.е. всех тех свойств, которыми была отмечена критическая манера самой Гиппиус), Товарищ Герман делает знаменательную оговорку о “глубочайшем к нему уважении как поэту” (которая в контексте предыдущей статьи подразумевает продолжение — “...и только как к поэту”)²².

В октябре 1908 г., однако, изменяется отношение уже к самой поэзии Блока: “Чтобы оставаться прекрасной всегда — <этой поэзии> нужно или расти или умирать <...>”²³. Пассивность, отсутствие творческого развития распространяются уже на ту “часть” Блока, которая ранее характеризовалась как “талантливое, цельное, благородное, вызывающее глубочайшее уважение”. Название статьи в свете предыдущих высказываний носит уже знаковый характер — “Милая девушка” (именно так запечатлен образ блоковской музы, и это ироническое определение Гиппиус вспомнит

позже, в 1918 г., когда лишь намеченная здесь тема делается центральной).

На протяжении последующих нескольких лет имя Блока почти не появляется в ее критике, она вернется к “блоковскому сюжету” только в 1916 г. В этот временной промежуток появлялись критические отзывы ее единомышленников, Мережковского и Философова, два из которых, безусловно, связаны с ее позднейшим обращением к Блоку. В 1910 г. Мережковский отзовется на статью Блока “О современном состоянии русского символизма” и обвинит Блока (заодно с некоторыми другими участниками дискуссии о “заветах символизма”²⁴) в измене “тому святому, абсолютному, что было в русской революции”. Мережковский не останавливается перед тем, чтобы поставить своих оппонентов рядом с самыми одиозными фигурами реакции: “я не удивлюсь, если завтра Вяч. Иванов, Ал. Блок и прочие окажутся вместе с Иллиодорами и Гермогенами”²⁵. Философов связывает тему реакционности с темой антидемократизма Блока в статье 1912 г., озаглавленной “Уединенный эстетизм”. Опять речь идет о блоковской публицистике, о его статье “Искусство и газета”, в которой, согласно Философovu, поэт в страхе перед вульгаризацией “бьет по демократии, уходит в аристократическое уединение и этим <...> содействует превращению Прекрасного в красоту, любезную состоятельным мещанам <...> Лишенный связей с жизнью, оскорбленный уродством повседневности <он> ищет уединения, возвеличивая ложный аристократизм, который губит современное искусство”²⁶.

Показательно, что поводом для довольно большой (в масштабе характерного для ее критических работ лаконизма) работы Гиппиус 1916 г. также становится не очередной поэтический сборник Блока, а его статья “Судьба Аполлона Григорьева”, вошедшая в подготовленную самим поэтом и изданную К. Ф. Марксом книгу “Стихотворения Аполлона Григорьева”. Уже на первой странице Гиппиус заявляет, что “центр и смысл” блоковского очерка об Ап. Григорьеве “во всяком случае не исторический”, т.к. никакой объективности в нем нет. “А. Григорьев, под пером Блока, вырастает в символический образ; судьба его — судьба русского человека, душа которого “связана с глубинами”, с “прозябанием дольней лозы”, более сложная, чем души властителей жизни, стоящие только на “славных постах”, под знаком “правости и левости”. Судьба такого сложного человека — гибель, ибо властители жизни не прощают “касания к мирам иным”²⁷. Сформулировав таким образом основную идею блоковской статьи, Гиппиус начинает оспаривать то, что она считает ее сердцевиной — тезис о возвышенной “сложности души” блоковского героя и связанное с ним утверждение о причинах гибели русского художника подобно-

го, “аполлонгригорьевского” типа. Причем спор ведется на метаисторическом уровне. Гиппиус отмечает постоянные экстраполяции Блока на современность и — принимает правила игры: “Не в исторической проекции видит Блок Григорьева: чувствует его как будто здесь, сегодня, в животрепещущей современности”. (264).

“Исторический Ап. Григорьев” (а скорее — в соответствии с правилами игры — обсуждаемый “метаисторический” художник) не обладал подлинной глубиной, а был “смутен, слаб, недоделан ни в чем. Он весь состоял из “недохваток”: сложен, проникновен, религиозен, с душевной чистотой, многоспособен, и... решительно во всем нехватка”. Но главная ошибка, “историческая, — да и не только историческая (курсив мой — М. П.), слепота” Блока состоит в объяснении причин “травли” Григорьева со стороны “либералов”. По мнению Гиппиус, “либералы” требовали от А. Григорьева гораздо большего и гораздо более глубокого, нежели всевозможные либерализмы: требовали человечества. И не подчинения, а равенства. Дело вот в чем: быть “человеком” — значит уметь делать выбор, быть на него способным, то есть способным и на жертву, так как без жертвы нет выбора. И в этом выборе, в этой жертве, надо уметь за себя отвечать” (266). Выбор “либералов” (“историко-человеческий выбор”) в ту эпоху определялся высокой идеей свободы, ради нее они принесли в жертву другие идеи, и потому казались “узкими”. И далее Гиппиус доказывает, что на самом деле личности Белинского, Писарева, Чернышевского не были “узкими”, они сами “обузили” себя, покупая власть “волевой жертвенностью”. Ап. Григорьев не обладал волевой жертвенностью (“во всем недохватка”), “не мог стать человеком”: “Он погиб, как растерянная, прилудная собака, попавшая между двумя армиями во время сражения” (270). Последняя фраза — это вовсе не эпатаж (вернее, не только эпатаж), а одно из звеньев развития метафорического ряда: человек — недоделанный человек — нечеловек — собака.

Подтекст статьи: Блок — очередной, сегодняшней Аполлон Григорьев, существо, не обладающее “волевой жертвенностью”, “нечеловек”. На поверхности — оценка Блока — историка литературы (“Такая вера, до самозабывчивости, в неподвижность, такая слепота, до детскости, к истории <...> — даже изумляет, как что-то исключительное”). Следующее за этим квази-недоуменное вопрошание подталкивает читателя к подтексту: “Я невольно останавливаюсь на тех местах в статье Блока, где он до очевидности “смешивает все времена”; останавливаюсь и думаю: это не так просто. Этому должно быть какое-то психологическое объяснение” (270-271). Можно увидеть в статье 1916 г. и продолжение темы “эстетической уединенности — мнимого аристократизма —

антидемократизма” Блока, заявленной в статьях Мережковского и Философова 1910 и 1912 г., оно выразилось в неожиданно горячей со стороны Гиппиус защите Белинского, Добролюбова, Чернышевского и других “либералов”. Итак, на новом витке “блоковского сюжета”, неспособность к волевому (= мужественному) выбору, т.е. пассивность Аполлонов Григорьевых, — качество “нечеловеков”. Блок оказался в ситуации “постылой свободы”, он еще может сделать выбор. Но пока он находится в нынешнем, близком к “аполлонгригорьевскому” положении, вряд ли он будет выслушан людьми, если захочет сказать “настоящие слова”: “Ему привыкли улыбаться, только улыбаться, — как хорошенькой женщине и ребенку” (277).

Кульминации этот сюжет достигает после большевистского октября 1917 г. 8 декабря, в статье с подчеркнuto лапидарным названием “Литературной фельетон” Блок отнесен к очередному ряду “не людей” (вместе с Белым, Бенуа, Горьким и другими деятелями, проявляющими ту или иную степень лояльности по отношению к новому режиму): “<...> наши русские современные писатели и художники, вообще всякие “искусственники”, все — “варвары”, и “не люди еще”²⁸. Непосредственным развитием этого фельетона был другой, появившийся весной 1918 г. Тема здесь выдвинута непосредственно в заголовок: “Люди и нелюди”, но имеет несколько другое развитие: соположение “искусственники” — “варвары” — “не люди еще” (наивность от непросвещенности) заменено более жестким, близким к формуле “нечеловек — тот, кто неспособен к волевому жертвенному выбору” из отзыва на “Судьбу Аполлона Григорьева”: “Без ответственности человек не может быть назван человеком <...>”. Эта сентенция, считает Антон Крайний, применима к сочувствующим большевикам А. Бенуа, Блоку, Есенину, которые “идут, куда влечет поток, его не замечая. Они не ответственны. Они — не люди <...>”²⁹.

В июне 1918 г., после появления “Двенадцати”, “Скифов”, ряда статей Блока, окончательно проясняющих его политическую позицию, прозвучит, видимо, самая впечатляющая филиппика Антона Крайнего: “Поэт Блок, и в нормальное время страдавший излишей женственностью (первая статья моя о нем, давно, называлась “Милая девушка”), открыто отдается всей плотию покоряющим его, и даже стих свой отдал “Интернационалу” <...>”³⁰. В этой завершающей “блоковский сюжет” реплике замечательна отсылка к статье 1908 г., которая (случайно ли?) названа первой статьей о поэте, — отсылка, из которой следует, что “женское” всегда являлось одним из конституирующих качеств Блока. В том же 1908 г. появилось эссе “Зверобог”, вместе с которым соположение “женское — нечеловеческое” вошло в основную обойму символов-

категорий критической прозы Гиппиус. Если вспомнить вейнингеровскую формулу, развитую Гиппиус, то в случае с Блоком мы имеем дело с индивидуумом мужского пола, в котором слишком мало “М” и слишком много “Ж”. Это оказывается главной его “недохваткой”; парадокс лишь в том, что если в статье “Зверебог” подобные индивидуумы-неличности всегда женского пола, то в отзыве на “Судьбу Аполлона Григорьева” и позднейших статьях эти качества переносятся на мужской пол. Грубая реплика из фельетона “Бабская зараза” становится таким образом логично вытекающей из всего “блоковского сюжета” метафорой, а само название фельетона разъясняет механизм появления таких индивидуумов — заражение вирусом гипертрофии женского начала, вейнингеровского “Ж”³¹.

Блоковский сюжет, видимо, с наибольшей ясностью демонстрирует дополнительные сложности проблемы, о которой говорилось в начале нашей работы, — проблемы истоков мужского “я” в творчестве Гиппиус. Как мы видели, связь этого “я” с “психологической потребностью” (прямо и косвенно предполагающей нестандартную сексуальную ориентацию, которая, впрочем, не может быть определена однозначно) не только не подтверждается критическими выступлениями писательницы (о Кузmine, Зиновьевой-Аннибал, Нагродской), но скорее отвергается критиком, постоянно подчеркивающим недопустимость, нелепость, “некультурность” проповеди нетрадиционных сексуальных ориентаций в качестве символов “новой художественности”. Может быть, имеет смысл внимательнее присмотреться к “экстрапсихологическим” факторам мужского “я”, относящимся к литературной традиции в широком смысле этого понятия.

Мы попытались показать, что именно в этом ключе можно прояснить многое из загадочного облика Гиппиус. Именно через ее критические высказывания прочитываются скорее культурологические, чем сексистские определения понятия “женскость” (постулированные в “Зверебоге”, развитые в статьях о женской литературе и получившие парадоксальное, но логически последовательное развитие в “блоковском сюжете”).

Вышеприведенный обзор критических высказываний Гиппиус позволяет рассматривать центральную для нашей темы работу “Зверебог”, помимо прочих ее смыслов, еще и как попытку оправдания собственной литературной позиции во всей ее полноте (включая и шекочущую нервы современников “мужскую модальность”). В “Зверебоге” Гиппиус рассказывает о том, как критика интерпретировала одно из ее стихотворений о “физической боли болезни” как порнографию. “Если бы это стихотворение написал кто угодно, только мужчина, никому и в голову не пришло искать

“пола”, а следовательно порнографии. Но женщина! Женщина и пол — неразделимы, они — едины, говорит Вейнингер (и слепо ощущают все)” (25). Этот случай, хорошо демонстрирующий литературную атмосферу лет, мог стать одним из стимулов к тому, что критические высказывания писательницы обычно появлялись под мужскими псевдонимами: “Мне всегда казалось практичнее самые дорогие мне мысли высказывать под меняющимся псевдонимом, под чужим именем (в крайнем случае осторожно “внушать” постороннему лицу). Только в этих случаях можно надеяться услышать беспримесную оценку (а в этом, порою, очень нуждаешься), или даже надеяться на прочтение. Ведь полусознательно мы *прокидываем* (курсив мой — М. П.) почти все, что подписанно женским именем” (там же). К этому необходимо сделать два замечания. Во-первых, нужно отметить, что часть статей, прежде всего те, что выходили за рамки злободневной журнальной полемики, подписаны подлинным, “женским” именем писательницы³². Во-вторых, не следует преувеличивать исключительность самого факта использования женщиной-критиком мужских псевдонимов. “Антон Крайний” был из них самым знаменитым, но не единственным — вспомним, например, два имени из той эпохи, относящиеся к разным литературным поколениям: А. Вергежский (А. В. Тыркова) или Шах-Эддин (О. Д. Форш). Естественно, были и параллельно существовавшие им Любовь Гуревич, З. Венгерова и Е. Колтоновская, писавшие под собственными фамилиями.

В свете всего вышесказанного, то, что часто истолковывается, как “андроженное” в творчестве Гиппиус, в значительной степени можно интерпретировать как стремление утвердить свою творческую подлинность среди “мужских” приоритетов интеллектуального и художественного³³. Это стремление, на наш взгляд, в наибольшей степени реализовалось Гиппиус — автором критических статей. Современники могли говорить много нелицеприятного о полемических выступлениях Антона Крайнего, но без его коротких, хлестких, точных характеристик вряд ли можно полноценно представить литературную эпоху: их ругали, осуждали, оспаривали, но они были услышаны как *голос равного*, без скидок на “женскость”, как голос сделавшего “*человеческий* выбор”. Может быть, Гиппиус в собственной литературной судьбе во многом сумела воплотить тот, казавшийся ей самой утопичным идеал личности, в которой гармонично сопрягается “М” и “Ж”.

¹ Багно В. Е. “Красный” цикл писем Зинаиды Гиппиус к Зинаиде Венгеровой. // Русская литература. 1998. № 1. С. 84.

² Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. М., 1990. С. 459.

³ См., например: Перцов П. Литературные воспоминания. 1890–1902. М.-Л., 1933. С. 87, 223, 228; Маковский С. На Парнасе Серебряного века.

Мюнхен. 1962. С. 87–122; Брюсов В. Дневники. 1891–1910. М., 1927. С. 47, 112, 115, 108–109, 117; Бенуа А. Мои воспоминания: В пяти книгах. М., 1980. Т. 2. С. 48–49; Гуревич Л. История “Северного вестника” // Русская литература XX века. М. 1914. Т. 1, кн. 2. С. 240; Яновский В.С. Поля Елисейские. Книга памяти. Пушкинский фонд, СПб, 1993. С. 15–130; Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1990. С. 131–132; Волынский А. Л. Русские женщины // Минувшее. 1995. № 17. С. 264; Есенин С. Дама с лорнетом // Есенин С. Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 1997. С. 229–230. Шагинян Мариэтта. Человек и время. История человеческого становления. М., 1982. С. 213, 261.

⁴ Matich Olga. Dialectics of Cultural Return: Zinaida Gippius' Personal Myth // Boris Gasparov [ed.]. Cultural Mythologies of Russian Modernism: from the Golden Age to the Silver Age. Berkeley, University of California Press, 1992. С. 52.

⁵ С. П. Каблуков вспоминает, что в разговоре с Вячеславом Ивановым последний утверждал, что Гиппиус “не могла отдаться мужчине, как бы ни любила его. В ее жизни были любовные увлечения, например, известным Флексером (А. Л. Волынский), с которым одно время даже жила вместе в Пале-Рояле, но эти увлечения не доходили до “падения”. И в этом для нее — драма, ибо она женщина нежная и страстная, мать по призванию <...> Зин. Николаевна тяготится тем, что она женщина, поэтому она подписывается часто мужскими псевдонимами, например “Антон Крайний”, “Лев Пушкин”, и в стихах и рассказах от своего имени говорит всегда в мужском роде. Я спросил Иванова, не имеет ли себе совмещение в лесбосских склонностях это отвращение Зин. Ник. к мужским ласкам. Он ответил незнанием, хотя признался, что так же думает и сам” (Цит. по: Багно В. Е. “Красный” цикл писем Зинаиды Гиппиус к Зинаиде Венгеровой. // Русская литература. 1998. № 1. С. 84–85).

⁶ Преображение. М., 1996. № 4. С. 40–42.

⁷ Статья была написана Гиппиус в Париже (1905–1907). Под названием “О поле” она должна была быть опубликована во втором из запланированных парижских сборников Мережковских. Из них увидел свет только первый — “Le Tsar et la Révolution”. Статья появилась в журнале “Образование” после возвращения Мережковских в Петербург, в 1908 г.: Зверев-бог // Образование. 1908. № 8. отд. 3. С. 18. (далее в тексте указаны страницы по этой публикации).

⁸ Книга “Пол и характер” австрийского философа О.Вейнингера была издана в 1903 г. Эссе З.Гиппиус “Влюбленность” // Новый путь. 1904. № 3. С. 180–192.

⁹ Лухманова Надежда Александровна (1844–1907) была редактором-издателем еженедельника “Возрождение” (1899–1900); 2 апреля 1903 г. в газ. “Заря” она поместила статью “Кто дал им право?”, где призывала запретить Религиозно-Философские Собрания; статья Гиппиус, содержащая резкую отповедь “истеричке” Лухмановой — “Кого жалко? // Новый путь. 1903. № 4. С. 183–184. Подпись Антон Крайний.

¹⁰ Литературный дневник // Русская мысль. 1911. № 6. Отд. 3. С. 17.

¹¹ Там же.

¹² Антон Крайний. Жизнь и литература // Новая жизнь. 1912. № 11. С. 116.

¹³ Весы. 1907. № 7. С. 57–63 (далее в тексте указаны страницы по этой публикации).

¹⁴ См., например, решительную критику одной из важнейших сторон розановской метафизики пола в ее статье “Вечный жид” // Новый путь. 1903. № 8. С. 241–244.

¹⁵ Русская мысль. 1911. № 6. Отд. 3. С. 15–20 (далее в тексте указаны страницы по этой публикации).

¹⁶ См.: Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Блоковский сборник. Вып. 4. Тарту, 1981 (Уч. зап. ТГУ. Вып. 535; . Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898–1921) // Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. М., 1982 (письма Гиппиус, отражающие эволюцию отношения к Блоку см. 178–180, 183, 185, 195, 219, 221, 225, 287, 295, 303, 455, 472, 480, 481.); Королева Н.В. Неизвестные письма А.А.Блока к Д.С.Мережковскому и З.Н.Гиппиус в американском архиве // Памятники культуры. Новые открытия. 1994. М., 1996. С. 27–43.

¹⁷ Антон Крайний. Литературные заметки. Стихи о Прекрасной даме. // Новый путь. 1904. № 12. С. 271–274.

¹⁸ Мережковский Д. Все против всех. // Золотое руно. 1906. № 1. Статья вошла в кн.: Крайний А. Литературный дневник. 1899–1907. СПб., 1908.

¹⁹ Товарищ Герман. Трихина. “Перевал”, № 1–6, первый // Весы 1907. № 5. С. 68–72.

²⁰ Антон Крайний. Иван Александрович неудачник // Весы. 1906. № 8. С. 48–59.

²¹ “Для критики, да еще “всеобъединяющей”, мало интуиции, нежности, вдохновения: нужны мысли”, — подчеркивает она (Товарищ Герман. Засоборились. // Весы. 1907. № 7. С. 83).

²² Там же. С. 82–84.

²³ Антон Крайний. Милая девушка // Речь. СПб., 1908. 19 окт. (№ 251). С. 2.

²⁴ См. Корецкая И.В. “Аполлон” // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1907. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 226–230.

²⁵ Мережковский Д. Балаган и трагедия // Русское слово. М., 1910. 14 сент. (№ 211).

²⁶ Философов Д. Уединенный эстетизм // Речь. СПб., 1912. 18 дек. С. 2.

²⁷ Гиппиус З. “Судьба Аполлона Григорьева”. (По поводу статьи А.А.Блока, прилож. к “Стихотворениям Аполлона Григорьева”, изд. К.Ф.Некрасова, М., 1916) // Огни. Кн. 1. Пг. 1916. С. 263–278 (далее в тексте указаны страницы по этой публикации).

²⁸ Антон Крайний. Литературный фельетон // Вечерний звон. Пг., 1917. 8 дек. (№ 30). С. 3. (Цит. по: ЛН. Т. 92. Кн. 5. М., 1993. С. 752. Публ. В. И. Якубовича).

²⁹ Антон Крайний. Люди и нелюди. Литературный фельетон // Новые ведомости. Пг., 1918. 10 апр./28 марта (№ 43). Веч. вып. С. 2.

³⁰ Антон Крайний. Бабская зараза. Фельетон // Новые ведомости. Пг., 1918. 22 (9) июня (№ 93). Веч. вып. С. 5–6. (Цит. по: ЛН. Т. 92. Кн. 5. М., 1993. С. 762. Публ. В. И. Якубовича).

³¹ У самого Вейнингера подобный перенос осуществляется не на индивидуальном, а на расовом уровне: целая глава его книги посвящена гипер-

трофии женского в еврейском менталитете (Вейнингер О. Пол и характер. М.: Терра, 1992. С. 332–366. Глава XIII: Еврейство).

³² К статьям, подписанным “Зинаида Гиппиус”, относятся практически все наиболее значимые эссе религиозно-философского характера (“Влюбленность”(1904); “Зверобог”(1908); “О любви”(1925); “О женах”(1925); “Арифметика любви”(1931).

³³ Ср. в связи с этим интересное наблюдение Т. Пахмусс: “<...> on more than one occasion Hippus insisted that she wished to write poetry not merely as a woman, but as a human being <...> She wanted to be a poet, without any extra-literary considerations influencing the critical evaluation of her work” (Pachmuss Temira, *Women Writers in Russian Modernism 1890–1910 // Russian Literature and Criticism. Selected papers from the Second World Congress on East Europeans Studies*, ed. by Evelyn Eristal, Berkeley Slavic Specialties, Berkeley, 1982, p. 145).

Н. В. Кононова
Государственный Педагогический институт
Коломна

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИЗАЦИИ В РОМАНЕ З.ГИППИУС “ЧЕРТОВА КУКЛА”

Роман З.Гиппиус “Чертова кукла”¹ составляет первую часть задуманной автором трилогии о современности 1905–1912 годов. Но в то же время он не является только иллюстрацией к какому-то историческому периоду развития России, в нем дается символическая картина порубежья, благодаря чему “Чертова кукла” затрагивает многие вечные аспекты бытия человека: смысл и назначение человеческой жизни, пути совершенствования личности и условия ее реализации.

Роман З.Гиппиус во многом связан с русской классической традицией (Достоевский, Чернышевский, Тургенев, Лесков, Некрасов и др.), тяготея к типу произведений с идеологической тенденцией. З.Гиппиус, объединяя разные концепции антропологического свойства, отрицает сам антропологический подход, подсказывает необходимость новой ориентации в понимании личности и в изображении героя. Свообразие романа “Чертова кукла” определяется тяготением к произведениям реалистической направленности, но в ракурсе соприкосновения реализма и символизма, т.к. в особенностях повествования романа явно выражены и тенденции “старой” литературы, и модернистский стиль. Подобным образом В.А.Келдыш определяет место прозы Андрея Белого и Ф.Сологуба — на пути от “фантастического реализма” отечественной классики к литературе авангарда². Это то, что единомышленник З.Гиппиус, Д.В.Философов определял как “символический реализм”, обусловленный “гностическим проникновением “за пределы” явлений”³. Действительно, роман “Чертова кукла” так или иначе спорит с реалистической традицией и отвечает художественным принципам символизма. Предъявлением к этому произведению общих требований реалистической эстетики объясняются упреки современной автору критики в отсутствии правдоподобия:

“Это не роман, а как будто проект романа, чертеж”⁴; “Как и всюду, Гиппиус в “Чертовой кукле” не удается выявить определенные живые черты живой действительности”⁵ и т.п. Фундаментальное место в художественной системе “Чертовой куклы” принадлежит категории символа и “диалектически связанной с нею категории мифа”, что является необходимым условием для определения модернистского романа как символистского⁶. Символизации подвержены почти все уровни романа “Чертова кукла”: от обобщенно-символического содержания и имен до цветовых и вещественных деталей.

З.Гиппиус в выборе имен руководствуется принципами символизации. Огласовка имен приобретает свои смысловые оттенки. Так, с “сердечными” забавами главного героя связаны Лизочка, Жюлька, Мурочка, Леонтинка, Верка, Машка, т.е. возникает соответствующий ряд имен в характерной огласовке. Имена революционеров в большей степени напоминают клички, а часто, действительно, являются подпольными кличками: Юс, Хеся, Кнорр, Потап Потапыч, Яков (еврейское имя, означающее “пятка”, может означать “след”, метонимически восходит к выражению “идти по следу”), Шурин, настоящее имя которого Михаил, что означает “кто, как Бог”. Герой, способный к религиозному перерождению, сквозной для двух романов З.Гиппиус, не случайно назван этим именем. Он близок к духовному возрождению и поэтому стал несколько чуждым среде революционеров, отсюда псевдоним — Шурин (так называют брата жены, т.е. довольно дальнего, не кровного родственника). Но особенно показательны в этом плане имена представителей “троебратства”, близких по убеждению автору. Сами себя они называют “книжными” людьми, а Михаил говорит о них, как о людях “религиозных”. Этому способствует и выбор имен, кстати, упоминаемых в месяцеслове (святах), но не общеупотребительных (кроме Сергея) в традиционном православии: Сергей Сергеевич (Сергей — имя этрусское, условно означает “высокий”), Дидим Иванович Саватов (Дидим — имя греческого происхождения, буквально — “близнец, кроме того, фамилия Саватова восходит к имени библейского пророка), Орест Ден — племянник Саватова (имя греческое, в русском переводе — “горный”, фамилия же, возможно, сокращение от немецк. *denken*).

Таким образом, “высокий” и “горный” — синоним, а Дидим — “близнец”. Кстати, одна из повторяющихся характеристик Саватова: “похожий на птицу” (Чк, с. 408, 379). Авторский замысел в выборе этих имен косвенно подтверждает и стихотворение З.Гиппиус “Шутка” (1905):

Не слушайте меня, не стоит: бедные
Слова я говорю. Я — лгу.
И если в сердце знания есть победные, —
Я от людей их берегу.

Как дети, люди: злые и невинные
Любя умеют оскорблять,
Они еще не горные — долинные...
Им надо знать, но рано знать...⁷

Стихотворение — о тайне слова в понимании З.Гиппиус. Второе четверостишие приоткрывает смысл именованного ряда (“Они еще не горные — долинные”). Стихотворение условно можно принять за эпиграф к роману относительно линии “троебратства”, да и замысла романа в целом. Эта проблематика еще ярче проявляется в стихотворении “Рано?”⁸ (1917), к которому в 1927 году появится вариант с названием “Имя”⁹, что свидетельствует об актуальности этой проблематики для автора “Чертовой куклы” на протяжении многих лет. Образ “троебратства”, по замыслу писательницы, должен стать идеологическим антагонистом главному герою и воплощать сокровенные взгляды Мережковских о религии Третьего Завета¹⁰. З.Гиппиус стремится избежать однозначности, программности, заданности, хотя образ “троебратства” имеет явную заданную тенденцию, подчеркивающую его нарочитость. Необходимо учитывать и то, что этот образ “книжных” людей, обусловленный представлениями З.Гиппиус о триадичности мироустройства, дополнялся и автобиографическими реалиями, что конкретизировало его, лишая в данном случае необходимой условности.

Дихотомия “горного — долинного” — сквозная для романа. Помимо символики имен, повторяющихся характеристик профессора Саватова, этот мотив звучит и в репликах героев: Михаил: “Высоко не залечу, все равно меня к земле тянет” (Чк, с. 361); Юс: “Дело в облака лезть”, — усмехнулся Юс (в ответ на слова Сергея Сергеевича: “Коли сердцу тесно — удачи не жди. И не принижай ты человека. Человек всегда на полголовы выше. Забирай, забирай, — как бы по-Божьи сделать, не стыдись; тогда и по-человечески хорошо выйдет”) (Чк, с. 425)

Фамилия главного героя — Двоекуров — подчеркивает его двойственность. Ее улавливали многие современники З.Гиппиус: “Рисуя своего Двоекурова, Гиппиус могла бы сказать подобно Солугубу: “Я беру жизнь и творю из нее легенду”. Ибо в ее повести, кроме обыкновенного, реального, будничного Юрули Двоекурова, есть еще легенда о Двоекурове”¹¹. Двойная природа образа проявляется и в том, что он одновременно и отражение реальности, и условный знак отвлеченно-метафизической мысли. Бывший ста-

ровер в “собрании” назовет Юрия Двоекурова “чертовой куклой”, воплощающей в себе антибожеское отношение к жизни. Само идиоматическое выражение носит многозначный характер. Это не только бранное выражение в чей-либо адрес. Так говорят о бездушном, безжизненном или внутренне пустом человеке, действующем по воле другого¹². З.Гиппиус стремится к тому, чтобы амбивалентный образ Юрули воспринимался в разных плоскостях: от “чертовой куклы” до жертвенного образа в финале романа, где не случайна христианская аналогия “крови” и “вина”. Главы романа, связанные с раскрытием морали “нравственного эгоизма”, подчеркнута ироничны, но постепенно происходит переадресовка иронии: писательница уже иронизирует над теми, кто продолжает считать Юрулю “чертовой куклой”, — в частности, над его убийцами, которые воплощают в себе “чертово”, дьявольское начало явно больше, чем он. Таково типичное символистское расширение значения заглавия, обусловленное стремлением к метафизическому осмыслению категории “зла”.

Важно отметить, что герои символистского романа чаще всего лишены конкретно-бытовых черт. В отличие от героев реалистической литературы эти образы (образы — символы) в психологическом аспекте не многогранны. Они сконцентрированы вокруг одной идеи и статуарны¹³. Часто в силу своих “бесовских” убеждений человек становится марионеткой, инструментом в руках темных сил, так как “кукла лишена собственной жизни и собственного голоса”¹⁴. Лица таких героев больше напоминают маски. Маска в ряде случаев создается за счет цветовых повторов и символизации деталей. Первое появление Якова: “На пороге под рожком электричества, стоял элегантно одетый молодой человек с противным, бритым, *зеленоватым* (здесь и далее подчеркнута мной — Н.К.) лицом. Он не то улыбался, не то гримасничал, *обнажая редкие зубы*” (Чк, с. 337). В главе “Чертова кукла” эти детали объединяются: “Перед Юрием *мелькнуло испитое* лицо Якова и *его зеленые зубы*” (Чк, с. 357). А в сцене гибели главного героя реплика Якова сопровождается авторским комментарием, где лицо окончательно становится маской: “Право же, я не мог удержать его, Михаил, — скрипит Яков, и *зеленая маска* его дергается, собирается в морщины” (Чк, с. 434).

В образе Кнорра безжизненность, мертвенность (“тряпочность”) подчеркивается нагнетанием, усилением категории “темного”, производной от “темноты”, “тьмы”. Его первое включение в текст: Юруля протянул руку “подошедшему к нему высокому студенту, мешковатому, с болезненным, *темным* лицом” (Чк с. 299). Далее в главе “Самоубийца”: “Вошел Кнорр, мешковатый,

темный, как никогда, с потерянными глазами<...> Кнорр сидел неподвижно, *темный*, как мертвец” (Чк, с. 333). В конце этой же главы дана обобщающая характеристика Кнорра: “Весь засушили, мундир точно на вешалке, рукава точно пустые” (Чк, с. 334).

А в главе “Разнообразие любвей” снова появится зеленоватый цвет, но уже применительно к Кнорру: “Кнорр весь потемнел, хотя без того был зеленовато-серым во мгле дневной ночи” (Чк, с. 303).

Многозначное слово “зеленый” приобретает в поэтике З.Гиппиус особую символичность. В послесловии к пьесе “Зеленое кольцо” она следующим образом объясняет выбор названия: “С самого начала слово “Зеленое” не было мною взято как определяющее непременно “молодость”, шире, — как рост, как силу жизни, как возрождение”. Ср. “Зеленое, желтое и голубое”, “Зеленые, лиловые”, “Зеленый цветок”¹⁵ и др. Значение “зеленого” применительно к цвету лица в обычном употреблении означает бледное, землистого оттенка. В контексте романа “Чертова кукла” символика “зеленоватого”, “зеленого”, возможно, восходит к апокалиптическому всаднику на бледном коне, которому имя “смерть” (“бледный” в буквальном переводе с греческого — зеленоватый, цвет разлагающегося тела)¹⁶. В данной связи важно отметить, что в 1906–1908 годах З.Гиппиус редактировала повесть Б.Савинкова, которую, без ведома автора, озаглавила “Конь Бледный” (опубликована в 1909 году).

“Зеленый” характеризует и Юрулю: “рдяным комком висела в столовой лампа над Юрием и счастливыми его родственниками. Лица у всех *зеленые* — от раннего часа и *двойного* света” (Чк, с. 412). Здесь “зеленый” относится ко всем, но назван только Юруля, которому и Петербург “осточертел”, и люди кажутся “зелеными” (Чк, с. 427).

Главный герой связан не только с мертвенным зеленым цветом, но чаще всего на страницах романа он сопровождается электрическим освещением (главы “Разнообразие любвей”, “Бай-бай”, “Портниха”, “Тайное и явное”). Электричество в романе — не просто атрибут времени, оно обретает символическое значение, выполняя определенную функцию в характеристике героя. Ср. стихотворение З.Гиппиус “Электричество”, воплотившее идею напряженного сосуществования противоположных начал. Этой идеей определяются многие замыслы З.Гиппиус, в том числе и роман “Чертова кукла”.

Аналогичную функцию в главе “Разнообразие любвей” выполняет неожиданный, казалось бы, образ кинематографа. Глава начинается описанием городского сада: “Белые до голубизны *электрические пузыри* меж черных сучьев <...> то надувались светом,

словно пухли, то сжимались с *шптом*” В конце главы, когда читатель уже познакомится со всеми персонажами, на сцене в саду также с “прерывающимся сквозь музыку *шптом*, тряслись серые тени, серые *мертвецы кинематографа*”. (Чк, с. 301). Включение этой детали оказывается символическим, что подсказано репликой одного из участников беседы за столиком в Эльдorado (“поэта нового поколения”): “Посмотрите, не символ ли это нашей сегодняшней, белопетербургской, ночной жизни?” (Чк, с. 301). Это суждение связано с одним из важнейших художественных принципов романа.

Известна антикинематографическая позиция З.Гиппиус до появления звукового кино¹⁷. В этом плане весьма существенна оценка немого кино, данная Антоном Крайним (З.Гиппиус) в статье “Синема” (1926), которая выражает отношение к кинематографу символистов в 1910-е годы¹⁸. Для автора “Чертовой куклы” в период работы над романом кинематограф — это “ярмарочный балаган”. З.Гиппиус возмущает “механическое воссоздание живого движения”, “фотографическая ложь движения изумляет и отвращает, пугает тем особенным страхом, какой мы испытываем от механизма, выдающего себя за организм”, для нее “рубленное, прыгающее движение *бессветных* фигур гораздо более похоже на пляску смерти нежели на течение жизни”¹⁹.

С точки зрения З.Гиппиус, “зрительная зала любопытна не менее экрана”. Собравшиеся в Эльдorado не только зрители. Они сами во многом воспринимают реальную жизнь, как в “синема”, они тоже представляют собой “бессветные” фигуры. Искусственность, театральность постоянно подчеркивается автором в этой главе целым рядом подробностей: “небо *светло-серое*, как оберточная бумага с висящим ненужным месяцем” (Чк, с. 293); лицо Кнорра, которое “сделалось еще бледнее и трагичней” (Чк, с. 299); кукольность Лизочки (“*мелькая черными тенями и белыми пятнами света*, подошла маленькая стройная женщина. Лицо у нее совсем кукольное; только у дорогих кукол бывают такие нежные глаза, такие ровные *черные брови, такие светло-белокурые волосы*, такой хорошенький ротик”) (Чк, с. 295); Стасик (“мальчик в цилиндре”) “удивленно *взмахнул черными*, может быть, немного подведенными глазами (Чк, с. 295) и т.д. Не случайно вся глава дается в черно — белом изображении. Кинематографическое видение в романе не просто модный атрибут времени. Он представляет не жизнь во всей полноте, а схематически обедненное ее воссоздание, в противовес будущим произведениям Набокова. Безжизненность проецируется и на участников этой сцены, символически обнажая сущность той среды, частью которой является главный герой. Кинематографическое черно-белое изображение

ведет и к другим особенностям в характеристике героя, жизнь которого переполнена внешними событиями. З. Гиппиус в письме к А. Блоку от 24 января 1911 г. называет Юрулю “вездесущим “оно” (конечно, он не живой человек)”²⁰. Это подчеркивается автором и во второй главе романа: троюродный брат Юрия (Саша Левкович), человек непосредственный и простой, которого сам Юруля нежно называет “глупое дитя”, спрашивает: “Что же ты бесстрашие — безжизненность проповедуешь?” (Чк, с. 285).

Все эти детали подчеркивают общее в различных масках “чертовой куклы”, о чем свидетельствует символическая картина в конце предпоследней главы “Красный домик”: “Красноватый луч света прыгнул на стену, соскочил, побежал вперед. И сник совсем.

В темноте остались трое: мертвый, безумный и связанный” (Чк, с. 436).

Для поэтики романа в целом характерны дихотомические системы “света и тьмы”, “красоты — красоты”, “слов — молчания”, “времени — вечности”, “Бога — Дьявола”, “жизни — смерти”, “добра — зла” и т.д. Так, “тьма” и “свет” даны в романе как часть предметного мира в повествовании от автора. Развертывается целая цепь образов-символов, “бесконечных в последней своей сущности” (Андрей Белый). Тьма включает в себя и бесперспективность бытия, и силы зла, и духовное ослепление, и суд Божий, и эсхатологическую тьму и т.д.

Для романа в целом характерен мотив взаимопересечения миров “тьмы” и “света”, сближения мира космических и бытовых явлений, причем по принципу отражения. Так, глава 30-я с символическим названием “Явное и тайное” начинается следующим образом:

“Темны дни осенние.

И ленивы: чуть приоткроет день ресницы — медленно приоткроет, поздно, — поглядит серым, оловянным глазом — и опять завел его. Опять *темно*. Слезится *темнота* или потеет — не поймешь: но *грязный свет* фонарей дрожит на тротуарах лоснистыми пятнами. *Свет, а грязный.*” (Чк, с. 412).

Дихотомия “тьмы” и “света” помогает автору символически реализовать мотив “бездорожья”, столь актуальный в порубежную эпоху, не раз возникающий в романе (главы “Общие места”, “Троебратство”, “Вокзальные люди”).

С категорией “света” оказывается тесно связан образ лампы. Так, в главе “Явное и тайное” у Литты, которая, по замыслу автора, придет к истине, после разговора с Юрием на душе “мутно”, страшно: “Открыла глаза — темно, черно совсем”, зажечь лампадку Гликерия (горничная — Н.К.) — забыла, но мысли Литты о том, что впереди “длинная, длинная жизнь”, и она пойдет в ней к

своему, по-своему, как умеет”. “Кругом темнота, а в глубине точно лампадка горит” (Чк, с. 419). Это свет веры в то, что ничего без воли Божьей не происходит, это свет надежды и любви. Пока лампадка горит в душе человека — можно надеяться, верить. В этом образе находит свое выражение вечное стремление людей к красоте и добру.

Несколько иные оттенки этот образ обретает в главе 22-й “Копыта по крыше”. Душа Наташи (как и Михаила) на перепутье, в смятении, на пороге религиозного перерождения. Они еще не обратились своим сердцем и помыслами к богу, но близки к этому. Поэтому в данном случае зажженная лампадка воплощает свет христианской любви, зов человеческой души о милосердии и спасении этой души.

Автобиографическая записка З.Гиппиус расширяет понимание этого образа в творчестве писательницы: “Могу еще сказать, что полосы абсолютной безрелигиозности у меня не было вовсе. Зеленую детскую “бабушкину лампадку” скоро, конечно, заслонила жизнь. Но жизнь, stalkивавшая меня постоянно с тайной смерти, с тайной Личности, с тайной прекрасного, не могла перевести души в ту плоскость, где не зажигаются никакие “лампадки”²¹.

Лампадка — символ Бога, символ веры, символ связи человека с Богом. Лампадка — источник света (ср.: у Гиппиус “бессветные фигуры”), ибо Христос сказал: “Я свет мира”.

Символизации в романе подвержены образы, категории, понятия, реальные исторические и бытовые события, деятели общественного движения, люди, характеры, бытовое окружение, предметы, которые выступают как: *конкретные вещи; знаки психологического состояния героя; сюжетное звено; символ в мифе о мире*²².

Например, “вокзал” в романе — реальное здание на железной дороге; символ суетной жизни; психологическое состояние ощущения временности, непостоянства, промежуточности и т.д. Все эти значения рожают образ “вокзальных людей”, который заостряется З.Гиппиус в “вокзальных кайнов”. С современными автору реалиями времени связана символизация образов железной дороги, железнодорожного пути, поезда и др. Н.Бердяев еще до появления романа “Чертова кукла” подчеркивал, что для З.Гиппиус жизнь отождествляется с событием, движением, динамикой: “А.Крайний жаждет новой жизни, старая жизнь с ее буднями невыносимо скучна, а новую жизнь несут с собой события... А.Крайнему мчащийся вперед поезд, быстрота его движения укрепляет надежду увидеть новую жизнь, новые края”. Важно отметить и другую особенность символики З.Гиппиус — прежде всего ее окрашенность в религиозные тона. Выполняют роль символов целый ряд образов: кроме лампы — свеча, сердце, старец, черепки, судьба, паутина, игрок, пленник и т.д.

Петербург в “Чертовой кукле”, в том числе и “графинин дом” на Фонтанке, входит в систему образов романа, существенным образом определяя судьбу главного героя и шире: судьбу России. Необходимо отметить, что З.Гиппиус такими образами, как “старая графиня”, “графинин дом”, “графинина карета”, вводит в контекст “Чертовой куклы” текст “Пиковой дамы” А.С.Пушкина, расширяя и углубляя сквозную для романа тему “игрока” (так же образ “пленника” в главах “Юруля”, “Пленник”, “Общие места”, включает в контекст макродиалога проблематику “Легенды о Великом Инквизиторе” Ф.М.Достоевского, обновляя смысловые поля романа). Тему “игрока” реализует в “Чертовой кукле” и сквозной для романа мотив азевовщины, данный в сниженных, вульгаризированных вариантах (Яков, Гриша, подозрения на Юрулю). Наиболее популярная версия объяснения дела Азефа в начале XX века заключалась в том, что для Азефа было безразлично, на чьей стороне стоять, важен был момент игры, личного героизма, ощущения тайной власти над массами. Характеристика Азефа — игрока позволяет ярче оттенить тип Юрули, опасность которого латентного свойства.

Петербургский миф в русле общесимволистской концепции нашел свое отражение в творчестве З.Гиппиус разных лет: “Петербург” (1909), “14 декабря” (1909), “Петроград” (1914), “14 декабря 17 года” и др. Тема Петербурга особенно волновала З.Гиппиус в период работы над романом, в котором в связи с этой темой автор выделяет мотивы конца, катастрофы, Апокалипсиса. В данной связи важно отметить, что в Апокалипсисе изображается непрекращающаяся в течение веков борьба сил добра и зла. Эти мотивы символически реализуются в видении Юрули. В главе “Черные улыбки” (образ, возникший не без влияния “черного воздуха” из “Серебряного голубя” Андрея Белого) Юруля жарким днем “шел пешком по длинной горячей линии Острова” (Чк, с. 364). Описание петербургской жары дается автором сквозь призму мистического восприятия. Юруле “чудилось что-то, чему нет слов. Чудилось, что сквозь фиолетовую небесную воздушность проступают злые черные улыбки, темные пятна, словно томился воздух под напирющим на него совне бессветным и безграничным пространством. <....> небо продолжало казаться ему чернеющим, точно во время затмения, с железными отблесками. Мир мерк, притворялся, что хочет закатиться. Издевательски улыбалась над миром медленная, внешняя чернота” (Чк, с. 384–385).

Юрий этот “нежданный дневной кошмар” объясняет для себя нездоровьем (“нервы утомились”), но для автора — повествователя картина обретает глубоко символический, мистический, даже апокалиптический характер. Она насыщена эсхатологическими настроениями.

В художественном мире З.Гиппиус библейские истории теряют значение “иллюстрации” и приобретают характер мировоззренческого символа с ярко выраженной нравственно-эстетической направленностью. Так, Михаил в разговоре с Сергеем Сергеевичем (глава 31-я “Вокзальные люди”) называет себя и своих соратников по подполью “вокзальными кайнами” (Чк, с. 423). Каин — старший сын Адама и Евы, ставший первым убийцею на земле, и не только убийцею, но братоубийцею. Он пренебрег Божественным внушением: “ а если не делать доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним”²⁴. Убив брата своего, Каин стал изгнанником и скитальцем на земле. Для З.Гиппиус важно обнаружить внутренние корни обреченности революционно-социального преобразования жизни без связи с религией, ибо кайнов путь — это путь без перспективы. Это подтверждают слова Юса: “Нам думать, как с вокзала на вокзал целыми перепрыгнуть” (Чк, с. 426). Любопытным оказывается и следующее совпадение: имя Юрий (Георгий) в буквальном переводе означает “земледелец”, и Каин был первым земледельцем.

Аллегорическая образность как один из способов эстетического освоения действительности является важнейшим компонентом художественной системы З.Гиппиус. Например, дважды в словах Сергея Сергеевича (глава 23-я “Троебратство”) как бы просвечивает притча о закваске: “ что на старых дрожжах, в старой корчаге тесто замешивать, — старые хлеба взойдут?<> (Чк, с. 381) и заключительные слова Сергея Сергеевича: “ Я бы с вами пошел бы еще, поработал, право! Старые-то дела да на новых дрожжах, уж как бы зошли бы!” (Чк, с. 382) Притча о закваске говорит о постепенном, поступательном возрастании Царства Божия, которое незаметно уже явилось среди людей, о его внутренней силе, преобразующей мир²⁵. Примечательно и то, что в Евангелии от Матфея этой притче предшествует другая: о пшенице и плевелах, истолкование которой дается Иисусом Христом после притчи о закваске. Этот обрамляющий прием способствует включению обеих притч в контекст романа, что расширяет смысл диалога Михаила с представителями “троебратства” в ретроспективе вечных универсалий человеческой культуры. В то же время речь идет о сохранении традиции в историческом развитии.

Другой пример. По возвращении Юрули после ареста старая графиня устраивает “торжественный завтрак в честь “неблудного сына”, как она говорила” (Чк, с. 414). В широком смысле притча о “блудном сыне” — это притча о человеке и его свободе, о взаимоотношениях всего человеческого рода с Богом²⁶. “Неблудный”, старший сын олицетворяет внешнюю праведность и благочестивость, ему чуждо раскаяние. Оба эти смысла проецируются

на главного героя, расширяя историософскую проблематику произведения Гиппиус.

Можно говорить о многозначности сюжетно-фабульного построения романа, а точнее о внешне реалистическом сюжетно-фабульном ряде, наполняемом обобщенно-символическим содержанием, включающем в себя авантюрное, конкретно-историческое, религиозно-утопическое, историософское и др. Наиболее ярким проявлением этого является включение "Приговора" Достоевского в структуру текста "Чертовой куклы". Напомним, что "Приговор" входит в одну из глав "Дневника писателя" за 1876 год. Это философский очерк, осуждающий так называемое общественное мнение. Заданная уже Достоевским проблема, касающаяся характера поведения человека, извечных вопросов "как жить?", "что делать?", проходит через несколько глав романа. Впервые "Приговор" упоминается в главе 6-й ("Разнообразие любвей"): критик-модернист Морсов приглашает главного героя на собеседование по поводу "Приговора" в общество с несколько ироническим названием "Последние вопросы" (ср. "вечные вопросы", "мировые вопросы", "проклятые вопросы"). Уже в этой главе дается абрис (а в дальнейшем определяется статус) этого "странного собрания": "сборище" — "толпа" — "публика" — "аудитория".

В главе 19-й ("Приговор") свой микросюжет: Юрий вспомнил о приглашении на собеседование из любопытства ("любопытно вдруг сделалось") и решает взять с собой сестру Литту. Она, оказывается, в отличие от брата "очень знает Достоевского" и хорошо помнит "Приговор". Ее оценка: "Как интересно. Только страшно". Юрию же понравился "Приговор" своей "простотой" (в противовес авторской позиции "Дневника писателя").

В следующей главе ("Чертова кукла") обсуждение "Приговора" Достоевского возводится в одно из главных событий (заменяет событие). Пестрый фон собравшихся ("такая куча народу") способствует изложению точек зрения, противоречащих взглядам Юрия, за которым остается центральное слово в изложении принципов своей теории "нравственного эгоизма". "Приговор" Достоевского помогает Двоекурову раскрыть эгоистическую концепцию смысла жизни, что в свою очередь служит основой для вынесения "приговора" самому главному герою, его назовут в "собрании" ("собрание" как понятие во многом связано с Достоевским) "чертовой куклой, "игроком". Описание дискуссии у автора целенаправленно. Одна из значительных реплик в адрес Юрия: "Чертова ты кукла — вот ты кто! И пусть черт с тобой играет" (Чк, с. 354).

Дискуссия по поводу “Приговора” как бы обрамлена двумя сюжетами, воплощающими тему самоубийства. Обе попытки самоубийства предотвращены главным героем (причем один из потенциальных самоубийц в будущем станет убийцей своего спасителя). Возможные варианты физического самоустранения человека из жизни заведомо неприемлемы для Юрия, но при этом возможность духовного самоуничтожения остается за рамками его сознания.

С приведением в исполнение этого “приговора” во много будут связаны остальные тринадцать глав романа. Юрий, продолжая “игру” с революционерами, погибает от руки своего потерявшего рассудок приятеля, направляемого провокатором. Причем эта гибель изображена одновременно и физиологически конкретно, и символически обобщенно: дверь “с жидким треском разломилась перед ним надвое; черной пулей ворвалось, влетело что-то, человек или зверь — в темноте кричало, возилось, выло, не то рычало, не то бормотало, точно темнота сама рычала, сама разъяренная звериха, многолапая, многоротая, душит черной шерстью”. (Чк, с. 433).

С этой позиции герой романа не выполнил земного христианского предназначения. (Не случайно “жизнеописание” в 33-х главах). Он пришел к своей гибели через медленное духовное умирание (по сути через духовное самоубийство), что, бесспорно, связано с авторским замыслом. Т. е. “Приговор” Достоевского стал сюжетным центром всего романа.

Функцию эпилога выполняет последняя глава (“Черепки”). Если в предыдущей главе гибелью Юрия Двоекурова как бы осуществляется приведение “приговора” в исполнение, то финал романа связан со смертью ребенка главного героя, о рождении которого он не знал.

Начало главы акцентирует проблематику, обусловленную “вечными вопросами”. “Вот закопают его сейчас, и не будет... Ничего не будет, как не было ничего” (Чк, с. 437). Точно так же думает Литга, проводив, как оказалось, в последний раз Юрия: “Вот и нет Юрия, — думает слабыми, одетыми в печаль, мыслими. — Нет, опять нет, точно и не было никогда. Был? Не был?..” (Чк, с. 429).

Христианская символика “приговора” расширяет спектр значений этого понятия, о чем свидетельствует переложение 3. Гиппиус псалма Давида: “...Омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю и грех мой всегда передо мной. Тебе, тебе Единому согрешил я и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в *приговоре* твоём и чист в суде Твоём”²⁷.

Таким образом З.Гиппиус создает стилистику романа, в которой уже по-новому воспринимаются традиции русской классики, в частности, Ф.М.Достоевского. Писательница событийный этюд дневникового характера превращает в романский сюжет с новым типом героя (модернизм З.Гиппиус с опорой на русскую классику), что рождает свое представление о герое, его окружении. И само понятие “приговора” обретает целый ряд символических значений, становясь сюжетным звеном в повествовании, чему во многом способствует “слово” Достоевского.

Показательна в этом плане и последняя, 33-я глава (“Черепки”). Само название главы символично. “Черепки” — это черепки разбитой жизни в перспективе вечности, вечной жизни, и черепа из размытых могил: “Она наклонилась и подняла маленькую круглую чашу, такую чистенькую, такую белую на ласковом солнце” (Чк, с. 440), а “голубая чаша над ним, над светлым кладбищем, над серой церковью бревенчатой, — голубая чаша такая чистая, такая ласковая. Обещание весны такое верное” (Чк, с. 440).

Это соотнесение соответствует одной из идей Мережковских, связанной с новым религиозным сознанием: с идеей “охристианивания земной плоти мира”, “постоянного сведения неба на землю”²⁸.

В финале романа “большеротая” Машка хоронит общего с Юрулей ребенка, который волею провидения носит с отцом одно имя — Юрий — Георгий (“при крещении священник дал ему имя Георгия”). Это совпадение опять-таки символично: оно как бы “удваивает” смерть главного героя. Согласно христианскому вероучению, смерть бывает двойкой: телесная и духовная. Телесная состоит в том, что тело лишается души, которая оживляла его, а духовная в том, что душа лишается благодати Божьей, которая оживляет ее высшей духовной жизнью. Духовная смерть связана с погружением в состояние мрака, то есть душа, умирающая грехом, лишается духовного света. Смерть же ребенка — свидетельство апокалиптического значения смерти для главного героя, ибо вторая смерть — “вечное проклятие” (Откр. 2:11). В то же время в контексте романа смерть ребенка — это обвинение Юруле. Обращает на себя внимание и то, что последняя глава наполнена “светом” (несмотря на гибель главного героя и несмотря на смерть ребенка): содержание романа раскрывается в масштабе вечности. Начинается глава пейзажем, звучащим как символ веры в светлое начало после гибели “чертовой куклы”:

“Тихий март.

Даже не март еще, — конец февраля, но воздух мартовский, светлы мартовские, небо мартовское, да и земля <...> рано зажглись небеса обещанием весны.

По равнине размашисто круглится железнодорожный путь. Далеко-далеко сверкают рельсы, тонут в редких сосновых проселочках. Вот сбоку тоже небольшая кучка таких корявых сосенок. Около нее, без ограды, — серая бревенчатая церковь. Просто сруб, и бревна потемневшие тонки, и стоит сруб высоко на четырех подставах, внизу пустота. Странная церковь, — ни дать ни взять сказочная избушка на курьих ножках”. (Чк, с. 436).

Без представлений о поэтической системе символов в творчестве З.Гиппиус этот пейзаж может прочитываться как реалистический. Благодаря целому ряду образов-символов эта пейзажная зарисовка наполняется особым смыслом. Особое внимание обращает на себя образ “сказочной” церкви, оторванной от “земли” (для З.Гиппиус и ее единомышленников весьма остро звучала тема “ортодоксальная церковь и неохристианство”). Немаловажна и другая деталь: буквальное сравнение этой “странной” церкви со “сказочной” избушкой на курьих ножках. Традиционно в фольклоре этот образ обозначает границу между этим миром и потусторонним, между миром живых и мертвых (кстати, такую же функцию в романе выполняет Красный домик, где когда-то умерла мать Литты и погиб главный герой), в романе “Чертова кукла”, возможно, это и граница между миром людей и нечисти. Эта “серая бревенчатая” церковь стоит непосредственно на краю кладбища. Этим приемом З.Гиппиус как бы переводит повествование в перспективу вечности. Именно поэтому последнюю главу буквально “заливает” солнечный свет, который становится лейтмотивом этой главы: “В это радостное утро отпевают Машкиного ребеночка”; “*В солнечном луче вьется огонек свечки*”; “Дьячок понес гробик, из церкви *по солнцу*, туда где меж корявых сосен частые кресты”; “*ласковое солнце*” (Чк, с. 436–440).

Для З.Гиппиус, помимо значений образа солнца, сложившихся в русле уже ставшей традиционной к тому времени поэтики символизма, важно и то, что в Священном писании образ солнца идентичен образу Бога:

“Ибо Господь Бог есть солнце и Щит,
Господь дает благодать и славу”. (Пс. 84, 12)
“Истина возникает из земли,
И правда проникает с небес.
И Господь дает благо,
И земля наша даст плод свой.
Правда пойдет перед Ним
И поставит на путь стопы свои”. (Пс. 85, 12–14)

Т.е., с воцарением Мессии наступит и земное благоденствие: встретятся правда Божия и мир на земле, как об этом пели ангелы пастухам Вифлеемовским. Этот же псалом З.Гиппиус цитирует в

воспоминаниях о Д.Мережковском, иллюстрируя “одну из главнейших идей” Мережковских о христианстве. Как известно, основное положение религии Третьего Завета связано с охристианиванием “земной плоти мира”. В связи с этим важно сравнение с возможной в будущем, по замыслам Мережковских, религиозно-революционной организацией “Союз Земли и Правды”²⁹.

Заканчивается глава рефреном: “Голубая круглая чаша вверху такая чистая, такая ласковая. Обещание весны такое верное. Близок юный март” (Чк, с. 340). После этих авторских слов сторожика успокаивает Машку: “Грех так убиваться по младенчику <...> Христос с ним”. И снова повторяется рефрен, но фраза: “Близок юный март” вынесена в новый абзац, таким образом выделена особенно. Смысл этого наиболее ярко проявляется в контексте творчества З.Гиппиус 1910-х годов: пьеса “Маков цвет” (1907); стихотворение “Журавли” (1908); романы “Чертова кукла” (1911) и “Роман — царевич” (1914); стихотворение “Юный март” (1917).

“Юный март” — образ-символ из романа “Чертова кукла” — вынесен в заглавие стихотворения, написанного в дни февральской революции (пророческое совпадение):

Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель,
Там солнце со снегом целуется
И льет огнердостный хмель...³⁰

Как известно, Мережковские восторженно приняли февральскую революцию. Весна — символ идеального мира, характеризующий нравственное пробуждение. Отсюда надежды на революцию как способ переустройства жизни через внутреннее преобразование.

Таким образом, символ в романе “Чертова кукла” становится доминантой художественного мышления З.Гиппиус. Символизации подвержены многие структуры романа: заглавие, названия глав, образы-маски, образы — носители определенной идеи, категории, понятия, детали и т.д. Символика романа окрашена в религиозные тона, т.е. прежде всего связана с христианской спецификой. Библейские образы и мотивы, религиозные символы в романе обретают метафизическое значение, отражая религиозно-метафизические искания автора. Экспериментируя, З.Гиппиус вводит своих героев в философско-религиозный контекст, осмысляя их идеалы и устремления в связи с духовными исканиями своего времени, и таким образом переводит повествование в перспективу космогонического бытия, универсальных начал человеческого бытия. Поиск “Нового Пути” определяется для писательни-

цы как выход “из тупиков индивидуалистического самоопределения, как путь преодоления разорванности сознания и мучительных антиномий бытия, путь к Богу через обретение высшего единства, заключающегося в синтезе “правды о небе” и “правды о земле”. В художественной ткани романа эти вопросы получают решение средствами символистической поэтики.

¹ Впервые роман напечатан в журнале “Русская мысль”, 1911, №1–3. В том же году вышел отдельным изданием СПб., 1911 (Далее сноски по изданию: Гиппиус З.Н. Чертова кукла. Проза. Стихотворения. Статьи. М., 1991) (в тексте — Чк).

² Келдыш В. На рубеже художественных эпох // Вопросы литературы. 1993, №2. С. 96.

³ Философов Д.В. П.Д.Боборыкин // Русская мысль. 1910. Декабрь. С. 93

⁴ Чуковский К.И. Лица и маски. СПб., 1914. С. 175.

⁵ Лундберг Е. Религия и лирика несвободной души (З. Гиппиус) // Лундберг Е. Мережковский и его новое христианство. СПб., 1914. С. 172.

⁶ Ильев С. П. Русский символистский роман (аспекты поэтики). Киев, 1991. С. 7.

⁷ Гиппиус З.Н. Стихотворения / Вст. ст., сост., подг. текста и примеч. А.В.Лаврова. СПб.: Новая Библиотека Поэта, 1999. С. 167.

⁸ Там же. С. 322.

⁹ Там же. С. 353.

¹⁰ См.: Мережковский Д.С. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. СПб., 1908; Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский. М., 1990. С. 392–393; Лосский Н.О. История русской философии. М., 1994. С. 364–366; Скенлен Дж. П. Мережковский Д.С. // Русская философия. Словарь. М., 1995. С. 294–296; Гайденок П. Соблазн “святой плоти” (С. Соловьев и русский серебряный век) // Вопр. литер. 1996, вып. 4. С. 67–94; Матич Ольга. Христианство Третьего Завета и традиция русского утопизма // Д.С. Мережковский Мысль и слово. М.: Наследие, 1999. С. 106–119; Лавров А.В. З.Н. Гиппиус и ее поэтический дневник // Гиппиус З.Н. Стихотворения. С. 21–22 и др.

¹¹ Чернов В. Литературные впечатления (Зинаида Гиппиус. Чертова кукла) // Современник. 1911. № 5. С. 309.

¹² Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. IV. М., 1991. С. 597–598; Словарь современного русского литературного языка: Т. XVII. М.–Л., 1965. С. 939.

¹³ Барковская Н.В. Под знаком Гераклита (идейно-художественное своеобразие романа А.Белого “Москва”) // Русская литература XX века: направления и течения. Сб. научных трудов. Екатеринбург, 1992. С. 96.

¹⁴ Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1999. С. 195.

¹⁵ Гиппиус З.Н. Стихотворения. С. 138, 153, 209.

¹⁶ См. комментарий А.Меня к Новому Завету. Брюссель, 1989. С. 2256.

¹⁷ История с “синема”. Публ. Р.Янгирова // Литературное обозрение. 1992. № 3–4. С. 101–105.

¹⁸ Там же. С. 101.

¹⁹ Гиппиус З.Н. Синема // Звено. 1926, 26 декабря. № 204)

²⁰ Минц З.Г. А.Блок в полемике с Мережковским // Наследие А.Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 535. Тарту, 1980. С. 187. См. также: Королева Н.В. Неизвестные письма А.Блока к Д.С.Мережковскому и З.Н. Гиппиус в американском архиве // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1994. М.: Наука, 1996. С. 27.

²¹ Гиппиус З.Н. Автобиографическая записка // Русская литература XX века 1890–1910 под ред. С.А.Венгерова. М., 1916. То же: Гиппиус З. Избранное. Сост. Т.Ф.Прокопов. М.: Терра, 1997. С. 9–10.

²² Барковская Н.В. Цит. изд. С. 99.

²³ Пустыгина Н.Г. Цитатность в романе А.Белого “Петербург” // Труды по русской и славянской филологии. Т. XXXII. 1981. С. 89.

²⁴ Бытие, 4, 7.

²⁵ См.: Комментарий А.Меня к Новому Завету. С. 2087.

²⁶ Там же. С. 2114–2115.

²⁷ РО РНБ, фонд 481, ед. хр. 35. З.Гиппиус составила молитву, используя отдельные части синодального перевода.

²⁸ Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский. // Гиппиус З.Н. Живые лица. Воспоминания. Т. 2. Тбилиси. 1991.

²⁹ Программные документы планируемой организации, записанные рукой З.Н.Гиппиус, опубликованные в “Вопросах философии”. 1994. № 10. С. 138–142.

³⁰ Гиппиус З.Н. Стихотворения. С. 218.

*М. В. Михайлова
(Москва, МГУ)*

З. Н. ГИППИУС и Г. И. ЧУЛКОВ

Предлагаемый литературоведческий сюжет — взаимоотношения известной поэтессы, ярчайшей представительницы символистского движения Зинаиды Гиппиус с соратником по направлению Георгием Чулковым, в свое время не менее заметным критиком, прозаиком, драматургом и поэтом, может показаться частным в спектре многообразных возможностей, открывшихся в настоящее время перед исследователем символизма. Но он, несомненно, пролагает путь к восстановлению многоступенчатого корпуса личных, литературных, биографических и творческих связей, без которых невозможно воссоздание творческих индивидуальностей, составляющих это необыкновенно сложное явление — символизм. Он удачно раскрывает ту двойственность, а может быть, и множественность обликов, личин, масок, образов, которые нередко составляли сущность его выдающихся представителей. Создание собственного мифа на основе жизнетворчества было для символистов едва ли не такой же насущной задачей, как и писание текстов. И в случае с З. Гиппиус еще вопрос — что было сделано с большим блеском и талантом — создание ли образа “Декадентской мадонны”, эксплицирование ли маски критика Антона Крайнего или творчество в чистом виде? Кроме того, обозначенный сюжет помогает извлечь из небытия и имя писателя, весьма достойного и интересного, бывшего в центре всех существеннейших литературных событий начала века, но оказавшегося вытесненным на обочину литературного процесса в советское время и преданного абсолютному забвению после смерти в 1939 году, чье творчество только в последние годы начало очень медленно возвращаться к нашему читателю¹.

Особый интерес представляет и то, что литературные отношения Гиппиус и Чулкова были весьма продолжительными (более 35 лет), пережили свои взлеты и падения, существовали, если можно так выразиться, и заочно: оба наших “героя” не вы-

пускали друг друга из вида, вернее, из памяти и после расставания. Таким образом, история их взаимоотношений дает возможность увидеть литературную эпоху сквозь призму исторических событий первой трети двадцатого века. И наконец, благодаря Чулкову мы имеем не только литературный портрет Гиппиус (этой чести она удостоилась во многих мемуарах), а навеянный ее характером, личностными чертами художественный образ (имеется в виду рассказ “Ненавистники”)².

Одним из центральных эпизодов этих взаимоотношений следует признать “литературную кампанию” “Весов”, направленную против Чулкова в 1906–1907 гг.. В досконально продуманной, тщательно выверенной и безукоризненно исполняемой литературной политике “Весов” важное место отводилось дискредитации личности и творческой позиции Г. Чулкова. Прямота, с которой проводилась эта линия, получила в “Золотом руне” издательскую характеристику: “Весы” на протяжении последних лет имели единственный “идейный лозунг” — “ругать Чулкова”³. Кстати, вся полемика “Золотого руна” и “Весов” зачастую также настолько была связана с именем Чулкова, что закончилась забавной рокировкой: как только “Золотое Руно” покинули А. Белый, В. Брюсов, З. Гиппиус и Д. Мережковский, “вновь вступили в состав сотрудников журнала” Г. Чулков, Л. Андреев, И. Бунин и Б. Зайцев⁴. Серьезность и последовательность, с которой осуществлялись выпады, опровергает постоянно присутствовавшее в статьях утверждение, что вся деятельность этого литератора — нечто убогое, жалкое, не заслуживающее внимания. Скорее всего это был тщательно спланированный ход, где инициатор — В. Брюсов, посчитавший себя обиженным Чулковым и сохранивший эту обиду на долгие годы (их сложные взаимоотношения — отдельная тема), нашел великолепного исполнителя своих мстительных замыслов — З. Гиппиус, также в свою очередь “пострадавшую” от невнимания в свое время приближенного и облагодетельствованного просителя. В пересказе А. Белого ее обида сопровождалась такими признаниями: “согрела змею на груди-де”⁵. Об инспирированности статей Брюсовым косвенно говорит тот факт, что Брюсов является единственным, кого берет, называя по имени, под защиту Гиппиус. В своих статьях-нападаках на Чулкова она писала, что критик “свысока третирует Брюсова за то, что у него нет никакого соборного индивидуализма, ни индивидуальной соборности... и еще чего?”, “Брюсов, по мнению Чулкова, уже ...не годится”⁶.

В свое время Гиппиус действительно, можно сказать, извлекла Чулкова из безвестности и спасла от прозябания (он только что вернулся из ссылки и как писатель не имел никакого веса в

петербургских литературных кругах). С ходу, после непродолжительной беседы (дело, правда, не обошлось без рекомендации Ремизова, о чем она упомянула в заметке, помещенной в “Современных записках”, о которой пойдет речь ниже), ему было предложено место секретаря редакции журнала “Новый путь”. Думается, однако, что для нее, внимательнейшим образом следившей за всем новым, Чулков являл собой еще не примелькавшуюся литературную достопримечательность — небывалое соединение человека архиреволюционной (хотя и весьма аморфной в политическом отношении) настроенности со склонностью к модернистским изыскам. Недаром именно одной из немногих поощрительных рецензий на его первый стихотворно-прозаический опус — сборник “Кремнистый путь” — была рецензия Allegro (П. Соловьевой), помещенная в руководимом Мережковскими “Новом пути”.

Поэтому можно смело утверждать, что у прозорливой четы Мережковских на Чулкова могли иметься особые виды. И — следует признать — что на первом этапе их взаимоотношений их надежды оправдались: Чулков с головой окунулся в предложенную ему деятельность. Его имя, инициалы, псевдонимы замелькали на страницах журнала. Рассказы, критические статьи, рецензии, стихи — вот неполный перечень тех жанров, в которых он работал. Мережковские решили, что они вполне могут ему доверять. Но тут разразился скандал, который и явился причиной никогда не утихнувшего конфликта. Приглашенные ими же философы — Н.А. Бердяев и С.Н. Булгаков — стали склоняться к иной, не “новопутейской” трактовке религиозных и философских проблем, чем очень озадачили Мережковских, полностью уверовавших, что все в журнале происходит с их ведома. И здесь Чулков явно превысил свои полномочия, склонившись к поддержке вновь привлеченной философской группы да еще и отказавшись печатать одну из статей З. Гиппиус. Возможно, он проявлял излишнюю самостоятельность и ранее. Как следует из его переписки с Ремизовым, хранящейся в ОР РНБ, он настойчиво рекомендовал его “Пруд” для напечатания в журнале, а Гиппиус этому всячески противилась.

Впрочем, все вышеприведенные факты довольно хорошо известны и по исследованиям, посвященным “Новому пути”, и по собственным воспоминаниям Чулкова, где он изложил приведенную версию, которая, на наш взгляд, во многом совпадает с истиной (хотя, по существующей традиции, мемуарам Чулкова принято не очень доверять, считая, что он занимается самовосхвалением, а не воспроизведением увиденного). Хотелось бы только привлечь внимание к словам мемуариста, в которых он

описывает реакцию Гиппиус на происшедшее: “Прелестная Зинаида Николаевна смотрела на меня такими злыми глазами и метала в меня такие отравленные стрелы, что я понял, каких свирепых врагов я себе нажил”⁷. Это прозрение посетило Чулкова почти 25 лет спустя, когда он писал свои мемуары, но формулировка, в которой он выразил охватившие его тогда чувства, была как нельзя более точной. От “отравленных стрел” ему теперь было не спастись. Чулкову были посвящены две, может быть, самых язвительных статьи Антона Крайнего в “Весах”: “Иван Александрович — неудачник” (1906. № 8) и “Трихина” (1907. № 5). Первая, как известно, посвящена весьма уязвимому с теоретической точки зрения обоснованию Чулковым религиозно-философского учения “мистического анархизма”, или, иными словами, одной из многочисленных в те годы попыток соединения “религии и общественности”, вторая — его журналистской деятельности в журнале “Перевал”. И хотя материал, рассматриваемый в них, разнится, способы его анализа и подачи — идентичны. Причина тому — личность Чулкова, компоненты которой — реальные или созданные воображением А.Крайнего — остались неизменными. Безошибочным оказался выбранный и в том и в другом случае прием противопоставления, или рассмотрения фигуры “на фоне”.

В первой статье таким “фоном” становится Вяч. Иванов — “недюжинный”, по выражению Гиппиус, писатель. Правда, в процессе изложения этот эпитет корректируется другими: “бессмысленная чуткость”, “ничего не дающее... томление”⁸ и т.д. Во второй — А.Блок, которого Гиппиус называет “тонким и нежным лириком” (однако и здесь она “подправляет” свою высокую оценку, говоря о “Балаганчике” как о “милой, не новой и никакого ни для кого не имеющей значения вещи”⁹). Пытаясь отвести Блока от чулковской “общественности”, она выставляет “суетливого и услужливого” Чулкова таким Мефистофелем и соблазнителем поэта, нарисовавшим перед ним притягательную перспективу соединения “эстетики и общественности”, которую тот, изначально ничего в общественности не смыслящий, воспринял всерьез.

И надо признаться, что такой прием “срабатывает”, т.к. Чулков действительно рядом с корифеями оказывается довольно-таки мелкой и незначительной фигурой. Но, напомним, что мерка “гамбургского счета” вообще, на наш взгляд, не может применяться к литераторам второго ряда, каким является Чулков, и этого не могла не понимать Гиппиус. Ведь в ином случае за чертой литературы окажется большинство самых разнообразных писателей...

В первой статье на все лады обыгрываются “произвольные закруты чулковской мысли”, его “потрясающая самоуверенность”¹⁰, которая, по мнению Гиппиус, может соперничать разве что с “экстазом и упоением” Ивана Александровича Хлестакова. Во второй — комичность поведения и положения человека, который не сознает своего “убожества”. “...Он везде смешон”, режюмирует Товарищ Герман (Антон Крайний), — и в “Перевале”, и издавая свои книги. “Человек волнуется, горячится, наскоро вспоминает все хорошие слова, какие только слышал от умных людей, торопясь, сплетает из них свою собственную плетенку, надрывается — а при этом смешон”¹¹. Причина такого поведения, по ее мнению, заключается в непомерной жажде славы, или “славки”, которая заставляет Чулкова “присоседиться” к любому мало-мальски заметному литературному предприятию. Так он оказывается в театре Мейерхольда, на “средах” В.Иванова, за столиком кабачка рядом с Блоком.

В обеих статьях издевательский тон филигранно чередуется с менторским: Чулкову рекомендуется “добросовестнее... читать книги”¹², податься в контролеры или заняться переводом социал-демократических брошюр. И вот вывод: он занимает чужое место, повторяет чужие слова. В обеих статьях использован риторический прием литоты: значение Чулкова для литературы настолько ничтожно, что сравнимо с одной-единственной ядовитой трихиной, которая, даже если и попадет в пищу, не приведет к смертельному исходу, поскольку в таких малых количествах безопасна. Так и творения Чулковых можно потреблять без ущерба для здоровья...

В статье “Трихина” содержалась, пожалуй, лишь одна серьезная фраза, которая неожиданно оказалась пророческой. “Я только боюсь, что жизнь когда-нибудь толчком грубо выбросит его из мира мечтаний”¹³. И это действительно произошло: “вечно пылающий”, по определению Тэффи, Чулков после революционных катаклизмов 1917 года, после трагических событий в личной жизни (смерть долгожданного маленького сына) стал другим. Ощущение глубокого трагизма, пусть и религиозно просветленного, навсегда поселилось в нем. Даже враждовавший с ним в молодости А.Белый, создавший в “Кубке метелей” образ вездесущего литератора Нуякова, в своих мемуарах вынужден был признать это. Он отмечал, что Чулков превратился в “седогривого, уравновесившегося, почтенного, умного, талантливого литературоведа”¹⁴. Но и раннего Чулкова Белый ценил, называя “интересным и безукоризненно честным писателем”¹⁵. Такой оценки в преимущественно гротескных мемуарах А.Белого удостоились единицы.

Внешне жизнь Чулкова в годы советской власти протекала почти что благополучно: умер в своей постели в собственном домике на Смоленской, куда наведывались друзья — А.Ахматова, А.Голубкина, В.Вересаев, Н.Клюев; от государства получал путевки в Дома творчества и удостоился персональной пенсии; рядом находились жена и сестра; была даже глубокая сердечная привязанность, скрашивающая последние годы, балерина Людмила Михайловна Лебедева... В общем по сравнению с другими — арестованными, сосланными, униженными, погранными, расстрелянными — жилось ему почти хорошо. Видимо, на этих внешних данных и основывала свои суждения З.Н.Гиппиус, откликнувшаяся на смерть писателя заметкой “О счастливости”¹⁶. И эта ее статья интересна и как пример поразительного неведения русской эмиграции относительно условий и обстоятельств жизни писателей, оставшихся на родине, и как развитие той легенды, которую она создала вокруг Чулкова и сама же усиленно поддерживала — легенды о его самоупоенности и самолюбованиях. Отметив в заметке-некрологе присущий ему “дар “самомечтания”, она под соответствующим углом зрения воспроизвела обстоятельства своего первого знакомства с начинающим литератором Чулковым в Петербурге в 1904 году: “Уже тогда он, молодой человек болезненного вида, с порывистыми движениями, придавал особую какую-то значительность всему, что с ним случилось... своим настроениям то “протеста” (вообще), то безнадежности...” Да и потом, считала она, ему не суждено было измениться: в своих мемуарах “Годы странствий” он «с подкупающей искренностью говорит ... о себе, себя видит, мечтая: сначала пылким революционером, потом известным писателем, критиком, драматургом, руководителем журналов, идейным новатором... интимным другом “знаменитых” современников...» Судя по всему, заключала Гиппиус свои рассуждения, Чулков всегда “был неизменно счастлив” и являет всей своей жизнью удачную параллель “трагической судьбе настоящего искателя” правды — Блока.

Как мы можем судить, она почти дословно воспроизвела основные положения своих статей в “Весах”, опять сделав акцент на пустопорожности, мечтательности, самодовольстве ушедшего в мир иной писателя. Новым было, пожалуй, только то, что она подчеркнула случайный (мол, нужен же был хоть какой-то после ушедших Перцова, Философова и Егорова секретарь журнала!), кратковременный — всего несколько месяцев — характер их “общения”. Она явно забыла или предпочла забыть существовавший, пусть и недолго, период вновь пробудившейся взаимной симпатии в середине десятых годов.

Как ее признак можно расценить очень доброжелательную рецензию Гиппиус на роман Г.Чулкова “Сатана”. Назвав ее “Мятущаяся душа”¹⁷, она тем самым как бы сняла свое же обвинение Чулкова в “суетности”. Вернее, совершенно по-новому преподнесла то самое явление, о котором раньше писала с раздражением, а теперь — как бы открыв для себя его позитивный смысл. “<...> Чулков именно “мятущаяся душа”. Весь облик этого писателя иной, нежели у пышных и махрово-неподвижных наших художников. От последних и не требуешь никаких стержней, а от Чулкова требуешь, ибо он сам от себя их требует, и мучится, вечно ищет. Хаотически путается, перебрасывается, хватает мгновенно чужое, как будто легко перескакивает, возбуждает досаду, часто *несправедливое раздражение* (NB! — элемент самообвинения — курсив мой — М.М.), и все-таки неутомимо ищет, горит своим верным исканием. И за эту верную в нем *волю* (выделено автором — М.М.) можно отдать сто гармоний А.Толстого (если бы какой-нибудь предстоял выбор)”.

Как огромное достоинство автора она выделила его тяготение к “гениальным темам”, подчеркнула, “что чувствует он верно”, сказала об его “писательском даре” и “верности его внимания”. Тонко и глубоко проанализировав образы романа (особенно образ Оленьки Макульской, написав об источаемой ею чувственности: “Княжна, юная девушка, невинная и целомудренная, смотрит на каждого, “обжигая странным, как бы влажным огнем, смущаясь, страшась и в то же время соглашаясь на все и отдавая себя” — и сделав на этом основании вывод: “нарисованная почти одной чертой, она “светится как живая”), Гиппиус уловила их символичность, двойственность. И хотя не приняла метода исторической “документалистики” Чулкова, в которую, почти без изменения, только под вымышленными именами, переносились реальные люди и факты, тем не менее не один раз повторила, что многое сделано “художественно верно и хорошо”. Похвалы повести были, может быть, даже в чем-то неумеренны. Крайне забавно выглядела, например, эта: “Внешние достоинства бесспорны, их нечего доказывать: образный, выработанный, не всегда ровный — но всегда интересный и живой язык Чулкова известен всем, кто читал романы и повести этого автора” — в сравнении с высказанным ею же семью годами ранее соображением, что Чулков “давно ведет” “кампанию против новых, свежих, наиболее глубоких и прекрасных слов” и “погубил их немало...”

Можно было бы как ответный шаг на пути к наметившемуся сближению расценить и положительный отзыв Чулкова на пьесу З.Гиппиус “Зеленое кольцо” (здесь он пошел вразрез с той час-

тью критики, которая предложила читателю по преимуществу разгромные рецензии; В. Буренин озаглавил, например, свою — “Торжество провала”). Но в отличие от своего оппонента он всегда проявлял критическую сдержанность, никогда не опускаясь до брани и резких выходов, поэтому и высокая оценка пьесы вряд ли определялась возникшими обстоятельствами. Эту его черту — достоинство критика и публициста — отметит Белый, когда, принеся извинения за нанесенные оскорбления, вспомнит, что Чулков никогда не “воздавал” своим противникам “следуемого”¹⁸. И в отзыве о “Зеленом кольце” Чулков как критик проявил, может быть, лучшие свои свойства. Во-первых, избрал, казалось бы, самый элементарный, но всегда дающийся критикам с огромным трудом ход — “стать на точку зрения автора”¹⁹, благодаря чему вся авторская конструкция предстала увиденной в нужном ракурсе. Во-вторых (и в этом обнаруживается параллель со статьей Гиппиус о нем), попытался заглянуть в душу автора, открыв “исключительное единство” ее “устремлений”, ее волнующий и увлекающий “полет”²⁰. Наконец он сумел оценить эстетическую “скупость” пьесы — то, что сама Гиппиус определяла как “малую написанность”²¹ и что как “нелитературность” третирувалось недоброжелателями.

Момент сближения Гиппиус и Чулкова, возникший в начале Первой мировой войны, может быть, как нам кажется, объяснен изменением их политической и философской ориентации. Мистический анархизм одного остался далеко позади (ему на смену шел мистический национализм). Религиозная общественность другой также перестала быть актуальной, возникала новая философско-религиозная концепция. Нависшая над Россией опасность чувствовалась обоими.

Чем же можно объяснить тогда новый приступ неприязни в 1939 г., явно неподобающий для обнародования в таком жанре, как статья-некролог, и полное забвение моментов единения? Думается, что Зинаиде Николаевне стал известен рассказ Чулкова 1924 года “Ненавистники”, в котором писатель под фамилией Бережных вывел чету Мережковских, воплотивших для него, человека, в начале 1920-х годов вернувшегося к “историческому христианству”, раскаявшегося в своих мистических “окаянствах” начала девятисотых, антихристианскую философию чело-веконенавистничества. Можно предположить, что З. Гиппиус возмутило и яростное отвержение всего того, что ранее было им восторженно принято в “Зеленом кольце”: таинства целомудренного брака, упования на особого рода восторженную влюбленность (по-видимому, Зинаида Николаевна только себе разрешала полный отказ от ранее провозглашенного).

Как мы помним, Чулков вообще был склонен в своих прозаических вещах воспроизводить почти без изменений или с небольшими модификациями известные ему по жизни коллизии, что раздражало, например, Вяч.Иванова, всегда отговаривавшего его от этих затей и связывавшего именно с этой “ложной документальностью” художественные промахи писателя. Стоит сказать, что действительно на этом пути у Чулкова найдется немного удач. И рассказ “Полунощный свет”, воссоздающий атмосферу на ивановской башне, и этюд “Шурочка и Веня”, давший абрис характера писательницы А.Мирзэ, не относятся к их числу.

Другое дело — “Ненавистники”. Это один из лучших рассказов Чулкова, вошедший в его сборник “Вечерние зори”, ставший своеобразным вызовом писателя всему происходящему вокруг. Из четырех рассказов сборника ни один не был связан с современностью, на что соответствующим образом отреагировали рецензенты, задавшиеся вопросом, что значит “молчание” писателя “о настоящем”, и “приемлет” ли он его вообще²²? Но писатель, поместивший в сборнике “Милочку” — притчу о судьбе России, бросающейся в объятия то одного, то другого покровителя, и “Ненавистников” — о самой блистательной литературной паре, вешавшей и прорицавшей об этой судьбе, но так и не сумевшей ее предсказать, а, возможно, своей человеконенавистнической позицией и накликавшей ее беды — был самым многозначительным ответом Чулкова на свершившееся и свершающееся на его глазах.

В нем Чулков очень удачно воспроизвел лирическую интонацию ностальгической грусти о несостоявшемся из чеховского рассказа “Дом с мезонином”, в чем-то даже повторив сюжетную схему этого рассказа: любовный треугольник, две стороны которого — родные сестры, — но ярче и отчетливее прорисовав отношения, связавшие людей. История двух соперничающих сестер, старшая из которых — Антонина — разрушает счастье младшей — Любви — только потому, что ей не удалось привязать, подчинить себе юношу, который ей и не особенно нужен, так, пусть находится в свите поклонников... рассказана Чулковым просто и печально, хотя прочитывался и символический подтекст — погубление Любви. Немаловажная роль стороннего наблюдателя, снисходительно относящегося к играм своей жены, отведена презрительно-рассеянному, забывающему имена-отчества собеседников, обладателю холодных и недобрых глаз Сергею Матвеевичу Бережину, любимое занятие которого — вешать о скором конце света.

“Ненавистники” писались, очевидно, почти одновременно с книгой воспоминаний. Отсюда и бросающиеся в глаза переключ-

ки. Вот каков, например, портрет З.Гиппиус в “Годах странствий”: “Она полулежала на кушетке, дымя тоненькой дурманной папироской. В полумраке гостиной ей нельзя было дать и тридцати лет, а ей было тогда под сорок. Я смотрел на нее, и мне казалось, что я как будто где-то видел это лицо — эти рыжеватые волосы и большой нескромный рот”; “время от времени она, впрочем, сбивалась с дружеского простого тона, и я чувствовал когти в бархатных лапах умной тигрицы”.

А вот как выглядит Антонина Петровна Бережина: “Сколько лет было Антонине Петровне, я вам сказать не могу, Антонина Петровна была существо неопределенного возраста. К тому же она подкрашивала себе губы, и глаза подводила, и холила себя очень — провинциалу, знаете ли, трудно разобрать суть под такую маску. Что у нее действительно было прекрасно, так это волосы — густые, темные, с синим отливом, куда ниже талии — чудесные были волосы, Я ее с распущенными волосами раза два видел. Глаза у нее были холодные, как у Сергея Матвеевича, но где-то в глубине зрачков иной раз загорались кошачьи беспокойные огоньки”. И там и здесь подчеркивалась “русалочность” облика. Антонина Петровна подробно развивала концепцию целомудренного брака, напоенного влюбленностью (идея влюбленности, противопоставляемой любви, долгое время владела умом З.Гиппиус). И, видимо, содержащиеся в этом произведении обвинения в холодности, равнодушии, презрении (люди как муравьи), ненависти к людям вызвали в Гиппиус уже никогда не стихнувшее негодование. И спустя почти 15 лет она вспомнила все плохое, что было для нее связано с Чулковым. И лейтмотивом ее статьи стало упоминание о “счастливости” этого никогда не унывающего, незамутненного духом, вечно самоуспокаивающегося человека.

Но Гиппиус писала это из своего “прекрасного далека”, не подозревая, что же происходило на самом деле. А происходило вот что...

“Помогите, Алексей Максимович!

У меня горе. Вы понимаете, как мне тяжело просить Вас: я знаю, как Вас одолевают со всех сторон просьбами, но делать нечего — надо просить.

Десятого февраля, когда у меня ужинало человек семь приятелей из актерского и литературного мира, явились товарищи из ОГПУ и арестовали мою жену <...>

Она теперь немолодая. Ей стукнуло шестьдесят. Она тяжело больна <...> Во время обыска, хотя она сохраняла видимое спокойствие, у нее случилось кровоизлияние в левом глазу. И я с

ужасом смотрел на этот окровавленный глаз, когда она прощала со мной.

Почему ее арестовали? Судя по тому, какими книгами и рукописями интересовались товарищи во время обыска, полагаю, что мою жену привлекают по какому-нибудь церковному делу <...>

В чем же ее преступление? Неужели в том, что она религиозна? <...> Ни в каких религиозных организациях, общинах, кружках она не состоит <...> А то, что шестидесятилетняя женщина <...> читает библию, чтит обряды, любит канон Андрея Критского, вопли Ефрема Сирина и песни Иоанна Дамаскина — кому от этого худо? <...>

Арест Надежды Николаевны — тяжкая кара для меня. Но меня не за что карать. В меру моих сил я честно работаю <...> А между тем арест моей старухи для меня даже не тюрьма, а самая настоящая казнь.

Заступитесь, Алексей Максимович.

Георгий Чулков²³.

Уже сам тон этого письма — вызывающе-гордый тон человека, обладающего собственным достоинством, исключает подозрение в суетности, приспособляемости, услужливости и самоуспокоенности. Но этого и многих других фактов биографии писателя не знала Гиппиус. Впрочем, как и того, что уже постоянно в критических статьях Чулков фигурировал как “буржуазный перерожденец”, погрузившийся “в настоящее психологическое подполье”, чьи персонажи представляют собой “звериную, искривленную, безобразную личину собственнического общества”, создавшего “особо утонченную форму духовного проституирования”²⁴.

Любопытно, кстати, отметить поразительное совпадение оценок, которые давались Чулкову советской критикой на протяжении многих лет, с восприятием его личности и творчества Зинаидой Гиппиус. И выпячивание своей роли во всех литературных событиях начала XX века, и неудачное сочетание революционности и модернизма, и вторичность идей, и легкомыслие, и поверхностность, и, наконец, опутывание Блока “чулковщиной”, сманивание его на путь мистики и анархии — все то, в чем упрекала Чулкова советская критика, уже встречалось в работах Гиппиус. Может создаться даже впечатление, что советские критики не очень утруждали себя вдумчивым анализом его творчества, а взяли напрокат уже созданное клише.

Закономерен вопрос, а не подтверждает ли это совпадение мудрости сделанных ею наблюдений? Как нам представляется, проделанный выше анализ опровергает это. Скорее отмеченная

схожесть может стать дополнительным подтверждением умения З.Гиппиус создавать литературные мифы и репутации, развеять которые потом удавалось с большим трудом, да и то только тогда, когда в этом была нужда. Случай же с Чулковым — особый. Поскольку этот литератор как бы исчез из литературной жизни еще задолго до своей кончины, никакой нужды доискиваться, что же он и его творчество представляют на самом деле, ни у кого не возникло.

Тому же, что именно нацеленность Гиппиус на создание определенной репутации Чулкова содействовала ее распространению, мы найдем доказательство в воспоминаниях А.Белого. И хотя он довольно уклончиво пишет о “тех личностях, которые встали тогда меж нами и, пользуясь моим состоянием, делали все, чтобы миф о “Чулкове” мне стал реальностью”²⁵, можно догадаться, кого он имеет в виду. В ухудшении отношений Белого и Чулкова, спровоцированной ситуацией с Любовью Дмитриевной Блок, супруги Мережковские сыграли не последнюю роль (как, впрочем, и в осложнении его взаимоотношений с Блоком). Очень удачно, на наш взгляд, использование в данном контексте Белым слова “миф”. Действительно, “миф” о Чулкове был едва ли не самым устойчивым житейским символистским “мифом”. Можно подумать, что символизму был нужен “мальчик для битья”. И он был создан. Как убедительно пишет тот же Белый: “...стал для меня “Чулков” — символом; полемизировал я не с интересным и безукоризненно честным писателем, а с “мифом”, возникшим в моем воображении...” А всю операцию по созданию “мифа” и “символа” блистательно разработала и провела З.Н.Гиппиус.

И, может быть, особую неприязнь она испытывала к Чулкову еще и потому, что он по-настоящему не вписывался ни в какой миф, не желал существовать по законам символистского “жизнетворчества”. Он был и оставался последовательным символистом по убеждению, но одну из основных заповедей символизма — заповедь житнетворчества — не хотел или попросту не мог принять. Ее разрушала его горячность, увлеченность, непосредственность (для некоторых выглядевшая глупостью). То, что Белый определил двумя словами — подлинность и искренность²⁶.

¹ Стоит упомянуть переиздания его книги “Императоры” (1992, 1994), впервые опубликованные повесть “Вредитель” (“Знамя”. 1992. № 1, предисловие М.В.Михайловой) и статью “Автоматические записи Вл.Соловьева” (Вопросы философии. 1992. № 8, предисловие М.В.Ми-

хайловой), републикацию его романов, рассказов и критических работ в сборнике: Чулков Г. Валтасарово царство. М., Республика. 1998, и, наконец, фундаментальный том: Г.Чулков. Годы странствий. М., Эллис Лак, 1999, содержащий воспоминания, письма и художественные произведения писателя, а также книгу: Чулков Г. Жизнь Пушкина. М., Республика, 1999.

² Чулков Г. Вечерние зори. М., 1924, рассказ воспроизведен в журнале "Лепта" (1994. № 19, предисловие М.В.Михайловой) и в томе "Годы странствий", М., 1999. С. 565-589.

³ Золотое руно. 1909. № 2.

⁴ Золотое руно. 1909. № 7-9. С. 160.

⁵ Белый А. Начало века. М., 1990. С. 492.

⁶ Весы. 1907. № 5. С. 71.

⁷ Чулков Г. Годы странствий. М., 1930. С. 64.

⁸ Весы. 1906. № 8. С. 49.

⁹ Весы. 1907. № 5. С. 71.

¹⁰ Весы. 1906. № 8. С. 50.

¹¹ Весы. 1907. № 5. С. 69.

¹² Весы. 1906. № 8. С. 51.

¹³ Весы. 1907. № 5. С. 70.

¹⁴ Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 61.

¹⁵ Белый А. Начало века. С. 424-425.

¹⁶ Современные записки. 1939. Т. 68. С. 462-463.

¹⁷ Статья за подписью А.Крайний была опубликована в журнале "Отклики. Литература, искусство, наука". 1914. № 26, являющемся еженедельным приложением к литературной газете "День" от 3 августа, № 174 (всего вышло 28 номеров журнала "Отклики").

¹⁸ Белый А. Начало века. С. 425.

¹⁹ Чулков Г. Наши спутники. М., 1922. С. 55.

²⁰ Там же.

²¹ См. Гиппиус З. Зеленое — белое — алое. Вроде послесловия // Гиппиус З. Пьесы. Л., 1990. С. 166.

²² Книгоноша. 1924. № 10. С. 11.

²³ Архив А.М.Горького. КГ-П. 87-5-4. Публикуется с незначительными сокращениями. Вскоре жена Чулкова, возможно, по ходатайству Горького, была освобождена.

²⁴ Из внутренней рецензии на подготовленный в конце 1920-х годов сборник прозы Г.Чулкова. РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 52.

²⁵ Белый А. Начало века. С. 425.

²⁶ См. Белый А. Между двух революций. С. 60.

И.А.Ревякина
ИМЛИ РАН, Москва

АНТОН КРАЙНИЙ ПРОТИВ М.ГОРЬКОГО: ЭПИЗОД ЛИТЕРАТУРНОЙ ДИСКУССИИ 1924 ГОДА.

(К истории статьи “Литературная запись. Полет в Европу”)

Статья З.Н.Гиппиус “Литературная запись. Полет в Европу”, появившаяся в “Современных записках” в середине 1924 года¹, во многих отношениях характерна для критической деятельности ее автора. В ней отчетливо видно “живое лицо” именно Антона Крайнего, всегда высказывавшего резкие и непримиримые оценки, не стесняясь даже *крайними* приговорами по поводу литературных явлений, только наметившихся.

В достаточно кратком очерке, не даром он назван всего лишь “записью”, обозначены контуры литературной жизни целой эпохи: речь ведется не только о трагическом потрясении русской культуры, “выплеснутой в Европу” национальной “катастрофой”, но и о чаемой перспективе. “Откроются когда-нибудь двери в Россию; и литература вернется туда, Бог даст, с большим, чем прежде, сознанием всемирности”, — уверенно заявляет автор, считая свое право судить столь весомо — непререкаемым. Статья Гиппиус интересна и точной “фотографической” сфокусированностью на сегодняшнем дне “выброшенной” литературы, и смелостью “полета” критической мысли, дерзающей предсказывать оптимальное, когда еще и настоящее-то не устоялось. Это совмещение *крайностей*, конечно же, давалось Гиппиус ее недюжинной одаренностью.

Почти протокольную, дневниковую запись *сегодняшнего* воспроизводит Гиппиус, перечисляя имена писателей, оказавшихся в изгнании: “...русская современная литература (в лице славных ее писателей) из России выплеснута в Европу. <...> Что с кем случилось после встряски, удара, полета?”². В произведениях Арцыбашева и Бунина, Шмелева и Алданова господствует одно впечатление — “отодвинутой” России. “Как, в самом деле, вы-

думывать, когда честность подсказывает, что всякие выдумки будут бледнее действительности!” — писала Гиппиус, подчеркивая, что у Шмелева “все — в крике”, и это — подлинное и непридуманное — считая главным.

Таков один плюс наблюдений Гиппиус о *сегодняшнем*. Но ее “запись” не была бы полной, если бы в ней не присутствовало и другое. И от имени “выброшенных” Гиппиус обращалась к тем, кто “выбрасывал”. Язвительно сказано о “списках г-жи Крупской”, определяющих — на основе политических приоритетов — судьбы писателей, художников, философов. В неизбежно *двухлолюсную* панораму русской литературы Гиппиус включает М. Горького. Сначала однако не в качестве писателя: “...и сами “изъятые” потянулись в Европу”, а среди них — “усердный изъятель” — Максим Горький”. Именно имя Горького становится внутренним центром всей статьи Гиппиус, главным “объектом” ее яростного нападения, беспощадного развенчания. Ант. Крайний уничтожающе отзывается о Горьком-писателе и клеймит его роль “деятеля”. Все пропорции “литературной записи” оказываются нарушенными: статья явно не воспроизводит реального момента литературной жизни, все в ней становится подчиненным диктату яростной полемики, где бьющая через край субъективность прекрывает остальное.

В чем же были причины *такой атаки* Гиппиус на Горького? Был ли он реальным “изъятелем?” Был ли, сам будучи в “добровольном изгнании” (как позднее определил его положение середины 20-х годов Г. П. Федотов³), опасен и вреден для всех потрясенных “катастрофой”? Остановимся на “антигорьковской” части статьи.

Гиппиус не говорит о творчестве писателя — его новых произведениях (а они появились!). Гиппиус-Крайний фактически подтверждает свое прежнее неприятие Горького-художника и деятеля, ставшего на рубеже веков символом буревестничества и в общественной, и в художественной жизни, и так ожесточенно отторгаемого тогда с позиций “неохристианского обновления”. Достаточно вспомнить такие статьи Гиппиус, появившиеся в 1904 г. в журн. “Новый путь”, как “Выбор мешка” и “Углекислота”. Тогда она писала, что “талант Горького, несомненный и *посредственный*”, “давно отцвел и забыт”. В “проповеди Максима Горького и его учеников” Гиппиус видела “освобождение “до дна”” от всех духовных и моральных ценностей, “фонтан углекислоты”⁴. В унисон ей тогда же прозвучали антидемократические филиппики Д. В. Филофова против пьесы “Дачники” в статье “Завтрашнее мешанство”. Теперь в статье 1924 г. Гиппиус по сути реанимирует свои и своего единомышленника суждения:

“Максим Горький, как художник, если и расцвел для кого-либо,— отцвел, забыт. Его не видят, на него не смотрят. Горький-писатель давно заслонен деятелем-Горьким”. И затем Гиппиус скажет прежнее также о проповеди Горького: “Она исторически необходима, но убийственна для попавших в ее полосу. Она освобождает человека от всего, что он имеет <...>: любви, нравственности, имущества, знания, красоты <...> от всякого духовного или телесного устремления и всякой воли,— она не освобождает лишь от инстинкта жить...”⁵. Статья Гиппиус превращается из, казалось бы, отклика на реальность — в “запись” только ее несомненного (и единственного) приоритета — именно ее “полета в Европу” как прибежище культуры. И с этой “высоты” она произносит свой окончательный приговор Горькому, *изымая* его судьбу из бытия сегодняшнего дня русской культуры. Со страстью и убежденностью она провозглашала: “...Горький отравлен тайной, вполне безнадежной, любовью, которая, как змея, источила всю его жизнь. На заре туманной юности он влюбился... в “культуру”. <...> Не будем же строги к титулярному советнику⁶. Может быть, даже “изъятелем-то”, да и пропроведником разрушения, помощником разрушителей, стал он благодаря этой роковой своей страсти. Любовь к “культуре” *при полной к ней неспособности* — недуг, выедающий, сжигающий не только талант писательский, но и душу человеческую.

Ведь катастрофа, постигшая русских писателей, русскую литературу, не могла на него никак повлиять,— просто потому, что для него ее не было”⁷.

Конечно, и в самом сокровенном литературном жанре — дневниках — Гиппиус не жаловала писателя, возводя своей неистовостью, своим пристрастием всяческую напраслину на него. Исследователи приводили свидетельства современников-очевидцев, например, И.И.Манухина, о том, что это “пересуды, сплетни, сведения каких-то счетов”⁸. Но в данном случае Гиппиус предприняла попытку обобщения. Тут стоит вспомнить дневниковую запись А.Блока по поводу начала “Черных тетрадей”, которые он читал в апреле 1921 г.: “...думаю, правдиво, но — своекорыстно. Она (они) <т.е. Мережковские — И.Р.> слишком утяжелена личным, тут нет широких, обобщающих точек зрения. Может быть, на обобщения такого размера, какие сейчас требуются, они и вовсе неспособны <...>. У Зинаиды Николаевны — много скверных анекдотов о Горьком, Гржебине и др.”⁹. Приговор Гиппиус Горькому, конечно, во многом — “в крике”: у нее нельзя отнять права на ее боль и потрясение. И тем не менее, главное здесь — сознательность отклика именно в определенный момент.

Статья не была выступлением по частному и отдельному поводу: она появилась в контексте яростной полемики вокруг новых горьковских произведений — “заметок”, очерков, “воспоминаний” (позднее они составят отдельную книгу “Заметки из дневника. Воспоминания”), а также в связи с очень значимой общекультурной акцией: выходом первых номеров журнала “Беседа”. Горький возлагал на это свое детище огромные надежды: он хотел печатать в нем писателей русских и европейских, а главное — советских и оказавшихся в эмиграции¹⁰. Замысел общекультурного начинания Горького — творца и деятеля — был усилием достичь понимания и сотрудничества над пропастью политического размежевания. Отклик Гиппиус стал эхом той дискуссии, которую породила горьковская инициатива. Не случайно Гиппиус отвергала в своей “записи” и писательство Горького, и его «любовь к “культуре”»: она не принимала возобновившегося творчества несколько лет молчавшего художника, встречала в штыки его неординарный и смелый культурный замысел. Разные “обертоны” “записи” Антона Крайнего можно расслышать именно в общем хоре многих голосов возникшей литературной дискуссии — и ответственной, и резкой. Не случайно такая полемика собрала очень разных и заметных участников. Страницы этой дискуссии демонстрируют реальную причастность Горького к процессам развития литературы русского зарубежья; они выявляют и место Антона Крайнего в критических баталиях 1920-х г.: на “той стороне”.

Не будет преувеличением сказать, что полемика вокруг горьковских “Заметок из дневника” и “Воспоминаний” и нового журнала “Беседа”, где они печатались, — значительное событие литературной жизни русского зарубежья на переломе 20-х годов (точно — 1923 и 1924). Эта полемика явилась органическим звеном в процессе объединения расколотых историческим взрывом культурных сил, а также их включения в общеевропейский путь литературы. Ведь обозначенное Гиппиус в заглавии: “...Полет в Европу” — лишь при поверхностном взгляде не мотивировано. На самом деле и маститая писательница, и нелюбимый ею писатель-буревестник, сжигаемый любовью к культуре (без кавычек), стремились к идеалу “всемирности” своей национальной литературы. При всей недружественности реальных жестов Антона Крайнего, именно Горький протягивал ей руку — над баррикадами распрей, “в полете” исканий, в стремлении к идеям общечеловеческой ценности.

“Заметки” и “Воспоминания” Горького начали появляться в 1923 г. в “Беседе”. Журнал выходил в Берлине, как и немалое число русских зарубежных изданий. В первом номере (в мае) пе-

чатались очерки и воспоминания: “Могильщик”, “Смешно”, “Мечта”, “А.А.Блок” (частично), “Паук”, “Люди наедине сами с собой”, “Палач”, “Испытатели” (частично). Следующий номер “Беседы” продолжал начатый цикл: в нем увидели свет — еще один из фрагментов воспоминаний о Блоке, “Из дневника”, “Чужие люди”, “Садовник”, “Неудавшийся писатель”, “Ветеринар”, “Герой”, “Законник”. И в качестве целостного произведения замысел тоже впервые был осуществлен за границей: в берлинском издательстве “Книга” в начале 1924 г. На родине Горькому в это время не прощали его критики большевизма (в первую очередь неприятия разрушительного отношения большевиков к культуре), а также попыток завязать “диалог” с отринутой в результате революции частью русской творческой интеллигенции. Поэтому книга “заметок и воспоминаний” явно не пришла “ко двору” по советскую “сторону” русской литературы. Она и позднее, даже намного, оставалась как бы под подозрением: о ней мало писали — и современники, и потомки¹¹. В творческом пути Горького книга не была оценена в полную меру. Обусловленность этого очевидна: цикл очерков и воспоминаний как художественный феномен возник в полемике-диалоге с *зарубежной* частью русской культуры. Именно в этом смысле книга являлась “своевременной”: ее объясняет контекст русского зарубежья, то, как прежде всего “там” осознавались причины и следствия недавно совершившейся революции. Сам жанр книги — очерки и воспоминания, т.е. сплав художественной документальности и публицистики, — характерен для целой полосы именно русского зарубежья первой половины 20-х гг. Здесь нельзя не назвать “Окаянные дни” И.Бунина, начатые тогда же, “Солнце мертвых” И.Шмелева и др. Подчеркивалось это и в критике. Напомним, что это отмечено в “записи” Гиппиус. Почти одновременно с ней о том же писал рецензент сборника “Окно” Б.Ф.Шлецер, откликаясь на книгу Шмелева: “Конечно, к подобному произведению нельзя подходить с эстетическими мерилami: реальное страдание, реальный ужас, стоны и рыдания художественной оценке не подлежат”; “тяжелое до боли ощущение”, которое вызывает “Солнце мертвых”, “аналогично тому, которое вызвало бы непосредственное зрелище или переживание..”¹².

Горьковский замысел большого цикла очерков и воспоминаний относится к концу 1922 г. Тогда Горький сообщал Р.Роллану: “Затеваю книгу “Русские люди”. Эта книга, наверное, будет интересна для Европы...”. Писатель делился с французским другом сокровенной сутью задуманного, связанного с переживанием “кричащих” противоречий недавней революции, реального столкновения великих гуманистических идей с чудовишной

практикой их осуществления: “Уверен, что все, что я пишу сейчас, не будут читать и в России, ибо там о любви к людям теперь не говорят и необходимость этой любви под сильным сомнением. Когда желаешь осчастливить сразу все человечество — человек несколько мешает этой задаче”¹³. Суровый — “снежный” — облик революционной России Горький передавал в письме почти переложением стихов из “Двенадцати” Блока (напомним: “Черный ветер, / Белый снег. / Ветер, ветер! / На ногах не стоит человек... / Гуляет ветер, порхает снег. / Идут двенадцать человек...”). “Жить стало очень трудно... — писал Горький. — Там, на родине, воют вьюги и коммунисты, землю засыпает снег, людей — сугробы слов. Превосходные слова, но — тоже как снег, и не потому, что они так же обильны, а потому что холодны. Когда фанатизм холоден, он холоднее полярного мороза”¹⁴. Начав публикацию замысла и продолжая работу над ним на протяжении 1923 г., Горький делился с Ролланом нелегкими размышлениями: “Мучает меня эта загадка — человеческая душа, русская душа. За четыре года революции она так страшно и широко развернулась...”. Писатель отвергал “догматизм”: и “русского марксизма”, и Толстого с Достоевским, и “церковной ортодоксии”, — с горечью и скепсисом признаваясь себе: “...догмат — не синтез, до синтеза нам далеко...”. Мысль писателя наталкивалась на крайности, он спорил сам с собой: “А все-таки меня восхищает изумительное напряжение воли вождей русского коммунизма. <...> Иногда мне очень жаль, что я не согласен с ними в деле истребления культурных людей и никогда не соглашусь на это”¹⁵.

Неуспокоенность мыслей и чувств Горького, вызванных “роковыми” годами революции, нашла отражение в пестроте картин русской жизни, воссоздаваемых в “заметках” и “воспоминаниях”, в причудливом калейдоскопе реальных лиц и событий, не оставлявших его воображения. Преобладающая часть цикла — портретные очерки русских людей, с которыми писатель встречался в разное время, с 90-х годов XIX в. — в Нижнем Новгороде и Арзамасе, а потом в годы Первой мировой войны и революций — в Петрограде. Повествование ведет Горький-репортер, но в разные годы: читатель может узнать в наблюдающем за всем происходящим то совсем молодого “Пешкова”, едкого и скептического корреспондента “Нижегородского листка”, то строгого и непримиримого автора “Несвоевременных мыслей”, который своей неистовостью “преследовал” хаос и “гримасы революции” на страницах “Новой жизни”.

От очерка к очерку писатель наращивал тему “странных” русских людей, думающих и живущих “бессвязно”, “беспутно”,

“глупо”. В одном из очерков он скажет: “Талантливые люди, но — люди для анекдотов”¹⁶. Однако этой “правде” — “жестоко бьющей по душе” — Горький противопоставлял иное, особенно в самых больших очерках-воспоминаниях о Н.А.Бугрове, А.Н.Шмит, А.А.Блоке: неустанность исканий русских людей, их обеспокоенность большими — бытийными вопросами жизни. В конце очерка “О войне и революции” писатель подчеркнет, что “жизнь принимает все более серьезный, строгий характер”, а в “массе возникает воля к самостоятельности, к жизни активной”¹⁷. Не случайно в конце книги помещен очерк об А.Блоке, духовной красотой которого писатель явно любовался, говоря: “Нравится мне его строгое лицо и голова флорентийца эпохи Возрождения”¹⁸. Книгу завершает публицистический эпилог “Вместо послесловия”, в котором Горький декларировал надежду на социальное и культурное возрождение России и “удивительного”, “исключительно, фантастически талантливого” русского народа.

Обсуждение “заметок” и “воспоминаний”, появившихся в “Беседе”, а вместе с этим и самого нового журнала началось с весны 1923 г. В нем приняли участие печатные органы и критики и писатели разной ориентации, столкнулись точки зрения прямо противоположные, связанные со столь же различными взглядами на главные тенденции развития русской литературы в условиях исторического раскола.

Неприятие новых горьковских произведений и позиций писателя выразил Ю.Айхенвальд (под псевд. Б.Каменецкий). Две его статьи последовали за двумя — 1-м и 2-м — номерами “Беседы”¹⁹. Известный критик, а в эту пору ведущий литературный обозреватель берлинской газеты “Руль”, расценивал новое выступление Горького в духе заявленного им ранее мнения об “ограниченном”, “нещедром даровании” писателя. Он считал, что это свойство оставило особый отпечаток на произведениях Горького разных лет. С таким мнением Айхенвальд выступал еще в 1910-х гг. в очерке о Горьком, который он неизменно включал в несколько изданий книги “Силуэты русских писателей”, в частности и в 4-ое: оно появилось в Берлине в 1923 г.²⁰ Указав, что “Заметки” напечатаны вместе с рассказом “Отшельник”, Айхенвальд писал: “И там и здесь многие страницы производят обычное для нашего автора впечатление сочиненности, и тонут в ней отдельные крупницы правды”²¹. К “небылицам” относил критик те “афоризмы и складные изречения”, которые встречаются в речи героев, что было и в прежних произведениях: “...кажется <...> произносит их сам писатель”. Как “авторскую” воспринял Айхенвальд и сентенцию “сестрорецкого банщика” из очерка

“Испытатели”: “...чугун, железо и всякий металл не люблю я — от него исходит вся тяжесть жизни, тяжесть, грязь и всякая ржавчина”²². Отдельные “ценные штрихи” признавал Айхенвальд в ряде очерков, в том числе в зарисовках “Люди наедине сами с собой”, но при этом непременно выделял пристрастность писателя к темным инстинктам, вершащим судьбы его героев и “негероев”: “Можно пожалеть только, что М.Горький правом художника на соглядатайство злоупотребил, меру и такт нарушил и кое-где, особенно в рассказе об одной девушке, стоящей перед картиной Крамского “Христос в пустыне”, допустил угнетающую непристойность”.

В отзыве на второй номер “Беседы” критик продолжил свои уничижительные характеристики Горького: “Например, себя и Блока, как собеседников, он изображал в таком виде, как будто они, по Чехову, “хочут свою образованность показать”, образованность по Рубакину, по Богданову; между тем думается, что во всяком случае один из двух беседовавших писателей такому намерению был чужд”²³. Недоверие к горьковскому портрету Блока Айхенвальд подкреплял теми “отклонениями от фактической правды”, которые он нашел в воспоминаниях о похоронах Чехова. Как свидетель, он заключал: “...дух стилизации и дух дешевого изобличения требуют <...> представить всю печальную церемонию как пошлость”, но “память изменила забывчивому беллетристу, и он написал картину безусловно неверную”.

В качестве правдивого и ценного, и в этом явно исключительного, был воспринят критиком (во второй статье) очерк “Садовник”: “Местами дневник Горького все же занимателен, и сквозь сочиненность его иногда прорываются живые штрихи, — там, хотя бы, где мелькают сцены и люди из нашей февральской революции, ее серые солдаты, “везущие за собой на веревочках пулеметы, точно железных поросят”, или тот садовник из Александровского сада, который в самые горячие моменты уговаривал этих голодных, усталых и злых солдат не мять травы... и они слушались его...”.

Появление двух номеров “Беседы” было отмечено в “Современных записках” — № 17 за 1923 г. — краткой аннотацией за подписью Мих.Ос. в разделе “Критика и библиография”. В аннотации говорилось об “очень хорошем” общем впечатлении от журнала, о том, что издание “явно рассчитано на вывоз в Россию”, где оно должно иметь успех благодаря большому научно-популярному отделу²⁴. Отклик принадлежит М.А.Осоргину²⁵. Известный публицист и очеркист независимой, левой ориентации, он выступал в это время в разных изданиях, чаще — в “Современных записках” и газете “Дни”, как в жанре серьезной ли-

тературной критики, так и фельетона. Позитивно отозвался Осоргин в своей аннотации и о публикации в обеих книжках “Беседы” горьковских произведений — “заметок мемуарного характера и отрывков из дневника”, упомянув кроме того рассказ “Отшельник”.

Журнал “Беседа” рецензировался также газетой “Дни”: 1 декабря 1923 г. критик, под псевдонимом N, писал о 3-м номере издания, сопоставляя его с предыдущими: “Политики в “Беседе” нет или почти нет; в журнале совместно работают сотрудники “Современных Записок” (имелся в виду В.Ходасевич — *И.Р.*) и “Красной Нови” (т.е. Горький — *И.Р.*), парижского “Окна” (вероятно, Н.Оцуп — *И.Р.*) и московских “Известий” (речь могла идти о К.Чуковском — *И.Р.*). Объединение произведено следовательно в области чисто литературной или культурно-философской <...>. Как художники, как люди мысли Горький и Белый — антиподы; как поэты Белый и Ходасевич — тоже почти антиподы. Времена монолитов, вроде “Отечественных Записок”, миновали; но какой-либо общий круг идей должен же быть у группы сотрудников журнала. Неужели участников “Беседы” связывает только то, что они “приемлют Россию”? (по кем-то пушенному в оборот весьма наивному, если не бессмысленному выражению)”²⁶. Лаконично оценивалась литературно-художественная часть издания: «Третья книга несколько слабее двух первых. В ней нет таких вещей, как “Заметки” и “Из дневника” Горького <...> или письма В.Розанова <...> М.Горький дал “Рассказ о безответной любви”, написанный в лучшей манере Горького. Знаменитый писатель не боится избитых сюжетов <...> Раза два на протяжении рассказа Горькому изменило чувство художественной меры...»²⁷.

Позитивный характер откликов, хотя и очень кратких, на горьковские произведения в “Современных записках” и “Днях”, а также поддержка их рецензентами нового журнального начинания являлись несомненным противостоянием позиции, заявленной Айхенвальдом. Это столкновение оценок произошло в конце 1923 г., а в 1924 г. оно обострилось после выступления Антона Крайнего со статьей “Литературная запись. Полет в Европу”. Как один из авторов “Современных записок”, Гиппиус принципиально возражала на предыдущее выступление в них же — М.Осоргина, хотя с внешней стороны ее статья не была связана с оценками заметок и воспоминаний и откликами на них в прессе. Совершенно очевидно, однако, что, даже не упоминая ни о том, ни о другом, Гиппиус принципиально поддерживала линию оценок Айхенвальда. Более того, она выводила эту направленность на новую ступень. Язвительный приговор Анто-

на Крайнего по поводу горьковской “любви к “культуре” при полной к ней неспособности” был попыткой перечеркнуть главное, сквозное направление творчества писателя и его деятельности: его усилий соединить революцию и культуру, в частности — его страстную защиту интеллигенции в самые грозные годы революционного ожесточения. Именно это составляло пафос жизни и творчества Горького. От этого неотрывна и проблематика книги заметок и воспоминаний. Несомненно, что стремилась “ударить” Гиппиус и по новому журналу “Беседа”: ведь он был неординарной акцией объединения русских литераторов в условиях “рассеяния”, когда “берега” национальной культуры расходились все дальше²⁸.

Резким ответом Каменецкому и Антонау Крайнему прозвучало в 1924 г. выступление В.Шкловского. Заметный представитель русского авангарда, он был в начале 1920-х гг. активным участником литературной жизни “русского Берлина”, печатался в советских и зарубежных изданиях. Подчеркнуто полемично само название статьи Шкловского: “Новый Горький”. Она в целом противостоит позиции ниспровержения писателя: тому, что, якобы, все по-прежнему в творчестве этого “щедрого дарования” — и “сочиненность”, и лишь “крупницы правды”. Напротив, “записная книжка писателя” воспринята Шкловским как “законченное произведение”, в котором выражен “новый” — на этом критик настаивает — взгляд на жизнь. “...В литературу войдут заметки, письма, записные книжки, мемуары, но не войдут патентованные писатели...”²⁹ — с явной полемической заостренностью заявлял Шкловский, отстаивая художественный документализм и многоаспектность точки зрения Горького.

В защиту и поддержку Горького на страницах “Воли России” выступили представители “левого фланга” эмиграции — М.Слоним и Д.Лутохин. Первый был главой этого журнала, второй — его постоянным автором. Оба тяготели к осмыслению литературы русского зарубежья, а также советской в широком общекультурном контексте.

Полемичность и определенная нацеленность статьи Слонима подчеркнута в метафорически-ярком заголовке — “Живая литература и мертвые критики”. У современников, по всей вероятности, не было сомнений в том, какие критики подразумевались под “мертвыми”. Слоним утверждал несомненность дарования Горького. Этот антитезис его выступления прочитывается очень четко. Для него Горький — “большой художник, не меньший, чем Бунин (<...> дарование его по-прежнему свежо и ярко, и радуют его последние произведения”³⁰. Слоним поддерживал

принципиальные общественно-культурные установки “Беседы” на единение культурных сил, вне зависимости от конфронтации политических лагерей. Он писал: “Монархизм Бунина и большевизм Горького — пена на взбаламученном море политических превращений, а творчество их — драгоценные камни в полной чаше русского художества”. Резкое неприятие высказывал Слоним и по поводу тона антигорьковских выступлений: “Пора прекратить постоянное пошлое зубоскальство над Горьким и понять, что Горький-художник принадлежит не коммунистической партии, а всей мыслящей и культурной России. И эта Россия от Горького не отказывается и безразличным для себя его считать не может”³¹.

Выходу заметок и воспоминаний отдельной книгой посвящена специальная статья Д.Лутохина “М.Горький. Заметки из дневника. Воспоминания” в № 6/7 “Воли России” за 1924 г. Главные ее положения содержат полемический подтекст. Свою поддержку писателя Лутохин подкреплял постановкой конкретных вопросов. Он выделял значительность и позитивный пафос нового произведения Горького: “В русской литературе, пожалуй, не было еще такой пленительной книги о русском человеке: любовной, острой, сочной. Все достоинства русского слова в ней приумножены”³². Горьковские приемы творчества критик видел укорененными в классической традиции. Он находил в очерках описания природы, сделанные с “тургеневской нежностью и свежестью”. В отличие от Айхенвальда, Лутохин высоко оценивал изобразительность языка Горького: “меткий, богатый, почвенный, как у Печерского, у Лескова <...>; не раздражает, а поражает своей внутренней силой”. Особый подход у критика к горьковскому решению вопроса о русском национальном характере: “Не мало вскрыто Горьким душевных тайников из тех, что хранили герои Достоевского и единственный герой розановских “романов”, но эти тайны не мучают читателя, а примиряют его с собой под пером великого человеколюбца”. Лутохин говорил даже об “избытке прощения и любви” автора в отношении к своим героям. Вскользь сказано о вопросах, не потерявших злободневности: “Нет-нет, а заговорит Горький-”политик”: “не больше ли человека в семите, чем в “антисемите?” — напоминает он; заступает за интеллигенцию, надоевшие слова осуждения которой считает особенно неуместными теперь”³³.

Восторженно отзывался Лутохин о личностной позиции Горького, органично высказанной в книге. “Тот, кто просто <...> регистрирует зло, <...> занимается плохим ремеслом”, — утверждает Горький. Он “знает”, “чего хочет” — и волей к активной жизни, к настоящей правде <...> заражает читателя <...>

Горький написал книгу не только нужную, но и превосходную”, — заканчивал критик рецензию, подчеркивая “человеческое” писателя.

Итак, акт “отлучения” Горького от литературной современности и культуры явно не состоялся. Именно на “другом берегу” — в разных центрах русского рассеяния (Париже, Берлине и Праге) — раздались решительные голоса в его поддержку. Для немалого числа “выпеснутых в Европу” несомненной оказалась его значимость — и “писателя”, и “деятеля”. Самим фактом горячей дискуссии вокруг его имени в *зарубежных* русских изданиях не устанавливается ли и его причастность к *рассеянию*? Хотя бы временная? Если сказать непримиримое “нет” (как у Антона Крайнего!), то мы, очевидно, придем к упрощению и многосложности, и огромного внутреннего богатства, той мирообъемлемости — “полета в Европу”, “сознания всемирности”, которые были “чаемыми” не одной Гиппиус. Частный эпизод литературной полемики раскрывается в своем подлинном и широком значении только из представления о целостности разнонаправленных процессов — отталкивания и притяжения — на разных “берегах” культуры³⁴.

Особую роль Горького — собирателя сил разрозненной русской культуры — высоко ценили многие из его современников. Одним из самых горячих сторонников писателя в этом отношении оставался не только в 20-е, но и в 30-е гг. М.А.Осоргин (что, к сожалению, до настоящего времени мало известно и должным образом не признано³⁵). Приведем отрывки из двух его октябрьских писем 1924 г. к Горькому, прямо “продолжающих” главный сюжет полемики, о которой шла речь. 3-го октября Осоргин отвечал Горькому на предложение прислать что-либо для журнала “Беседа”: “...с особой радостью готов быть сотрудником “Беседы”, и именно потому, что она будет допускаться в Россию. Писать для эмигрантского потребления я не вижу ни смысла, ни удовольствия. Предложение Ваше мне очень приятно <...>, будет лучшим импульсом написать что-нибудь новое”. Через десять дней Осоргин уже пересылал Горькому первую часть романа “Сивцев Вражек”, подчеркивая с воодушевлением и надеждой важность для себя такого “возвращения” на родину: “...перспектива читаться в России — лучший бодритель”³⁶. Однако этой возможности Осоргину не представилось: журнал не был допущен советской цензурой в Россию³⁷ и прекратил свое существование. Роман Осоргина был напечатан в “Современных записках” 1926–1928 гг., он переводился и печатался на разных языках и в разных странах, а на родину писателя ему открылась дорога только через долгие десятилетия³⁸.

Не однажды обращался Осоргин к Горькому с просьбой и настойчивым советом помочь найти дорогу в Россию молодежной поросли эмиграции. Об этом же — о своем страстном желании “быть читаемым” на родине — он написал в одном из последних посланий, в конце 1935 г., еще не зная, что через полгода Горького не станет. Вот отрывки из этого исповедального письма: “Неужели, неужели же я ничего не могу издать в СССР? <...> писателю не из худших <...>, имеющему сорокалетний стаж, невыносимо обидно совсем не быть читаемым на его родине. Или Вы находите меня враждебным СССР писателем? И совершенно ненужным? Я этого не думаю. И к шестидесяти годам жизни я подхожу с ощущением жестокой и напрасной обиды. <...> Вот моя лирика — трагического оттенка. Алексей Максимович, сохранилась ли в Вас отзывчивость к таким делам, или за большими делами для малого нет времени?”

Многое бы хотел Вам рассказать — как случилось, когда Вы жили в Италии <...>.

Молодежь-то, здешнюю писательскую молодежь — пустите в СССР! Зря пропадают здесь хорошие таланты, души у них пустеют. Старикам все равно пропадать, а их нужно спасти.

Примите мой привет — и подумайте, не захочется ли Вам исполнить мою просьбу. На то Вы и Горький, чтобы Вас беспокоить”³⁹.

Но Горький не был в ту пору всемогущим. Надежды и его самого, и Осоргина были иллюзорными. Но именно такими — со всеми своими идеалами, иллюзиями, надеждами, ожесточенностью и любовью — оба писателя, и прежде всего М. Горький, по-новому открылись российскому читателю только в постсоветское время. Открылись другими, чем казались их оппонентам и критикам, начиная с полемики 1920-х г., в которой столь горячим и несправедливым противником Горького выступила З.Н. Гиппиус.

¹ “Литературная запись. Полет в Европу” // Современные записки. Париж, 1924. № 18. С. 123–138. Далее — “Литературная запись...” с указанием журнальной страницы. В № 19. С. 234–249 — продолжение этой статьи: “Литературная запись. О молодых и средних”.

² “Литературная запись...”. С. 126.

³ Федотов Г.П. Защита России: Статьи 1936–1940 гг. из “Новой России” // Федотов Г.П. Полн. собр. соч.: в 6 т. Paris, 1988. Т. 4. С. 40.

⁴ Новый путь. СПб., 1904. № 1. С. 256–257, 259. Все выделения в цитатах здесь и далее принадлежат Антону Крайнему.

⁵ “Литературная записка...”. С. 134.

⁶ Источник саркастического сравнения — популярное стихотворение П.И.Вейнберга “Он был титулярный советник...” (1859), положенное на музыку А.С.Даргомыжским.

⁷ “Литературная записка...”. С. 134.

⁸ См. об этом: “Черные тетради” Зинаиды Гиппиус / Подготовка текста М.М.Павловой и Д.И.Зубарева // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 18–19.

⁹ Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 416.

¹⁰ См. об этом: Вайнберг И.И. “Беседа” (Берлин, 1923–1925) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). Том 2: Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 32–42.

¹¹ Достаточно обратить внимание на почти полное отсутствие критических откликов о ней в комментариях к академическому собранию сочинений писателя. Исследователи, находясь под пятой советской цензуры, “воспитанные” в приоритетах только определенных классовых ценностей, не могли даже прикоснуться к тому историческому контексту, в котором это произведение создавалось. См.: Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные произведения: В 25 т. М., 1973. Т. 17. С. 568–569.

¹² “Солнце мертвых” И.Шмелева // Окно: Литературный сборник. Париж, 1924. Вып. 2 и 3. Рецензия на вып. 3. Б.Ф.Шлецера — “Современные записки”, 1924, № 20. С. 432–433.

¹³ М.Горький и Р.Роллан: Переписка (1916–1936). М., 1995. С. 47.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же. С. 47–48, 62, 67.

¹⁶ “Городок” // Горький М. Пол. собр. соч. Т. 17. С. 14.

¹⁷ “О войне и революции” // Там же. С. 186.

¹⁸ “А.А.Блок” // Там же. С. 229.

¹⁹ См. обе статьи под заголовком-рубрикой “Литературные заметки”, с которой Айхенвальд еженедельно выступал в газ. “Руль” // Руль. Берлин, 1923. 27(14) мая и 2 сент. (20 августа).

²⁰ Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. 4-е изд., перераб. Берлин, 1923. С. 223–224; см. также переиздание: М., 1998.

²¹ “Литературные заметки” // Руль. 1923. 27(14) мая.

²² “Испытатели” // Горький М. Указ. изд. Т. 17. С. 138.

²³ “Литературные заметки” // Руль. 1923. 2 сент. (20 авг.).

²⁴ Мих.Ос. “Беседа”, журнал литературы и науки. № 1, май — июнь 1923; № 2, июль — август 1923. Изд. “Эпоха” // Современные записки. 1923. № 17. С. 491–493.

²⁵ Мих.Ос., как и М.Осоргин — псевдонимы М.А.Ильина.

²⁶ Н. “Беседа”, журнал литературы и науки. № 3. Сентябрь-октябрь. 1923. Изд. “Эпоха”, Берлин // Дни. Берлин, 1923. 1 декабря. № 326.

²⁷ Там же.

²⁸ См. подробно: Ревякина И.А. М.Горький “и другие”: литературные диалоги в Сорренто // Русская словесность. М., 1997. № 5. С. 32–35.

²⁹ Шкловский В. Новый Горький // Россия. М., Л., 1924. № 2(11). С. 206.

³⁰ Слоним М. Живая литература и мертвые критики // Воля России. Прага, 1924. № 4. С. 61.

³¹ Там же. С. 62.

³² Лутохин Д. М.Горький. Заметки из дневника. Воспоминания. Берлин. Книга // Воля России. 1924. № 6–7. С. 111.

³³ Там же. С. 112.

³⁴ См. обсуждение методологической постановки вопроса в новейших исследованиях о литературе русского зарубежья: Культурное наследие русской эмиграции. 1917–1940. Кн. 2. М., 1994; Освобождение от догм. История русской литературы: состояние и пути изучения. Т. 2. М., 1997.

³⁵ См. одно из первых обращений к этому вопросу: Бочарова И.А. Горький и разрыв единой русской литературы (По переписке с писателями русского зарубежья) // Горьковские чтения 1995 г.: Материалы международной конференции “М.Горький — сегодня: проблемы эстетики, философии, культуры”. Нижний Новгород. 1996. С. 215–217.

³⁶ Архив А.М.Горького (Москва, ИМЛИ): КГ-п-55-12-5, 6.

³⁷ Мучительные перипетии запрета известны по воспоминаниям: Ходасевич В. Сочинения: В 4 т. М., 1996–1998. Т. 4. С. 348, 365 и др.

³⁸ См. первое издание романа в России: Осоргин М.А. Времена: Автобиографическое повествование. Романы / Сост. Н.М.Пирумова; автор вступ. статьи А.Л.Афанасьев. М.: Современник, 1989. С. 341–617.

³⁹ Архив А.М.Горького: КГ-п-55-12-45.

*Н. В. Королева
ИМЛИ РАН, Москва*

З.Н.ГИППИУС и А.А.АХМАТОВА

О личных взаимоотношениях Анны Ахматовой и Зинаиды Гиппиус сведений мало. В книге Гиппиус о Мережковском упоминается Ахматова в рассказе о конце 1917 года: "Кажется невероятным, а между тем это было, что в самом конце 17-го <года>, в разгаре ночных грабежей, убийств и полного торжества Ленина, еще не только существовала газета Горького, но и другие старые, и я еще могла там печатать самые антибольшевистские стихи. Мало того: мы устроили, в Тенишевской зале, какое-то собрание или вечер, где Д<митрий> С<ергеевич> читал о Достоевском, а я, еще кто-то и Анна Ахматова — стихи. (Они, впрочем, безобидные)"¹.

Анна Ахматова действительно выступала в зале Тенишевского училища — 18 апреля 1915 года в пользу 11 городского лазарета; 15 апреля 1916 г. — на вечере современной поэзии и музыки в пользу лазарета Вольно-экономического общества. Было и выступление осенью 1917 года или, точнее в январе 1918 г. — "Утро России" в пользу Политического Красного Креста. К этому времени у Ахматовой уже вышли три книги стихов — "Вечер", "Четки" (четырьмя изданиями), "Белая стая" (первое издание). Она — прославленная поэтесса, знамя нового, задорно отделившегося от символизма направления акмеизма², о ней написано бесчисленное количество статей, ее уже называли русской Сафо, ее имя все чаще упоминают рядом с именем А.Блока; выступать на одном вечере с нею любопытно даже мэтру символизма, великой Зинаиде Гиппиус, и это ей запомнилось до 1940-х годов, и имя Ахматовой названо ею.

Анне Ахматовой имя Зинаиды Гиппиус стало известно в ее гимназические годы — в конце XIX — начале XX в. в Царском Селе, затем в Киевской Фундуклеевской гимназии. В Киеве семья Змунчилло (Вакар), в которой она жила, по ее рекомендации выписывала журнал "Весы", а на уроках Ахматова цитировала наизусть своего любимого поэта той поры В.Я.Брюсова. Он хорошо известен "Мир искусства" и другие современные журналы. Книги, в том числе Мережковского, присылает ей ее страст-

ный поклонник поэт-символист Н.С.Гумилев — в Евпаторию и в Киев, из Петербурга и Парижа. В будущем, когда Ахматова начнет писать автобиографическую прозу, она изменит многие оценки, сместит акценты, она будет отрицать и свое увлечение В.Я.Брюсовым, и ученичество у него Н.С.Гумилева, и вообще будет говорить о символизме как о начале пути только применительно к Гумилеву, но отрицать символистское начало пути для себя, О.Мандельштама, М.Зенкевича и В.Нарбута, составивших группу акмеистов в Первом Цехе поэтов. Тогда же она будет довольно резко отзываться о Зинаиде Гиппиус и ее литературном окружении, о литературно-философских собраниях у Мережковских и рассказывать историю о том, как она была приглашена к Мережковским и не пошла к ним, так как была предупреждена о злоязычии Зинаиды Николаевны и о том, что та примет ее плохо. Широко известен и факт посещения Мережковских Гумилевым, читавшим им свои ранние стихи и рассказывавшим о своем миропонимании, после чего Гумилев был буквально высмеян Зинаидой Николаевной, воспринявшей его как нахально-го и бездарного юнца, чрезвычайно высоко о себе возмнившего. Как бы в противовес беспощадности Мережковских об акмеистах в это же время сочувственно размышляет А.А.Блок — и выделяет среди них Ахматову и ее бесспорно волнующие его стихи, которые становятся все лучше, а также записывает любопытное размышление о том, надо ли символистам бороться с Гумилевым, по сути дела “своим” для символистов.

Группу Гумилева-Городецкого, еще не заявившую себя в качестве противников символизма, Блок “заметил” примерно в октябре 1911 г. 20 октября он записл в дневнике после вечера, проведенного у Городецких: “Было весело и просто. С молодыми добреешь”³, особо выделил Ахматову, “разговор с Н.С.Гумилевым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой” (С. 75). 10 ноября 1911 г. Блок не пошел “к матери жены Кузьмина-Караваева, где собралось “Гумилевско-Городецкое общество”, то-есть на одно из первых собраний акмеистов, но 17 апреля 1912 г. он уже подробно записывает свои впечатления от общения с Гумилевым и суждение о его формирующейся акмеистической теории: “... утверждение Гумилева, что “слово должно значить только то, что оно значит”, как утверждение — глупо, но понятно психологически, как бунт против Вячеслава Иванова и даже как желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом. В.Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. “Символическая школа” — мутная вода. Связи quasi-реальные ведут к еще большему распылению. Когда мы (“Новый путь”, “Весы”) боролись с умирающим, плоско-ли-

беральным псевдо-реализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения.” (Т.7. С.140.) Забегая вперед, скажем, что и много позже, в статье “Без божества, без вдохновенья” Блок положительно оценивает ранние идеи Гумилева и Городецкого, высказанные ими в манифестах 1913 г. на страницах “Аполлона”, и связывает их идеи “акмеизма” и “адамизма” — “мужественно-твердого и ясного взгляда на жизнь” — с собственными идеями о трансформации символизма, высказанными им в том же “Аполлоне” двумя годами ранее в статье “О современном состоянии русского символизма”. Как в ранний период знакомства, так и в статье “Без божества, без вдохновенья” Блок выделяет особо талант Анны Ахматовой и вновь и вновь ставит под сомнение ее “акмеистическую” сущность: “...не знаю, считала ли она сама себя “акмеисткой”; во всяком случае, “расцвета физических и духовных сил” в ее усталой, болезненной, женской и самоуглубленной манере положительно нельзя было найти”. (Т.6. С.180). Блок согласен с оценкой, данной поэзии Ахматовой Корнеем Чуковским: “аскетическая и монастырская по существу”, и вводит ее имя в ряд тех настоящих поэтов, на голос которых откликнулись читатели — несмотря на их теории: С.Городецкого, несмотря на его “мистический анархизм” (может быть, Блок имел в виду Г.Чулкова? — Н.К.), И.Северянина — независимо от его “эго-футуризма”, В.Маяковского — “автора нескольких грубых и сильных стихотворений, независимо от битья графинов о головы публики, от желтой кофты, ругани и “футуризма” (Т.6. С.180—181).

Мнение о нелюбви Ахматовой к Зинаиде Гиппиус было прочным, и она его не опровергала. У Наймана: “Мы их не любили, но...”⁴ Впрочем, в советские годы, когда имя Гиппиус было именем злейшего врага большевиков и советской власти, было не так много людей, с которыми, и домов, в которых Ахматова могла бы говорить о Гиппиус, ее поэзии, пьесах или прозе, даже дореволюционной. Можно предположить, что эмигрантские стихи Гиппиус, повести и воспоминания Ахматова не знала.

Вот одно из воспоминаний, в которых сближаются эти два имени, — З.Б.Томашевской, в доме родителей которой было известно априори, что они современники великого гениального поэта — Анны Ахматовой, и для которой было счастьем видеть Ахматову гостьей своего отца и его коллегой по изучению Пушкина. З.Б.Томашевская писала: “Среди старых фотографий есть одна очень забавная. Три молодых человека хохочут до слез над какой-то книгой. И надпись: “Смеются все, стихи читая небезы-

известной Зинаиды”. “Это Попов, <Б.В.> Томашевский и <Сергей Аркадьевич> Янчевский читают стихи Зинаиды Гиппиус. Анна Андреевна, *не любя Гиппиус*, очень любила высказывать свои догадки, что именно они читают. Впрочем, это было всякий раз что-нибудь новенькое. Память у нее была дьявольская, но воспитанная — выборочная. Замечать курьезы, едва открыв газету или книжку, была их специальность — и Бориса Викторовича, и Анны Андреевны”⁵. Мы уже не узнаем, над чем смеялись три ученых литературоведа, и какие варианты причины их смеха приходили в голову отличавшейся изысканным остроумием Анне Андреевне. Для нас важна фраза: “*Не любя Гиппиус...*”

Я лично присутствовала при беседе с Анной Андреевной Ахматовой, когда ей был задан вопрос о ее отношении к поэзии Зинаиды Гиппиус. Она ответила, что любит у Гиппиус одно стихотворение — и процитировала его 1-ю строфу наизусть:

Не разлучайся, пока ты жив
Ни ради дела, ни для игры.
Любовь не стерпит, не отомстив,
Любовь отымет свои дары.

У Гиппиус вторая строка — “Ни ради горя...”
Далее у Гиппиус:

Не разлучайся, пока живешь,
Храни ревниво заветный круг.
В разлуке вольной таится ложь.
Любовь не любит земных разлук.
Печально гасит свои огни.
Под паутиной пустые дни.
А в паутине сидит паук.
Живые, бойтесь земных разлук!”⁶

Это стихотворение под заглавием “Берегись...”, январь 1913 года; оно посвящено Д.В.Философову. Тему этого стихотворения — тему разлуки, губительной для любви — можно угадать во многих лирических стихотворениях Анны Ахматовой, особенно в “анреповском” цикле. Но поразил и паук, несколько раз встречавшийся в лирике Гиппиус — мы встретим его в “Лирическом отступлении Седьмой элегии” Ахматовой: “Пауки в окне...” — как символ гибели⁷. Был паук и в стихах Н.С.Гумилева: “Вечерний медленный паук В траве сплетает паутину, Надежды знак. Но, милый друг, Я взора на него не кину...” <...> Чтоб в час, когда могильный мрак / Волъется в сомкнутые вежды, Не засмеялся мне червяк, / Паучьи высосав надежды...” 1911⁸. Это другой образ, другой паук, не губительный, а знак надежды. С гиппиусов-

ским и ахматовским пауком они полярны, и в то же время это разговор на едином образно-вещном языке символистских реалий. Поэтический язык символизма отчетлив в ранних стихах Гумилева, но явлен он и в ранних стихах Анны Ахматовой, которых сохранилось, к сожалению, не много, немногим более десятка из двухсот. Поэтический язык Зинаиды Гиппиус в них угадывается как одна составная часть среди многих других. Ахматова — начинающий поэт — была далека от главного в яркой и сложившейся индивидуальности поэта Гиппиус — от ее веры в силу духа и робости перед жизнью тела, от ее споров с Богом и договоров с дьяволом, эпатажного сострадания к дьяволу и греху, эпатажного же заявления о любви к себе, неповторимой и единственной. *Но в некоторых темах* — покорного ожидания подступающей смерти, обращения за помощью к “брату”, соблазна и его преодоления, молитвы и поводов для молитвы о близких, о России — два поэта сближаются. При этом можно выделить два направления этих сближений и внутренних цитаций-споров в стихах Ахматовой по отношению к лирике Гиппиус. *Первое направление* — это *детали общесимволистского поэтического языка*, элементы мозаики, из которых строится образ. От ранних стихов, выдающих явные следы ученичества у символистов, эти элементы переходят в стихи зрелого мастера акмеиста, вырастают в поэтическую систему Ахматовой и остаются ее поэтическим языком в поздние годы, когда отточенная ясность и психологическая точность наблюдений-выводов акмеизма начали уступать место неосимволистской размытости, скрытости сюжета, уведению читателя в зеркала и зазеркалья и в потаенные вторые и третьи смыслы.

Второе направление — родство поэтической мысли и позиций поэтов в мире, мироздании, гражданской и этической (христианской) системе ценностей. Обе женщины — поэты, обладающие мужским бесстрашным умом и умением формулировать не только ощущение, но и мысль о мире, о его событиях и законах.

Это родство мысли можно проследить на ряде произведений Анны Ахматовой, в которых вдруг, при тщательном прочтении и сличении, проступают контуры поэтической мысли Зинаиды Гиппиус.

Приведем несколько примеров.

В цикле-поэме “Реквием” кульминационной частью является десятый отрывок, “Распятие”: состоящий из двух четверостиший:

1.

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: "Почто Меня оставил!"
И Матери: "О, не рыдай Мене.."

2.

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел.
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел. (I. С. 443)

Бесстрашие Анны Ахматовой-поэта в том, что она осмысляет свою судьбу как часть христианской истории, свою участь матери, у которой забирают сына, и разум которой едва удерживается на грани безумия от горя — как участь, сходную с участью Богоматери, Марии. Эти строки потрясают смелостью и силой, но они же утверждают тесную связь поэта Анны Ахматовой с поэтической культурой русского "серебряного века", русского символизма.

Есть такое трудное,
Такое стыдное.
Почти невозможное —
Такое трудное:
Это — поднять ресницы
И взглянуть в лицо матери,
У которой убили сына.
Но не надо говорить об этом. (215)

Это стихотворение Зинаиды Гиппиус 1916 года. А вот — еще более близкий образ, из стихотворения Гиппиус "Адонай" — обращенного к Богу протеста против Первой мировой войны:

Твои народы вопиют: доколь?
Твои народы с севера и юга.
Иль ты еще не утолен? Позволь
Сынам земли не убивать друг друга! <...>

Ты разлил дым и пламя по морям,
Водою алою одел ты сушу.
Ты губишь плоть... Но, Боже, матерям
Твое оружие проходит душу!

Ужели не довольно было Той,
Что под крестом тогда стояла, рано?
Нет, не для нас, но для Нее, одной,
Железо вынь из материнской раны! <...> (205).

Библейский образ железа, пронзившего грудь матери — это образ Зинаиды Гиппиус, не имеющий аналога у Ахматовой; но образы Матери и Богоматери, стоящей под крестом, на котором распят ее сын, и которой невозможно, невозможно трудно взглянуть в лицо — у Ахматовой — даже не в лицо, а в ее сторону, “туда, где молча мать стояла” — общий у двух русских поэтесс.

Переключки мысли Ахматовой с поэзией символизма нередки, как видим, не только в ученический период ее творчества, что естественно, но и в зрелые годы. Например: У Ахматовой в 1960 г.: “О своем я уже не заплачу. / Но не видеть бы мне на земле / Золотое клеймо неудачи / На еще безмятежном челе”. У Гиппиус: “Свое — стерплю в гордыне... / Но — все? Но если все? / Терпеть, что все в машине, / В зубчатом колесе?” Совпадает и первая строка, и основная мысль — сочувствие другим, которых перемальвает колесо истории.

Можно усмотреть переключку с образами З. Гиппиус в целом ряде стихотворений Ахматовой, которые являются как бы продолжением сюжета Гиппиус или ответом-возражением на него. У Гиппиус:

Великие мне были искушенья.
Я головы пред ними не склонил.
Но есть соблазн... соблазн уединенья...
Его доньше я не победил.
Зовет меня лампада в тесной келье,
Многообразии последней тишины,
Блаженного молчания веселье -
И нежное вниманье сатаны... (До 1903) (103)

У Ахматовой:

Соблазна не было. Соблазн в тиши живет.
Он постника томит, святителя гнетет
И в полночь майскую над молодой черницей
Кричит истомно раненой орлицей.
А сим распутникам, сим грешницам любезным
Неведомо объятье рук железных”. (Начало 1917) (I, 292)

В обоих случаях идет речь о тишине кельи, но у Гиппиус Сатана уговаривает человека остаться в келье и не возвращаться в мир любви и ненависти. У Ахматовой соблазн — это качество праведных, распутникам и грешницам он неведом, и неведомы мучения, с соблазном связанные. Но образ Сатаны близок и Ахматовой. У Гиппиус это может быть сатана-соблазнитель, сатана, удерживающий от греха, дьявол злобный или дьявол несчаст-

ный, которого должен спасти Христос, или дьяволенок, которому сочувствует человек:

За Дьявола Тебя молю,
Господь! и он Твое создание.
Я Дьявола за то люблю,
Что вижу в нем — мое страданье.

Борясь и мучаясь, он сеть
Свою заботливо сплетает...
И не могу я не жалеть
Того, кто, как и я, — страдает... (132)

У Ахматовой: Дьявол не выдал. Мне все удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке. (Сентябрь 1922) (I, 392)

Дьявол рядом с “псом голодным” (блоковским, гетевским) характерен и для Гиппиус:

Какому дьяволу, какому псу в угоду
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил — засек кнутом?

Смеются дьяволы и псы над рабьей схваткой...

У Ахматовой: И целый день, своих пугаясь стонов,
В тоске смертельной мечется толпа,
А за рекой на траурных знаменах
Зловещие смеются черепа.
Вот для чего я пела и мечтала,
Мне сердце разорвали пополам.
Как после залпа, сразу тихо стало,
Смерть выслала дозорных по дворам.

У Гиппиус: о мечтах, связанных с революцией и свободой —
“Юный март” (8 марта 1917) и о крушении мечты:

Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
позорно жить! <...>
Мы стали псами подзаборными... 9 ноября 1917 (221)

У Ахматовой: Пока не свалюсь под забором... (I, 362)

У Гиппиус: 12 ноября 1917:

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание” (222)

Правда, у Гиппиус речь идет конкретно об Учредительном собрании — “Учредительное собрание, Что мы с ним сделали?” У акмеистки Ахматовой никогда не могло бы быть столь определенного указания, ее мечта и крушение мечты гораздо более символистски размыты:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло.
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло? <...>
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам...” Июль 1921 (I, 351)

Неожиданный ахматовский поворот — от разрухи и отчаяния — к радости — имеет параллель в поэзии Гиппиус — см. ее стихотворение “Будет”, посвященное врачу и деятелю Политического Красного Креста, бесстрашно боровшемуся за спасение узников петроградских тюрем во время красного террора, И.И.Манухину:

Ничто не сбывается.
А я верю.
Везде разрушение,
А я надеюсь.
Все обманывают,
А я люблю.
Кругом несчастье,
Но радость будет.
Близкая радость,
Нездешняя — здесь. (244).

У Ахматовой крушение окружающего ее мира — тема ее настоящего, разговор о сегодняшнем, хотя она и отдает себе отчет в историческом значении происходящего и ощущает себя частью истории. Лишь с конца 1930-х гг., когда она начнет писать “Поэму без героя”, она выступит “мастером исторической живописи”, будет осмыслять свой исторический опыт эпически-отстраненно.

У Гиппиус тема крушения мечты и разрухи настоящего обращена в глубь истории:

Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли,
Мы потеряли все святое:
И стыд души, и честь земли.
Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И Невесте
Солдатский штык проткнул глаза. <...>
Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!" (222)

Развалившие грязные дома Ахматовой, оплеванная Нева Гиппиус — это взгляд из одной точки, под одним углом зрения. Историзм Ахматовой более эпичен и спокоен, чем трагически заостренный историзм Гиппиус. Для Ахматовой современность осмысливается как часть истории, для Гиппиус история животрепещет как сегодняшняя боль. А чувство светлого примирения с будущим у обеих, как правило, близко к молитве. Гиппиус:

О, сделай Господи, скорбь нашу светлою,
Далекой гнева, боли и мести,
А слезы — тихой росой предрассветною
О нем, убиенном на поле чести..." (224)

Со словами утешения обращается Ахматова к матери, потерявшей сына на полях сражения Первой мировой войны:

Он Божьего воинства новый воин.
О нем не грусти теперь.

И плакать грешно, и грешно томиться
В милом, родном дому.
Подумай, ты можешь теперь молиться
Заступнику своему. ("Утешение", сентябрь 1914) (1, 208).

Хрестоматийно известны стихи Ахматовой времени Первой мировой войны — "Молитва", "Тот август, как желтое пламя...", "Мы на сто лет состарились, и это..." (Памяти 19 июля 1914). У двух поэтов одно восприятие войны — как бедствия народного, как горя матери, теряющей сына, когда утешить мать может только молитва и вера.

Близки Ахматова и Гиппиус в восприятии послереволюционной российской действительности. Обе негодуют при мысли о возможной сдаче Петрограда немцам, флот которых стоит на подступах к городу. В дневниках Гиппиус — подробные записи о военных продвижениях немцев в начале 1918 г.: взятие Луги, Нарвы, Риги, “немцы уже в Териоках”, вот-вот возьмут Гатчину. По слухам, в условиях Брестского мирного договора есть “тайные пункты”, по которым Петроград будет сдан немцам без боя. Патриарх Тихон уже ездил к немецкому послу Мирбаху договариваться о реставрации монархии и о судьбе православной церкви. Так пишет Гиппиус, а у Ахматовой —

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее... (1, 316).

Эти злые, наполненные возмущением строки близки к яростным стихотворениям Гиппиус о “блевоине войны — Октябрьском весельи” и пр. Роднит поэтов ощущение трагической беспомощности в годы кровавой смуты 1917–1918 гг. У Ахматовой:

Я в этой церкви слушала Канон
Андрея Критского в день строгий и печальный,
И с той поры великопостный звон
Все семь недель до полночи пасхальной

Сливался с беспорядочной стрельбой,
Прощались все друг с другом на минуту,
Чтоб никогда не встретиться... И смуту
Кровавую я назвала судьбой.

У Гиппиус нет смирения перед кровавой смутой, нет покорного приятия судьбы из рук Божьих:

И если это Божья длань —
Кровавая дорога —
Мой дух пойдет и с Ним на брань,
Восстанет и на Бога. (214)

Ахматова смиренно принимает тяжкую судьбу вместе с Родиной, “столицей дикой”, расхищенной культурой, преданной свободой:

В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду. (1, 348)

Гиппиус предпочтет “крылатую свободу” и будет до последнего дня своей жизни тосковать по России, которую больше не увидит.

До самой смерти... Кто бы мог думать?
(Санки у подъезда. Вечер. Снег.)
Никто не знал. Но как было думать,
Что это — совсем? Навсегда? Навек?

Молчи! Не надо твоей надежды!
(Улица. Вечер. Ветер. Дома.)
Но как было знать, что нет надежды?
Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.) (366)

Гиппиус обращается к словам-сигналам петербургских реалий, ставших в эмиграции символами Родины-Петербурга, используя блоковский прием коротких назывных предложений (“Ночь. Улица. Фонарь. Аптека”). Надо сказать, что позже, когда о Блоке последнего, трагического предсмертного года его жизни, будет писать Анна Ахматова, она использует тот же прием — короткие назывные “блоковские” предложения, передающие напряжение и тревогу рушащегося мира: “Он прав — опять фонарь, аптека, /Нева, безмолвие, гранит...” (2(1). С.122).

Уехавшая из России Гиппиус ни на минуту не усомнилась в правильности своего выбора: Россия без свободы, народ, засекший свою свободу кнутом, были для нее неприемлемы, и она уехала, чтобы бороться за возрождение свободной России.

Ахматова так же ни на минуту не усомнилась в правильности своего выбора. Она будет жалеть изгнанников (“Даже мертвые нынче согласны прийти/ И изгнанники в доме моем...”), осуждать добровольно покинувших родину “на растерзание врагам” и “надменно” заявлять о себе и обо всех оставшихся:

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас. (1, 389)

В поэзии Ахматовой и Гиппиус можно найти много перекликающихся образов, — это и реалии прекрасного северного города Петербурга с его полноводными реками, белыми ночами, мостами, бесконечно длящейся зимней ночью, снегом, морозом, ветром, валяющимися с мостов каретами. Это образы зеркальных отражений, двойных зеркал (у Гиппиус: “И в верхнем — качались травы,/ А в нижнем — туча бежала... /Но каждое было лукаво, /Земли иль небес ему мало, — /Друг друга они повторяли, /Друг друга они отражали... <...> И были, в зеркальном мгновеньи, /Земное и горнее — равны.” — “Зеркала” (274). Ахматовские зеркала и зазеркалья, гость, являющийся из глубины зеркал и пр. хрестоматийно известны.) Это образ отданного кольца, как будто пришедшего в поэзию Гиппиус из ахматовской “Баллады о черном кольце”:

Смотрю в лицо твое знакомое,
Но милых черт не узнаю.
Тебе ли отдал я кольцо мое
И вверил тайну — не свою?

Я не спрошу назад, что вверено,
Ты не владеешь им, — ни я;
Все позабытое потеряно,
Ушло навек из бытия. (279)

Акмеистический стих Ахматовой проще и “заземленнее”, приближен к фольклорной традиции и к быту российской барышни. Гиппиус уводит сюжет в символистские тайны, раскрытые Господом человеку “из нежности и жалости”. Но исходный образ “отданного кольца” — един.

Еще одно, казалось бы, совсем неожиданное сближение. У Ахматовой есть жесткое стихотворение о волке, на которого идет охота круглый год и судьбе которого поэт уподобляет свою судьбу. Среди стихотворений Гиппиус 1925 года есть стихотворение, построенное на использовании того же образа, написанное тем же размером, что и ахматовское, но, разумеется, с иным, “гиппиусовским” решением темы: вместо ахматовского страдательного покорства — сопротивление подрастающего волка, угроза, отмщение за обиды своей матери-волчихе-революции, выкормившей его, как когда-то волчица выкормила Ромула

Гиппиус: ...Щетинишься ли, лая,
Скулишь ли — что за толк!
Я все ухватки знаю,
Недаром тоже волк. (351)

Ахматова: ...Не плачь, о друг единый
Коль летом и зимой
Опять с тропы волчиной
Ты крик услышишь мой (I (2), 22)

Переключки тем и их решений у двух поэтов особенно явственны в годы Первой мировой войны и революции, — и это естественно, т.к. они принадлежали к одному социально-общественно-культурному слою русского общества, к одной нравственно-этической среде. Символистка Гиппиус была более политически озабочена, общественно заострена; акмеистка Ахматова — более индифферентна, покорна, стяла вне партий и вне борьбы. И тем не менее именно о выступлении вместе с нею вспомнила Гиппиус много лет спустя, рассказывая о последних годах пребывания в России перед эмиграцией — о вечере в Тенишевской зале. Вернемся еще раз к этому сюжету, с которого мы начали эту статью. Об этом вечере 21 января 1921 г. “Утро России” в пользу Политического Красного Креста в зале Тенишевского училища, где выступали Д.С.Мережковский, Д.В.Философов, Сологуб, Гиппиус и Ахматова, есть и рассказ Ахматовой: “На вечер “Утра России” была приглашена и я и они трое. Я там оскандалилась: прочитала первую строфу “Отступника”, а вторую забыла. В артистической, конечно, сразу все вспомнила. Ушла и не стала читать. У меня в те дни были неприятности, мне было плохо... Зинаида Николаевна в рыжем парике, лицо будто эмалированное, в парижском платье... Они меня очень зазывали к себе, но я уклонилась, потому что они были злые — в самом простом, элементарном смысле слова”⁹. Ахматова прочитала на этом вечере “Молитву”, “Высокомерьем дух твой помрачен...” и, видимо, сбилась, читая третье — “Ты — отступник: за остров зеленый...”, посвященное Б.Анрепу и его отъезду в Англию. В дневнике от 20 января 1918 г. Гиппиус тоже говорит об этом вечере, — не о том, что Ахматова сбилась, читая, а о самом факте их совместного выступления и успехе всего вечера в целом: “Вчера я видела Ахматову на “Утре России” в пользу Политического Красного Креста. Я несколько не “боюсь” и не стесняюсь читать с эстрады, все равно что — стихи или прозу; перед 800 чувствую себя так же, как перед двумя (м<ожет> б<ыть>, это происходит от близорукости) — однако терпеть не могу этих чтений и давно от них отказываюсь. Тут, однако, при-

шлось, ведь это наш же Красный Крест. Уж и почитала же я им — все самое “нецензурное”! Читали еще Мережковский, Сологуб... Народу столько, что не вмещалось. Собрали довольно. Вчера же были грандиозные крестные ходы. “Анафему” читали у Казанского собора”¹⁰. Вечер этот довольно широко освещался в прессе, в частности, о Гиппиус писала газета “Новые ведомости”: “в прочитанных З.Гиппиус стихах — ряд переходов от первых опасений за русскую свободу в ее первые, еще светлые дни, до печальной иронии по адресу тех, кто сделал “нецензурным” стихотворение об Учредительном собрании”. Поскольку Политический Красный Крест в это время занимался освобождением из Петропавловской крепости и из Крестов, переводом в тюремную больницу и спасением заключенных — бывших министров Временного Правительства, деятелей искусства, видных общественных деятелей, принадлежащих к партии кадетов и пр., то ахматовское стихотворение “Молитва” должно было прозвучать на этом вечере как молитва и за этих узников-страдальцев, — что не могла не оценить Гиппиус.

В 1924 году в статье “Литературная записка” (часть вторая, “О молодых и средних”), она писала о талантливых людях, оставшихся и продолжающих творить в России — это Сологуб, Сергеев-Ценский, Замятин, М.Пришвин, Пильняк, “серапионы” и особенно среди них М.Слонимский и др. И далее: “Там Анна Ахматова, женственная, такая, казалось, робкая, словно былинка гнушаяся — и не сломившаяся, и смелая в своих последних стихах, по-прежнему прекрасных”¹¹. Заслужить такую похвалу от Зинаиды Гиппиус было непросто, и заметим, что похвала распространялась не только на последние стихи, но и на многие другие, если не на все — ибо последние стихи Ахматовой *по-прежнему* прекрасны.

В заключение напомним евангельский образ Гиппиус, близкий поэтике Ахматовой — об оружии, острие, пронзившем сердце матери (Евангелие от Луки, 2, 35): старец Симеон встретил Богоматерь с младенцем в церкви и благословил их, и пророчествовал ей: “...се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу...” В журнале “Гиперборей” 1913, №5 (февраль) было опубликовано стихотворение Сергея Городецкого “Анне Ахматовой”, в котором использован этот библейский образ, уже введенный в литературный обиход Зинаидой Гиппиус:

В начале века профиль странный
(Истончен он и горделив)
Возник у Лиры. Звук желанный

Раздался, нежно воплотив
Обиды, горечь и смятенье
Сердец, выдавших острие,
Где в незабвенном столкновенье
Два века бились за свое.

“Сердца, выдавшие острие” — это и сердце Анны Ахматовой, и сердце Зинаиды Гиппиус.

¹ Гиппиус З.Н. Живые лица. Воспоминания. Тбилиси. 1991. Т. 1. С. 303.

² Анна Ахматова писала в заметке “Гумилев”: “...на моих стихах нет никакого влияния Гумилева, несмотря на то, что мы были так связаны, а весь акмеизм рос от его наблюдения над моими стихами тех лет, так же, как над стихами Мандельштама” // Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой. М., 1991. С. 313.

³ Блок А.А. Собр. соч. В 8 тт. М., Л., 1962–1963. Т. 7. С. 76. Далее — том и страница в тексте.

⁴ Найман А.Г. Рассказы о Анне Ахматовой. Л., 1989. С. 97: «...почти о всех “старших” разговор начинался так: “Мы его не любили, но... <...> Мы стихов Зинаиды Гиппиус не любили, кроме одного прекрасного четверостишия, — я вам его переписала <...>” Речь шла о стих. “Не разлучайся, пока ты жив...”

⁵ Об Анне Ахматовой. Л., 1990. С. 417–418.

⁶ Гиппиус З.Н. Стихотворения. СПб., 1999. “Новая Библиотека Поэта”. С. 198. Далее страницы в тексте.

⁷ Анна Ахматова, Собр. соч. В 6 тт. М., 1998–2001. Т. 2(1). С. 211. Далее том и страницы в тексте.

⁸ Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. Библиотека Поэта, большая серия. С. 395.

⁹ Лукницкий П.Н. Асуміана. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924–25. Париж. С. 78–79.

¹⁰ Гиппиус З.Н. Дневники. В 2 тт. М., 1999. Т. 2. С. 65–66.

О стихах Гиппиус, прочитанных на вечере “Утро России” — “Новые ведомости”, 1918. 22 января (4 февраля).

¹¹ Современные записки. 1924. № 19. С. 242.

Темира Пахмусс
Иллинойский Университет, США

“ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА” В ПАРИЖЕ

Общество “Зеленая Лампа” возникло по инициативе Мережковских в Париже в 1926 г. Прекратило оно свое существование в начале Второй мировой войны. Это было литературное и философско-религиозное общество. Президентом его был избран Георгий Иванов, секретарем — Владимир Злобин, многолетний секретарь Мережковских. Вопросы, которые поднимались и обсуждались на собраниях общества, касались искусства, политики, философии, религии и даже практического действия. Обществу было дано название “Зеленая Лампа” по названию кружка, встречавшегося в квартире Н.С.Всеволожского в Петербурге, в дискуссиях которого принимали участие А.С.Пушкин, А.А.Дельвиг, Н.И.Гнедич и Д.И.Долгоруков. Для участников пушкинского общества “Зеленая Лампа” означала “свет и надежду”. Собрания (их было 26) происходили с марта 1819 по осень 1820 г.

“Зеленая Лампа” Мережковских в Париже сохранила внутреннюю связь с пушкинской “Зеленой Лампой” в том, что члены этого общества также следовали принципу глубины дискуссий; их также отличала потребность ставить и обсуждать вопросы под широким углом зрения. Вопросы эти касались разных областей жизни и культуры. Однако “Зеленая Лампа” Мережковских не была “свободной трибуной” для высказывания любых мыслей и мнений. Мережковские, ее устроители, как и их ближайшие в ней сотрудники, были объединены сходными политическими, художественными, философскими и религиозными взглядами, а прежде всего — *духом свободы*. К участию в собраниях “Зеленой Лампы” не допускались только большевики и “большевизанствующие”, как их называла З.Н.Гиппиус. Все темы, все вопросы, поднятые в “Зеленой Лампе”, требовали серьезной постановки, настаивали Мережковские, а прения — серьезных решений. Поэтому тема докладчика и по возможности аргументы оппонентов выслушивались почти всегда сначала на

предварительном закрытом заседании в тесном кругу устроителей общества и их ближайших сотрудников.

В прениях темы чисто литературные переливались в политические, политические переходили в религиозные; частные вопросы расширялись до общих, из отвлеченных извлекались практические выводы. Темы обсуждались самые разнообразные: положение русской эмиграции, поэзия, Евангелие, философия Василия Розанова, еврейский вопрос (ему было посвящено три заседания), интеллигенция и ее роль в бывшей и будущей России, смысл революции и поиски цельного мирозерцания, сектанство и Православие, аристократия и демократия, психология борьбы, смысл самодержавия. И этим, разумеется, далеко не исчерпываются те многие вопросы, которые предлагались вниманию участников собраний¹.

Первое собрание “Зеленой Лампы” состоялось 5 февраля 1927 г. в здании Русского коммерческого и индустриального союза в Париже. Заседание открылось речами Владислава Ходасевича и Дмитрия Мережковского относительно назначения и цели нового общества. Первый доклад был прочитан М.О.Цетлиным, и посвящен он был теме “Литературная критика”. На следующих заседаниях выступили З.Н.Гиппиус с докладом “Русская литература в эмиграции”, И.И.Бунаков-Фондаминский с докладом “Русская интеллигенция как духовный орден” и Георгий Адамович с обширным сообщением “Есть ли в поэзии цель?”. Все доклады на собраниях “Зеленой Лампы” были сначала прочитаны Мережковскими и обсуждены в деталях с докладчиками. Мережковские же предлагали и темы, выбирали докладчиков и определяли угол зрения в выступлениях.

“Зеленая Лампа” возникла из знаменитых литературных *soirées* Мережковских по воскресеньям в их квартире в Париже, которые посещались элитой русской эмиграции. Среди посетителей “Воскресений” были профессора В.Н.Сперанский, Н.А.Бердяев, К.В.Мочульский, а также Лев Шестов, М.О.Цетлин, Г.П.Федотов, С.К.Маковский, И.И.Бунаков-Фондаминский, А.Ф.Керенский и писатели Тэффи, А.Ремизов, И.Бунин, Марк Алданов, Георгий Адамович, Георгий Иванов, Иван Шмелев, Борис Зайцев и другие.

Более молодое поколение участников “Воскресений” включало в себя писателей Юрия Терапиано, Ирину Одоевцеву, Владислава Ходасевича, Нину Берберову, Николая Оцупа, Владимира Варшавского, Бориса Дикого-Вильде, Лазаря Кельберина, Довида Кнута, Галину Кузнецову, Антонина Ладинского, Юрия Фельзена, Лидию Червинскую и других. Гиппиус шутиливо назы-

вала их соответственно их писательскому опыту “зародышами” или “подростками”.

На “Воскресеньях” Мережковских, как позже и в “Зеленой Лампе”, обсуждались вопросы поэзии, философии, религии и метафизики: Святая Троица, любовь, жизнь и смерть, Третий Завет, Вл. Соловьев, Кьеркегор, Гегель, Ницше, Карл Маркс. Гиппиус умышленно провоцировала своих гостей, предлагая противоположную изложенной докладчиком точку зрения, чтобы оживить дискуссию. Поэт Виктор Мамченко назвал Гиппиус “подводной силой всех вдохновений и расхождений во мнениях”. На “Воскресеньях” она незаметно направляла и вела дискуссию.

Зинаида Гиппиус очень дорожила “Зеленой Лампой”, своим детищем, и огорчалась, когда ее участники чинили трудности в процессе работы общества. Например, 12 августа 1927 г. она писала Георгию Адамовичу, с которым часто делилась своими заботами по поводу “Зеленой Лампы” и русских литературных журналов в эмиграции: “Фохт² ... хорохорится и требует “выкупа” Зеленой Лампы, которая, будто бы, “монопольно принадлежит” *Новому Дому*... По-моему, она больше принадлежит Вам (совокупно со мной, Ходасевичем и Цетлиным), нежели Фохту. А он грозит, что один будет продолжать *Дом*, когда возьмет всю *Лампу*. Впрочем, грозит как-то бессильно, и где уж со столькими женами журнал издавать!” Огорчал ее и Ходасевич своими предложениями “закрыть лавочку”, т.е. собрания общества. Когда русские писатели в Париже стали настаивать, чтобы в “Зеленой Лампе” устраивались и “вечера поэзии”, Мережковские были против такой “профанации” их литературно-философского общества, но затем уступили настойчивым просьбам участников, и “Вечер поэзии” состоялся на одном из собраний “Лампы”. По этому поводу Гиппиус написала шутивное стихотворение “Стихотворный вечер в *Зеленой Лампе*” или “*Всем сестрам по серьгам*”:

Перестарки и старцы и юные
Впали в те же грехи:
Берберовы, Злобины, Бунины
Стали читать стихи.

Умных и средних и глупых,
Ходасевичей и Оцупов
Постигла та же беда.

Какой мерою печаль измерить?
О, дай мне, о дай мне верить,
Что это не навсегда!

В “Зеленую Лампу” чинную
Все они, как один,-
Георгий Иванов с Ириною;
Юрочка и Цетлин,

И Гиппиус, ветхая днями,
Кинулись со стихами,
Бедю Зеленых Ламп.

Какой мерою поэтов мерить?
О, дай мне, о, дай мне верить
Не только в хорей и ямб.

И вот оно, вот, надвигается:
Властно встает Оцуп.
Мережковский с Ладинским сливается
В единый небесный клуб;

Словно отрок древне-еврейский,
Заплакал стихом библейским
И плачет и плачет Кнут...

Какой мерою испуг измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
Что в зале не все заснут.

(31 марта, 1927)³

Тексты докладов “Зеленой Лампы” печатались в “Новом Доме” (1926--1927) и в “Числах” (1930--1934). Так, например, в № 2-3 “Чисел” был воспроизведен текст доклада в “Зеленой Лампе” Георгия Иванова на тему “Символизм и шестое чувство”. В прениях участвовали Гиппиус, Мережковский, Адамович и другие. В том же номере “Чисел” вниманию читателей предлагалось сокращенное резюме беседы “Чего они хотят?” (“Современные Записки” и “Числа”). Участие в этой беседе приняли Гиппиус, Мережковский, В.С.Варшавский, И.Н.Голенищев-Кутузов, К.В.Мочульский, Н.А.Оцуп, Б.Ю.Поплавский, Н.Г.Рейзини и М.Л.Слоним. Главный упрек, сделанный “Числам” Мережковским и Гиппиус, касался аполитичности нового журнала.

В № 5 “Чисел” напечатаны два чрезвычайно интересных текста: доклад В.С.Варшавского в “Зеленой Лампе” на тему “Что с нами будет?” по поводу “Атлантиды” Д.С.Мережковского и речь Гиппиус “Арифметика любви”. Вот несколько выдержек из доклада Варшавского:

«Мы можем радоваться, что одна из первых книг, проникнутых каким-то новым виденьем истории, написана русским писателем. В кратком докладе трудно говорить об “Атлантиде”

Мережковского. Слишком обширен и сложен идейный состав этой книги, являющейся попыткой начертания “ноуменальной” истории человечества. Я думаю, что “Атлантида” еще ждет настоящих комментаторов. Мне лично главная схема “Атлантиды” представляется следующим образом:

Изгнанная из рая жизнь вошла в мир мертвой материи, необходимости и косности. В этом мире, несущем для всего живого страдания и умерщвление “в поте лица”, движется вкусивший от дерева познания человек, смутно помнящий о рае и корчащийся от жажды плодов древа жизни».

Варшавский закончил свой доклад, суммируя главную тему книги Мережковского своего рода мрачным предупреждением о возникновении черной пропасти в истории человеческой культуры:

«Как в “Атлантиде”, в наши дни “белая магия” человеческой культуры превращается в магию черную. Общество и техническая цивилизация, два главных орудия, созданных человеком для борьбы за свободу и жизнь, “с внезапностью, с какой молоко скисает в грозу”, превращаются в орудия истребления свободы и жизни — в коммунизм и войну.

Вот приблизительно и упрощенно главная тема “Атлантиды”, как я ее понял. Каждый, кто испытывает беспокойство перед апокалиптическими знаменьями, являющимися в наши дни, должен прочесть эту книгу, проникнутую независимо от своих литературных достоинств несомненно настоящим пророческим жаром и могущую заставить человека хотя бы на мгновение очнуться от того почти лунатического состояния, в котором обыкновенно живет большинство людей».

По окончании доклада развернулась оживленная дискуссия, в которой приняли участие Б.Поплавский, Я.Меньшиков, д-р Прокопенко, Д.Мережковский, Ю.Терапиано, К.Мочульский, М.Цетлин и другие.

Речь Зинаиды Гиппиус “Арифметика любви” развертывает тезисы о любви в сугубо метафизическом плане: личность, ее единственность, Эрос, андрогинизм и вечность, смысл любви в философии Владимира Соловьева с ее “веяньем нездешней радости”. Достаточно взглянуть на некоторые из этих тезисов, чтобы увидеть глубину мысли поэта.

«Я буду говорить только о *личной* любви; т.е. о мосте, который строит Эрос между двумя личностями. Эроса римляне так и называли: “pontifex”, что значит “строитель мостов” (и “священник”).

Но если это мост между двумя личностями, то необходимо сначала условиться о понятии *личности*, хотя бы в первоосновах; иначе и дальше мы ничего не поймем.

Первоосновы личности такие: *абсолютная единственность*, неповторяемость, и *потенция абсолютного бытия* (вечности)».

Любовь есть подобие самой человеческой личности, утверждает Гиппиус. Живой человек *душетелесен*, как его любовь.

«Это коренное свойство человека — андрогинизм.

Бесчисленных обоснований и объяснений андрогинизма я не касаюсь. Утвердим просто: живое душетелесное человеческое существо, реальный человек, никогда не бывает только мужчиной, или только женщиной. Оба начала, мужское и женское (М. и Ж., по Вейнингеру) в нем соприсутствуют. Но необходимо утвердить и следующее, что я особенно подчеркиваю: в каждом реальном человеке которое-нибудь одно из двух начал, М. или Ж., *преобладает*.

Человек, таким образом, существо или *мужеженское* или *женомужское*; при чем само сложение двух начал в каждом — лично, т.е. как личности единственно и неповторимо.

Во всем этом, вместе взятом, и заключена потенция личной любви».

Сплетение двух начал, М. и Ж., во всякой личности *лично*, т.е. единственно и неповторимо, как сама личность. Гиппиус продолжает:

«Абсолюта обратности (полярности) *двух*, дающего абсолют любви, нет, конечно, в безабсолютном мире. Но в нем есть возможность неограниченного приближения к абсолюту. Чем полнее душетелесная обратность, тем совершеннее любовь, ближе к вечножеланной, непременно “одной” и непременно “навсегда”. За нее мы и боремся, и все знаем, даже не зная, что борьба за любовь — это борьба со смертью».

В своей речи Гиппиус все дальше и дальше раздвигает горизонты в установлении взаимоотношений между личностью, любовью и исполнением любви как задачи, стоящей перед волей человеческой. Речь Гиппиус об андрогинизме вызвала самые разнообразные суждения, которые до сих пор продолжают интересовать ученых-славистов.

Не только речь Гиппиус об “арифметике любви”, но и все доклады, сделанные в “Зеленой Лампе” русскими писателями в изгнании, отличались глубоким духовным содержанием и пре-

красным знанием мировой культуры. Конечно, Гиппиус не была одна со своими фантазиями в “Зеленой Лампе”, чего она опасалась временами, имея в виду своих слушателей, в частности “зародышей” и “подростков”, “учтя и взвесив их посильные возможности в смысле качества, количества общих свойств и др.”,— как она писала Адамовичу 8 августа 1927 г.

Доклады в “Зеленой Лампе”, которые также объясняют “как” и “почему” русской революции, несомненно являются важным документом в истории русской культуры в изгнании.

¹ Подробные сведения о 52-х заседаниях общества см. Т.Пахмусс. Н.В.Королева. Зеленая Лампа // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940. Переодика и литературные центры. М., 2000. С. 167–174.

² Фохт Всеволод Борисович, поэт и журналист, редактор (вместе с Довидом Кнутом, Юрием Терапиано и Ниной Берберовой) журнала “Новый Дом”.

³ Гиппиус З.Н. Стихотворения. СПб., 1999. Новая Библиотека Поэта. С. 358.

Гиппиус, хотя и читала свои стихи по просьбе слушателей, например, на Первом съезде русских писателей и журналистов в Белграде (1928), а потом в Загребе, в целом была против чтения стихов вслух:

Никогда не читайте
Стихов вслух.
А читаете — знайте:
Отлетит дух.

Лежат как скелеты,
Белы, сухи...
Кто скажет, что это
Были стихи?

Безмолвие любит
Музыка слов.
Шум голоса губит
Душу стихов. (Там же. С. 340).

Для Гиппиус стихи были “молитвой”, как она говорила во вступлении к первому тому своих стихотворений “Необходимое о стихах. Предисловие к первому *Собранию стихов (1899–1903)*” (1904).

⁴ См.: Otto Weininger, *Sex and Character*, 6 th ed. (New York: G.P. Putman & Son, n.d.). Впервые издана в 1903 г., теории Вейнингера также посвящена статья Гиппиус 1925 г. “О любви”.

Марианджела Паолини
Италия

КРИТИЧЕСКАЯ ПРОЗА З.Н.ГИППИУС 1899—1918 гг.: БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ

Дореволюционная критическая проза З.Н.Гиппиус является наименее изученной частью наследия писательницы. В существующей общей библиографии ее произведений наиболее обширные лакуны обнаруживаются именно в части, посвященной критическим работам¹.

Во многом это связано с особенностями и условиями литературно-критической деятельности Гиппиус, которая в зависимости от ситуации, а подчас — и от самого характера критического выступления, подписывала статью либо одним из своих псевдонимов (наиболее часто использовались: самый “громкий” — “Антон Крайний”, сохранившийся даже в эмиграции, а также “Лев Пущин” и “Товарищ Герман”, спорадически “Лев Денисов”, “Х.”, “М.Г.”, “Роман Аренский”), либо собственной фамилией, либо даже фамилией мужа. Использование того или другого псевдонима могло зависеть от “политического” направления журнала (фельетонные, резко-poleмические статьи, направленные против “Золотого руна” и Г.Чулкова, подписывались “Антон Крайний” и “Товарищ Герман”), или от содержания статей (под “программными” философско-религиозными эссе стояло настоящее имя писательницы).

Естественно, что подобная игра с масками-фамилиями нередко вводила в заблуждение не только современников, но ученых, обрашавшихся к этой проблеме в позднейшие годы. Так в работе Д.Максимова и А.Лаврова статья Гиппиус “Декадентство и общественность”, опубликованная в “Весах” в 1906 г. и по тактическим соображениям подписанная “Д.Мережковский”, приписана именно Мережковскому². То, что настоящий ее автор — Гиппиус, стало ясно уже через год после журнальной публикации, когда вышел

сборник “Литературный дневник”, куда эта статья вошла без каких-либо упоминаний о причастности к ней Мережковского³.

Приведенный пример не единичен. История, связанная с бытованием в журнале “Весы” псевдонима “Товарищ Герман”, едва ли не детективна. В тактических целях этот псевдоним использовали два автора (Гиппиус и Брюсов), более того, Гиппиус (как “Антон Крайний”) пишет специальное письмо в редакцию, пытаясь доказать свою непричастность к резким писаниям “Товарища Германа”⁴. В существующих библиографиях и в библиографических ссылках научных работ практически до сих пор сохраняется путаница, связанная со случаями, подобным двум вышеприведенным⁵, что свидетельствует в пользу актуальности настоящей работы.

Предлагаемый библиографический обзор не может считаться исчерпывающим. При его составлении был произведен сплошной просмотр журналов (в тех хронологических границах, в которых можно было предположить участие в них Гиппиус) “Мир искусства”, “Новый путь”, “Весы”, “Русская мысль”, “Образование”, “Новая жизнь”, “Голос жизни”. Другие журналы и газеты, в которых Гиппиус публиковалась не столь регулярно, просматривались лишь выборочно. Некоторые номера изданий конца 1917–1918 г. пока являются для составителя технически недоступными.

Данная работа является расширением и уточнением библиографии А.Барда. В отличие от указанной работы, мы аннотируем подавляющее большинство статей, что в определенной степени позволяет проследить устойчивость интереса Гиппиус-критика к отдельным темам, литературным явлениям, конкретным именам, выявить общественный и литературный контекст ее критических выступлений. Выборочно даны отклики на статьи Гиппиус, которые приведены с целью очертить ту журнально-газетную среду, в которой они появлялись, а также в тех случаях, когда необходимо проследить некий полемический “сюжет” (статья — отклик — ответ на отклик).

Отдельные статьи Гиппиус имели резонанс, далеко выходящий за рамки символистского (а подчас — и общелитературного) журнально-газетного круга. Этот эффект был сознательно заложен, “запрограммирован” посредством включения в них хлестких, эпатажных и чрезвычайно обидных для объекта критики пассажей. Подобные пассажи с удовольствием перепечатывались солидной и мелкой, столичной и провинциальной прессой и делали имя Антона Крайнего едва ли не нарицательным. Типичен следующий отзыв киевского критика: “Среди развязных статей августовской

книжки (журнала “Образование” — *М.П.*) первое место должно быть отведено “Доброму хаосу” г-жи Зинаиды Гиппиус. Это образец такой разудалой критики, которой мог бы позавидовать сам г. Чуковский”⁶. Необходимо, впрочем, отметить, что при всей “разудалости” Гиппиус никогда не переступала ту грань, которая отделяет критикуемого автора от человеческой личности, за ним стоящей. Явно беспочвенны попытки оппонентов Гиппиус поставить ее (даже в этом отношении) на одну доску, например, с В.Бурениным, который легко и охотно эту грань переходил. Насколько такого рода полемика была расхожа в те времена, можно судить хотя бы по следующему высказыванию А.Серафимовича в отношении самой Гиппиус, которое извлечено из его лекции “Литература и литераторы”, состоявшейся в Литературно-художественном кружке 18 апреля 1909 г. Противопоставляя ей “истинных наследников великих ценностей русской литературы” — Андреева, Куприна и Зайцева, Серафимович утверждал: “<...> Зинаида Гиппиус, на заре своей литературной карьеры — родная мать прекрасных задушевных рассказов, ныне — злая мачеха, бессильно злобствующая под маской Антона Крайнего на всех и все, как бы охваченная местью за потерянную ею навсегда способность производить нормальное потомство <...>”⁷ (двойной смысл этой реплики в адрес женщины, не имеющей детей, не мог быть не уловлен бульварной прессой).

Понятие “критическая проза” употребляется нами вслед за Д.Максимовым, использовавшим его в отношении как собственно литературной критики, так и публицистики А.Блока⁸. На наш взгляд, данное словосочетание корректно может быть применено почти ко всей “нехудожественной” прозе Гиппиус. В одной из своих статей Антон Крайний признается: “Могут быть интересны только общие мысли, возникающие у критика “по поводу” книги, о которой он говорит. Руководствуясь этим принципом, я и писал до сих пор мои рецензии”⁹. В самом деле, обычно ее критическая статья строится на синтезе суждений о каком-то произведении, авторе, литературном явлении и “общих мыслей”, порой представляющих собой весьма широкие обобщения в области эстетики, общественной жизни, религиозных идей. Как правило, за разговором о конкретном литературном факте стоит некоторая “сверхзадача”. Типологически подобного рода критика близка, как это не странно на первый взгляд, к традициям русской революционно-демократической критики XIX в. (Добролюбова, Чернышевского, Писарева и других представителей “эстетического ути-

литераризма»), с влиянием которой боролась пред— и раннесимволистская эстетика в 1890-е годы в лице близких Гиппиус А.Волынского, Н.Минского, Д.Мережковского. С другой стороны, в тех немногочисленных ее работах, которые можно назвать религиозно-философскими эссе (“Критика любви”, “Хлеб жизни”, “Они и мы”, “Зверобог”) и где главным для автора является проблема, а не конкретное явление или имя, ход мысли почти всегда подводит критика к литературному факту. Иначе говоря, оба равнозначных для Гиппиус-критика начала — “учительно”-публицистическое и критико-аналитическое — почти всегда соприсутствуют в ее статьях. Иначе и не могло быть у автора, который уже в самых первых своих выступлениях равным образом борется не только с прямолинейно-“вопросной”, “нигилистической”, “некультурной” литературой поздних народников, натуралистов, Горького и Андреева, но и с “чистым искусством” декадентов. Сама Гиппиус подтверждает неразрывность этих начал в своих работах, когда под одну обложку “Литературного дневника” (итоговой книги первых восьми лет ее литературно-критической деятельности) включает и пронизанное “неохристианским” пафосом, сугубо “проблемное” эссе “Хлеб жизни”, и жестко-полемичную, типично “журнальную” статью «О “Шиповнике”», и подчеркнутую безоценочные, нарочито описательные “Парижские фотографии”. Все это, повторяем, оказывается “Литературным дневником”.

Сообразно с этими критериями, в предлагаемый обзор включены, наряду с литературно-критическими статьями, и религиозно-философскими эссе, и откровенно публицистические выступления Гиппиус. К числу последних прежде всего относятся статьи, появившиеся в начале Первой мировой войны. В них обычная для Гиппиус-публициста “литературоцентричность” как бы сменяется близкой, “смежной” (играющей важную роль и в ранних статьях) “культуроцентричностью”. Литература, культура и политика почти необратимо срастаются в статьях конца 1917—1918 г. (как, впрочем, и в ее поэзии этих лет).

Из общего обзора исключены лишь коллективные письма, подписанные в числе прочих и Гиппиус, так как ее непосредственное участие в создании этих текстов не может быть доказано без дополнительных разысканий. За рамками обзора остались также произведения очеркового характера — такие, например, как “На берегу Ионического моря”¹⁰ и “Светлое озеро”¹¹.

1. Две драмы А.Толстого // Мир искусства. 1899. № 5. С. 34–35. (Подп.: З.Гиппиус.)
О постановке в Малом театре “Царя Бориса”. “Царь Федор Иоаннович”. Вульгаризация современной сцены.
2. “Торжество в честь смерти”. “Альма”, трагедия Минского // Мир искусства. 1900. № 17–18. С. 85–94. (Подп.: З.Гиппиус.)
Трагедия Минского и основные течения современной литературы (реалисты, натуралисты, декаденты).
3. Критика любви. Поэты-декаденты // Мир искусства. 1901. № 1. С. 28–34. (Подп.: З.Гиппиус.) (См. также: ЛД.С.43–64). [Здесь и далее сокращение ЛД означает “Литературный дневник” – подробнее см. 48].
А.Добролюбов как типичный представитель русского декаданса.
4. Хлеб жизни // Мир искусства. 1901. № 11–12. С. 323–334. (Подп.: З.Гиппиус.) (См. также: ЛД. С. 1–42).
Религиозно-философское эссе о необходимости воссоединения исторически разделенных общества и церкви. Односторонность безрелигиозной общественности (науки, искусства). Историческое христианство — “религия смерти тела”. Полемика с “Философскими разговорами” Н.Минского.
5. Последняя беллетристика // Новый путь. 1903. № 2. С. 184–187. (См. также: ЛД. С. 75–83). (Подп.: А.Крайний.)
О прозе П.Боборыкина и М.Альбова. “В тумане” и “Бездна” Л.Андреева.
6. О Силэне из “Мира искусства” // Новый путь. 1903. № 2. С. 197–198. (Подп.: А.Крайний)
Ответ на реплику Силэна (В.П.Нувеля), обращенную против “Нового пути”.
7. О черте, корректорах и критиках // Новый путь. 1903. № 2. С. 199–201. (Подп.: А.Крайний)
Отклик на рецензии П.Безобразова (“московского критика”), и неназванного критика “Биржевых ведомостей” (“петербургский корректор”) на “Судьбу Гоголя” Мережковского.
8. Они и мы // Новый путь. 1903. № 3. (См. также: ЛД, под загл. “Современное искусство”. С. 64–74). (Подп.: М.Г.)
О кризисе современных религиозно-этических учений (толстовство, декадентство, неохристиане).

9. Читаю книги // Новый путь. 1903. № 3. С. 224–227. (Подп.: А.Крайний)
Об однообразной “серости” и “серединности” современных критиков и прессы (о газетах “Заря”, “Русское слово”, о журналах “Вестник Европы”, “Новое время”, о Боборыкине и М.А.С-о.
10. Кого жалко? // Новый путь. 1903. № 4. С. 179–184. (Подп.: А.Крайний)
В защиту В.Розанова и протоиерея У-ского, против направленных на них статей О.Меньшикова (“Новое время”, в цикле “Письма к ближнему”) и Н.Лухмановой (“Заря”, ст. “Кто дал им право?”).
11. Два зверя // Новый путь. 1903. № 6. С. 227–232. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 95–106).
Об альманахах изд. “Скорпион” и “Гриф”. Включает пародийное стихотворение, посвященное Брюсову (“Валерий, Валерий, Валерий, Валерий!..”).
12. Я? Не я? // Новый путь. 1903. № 7. С. 247–258. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 107–130).
Об индивидуализме в искусстве и жизни. О прозе А.Будищева (“Вестник Европы”) и А.Амфитеатрова (сб. “Сказочные были”).
13. Слово о театре // Новый путь. 1903. № 8. С. 228–235 (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 131–144).
Искусственность и фальшь на сцене (Александринский театр) и в драматургии (пьесы В.Протопопова, О.Дымова и Е.Беспятова в журн. “Театр и искусство”). Московский Художественный театр — провозвестник конца искусства.
14. Вечный жид // Новый путь. 1903. № 9. С. 241–244. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 145–152).
О ст. В.Розанова “Юдаизм” (Новый путь. 1903. № 8). Poleмика с его ориентированной на Ветхий завет “мистикой физиологизма”.
15. Г<-н> Протопопов и красота (Краткое возражение на длинную статью) // Новый путь. 1903. № 9. С. 244–245. (Подп.: А.Крайний)
Пolemика с выступлением против эстетики М.Протопопова (Русская мысль. 1903. № 8).
16. Нужны ли стихи? // Новый путь. 1903. № 9. С. 246–254. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 153–169).
О связи крайнего субъективизма современной поэзии с разобщенностью людей (отсутствием “общей молитвы”). Краткие характеристики поэзии Ф.Сологуба, К.Бальмонта, В.Брюсова. Оценка стихов М.Волошина (Новый путь. 1903. № 8) и М.Гербановского (сб. “Лепестки”).

17. I. Выбор мешка; II. Углекислота // Новый путь. 1904. № 1. С. 254–261. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 171–186; объединено в одну ст. под общим заголов. “Выбор мешка”).
О М.Горьком — современном проповеднике крайнего нигилизма. [Согласно примеч. в ЛД (С. 186), третья часть статьи — “Любовь — как основа общественности” — не пропущена цензурой и утеряна].
18. Н.К. Михайловский: [Некролог] // Новый путь. 1904. № 2. С. 279–280. (Подп.: А.Крайний)
“<...> молодежь <...> далеко перешагнет за слишком близкие горизонты своего учителя, но всегда будет вспоминать его с теплым чувством уважения и благодарности”.
19. Влюбленность // Новый путь. 1904. № 3. С. 180–192. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 187–212).
Развитие спора Д.Мережковского (ст. “Новый Вавилон”) с книгой В.Розанова “В мире неясного и нерешенного”). Философия любви в свете нового религиозного сознания.
20. Еще о пошлости // Новый путь 1904. № 4. С. 238–243. (Подп.: А.Крайний) (ЛД. С. 213–224 — под заголов. “О пошлости”, с небольшими изменениями).
Ответ на ст. Юрия Череды (С. П.Дягилева) “О пошлости”, опублик. в том же номере журн. Противопоставление Достоевского и Чехова.
21. Что и как: I. Вишневые сады; II. Триптих // Новый путь. 1904. № 5. С. 251–267. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 225–258).
[I] Приближение Художественного театра к натурализму кинематографа. “Вишневый сад” Чехова — смешение животворного таланта и косных отчаяния и безнадежности. [II] Проект “истинного театра”.
Отклик: Аббадонна // Русь. 1904. № 168.
22. Согласно критикам // Новый путь. 1904. № 7. С. 248–253. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 259–270).
По поводу ст. А.Волжского (“Журнал для всех”) об очерке Гиппиус “Светлое озеро”.
23. Летние размышления // Новый путь. 1904. № 7. С. 248–253 (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 271–282).
О “Жизни Василия Фивейского” Л.Андреева: несовместимость свободы и материализма. Ответ на отклик Аббадонны на ст. “Что и как” [21].

24. Быт и события // Новый путь. 1904. № 9. С. 280—292 (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 283—308).
Противопоставление быта (покоя, кристаллизации жизни, привычки) и жизни (движения вперед). Противопоставление “беспривычного” Достоевского тонкому, но поражаемому бытом Чехову.
25. Из записной книжки // Новый путь. 1904. № 9. С. 301—305. (Подп.: А.Крайний)
Краткие злободневные реплики: о выступлениях публицистов “русского направления” (Л.Л.Толстого, Энгельгардта), об отпадности появления религиозной тематики в “Журнале для всех”.
26. Стихи о Прекрасной даме // Новый путь. 1904. № 12. С. 271—281. (Подп.: Х.)
Гибельность “самодостаточных” эстетизма, мистики и других “частных”, “узких” “вер” противопоставлена полноте религии. Отсюда опасность, подстерегающая А.Блока с его “новым мистико-эстетическим романтизмом”.
27. Над кем смеются? // Новый путь. 1904. № 12. С. 280—284. (Подп.: Х.)
Оценка постановки пьесы А.Островского “Горячее сердце” (“дикая пошлость, наполняющая пьесу и захватывающая публику”). Необходимость радикальных перемен в театре (“преображения, а не преобразования”).
28. Все против всех // Золотое руно. 1906. № 1. (См. также: ЛД. С. 309—325). (Подп.: Д.Мережковский.)
О “Вопросах жизни” — “лучшем из русских журналов”: “переход от позитивной к религиозной общественности”, “культурность”. Противоречия журнала — искусственность “христианской политики” С.Булгакова, “трагическое бессилие двойственности” Н.Бердяева, несовместимость друг с другом разных групп внутри журнала: общественников, идеалистов, христиан и декадентов. Эклектизм мистического анархизма Г.Чулкова.
29. Золотое Руно // Весы. 1906. № 2. С. 81—83. (Подп.: Товарищ Герман)
Претенциозность нового журнала при банальности истин, декларируемых в его программе. Его “направление” — “обетшавшее декадентствование”.
30. Декадентство и общественность // Весы. 1906. № 5. С. 30—37. (Подп.: Д.Мережковский.). (См. также: ЛД. С. 327—346).
Осуждение индивидуализма в современной литературе. В частности, об индивидуализме А.Блока.

31. Тоска по смерти // Свобода и Культура. 1906. № 7. С. 476–482. (Подп. Н.Ропшин).
Проблема насилия в революции.
32. Бедный город // Весы. 1906. № 8. С. 35–39. (Подп.: З.Гиппиус) (См. также: ЛД. С. 417–431).
О “страшном лике” Парижа, выражающемся в “автоматизме”. Отсутствие “нарядности” (творчества): “В этой самодовольной неприязательности — провинциализм и консерватизм Парижа”.
33. Иван Александрович — неудачник // Весы. 1906. № 8. С. 48–51. (Подп.: А.Крайний)
О Г.Чулкове (уподобляемом гоголевскому Хлестакову в связи с его кн. “Мистический анархизм” (СПб., 1906).
34. La Révolution et la violence // La Tsar et la Révolution. Paris, 1907. P. 87–132. (Подп.: Z. Gippius) (См. изд. на рус. яз.: Гиппиус З. Революция и насилие // Мережковский М., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция. Сб. / Под ред. М.А.Колерова, вступ. ст. М.М.Павловой, пер. с франц. О.В.Эдельман, подгот. текста Н.В.Самовер. М., 1999. С. 103–128).
35. Le vraie forge du tsarisme // La Tsar et la Révolution. Paris, 1907. P. 249–283. (Подп.: Z. Gippius) (См. изд. на рус. яз.: Гиппиус З. Истинная сила царизма // Мережковский М., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция. М., 1999. С. 193–214).
36. Без мира // Весы. 1907. № 1. С. 57–65. (Подп.: З.Гиппиус.) (См. также: ЛД. С. 347–370)
О сб. “Вопросы религии”. Противоречия между суждениями авторов сборника — В.Свенцицкого, С.Булгакова, Эрна и Волжского — связаны с неполнотой традиционного христианства — “христианизма” (верой только в личность Христа). Истинная Церковь (религиозная общественность) может быть построена только при воссоединении Троицы — присоединении Отца и пришествии Духа.
37. Парижские фотографии // Весы. 1907. № 2. С. 61–68. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 433–453).
Ироническая параллель между двумя сценками: собранием французских анархистов и вечером в парижском кафе гомосексуалистов. В подтексте зарисовок-“фотографий” — развитие темы “автоматизма” Парижа (см. “Бедный город” [32]).
38. Проза поэта // Весы. 1907. № 3. С. 69–71. (Подп.: З.Гиппиус.) (См. также: ЛД. С. 371–379).
О сборнике рассказов В.Брюсова “Земная ось”. В стихах Брюсова есть “вселенскость”, они пленяют. В своей “искусной прозе” он

— “русский космополит”, “любит равно <...> все народы, все — кроме одного своего”. Здесь нет Брюсова — художника и мага.

39. Тварное // Весы. 1907. № 3. С. 71–73. (Подп.: З.Гиппиус.) (См. также: ЛД. С. 381–388).
О книге Б.Зайцева (“Рассказы. Кн. 1-ая”), в которой “почти нет ощущения личности, человека”. “Тварное” — нетворческое, пассивное. Сравнение с книгой С.Городецкого “Ярь”, в которой “больше “стихийничанья”, нежели стихийности”.
40. О “Шиповнике”. I. Человек и Болото: Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”. Книга первая. СПб., 1907. Ц. 1 р. // Весы. 1907. № 5. С. 53–58. (Подп.: Антон Крайний) (См. также: ЛД. С. 389–403, с загол. “Человек и болото”).
“Жизнь Человека” Л.Андреева — вещь “неумная со всеми претензиями на художественность и глубокомыслие, то есть — бездарная с обманом” — является естественным продуктом существующей в России “лже-культурной среды”, “болота”, заменившего декадентское “подполье”.
41. О “Шиповнике”. II. На острие: С.Сергеев-Ценский. Рассказы. Т. 1. Изд. “Мира Божия”. СПб. Ц. 1 р. // Весы. 1907. № 5. С. 58–61. (Подп.: А.Крайний) (См. также: ЛД. С. 407–415).
О книге Сергеева-Ценского “Рассказы. Т. 1”. Сравнение с Л.Андреевым.
42. Трихина: “Перевал”. Журнал свободной мысли. Год издания первый. №№ 1–6 // Весы. 1907. № 5. С. 68–72. (Подп.: Товарищ Герман)
“Перевал” — журнал “свободных мыслей”, место, попадая в которое, и авторы и слова вульгаризируются, оборачиваются своими убогими и смешными сторонами. Его вдохновитель, Г.Чулков — честолюбивая бездарность, вызывающая смех; человек не на своем месте. Соблазненный Чулковым А.Блок “насильно смешон”, обнажает здесь “свое убожество” как критик (в своих статьях о Михаиле Бакунине).
43. Мы и они // Весы. 1907. № 6. С. 47–54. (Подп.: З.Гиппиус.)
Эссе о сложности, фактической невозможности проповеди “общего пути” среди людей “последнего отчаяния”. Пример проповеди Толстого и людей, увидевших “свет” в “подполье”. В “Послесловии” (диалоге Автора с Читателем) обыгрывается эссеистичная “туманность” “разговора” о серьезных вопросах, противопоставляемая прямой проповеди.
44. Братская могила: Леонид Андреев. Рассказы; Л.Зиновьева-Аннибал. Трагический Зверинец; Тридцать три уroda. Сборник

Знания XVI, “Ссылным и заключенным” (изд. “Шиповника”) и многие, многие другие // Весы. 1907. № 7. С. 57–63. (Подп.: А.Крайний)

Преобладание в современной литературе “революции” и “порнографии”, в равной степени далеких от искусства. Л.Андреев (краткие отрицательные оценки “Елеазара”, “Жизни Человека”, “К звездам”, “Иуды Искарюта”). М.Горький (“Мать”). Л.Зиновьева-Аннибал (“33 уroda”, “Трагический зверинец”, стихи). М.Кузмин (“Крылья”, стихи). В “Послесловии редакции”, помещенном непосредственно после статьи (с. 63–64), выражено несогласие с оценкой “Крыльев” как “проповеди патологического заголения”.

45. Засоборились: Новый soup d'etat <франц. перевод — М.П.> в “Золотом Руно” // Весы. 1907. № 7. С. 82–84. (Подп.: Товарищ Герман)

Полемика со ст. Эмпирика (“Золотое руно”, № 4), направленной против “Весов”. Ироническое уравнивание призывов к “соборности” с эстетической всеядностью, превращающей журнал в “хаотический московский “склад” возможных и “невозможных” литературных произведений”. Беспомощность Блока как литературного критика.

46. Анекдот об испанском короле: “Mercure de France”, 15 juin, lettres russes // Весы. 1907. № 8. С. 72–74. (Подп.: А.Крайний)

О выступлении Г.Чулкова с разъяснениями мистического анархизма в обзоре Л.Семенова “Lettres russes” [“Письма из России”] в “Mercure de France” (15 июня). Уподобление Чулкова Поприщину из “Записок сумасшедшего” Гоголя. Изолированность русской культуры от общеевропейской.

47. Письмо в редакцию // Весы. 1907. № 9. С. 74–75. (Подп.: А.Крайний)

Ответ на письмо Доброжелателя об ошибке в цитате из Пушкина в ст. Товарища Германа [45] с завуалированной целью отмежеваться от этого псевдонима.

48. Литературный дневник (1899–1907). СПб.: М.В.Пирожков, 1908¹². 456 с. (Подп. на титул. л.: Антон Крайний (Зинаида Гиппиус).

Содерж.: Два слова раньше [предисловие]; Хлеб жизни; Критика любви; Современное искусство; Последняя беллетристика; Они и мы; Два зверя; Слово о театре; Вечный жид; Я? не я?; Нужны ли стихи?; Выбор мешка; Влюбленность; Что и как; О пошлости; Согласным критикам; Летние размышления; Быт и события; Все против всех; Декадентство и общественность; Проза поэта; Тварное; О “Шиповнике”; На острие; Бедный город; Парижские фотографии.

49. Рела: Литературно-художественные альманахи к-ва "Шиповник", книга третья. Спб.; — "Земля". Сборник 1-й, Московское к-во.— "Факелы", книга третья. Спб.;— "Новое слово". Товарищеские Сборники, книга вторая. Москва // Весы. 1908. № 2. (Подп.: А.Крайний)
От всех сборников "веет нечеловеческой старостью". Краткие отрицательные характеристики рассказов "Тьма" Андреева, "Суламифь" Куприна, "Дочь" Серафимовича, "Петля" Федорова. *Отклики*: Джонсон И. Глупые фасыны // Киевские вести. 1908. 5 марта (ст. Гиппиус в кругу других отрицательных высказываний об Андрееве — М.Волошина, К.Бальмонта, Д.Мережковского). Жилкин И. Отворите форточку // Слово. СПб., 1908. 24 апр. (о предвзятости критических статей Мережковского, Гиппиус, Философова).
50. Из дневника журналиста. I. Декаденты и сознание. II. Толстой и Плеханов. III. Острая точка. // Русская мысль. 1908. № 2. Отд. 2. С. 155—173. (Подп.: З.Гиппиус.)
[1]: Ограниченность эстетизма критика "Весов" Эллиса, которое проявилось в его высказываниях о неохристианстве Бердяева. [2]: О "Не убий никого" Л.Толстого и об отклике на эту статью Плеханова. [3]: О статье Меньшикова "Зеленая опасность", о воспитании молодежи и о влиянии на нее современной литературы. О "Тьме" Андреева (его "сочинительстве" и одновременно "очень верное психологическое касание" к вопросам половой морали). Критика в связи с этим "а-моралистов" (крайних индивидуалистов).
51. Издали // Речь. 2 (15) марта 1908. № 53. С. 2. (Подп.: З.Гиппиус)
52. "Интеллигентщина" // Слово. 1908. 9 апр. (№ 425). (Подп.: З.Гиппиус.)
Анализ статьи Плеханова "Заметки публициста". Проблема интеллигенции и народа. Вера Гиппиус в пробуждение в интеллигенции религиозного сознания.
53. Без царя. О "Царе-Голоде" // Весы. 1908. № 6. С. 57—61. (Подп.: Алексей Кириллов).
54. Добрый хаос // Образование. 1908. № 7. Отд. 3. С.12—18. (Подп.: А.Крайний)
О новых, религиозных веяниях в среде русской социал-демократии. Парижские зарисовки (лекции А.Белого и Д.Мережковского и реакция на них эмигрантской "левой" публики).
55. Зверобог // Образование. 1908. № 8. С. 19—27. (Подп.: З.Гиппиус.)
Книга О.Вейнингера "Пол и характер". "Мужское" и "женское" в жизни и литературе.

56. Чего хотят все? // Речь. 1908. 13 окт. (26 окт.) № 245. (Подп.: А.Крайний)
 Ответ на письмо “учащейся” о “проклятых вопросах”. О “безволии” современных литературных настроений.
57. Милая девушка // Речь. СПб., 1908. 19 окт. (№ 251). С. 2. (Подп.: А.Крайний)
 Самоповторение А.Блока (от “Стихов о Прекрасной Даме” до “Земли в цвету”). Его поэзии — “чтобы оставаться прекрасной всегда — нужно или расти, или умирать”.
58. Слезинка Передонова (То, чего не знает Сологуб) // Речь. 1908. 10 нояб. (№ 273) (Подп.: З.Гиппиус.). (См. также: О Федоре Сологубе. Критика. Статьи. Заметки. СПб., 1911).
 Парадоксальное оправдание героя романа “Мелкий бес” “за гранью чистой справедливости”.
59. Открытому слуху // Правда жизни. 1908. 22 дек. (№ 4). (Подп.: З.Гиппиус.)
 Полемика с критиками “нового религиозного сознания”.
60. Белая стрела // Речь. 1908. 29 дек (11 янв.). № 320. С. 3. (Подп.: А.Крайний)
 Нехарактерный для А.Крайнего, восторженный отзыв о книге А.Белого “Пепел”. Книга пророчественна, “она прорезана белой стрелой гения”, Белый — медиатор, он открыт “первой остроте” Божьих молний.
Отклик: Поэт XIX столетия. Чающие от юродивого // Там же.
61. Литературный дневник. Два журнала. — два критика. // Русская мысль. 1909. № 1. Отд.3. С. 152–158. (Подп.: Лев Пушин)
 О критиках Пешехонове из “Русского богатства” и Кранихфельде из “Современного мира”. Первый журнал — “безвкусный”; второй — “безыдейный”. Лев Пушин об Антоне Крайнем и З.Гиппиус. Полемика с Пешехоновым и Кранихфельдом. О газете “Утро” и о “Русской мысли” в полемике с Мережковскими и Д.Философовым.
62. Литературный дневник. I. Дела и мысли. II. Обратная религия.// Русская мысль. 1909. № 2. Отд. 2. С. 166–174. (Подп.: Лев Пушин)
 [I] О безыдейности (или крайнем “декадансе”) в современной литературе: “нет мыслей, нет дел, нет воли, нет движения” (Андреев, Ремизов, Городецкий и др.). Об Андрееве как о “самом характерном” из “самых пышных пустоцветов”. [II] О богоискательстве (Базаров, Струве, Франк, Трубецкой, Изгоев, Галич, Лурье). Вера Горького, Базарова, Луначарского в сверхчеловека —

обратная религия: “Здесь (в христианстве) Бог, как человек – там Человек, как Бог”.

63. Христианин и казнь // Речь. 1909. 3 февр (8 марта) № 52 С. 2. (Подп.: З.Гиппиус.)
В.А.Жуковский об устройении истинно христианского ритуала смертной казни. Очерчиваемые (в связи с этим) “пределы” человечности в историческом христианстве.
64. Литературный дневник. Земля, Шиповник и другое.// Русская мысль. 1909. № 3. Отд. 3. С. 174–179. (Подп.: Лев Пушин)
О критических оценках романа Ропшина “Конь бледный” и о том, как критика влияет на восприятие литературы читателем (пример: огромный успех Л.Андреева). О моде на сборники, которые есть “сборище, скопище, где каждый видит только себя одного”.
65. Ничего // Речь. 1909. 25 окт. (7 ноября). № 293. (Подп.: А.Крайний)
О переоценке моральных ценностей у современной молодежи (равнодушие к предательству).
66. Свой. (Валерий Брюсов, человек-поэт.) // Русская мысль. 1910. № 2. Отд. 2. С.14–20. (Подп.: А.Крайний)
Парадоксальное определение поэзии Брюсова (“человекопоэта” или “поэтчеловека”) как абсолютно самодостаточной и не соприкасающейся с душами его читателей.
67. О литературной прозе // Русская мысль. 1910. № 11. Отд. 2. С. 179–184. (Подп.: А.Крайний)
Обзор текущей литературы. Банальность и пошлость сочинений “стариков”: кн. “Девичье поле” и “Сказка жизни” Лугового (Тихонова), кн. “Роза Сарона” Ольги Шапир (“довременный хаос, великий и безобразный”), “Рассказы” (СПб., 1910) Ив. Щеглова. Б.Лазаревский (“Девушки”): “Гимназическое надсоннианство <...> смешано с радостным влечением к наивной порнографии”. Ив. Рукавишников (“Сны”): не “поэтическая проза”, как думает автор, а “жалкое, старое (очень старое!), противное безвкусие”. С.Т.Семенов (“Девичья погибель”): “гладко-сладкие побасенки” писателя-толстовца не интересны ни народу, ни интеллигенции. Е.Н.Чириков (“Тихий омут”): “плоский репортаж конца XIX века”. А.С.Панкратов (“Ищущие Бога”) — очерки современных религиозных исканий и настроений: “полное отсутствие оценки” любопытных фактов ведет “к неверному их освещению, граничащему с искажением”.
68. Слова Толстого// Русская мысль. 1910. № 12. Отд. 2. С. 106–108 (Подп.: З.Гиппиус.)

В примеч.: “Читано 16 ноября в посвященном памяти Толстого заседании петербургского религиозно-философского общества”. Воспоминания о встрече с Л.Толстым в 1904г. в Ясной Поляне. Публикация письма Толстого к Гиппиус о “лжи” в историческом христианстве.

69. Разочарования и предчувствия. (1910 год) // Русская мысль. 1910. № 12. Отд. 2. С. 175–184. (Подп.: А.Крайний)
Л.Андреев и М.Горький. “Океан” Андреева (“поразительна глупость его героев”). О М.Арцыбашеве. Об А.Белом (“Серебряный голубь”).
Отклики: Буренин В.Критические очерки: “Какой поворот по милости Божьей” // Новое время. 1910. 10 дек. (№ 12482). С. 4 (в связи с суждением о глупости героев Андреева напоминает Гиппиус о ее собственных декадентских стихах).
Шебуев Н. Впечатления // Обзорение театров. 1910. 14 дек. (№ 1261). С. 13–14 (В.Буренин и Антон Крайний о “глупости” героев Андреева).
70. Альманахи: Сборник тов. “Знание”, книга XXXII. Спб., 1910 г. Альманах для всех. Книга II. Спб., 1910 г. Общедоступный альманах, книга 1. Спб., 1910. “Ручьи”. Литературно-художественный сборник, к-во “Земля”. Спб., 1910 г. Общедоступный литературный сборник. М., 1910г. // Русская мысль. 1911. № 1. Отд. 2. С. 206–210. (Подп.: А.Крайний).
“Альманахи – почти все бесформенны, без-образны, и составители их <...> не всегда преследуют литературные цели”. Горький, Андреев, Чириков, А.Грин, Чулков, Зайцев.
71. Книги, читатели и писатели. // Русская мысль. 1911. № 4. Отд. 3. С. 17–23. (Подп.: А.Крайний)
О новой категории литераторов-“описателей”, у них отсутствует “литературная воля”, их герои – не личности. Чехов – как родоначальник этой генерации. Ответ на отклик В.Буренина на [69].
Отклик: Дий Одинокий. Литературный календарь // Голос Москвы. 1911. 27 апр. (№ 91).
72. Литературный дневник // Русская мысль. 1911. № 6. Отд. 3. С. 15–20. (Подп.: А.Крайний)
“Деревня” И.Бунина – “книга высшего целомудрия, художественного – и душевного, человеческого”. О писателях из народа, идущих в интеллигенцию “не учиться <...> а учить”. Типичные примеры подобного “культурного извращения” – книги М.Сивачева “Прокрустово ложе (Записки литературного Макара)” и Н.Санжарь (“Записки Анны” и “Заколдованная принцесса”). Противоположный пример – роман “Marie-Claire” Маргариты Оду. Другие образцы женской литературы – книга Colette Willy

- “La Vagabonde” и “Гнев Диониса” Е.Нагородской. “Узор чугуновый” Б.Садовского — “кусочек драгоценной материи”, “дает тихое отдохновение и невинную, праведную отраду”.
73. Литература летом: “Собрания сочинений”. Осипович и Мачтет. — Юшкевич. — Муйжель. — Литература и народ. — Частушка // Русская мысль. 1911. № 9. Отд. 3. С. 23–28. (Подп.: А.Крайний)
О “вялости” “летней” литературы и прессы. О собраниях сочинений таких “средних” писателей, как Осипович, Мачтет и Юшкевич. В.Муйжель (“народный” писатель) выбирает, вслед за Андреевым, темы, касающиеся темной стороны психики человека и физиологии.
74. В литературе // Русская мысль. 1911. № 11. Отд. 3. С. 26–31. (Подп.: А.Крайний)
Обзор современной литературы. Шмелев (“Человек из ресторана”); Горький (“Матвей Кожемякин”); В.Г.Тан; С.Семенов; М.Сивачев; “Рассказы” М.Куприна; “Старые устои” С.А.Анского; “Доктор Катцель” Ф.Купчинского.
75. Что пишут: Ищущие Бога. Мечты о жизни и мечты о смерти. Мистика Л.Андреева (“Сашка Жегулев”). Ремизовская “свечечка” // Русская мысль. 1912. № 1. Отд. 3. С. 25–31. (Подп.: А.Крайний)
“Ищущие Бога” А.Панкратова, автора “религиозных” очерков. “Сашка Жегулев” Андреева. “Как далек Андреев от всякого проникновения в психологию русской души, далек от народа в его мистике, а о ней-то он и хочет писать”. О рассказе А.Ремизова “Петушок”.
76. Литераторы и литература // Русская мысль. 1912. № 5. Отд. 3. С. 26–31. (Подп.: А.Крайний)
О влечении современных писателей к форме романа, как “показателе некой литературной зрелости”. (Арцыбашев, Чириков, Саша Черный, Шмелев, Пришвин). Среди хороших писателей (не “горьковского” направления) Гиппиус отмечает Бунина (“Ночной разговор”), Розанова (“Уединенное”).
77. Беллетристические воды // Русская мысль. 1912. № 8. Отд. 3. С. 25–29. (Подп.: А.Крайний)
Однообразии современной литературы. Горький. Арцыбашев (“Сильнее смерти”). Винниченко об эмигрантской жизни (роман “На весах жизни”). Сургучев. Шмелев.
78. В целомудренных одеждах (К 25-летию литературной деятельности Ив. Ал. Бунина) // Солнце России. 1912. Окт. (№ 24). (Подп.: З.Гиппиус)

“Яркий и благородный” талант Бунина; совпадение констант его творчества с главными чертами менталитета русского народа; “чистый эстетизм” бунинского творчества.

79. Жизнь и литература // Новая жизнь. 1912. № 11. С. 114–126. (Подп.: А.Крайний)
Опасная для литературы иллюзия возможности “воспитывать” обывателя (популярность А.Вербицкой как симптом этого). О “среднем таланте” А.Амфитеатрова, из-за “отсутствия художественного чутья” хаотически “смешивающего разные формы творчества” и “подправляющего” свои произведения примитивным и “восторженным” позитивизмом (сравнение с растраченным талантом В.Дорошевича). О книге рассказов А.Будищева “С гор вода”.
80. “Иринушка” и Ф.Сологуб // Русская мысль. 1912. № 12. Отд. 3. С. 57–82. (Подп.: А.Крайний)
О “Заложниках жизни” Сологуба и о восприятии театральной критикой постановки пьесы.
81. Жизнь и литература. Наши журналы // Новая жизнь. 1912. № 12. С. 204–217. (Подп.: А.Крайний)
Краткий обзор “толстых” журналов. “Вестник Европы”: М.Горький, Е.Чириков (роман “Изгнание”), С.Адрианов. “Современный мир”: Потапенко, Львов-Рогачевский. “Русское богатство”. “Беспозиционность” современной литературы. “Заветы”: статья Ник. Суханова “По вопросам наших разногласий”, В.Чернова “Этика и политика”. “Пробуждение” как пример пошлого тонкого журнала.
82. Жизнь и литература. 1.Обывательство. 2. “Совесь” и “честь” для интеллигенции // Новая жизнь. 1913. № 1. С. 196–210. (Подп.: А.Крайний)
О “Профессоре Сторицыне” Л.Андреева. “Уход” интеллигенции от демократизма к обывательщине. Нигилизм, разъедающий дух народа. Необходимость спасения общественной совести.
83. Жизнь и литература. О “Я” и “Что-то” // Новая жизнь. 1913. № 2. С.163–172. (Подп.: А.Крайний). (См. также: Критика о творчестве И.Северянина. Статьи и рецензии. М., 1916).
Отсутствие личности в произведениях современных модернистов. Писательство и “описательство”. О “Никоне Староколенном” М.Пришвина. Эго-футуристы как знамение времени, знак потерянной личности [И.Северянин]. О книге стихов “Возвращение” В.Бестужева (В.В.Гиппиуса).
84. Журнальная беллетристика // Русская мысль. 1913. № 4. Отд. 3. С. 24–29. (Подп.: А.Крайний)

Обзор. Антилитературность “Русского богатства” (№ 1 и 2): “Метеор” Скитальца, “Неопалимая купина” Ф.Крюкова, рассказ С.Кондурушкина. “Модерн первого сорта” в “Заветах” (№ 1) — “Поденка” И.Шмелева, стихи Н.Клюева и И.Северянина, М.Пришвин (“По градам и весям”). “Вестник Европы” (№ 1 и 2): “очень недурен Горький” (“По Руси”); “хуже” Айзман (“Дети”), Б.Зайцев (“Вечерний час”), А.Тыркова (“Жизненный путь”). “Современный мир” (№ 1 и 2): Л.Андреев (“Он”), Муйжель “На развалинах”, К. и О.Ковалевские “Шатер любви”. О роли критики в литературе. Статьи Г.Плеханова и Иванова-Разумника (“Клопные шкурки”) о Религиозно-Философских Собраниях).

85. Механический “реализм” // Отклики (Лит. прил. к газ “День”). СПб., 1914. 20 марта (№ 11). (Подп.: А.Крайний)
Отклик: Иванович С. Несколько слов Антону Крайнему // Отклики (Лит. прил. к газ “День”). СПб., 1914. 3 апр. (№ 13) С. 6. (раскол в стане русских символистов).
86. Открытое письмо редактору “Русской мысли” // Русская мысль. 1914. № 5. С. 133–135. (Подп.: З.Н.Гиппиус.)
 Ответ на статью П.Струве “Почему застоялась наша духовная жизнь?” (Русская мысль. № 3), где Гиппиус проясняет свои религиозно-общественные взгляды.
Отклик: Струве П. Религия и общественность. Ответ З.Н.Гиппиус // Там же, с. 136–140.
87. Мятающаяся душа // Отклики (Лит. прил. к газ “День”). СПб., 1914. 3 авг. (Подп.: А.Крайний).
 Сочувственная в целом оценка романа Г.Чулкова “Сатана”.
88. Так надо — так будет // День. 1914. 8 авг. (№ 212). (Подп.: З.Гиппиус.)
 Дисгармония между механической и духовной культурой (в Германии — преобладает первая, в России — вторая). Духовное преимущество России перед Германией.
89. В наши времена // Голос жизни. 1914. № 4 (Подп.: А.Крайний).
 О солдатах на фронте. Неумение ненавидеть врага — признак особой духовности русского народа. Противопоставление этому “бессмысленной злобы”, нагнетаемой “военной” литературой и публицистикой.
90. Искажения // Голос жизни. 1914. № 6. С. 4–5. (Подп.: А.Крайний).
 Об упрощенном понимании противопоставления “механизма” германской культуры и “духовности” русской культуры (скрытое самоцитирование — ср. ст. “Так надо — так будет” [88]).

91. Великий путь // Голос жизни. 1914. № 7. (Подп.: З.Гиппиус). (См. также перепечатку под другим заголовком: Гиппиус З. История в христианстве // Записки Петроградского религиозно-философского общества 1915–1916 гг. Т. VI. Пг., 1916. С. 20–28).
О преодолении противоречия между антимилитаризмом (естественным для развитого человека) и необходимостью оправдать войну. О “сознательном”приятии войны как испытания — противопоставленном неприятию войны, “созерцательному” к ней отношению, “бессознательному”приятию. Эта война должна стать последней, “огнем искупления и очищения” на пути к христианскому Всечеловечеству.
92. Апогей // Голос жизни. 1914. № 9. С. 14. (Подп.: А.Крайний)
О бессодержательном многословии военной публицистики и драматургии Л.Андреева.
Отклик: Редакция. Вынужденный ответ // Отечество. Пг., 1914. 25 дек. (№ 7).
93. Война, литература, театр // Чего ждет Россия от войны. Сб. статей. Пг., 1915. С. 98–105. (Подп.: З.Н.Гиппиус)
О невозможности для истинных художников (приводятся суждения Флобера и А.Франса) творить во время войны. Футуристы и война.
94. Скажите прямо! // Голос жизни. 1915. № 3. С. 5–6. (Подп.: А.Крайний)
О статьях в “Русской мысли” московских “нео-славянофилов”: С.Н.Булгакова, Е.Трубецкого, В.Эрна, Вяч. Иванова, Рачинского, П.Струве. Общий для всех них “стержень” выражен в брошюре С.Соловьева “К войне с Германией” — “Церковь православная”, “Белый Царь” и “Святая Русь”.
95. Грядущее // День. 1915. 2 марта (№ 59). (Подп.: З.Гиппиус.)
Полемика со ст. Вл. Гиппиуса “Спор поколений” (“День”, 22 февр. № 51), посвященной пьесе Гиппиус “Зеленое кольцо”. Положительная оценка постановки пьесы Вс. Мейерхольдом.
96. Зори ли? Грядущего ли? // Голос жизни. 1915. № 17. С. 9–10. (Подп.: А.Крайний)
О скороспелой “демократизации” индивидуализма, о переживании молодыми индивидуалистами старых, декадентских идей (отклик на заметку Ястребова в этом же номере журн.).
97. Земля и камень // Голос жизни. 1915. № 17. С. 12. (Подп.: Роман Аренский).
О природном, “земляном” таланте С.Есенина (сравнение с И.Северяниным).

98. Мой post-scriptum // Голос жизни. 1915. № 19. С. 13. (Подп.: А.Крайний)
Послесловие к заметке Александра Толмачева "Послушайте!", посвященной кубо-футуристам. Эпатаж футуристов — лишь повторение (двадцать лет спустя) эпатирования буржуев «былым» декадентством».
99. Раненая муза // Голос жизни. 1915. № 24 (10 июня). С. 1–2. (Подп.: А.Крайний)
О чертах художественной деградации в военной поэзии и прозе (повесть "Острие меча" Ф.Сологуба).
100. "Судьба Аполлона Григорьева". (По поводу статьи А.А.Блока, приложенной к "Стихотворениям Аполлона Григорьева", изд. К.Ф.Некрасова, М., 1916) // Огни: Жн. 1. Пг., 1916. С. 263–278. (Подп.: З.Гиппиус).
Полемика с блоковской оценкой противостояния А.Григорьева и его современников (Чернышевского, Добролюбова и др.).
101. Литературное сегодня // Утро России. 1916. 2 апр. (№ 93). (Подп.: А.Крайний).
Антиэстетичность "военной" литературы. Оторванность от жизни всей современной литературы. Искусственность претензий футуризма на роль течения, наиболее адекватного жизни.
102. Предмет десятой необходимости // Утро России. 1916. 17 сент (№ 260). С. 5. (Подп.: А.Крайний)
О девальвации искусства в годы войны. Положительный отзыв о повести М.Горького "Детство". И.Новиков — "писатель, ставящий вопросы" ("Орембовские", "Из жизни духа", "Повесть о коричневом яблоке").
103. Соколов, Керенский, "Приказ № 1" // Грядущее: Газета молодежи. Кисловодск, 1917. Август. № 1. (Подп.: А.Крайний).
Основанный на личных воспоминаниях рассказ о создании дезорганизовавшего армию приказа.
104. Чья Россия? (Разговор на Царской площадке) // Там же. (Подп.: З.Гиппиус).
Сценка, передающая беседу с профессором, который не принимает всерьез социальные порывы молодежи.
105. Лики главных газет // Грядущее. 1917. Сентябрь. № 2. (Подп.: А.Крайний).
Характеристики ведущих газет (особое внимание уделяется большевистской "Новой жизни"; ряду эсеровских газет и меньшевистскому "Дню")

106. Красная стена // Газета-протест. 1917. 26 нояб. (Подп.: З.Гиппиус.)
107. “Литературный фельетон” // Вечерний звон. 1917. 8 дек. (№ 3). С. 3. (Подп.: А.Крайний)
О “варварстве” русских литераторов, либо заигрывающих с новым режимом (А.Белый, А.Бенуа, А.Блок, М.Горький), либо отстранившихся от политики (Л.Андреев).
108. Дыр, бул, шур // Вечерний звон. 1917. 16 дек. (№ 10). С. 3. (Подп.: А.Крайний)
Предложение ввести большевистским декретом “заумный язык”, который более соответствует новому, “заумному” строю.
109. “Напомнить о Христе” (К 40-летию со дня смерти Некрасова) // Вечерний звон. 1917. 28 дек. (№ 17). С. 3. (Подп.: З.Гиппиус)
Актуальность некрасовской Музы “гнева и печали” в дни большевистского террора.
110. Люди и нелюди // Новые ведомости. Пг., 1918. 10 апр./28 марта (№ 43). Веч. вып. С. 2. (Подп.: А.Крайний)
“Без ответственности человек не может быть назван человеком”. О художниках, примкнувшим к большевикам (А.Бенуа, Блоке, Есенине) — они “идут, куда влечет поток, его не замечая. Они не ответственны. Они — не люди <...>”. В.Розанов как образец подобной “безответственности” в прошлом.
111. Призраки // Новые ведомости. 1918. 18/5 апр. (№ 50). Веч. вып. С. 5. (Подп.: А.Крайний)
Мелочная перепалка либеральных (небольшевистских) газет. Призыв к русской интеллигенции сплотиться перед лицом общего врага перед властью большевиков.
112. Лучезарный город // Новые ведомости. 1918. 3 июня / 21 мая. (№ 76). Веч. вып. С. 5. (Подп.: З.Гиппиус)
О наступлении германской армии на Париж — сердце европейской цивилизации.
113. Стыд и преступление // Новые ведомости. 1918. 5 июня / 23 мая. (№ 78). Веч. вып. С. 5. (Подп.: З.Гиппиус)
“Азиатская” травля властью и околороссийской печатью Г.В.Плеханова, приведшая к его кончине 30 мая 1918 г.
114. Неприличия // Современное слово. Пг., 1918. 3/16 июня. С. 1–2. (Подп.: А.Крайний)
Об издании “Двенадцати”, в котором большая часть текста принадлежит Иванову-Разумнику (имеется в виду его предисловие), а меньшая — Блоку (текст самой поэмы).

115. Бабская зараза // Новые ведомости. Пг., 1918. 22 /9 июня (№ 93). Веч. вып. С. 5–6. (Подп.: А.Крайний)
Об оскудении волевого, “мужского” начала в русском обществе.

¹ *Barda A. Bibliografie des œuvres de Z. Hippius. Paris, 1975.* Анализ отдельных сторон литературно-критической деятельности Гиппиус можно найти в работах Темиры Пахмусс: *Pachmuss T. M.Artsybashev in the criticism of Z. Hippius // The Slavonic and East European review. London, 1966. N. 44. P. 76–87. Pachmuss T. Ivan Bunin through the eyes of Z. Hippius // The Slavonic and East European Review. 1966. № 44. P. 337–350. Pachmuss T. Z. Hippius as a literary critic with a particular reference to Maksim Gork'ij // Canadian Slavonic Papers. Toronto, 1965. № 7. P. 127–142. Пахмусс Т. Зинаида Гиппиус и Сергей Есенин // Новый Журнал. New York, 1966. № 9. Pachmuss T. Leonid Andreev as seen by Z. Hippius // Slavic and East European Journal. Albany, NY, 1965. № 9. P. 141–154*

² *Лавров А.В., Максимов Д.Е. “Весы” // Русская литература и журналистика начала XX в. 1905–1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 115.*

³ Документально авторство Гиппиус этой и некоторых других статей, подписанных фамилией мужа, обосновывается в кн.: *Савельев С. Жанна д'Арк русской религиозной мысли. Интеллектуальный профиль З.Гиппиус. М., 1992. С. 13.*

⁴ Подробнее см. *Лавров А.В. “Золотое руно” // Русская литература и журналистика начала XX в. 1905–1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 146–148.*

⁵ Один из относительно свежих примеров содержит фундаментальная и тщательно выверенная аннотированная библиография о Блоке, составленная В.И.Якубовичем (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 5. М., 1993). Составитель, подобно А.В.Лаврову и Д.Е.Максимову, не раскрывает авторство Гиппиус, относящееся к статье 1906 г. “Все против всех”, которая впервые была опубликована в “Золотом руно” (1906. № 1) за подписью “Д.Мережковский” (там же, с. 641). Эта статья также вошла в “Литературный дневник” Антона Крайнего, что, кстати, в этой библиографии не отмечено. Как явствует из пояснения в “Указателе имен” (там же, с. 866), авторы данного тома “Литературного наследства” считают, что “Антон Крайний” — это общий псевдоним Гиппиус и Мережковского (именно согласно такой логике статьи Мережковского и могли входить в состав “Литературного дневника” Антона Крайнего). Вероятно, решающим и для библиографов и составителей именного указателя данного тома являлось мнение А.Блока, писавшего отцу 15 февраля 1904 г.: “Антон Крайний — сборный псевдоним, большей частью — m-me Гиппиус, изредка — Мережковский” (цит. по указ. изд., кн. 1, с. 271). Принадлежность авторства статьи “Все против всех” Гиппиус (как и ряда других работ, например, доклада “О насилии”, прочитанного Мережковским в Париже в 1907 г.) документально также подтверждается в кн.: *Савельев С. Указ. соч. С. 13.* Как свидетельствует переписка Гиппиус с П.П.Перцовым, в начале псевдоним был действительно задуман как коллективный. В письме от 3 августа 1902 Гиппиус, говоря о трех авторах (имея в виду себя, адресата и

Д.Мережковского), которые могли бы им подписываться, рассуждает: “Чрез года, если напишем что-нибудь <...> мы можем расчленить Анто-на, потому что мы не вместе будем писать каждую статью, а только вместе пользоваться одним псевдонимом. И, надеюсь, не забудем, кто писал ка-кую” (Письма З.Н.Гиппиус к П.П.Перцову / Вст. заметка, подготовка текста и прим. М.М.Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С 152.). Насколько нам известно, Перцов и Мережковский впоследствии не ис-пользовали этот псевдоним. Большинство статей, подписанных Антоном Крайним, вошли впоследствии в “Литературный дневник”, на титульном листе которого в скобках указана фамилия одной Гиппиус. Пока докумен-тально может быть доказано, что только одна статья, подписанная Анто-ном Крайним (“Весна пришла” — Новый путь. 1903. № 4), не принадле-жит Гиппиус. Об этом она пишет тому же Перцову 14 апреля 1903 г., рас-сказывая о содержании рубрики “Литературная хроника” этой книжки журнала: «Ан<тон> Кр<айний> — 2 рец<ензии> (одна не моя). Моя — “Кого жалко”, та — кое-кого “от Писания”» (т. е. одного из сотрудничав-ших в журнале профессоров Духовной Академии — А.В.Карташева или В.В. Успенского — М.П.) (Там же. С. 138–139).

⁶ *Войтоловский Л.* Периодическая печать и книжная литература // Киевская мысль. 1909. 1 янв. (№ 1).

⁷ Б.п. Лекция-реванш // Раннее утро. 1909. 19 апр.

⁸ *Максимов Д.Е.* Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981. С. 211–212.

⁹ *Антон Крайний.* Братская могила // Весы. 1907. № 7. С. 57–63.

¹⁰ Мир искусства. 1899. № 7–8, № 9, №10, №11–12.

¹¹ Новый путь. 1904. № 1 и № 2.

¹² Книга “Литературный дневник (1899–1907) вышла 1–8 февр. 1908 г. — Книжная летопись. 1908. № 2366.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

З.Н.Гиппиус в Каннах. Собрание семьи Шагинян. С дарственной надписью: “Мариэтте — я. 12 янв. 1911 г. Cannes. З.Гиппиус”	3
Д.С.Мережковский. Май 1940 г. Париж. Из личного архива Т.А.Пахмусс	8
З.Н.Гиппиус в рабочем кабинете. 1910-е гг. Музей ИРЛИ РАН	38
З.Н.Гиппиус в костюме пажа. Портрет работы Л.С.Бакста. 1906 г. Эрмитаж. По фотографии из личного архива Т.А.Пах- мусс	73
М.С.Шагинян. Портрет работы Т.Н.Гиппиус	88
З.Н.Гиппиус. 1910-е гг.	141
З.Н.Гиппиус и В.А.Злобин. Фото в альбоме-портмоне В.А.Злобина. Отдел рукописей РНБ, СПб.	155
З.Н.Гиппиус. Вырезка из журнала	214

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	4
----------------------	---

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус. Борис Годунов. Неизвестный вариант киносценария Публикация Н.В.Королевой.....	9
Письма Зинаиды Николаевны Гиппиус к Мариэтте Сергеевне Шагинян 1908-1910 годов Публикация Н.В.Королевой.....	89
Письма З.Н.Гиппиус А.С.Элиасбергу Вступление, подготовка текста и комментарии В.Н.Терехиной.....	142
Из переписки Зинаиды Николаевны Гиппиус и Павла Николаевича Миллокова 1922-1930 годов Подготовка текстов Х.Барана (США) и Н.В.Королевой; вступление и комментарии Н.В.Королевой	156

ИССЛЕДОВАНИЯ

✓ <i>Темира Пахмусс (США)</i> . Творческий путь Зинаиды Гиппиус	215
<i>Джованна Спендель (Италия)</i> . Зинаида Николаевна Гиппиус и революция	233
<i>Е.П.Мстиславская</i> . Д.С.Мережковский и З.Н.Гиппиус. Лирический диалог (1889-1903).....	244
<i>Р.Д.В.Томсон (Канада)</i> . Встреча в Таормине: три редакции одной истории	262
<i>Марианджела Паолини (Италия)</i> . Мужское “Я” и “женскость” в зеркале критической прозы Зинаиды Гиппиус.....	274
<i>Н.В.Кононова</i> . Некоторые особенности символизации в романе З.Гиппиус “Чертova кукла”	290
<i>М.В.Михайлова</i> . З.Н.Гиппиус и Г.И.Чулков.....	307

<i>И.А.Резвякина.</i> Антон Крайний против М.Горького: эпизод литературной дискуссии 1924 года.	320
✓ <i>Н.В.Королева.</i> З.Н.Гиппиус и А.А.Ахматова.....	335
<i>Темира Пахмусс (США).</i> “Зеленая лампа” в Париже.....	350
<i>Марианджела Паолини (Италия).</i> Критическая проза З.Н.Гиппиус 1899–1918 гг.: библиографическое введение в тему.....	357
Список иллюстраций.....	381

-3175^я

Научное издание

*Утверждено к печати Ученым советом
Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН*

Зинаида Гиппиус

Новые материалы

Исследования

Оригинал-макет изготовлен
Мишутиной Т.И.

ИД № 01286 от 22.03.2000 г.

Формат 60x90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Печ. л. 24.00. Тираж 1000 экз.

ИМЛИ РАН

121069, Москва, ул. Поварская, д. 25-а.

Тел.: (095) 202-21-23, 291-23-01

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ № 5986